Мария

АРБАТОВА

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН

ВЕСЬМА ОТКРОВЕННАЯ КНИГА

Мне 40 лет...

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автобиография — это не литература, а инструмент, с помощью которого можно вглядеться в события собственной жизни и принять их. Эта книга не претендует ни на что, кроме истории женщины, которой с самого детства было лень притворяться. "Фанатизм искренности я отношу не к личным заслугам, а к тому, что принадлежу к первому поколению, родившемуся без Сталина. Надеюсь, что книга эта — не только обо мне, но и о времени, эдакий стриптиз на фоне второй половины двадцатого века".

- Мария Арбатова

Мария Арбатова
Мне 40 лет
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН

Предисловие

Автобиография — это не литература, а инструмент, с помощью которого можно вглядеться в события собственной жизни и принять их. Как шутили в свое время в Центральном Доме литераторов: «Задача хорошего писателя не превратиться в великого».

Эта книга не претендует ни на что, кроме истории женщины, которой с самого детства было лень притворяться. Фанатизм искренности я отношу не к личным заслугам, а к тому, что принадлежу к первому поколению, родившемуся без Сталина. Надеюсь, что книга эта — не только обо мне, но и о времени, эдакий стриптиз на фоне второй половины двадцатого века.

Мне сорок лет. В 2000 году, надеюсь, исполнится сорок три. Я родилась 17 июля 1957 во время первого Фестиваля молодёжи и студентов. 39 лет назад в тот день была расстреляна царская семья. Тогда же, в 1918 году моя бабушка Ханна Зильберберг, эмигрировавшая из Люблина, познакомилась в студенческом общежитии Тимирязевской академии с моим дедушкой Ильёй Айзенштадтом, приехавшим в Москву из белорусского города Борисова. В том же 1918 году мой другой дедушка Гаврил Гаврилин вернулся с фронта к моей бабушке Наталье в Рязанскую область. Мамы ещё не было на свете, а папе было 8 лет, и он распевал деду Гаврилу, только что снявшему погоны офицера царской армии, частушки: «Был царь Николашка — у нас была кашка, теперь комитет а у нас и хлеба нет!»

Философы говорят, что время — это организация последовательностей. Я хочу расплести ниточки семейного сценария, разгадать, что было на месте белых пятен. У меня ничего не получается потому, что нигде в мире нет такого количества подложных дат, фальшивых документов, семейных тайн и фиктивных историй, как в России.

Я не понимаю половины мотиваций своих предков, понимаю только одно — они жили при другом гуманитарном стандарте.

Имена некоторых знакомых, имеющих основания обидеться на этот текст, заменены.

Глава 1. ДЕТСТВО. ШКОЛА

«Жизнь, Форест, как коробка шоколадных конфет, никогда не знаешь, с какой начинкой тебе достанется», — говорит мама мальчику с больными ногами в моём любимом фильме «Форест Гамп». В каком-то смысле я Форест Гамп, правда, с мамой мне повезло меньше.

Когда я родилась жарким июлем в городе Муроме Владимирской области, отец принёс в палату ведро цветов, потряся провинциальный роддом. 4 октября 1957 года полетел первый русский спутник, а мне уже было 3 месяца. В год я заболела полиомиелитом и была увезена в Москву. Мурома почти не помню, но зачем-то же я родилась именно там.

— Я прожила в провинции десять лет, я всё потеряла, — говорит мама так, будто отъезд из столицы по месту назначения отца не был её собственным выбором.

Если память потереть пальчиком как переводную картинку, то Муром, это квартира в доме «сталинского барокко» и политическая карта мира игрушечных цветов, к которой отец подносит меня на руках. Это китайская скатерть с шёлковыми вермишелями по краям, которые можно заплетать в косички и получать за это по пальцам, апельсиновый абажур, обнимающий чайное пространство стола… Муром — это плетеная соломенная кровать на лоджии, где меня кладут спать днём, высокие плетёные соломенные сани, на которых няня Фрося катает, а точнее, роняет меня с горы. Это запах пекущихся плюшек с корицей и шинель наклонившегося ко мне отца, отдающая табаком и горьковатым одеколоном.

— Я потеряла всё, но в Муроме у меня были настоящие друзья, — говорит мама. Настоящие друзья — это офицерские жены в витиеватых шляпках. Это тётя Маша Дёмина, литсотрудник местной газеты и поэтесса, жена первого секретаря райкома, в честь которой я названа. Она приходит купать меня в серой жестяной ванночке, напротив угольной печки, пылающей в ванной комнате:

Маша — старшая подруга и наставница мамы, первый раз за двадцать девять лет оторвавшейся от родителей. Через семнадцать лет старший сын Маши станет помощником генерального прокурора СССР, и, попав в милицию как «вылитая хиппи, дать как следует в рожу, вся дурь то и выйдет», я буду пользоваться его именем для сбережения физиономии, чести и достоинства.

Он станет генералом юстиции, пишущим талантливые стихи и читающим Гёте по-немецки километрами. Пока он студент. А

мой отец в подполковничьих погонах преподаёт курсантам марксизм в церкви, переделанной под учебную аудиторию, в связи с чем мой брат всё детство считает его попом.

Непонятно, как сложилась бы моя биография, родись я в Москве, где детей прививали от полиомиелита. Но, вероятно, отцу по судьбе было необходимо оказаться в другом городе, подальше от могилы сына от первого брака и разбитой жизни первой жены.

Плохо представляю, как выглядят сорокалетний военный преподаватель марксизма и двадцативосьмилетняя девушка из хорошей еврейской семьи, попав в Муром. Я пытаюсь поселить их силуэты внутрь утопающего в зелени и церквях городка, в провинциальные застолья с домашними эклерами и бурным исполнением «По диким степям Забайкалья», в трепетное чтение толстых литературных журналов, еженедельные походы в кино. Добавить нянек, домработниц, денщиков, друзей, соседей, кота…

Но я почти не верю в счастливые браки между людьми, выросшими в разных слоях. Всё пространство партнёрства они постепенно отдают под борьбу за истину, пока не устанут, не деградируют и не перейдут в пространство усталости, которое ещё в меньшей степени окажется пространством партнерства.

Представление о времени всегда основано на представлении о пространстве. Чтобы вспомнить город на ощупь, я приехала в Муром через тридцать пять лет. Мы с мужем нашли жёлто-розовый, сказочно-итальянский дом и присели на скамеечку со старушками. Одна вспомнила: «Жила такая семья. Сам — военный, жена, сын, а вы были маленькая, вас ещё няня в высоких саночках возила».

Новая хозяйка пустила в квартиру, оказавшуюся значительно меньше квартиры воспоминаний. И почти ничего не совпадало в этих квартирах, кроме солнца, играющего на кухонных стенах. А с балкона из-за выросших деревьев даже не было видно Оки.

Это был дом номер один по улице Ленина, градостроительное начало начал — в паре с домом-близнецом он образовывал помпезные ворота, по которым с моста можно было въехать в город. Вообще-то, мост был не через реку, а через расползшийся когдатошний ров, вырытый против монголо-татарского нашествия. Когда я маленькой стояла на балконе, во рву-овраге паслись терракотовые лошади.

Через тридцать пять лет Муром не надевался на меня, как детская одежда. В центре танцплощадки над рекой всё ещё шелестело огромное дерево, не рубить которое мой отец уговорил городские власти. Я глазела, нюхала, щупала, но всё было мимо,

как в экранизации литературного романа. Ночью дошли до Московской улицы и заглянули в окно первого этажа квартиры тёти Маши Дёминой. И меня словно ударило током — в тёмной комнате на диване сидела женщина, по которой танцевали пятна света с экрана телевизора. Они прятали возраст, и казалось, что за окном сидит прежняя первая леди города, лицо которой наклонялось ко мне тридцать пять лет тому назад.

Потом восьмидесятипятилетняя тётя Маша сжимала меня в объятиях, демонстрировала вырезанные ею из газет интервью со мной и листала фотоальбомы, неторопливо повествующие о семьях, в том числе и моей. Оказывается, мама посылала ей фотографии.

— Я старейший журналист города, — весело объясняла она. — Меня здесь называют и Фурцевой, и Терешковой, и Крупской. Смотри на меня внимательно: зубов ни одного не осталось, ноги не работают — на улицу выхожу с двумя палками, функционируют только язык, глаза без очков и воля. Вижу тебя иногда по телевизору. И всегда с тобой разговариваю. И вроде как ты меня через экран слышишь и мне улыбаешься. А сейчас я тебе прочитаю поэму, написанную сестре Клаве, на день её юбилея, отмечаемого коллективом горячего цеха, в котором она всю жизнь проработала.

Тётя Маша достала толстенную общую тетрадь и начала звонко читать текст одарённого человека, рифмующего не одно десятилетие. И было непонятно, что делать с ощущением невероятности происходящего. Все тридцать пять лет Муром казался виртуальной реальностью, а теперь он вламывался в душу, расталкивая остальные истории, пугая собственной неопровержимостью и сгребая из подсознанки кинокадры, безуспешно разыскиваемые психоаналитиками…

Муром. Полиомиелит. Мама увозит меня лечить в Москву. Лежу в боксах, вижу других детей через стекло. Меня первый раз подгоняют под диссертацию, невропатолог запрещает ходить, и мама удерживает меня в постели.

Из периода больниц и санаториев помню всего два эпизода. Я сижу на постели в холодном боксе, ходить не разрешают. На каменном полу нет тапочек. Внезапно в окошке, закрашенном снаружи толстым слоем масляной краски цвета омлета, появляются силуэты родителей. Их невозможно ни с кем перепутать, потому что на отце шапка типа папахи, а на матери каракулевая шляпа в форме завёрнутой раковины. Я начинаю плакать и орать так, что звенит весь бокс. Они видят меня в отколупанную с той стороны щёлочку, но, как через много лет

выяснится, не догадываются, что я узнаю их по силуэтам в оконном театре теней. Я рыдаю, но никто не приходит. Кажется, что я рыдаю час, вечер, всё детство…

Второй эпизод тоже через много лет разъяснила мама. Мне года три. Я сижу в застиранном байковом платье и играю старыми ломаными игрушками. Хорошие игрушки стоят в палате старших детей на деревянных полках, но туда не пускают. Меня хватает и быстро тащит медсестра. Я пугаюсь, думаю, что на укол. Но оказываюсь в палате для старших, где с меня стаскивают страшное платье, напяливают пушистую как персик нежно-голубую пижаму, а в руки дают восхитительную целую игрушку. Потом сажают на стул, а стул ставят на подоконник, под которым стоит толпа людей. Мне страшно, потому что дело происходит не на первом этаже, но медсестра крепко держит меня сзади за пижаму. Потом меня стряхивают со стула, отнимают игрушку, стягивают пижаму, и прямо при мне то и другое становится временной собственностью следующего ребёнка. Со страшным ором обиды, в прежнем застиранном платье меня доставляют в палату к поломанным игрушкам. Так родителям из окошка санатория периодически демонстрировали счастливых детей, усаженных на стульчик.

Семья возвратилась в Москву, когда мне исполнилось пять лет. Коммуналка в доме на углу Арбата и Староконюшенного из девяти комнат с четырёхметровыми потолками предстала передо мной городом, более сложным и крупным, чем Муром. Огромные коридоры позволяли игру в прятки и в мяч. Пятидесятиметровая кухня кончалась дверью чёрного хода, за ней страстно мяукали кошки. Тяжёлые входные двери я могла открывать, только повисая на ручке всем телом. Остатки прежней роскоши, изо всех сил затертые честной советской бедностью, проступали витиеватым золотистым накатом, стильными ручками, резным антикварным столиком под жестяным корытом в ванной и дубовым паркетом.

Я застала старушку по кличке «Душенька», горничную прежних хозяев. Душенька утверждала, что в её обязанности входило причёсывать Лику Мизинову, которой Чехов писал: «Увы, я уже старый молодой человек, любовь моя не солнце и не делает весны ни для меня, ни для той птицы, которую я люблю!.. Милая Лика, когда из Вас выйдет большая певица и Вам дадут хорошее жалованье, то подайте мне милостыню: жените меня на себе и кормите меня на свой счёт, чтобы я мог ничего не делать».

Забавно, но через семьдесят лет в той же зале я, начинающий драматург, тоже рассчитывала на то, что из моего будущего мужа

выйдет большой певец. Не потому, что была ужасно честолюбива или корыстна, а потому, что, как и Чехов, считаю, что «мужчина» состоит из «мужа» и «чина». И в отличие от Чехова считаю, что женщина тоже состоит из «жены» и «чина», и не умею строить отношения с социально не успешными мужчинами.

Когда в Ликиной зале для приёмов собиралась богемная знать, включавшая в себя Чехова и Шаляпина, Душенька, подававшая к столу, пользовалась огромным успехом. Это сгубило её, пойти за простого уже не могла, а господа только тешились.

Душенька показывала дарёные Ликой и поклонниками украшения и шкатулочки, кормила детей конфетами и доставала всей квартире контрамарки в Малый театр. В гости к ней ходила старенькая Яблочкина, называла Душеньку Олечкой (она была Ольга Ивановна, подозреваю, что с неё Чехов и написал «Душечку»), Старушки пили чай и вспоминали дорогих покойников.

Наша семья жила в разгороженной стенками Ликиной зале для приёмов с глубоким эркером. Ближайшую комнату занимала Мария Сергеевна, ученица Циолковского по калужской школе, когда-то она была личным секретарём Серго Орджоникидзе. Её дочка Рита вечно сидела за роялем, учила вокальные партии и зубрила французский. Как Лика Мизинова, она собиралась стать великой певицей и, как Лика, ею не стала.

Дальше в узкой комнате жила Клавдия Ивановна Афонина, вдова генерала. Девушкой в красной косынке она приехала сюда из Питера с мужем-красногвардейцем. Красногвардеец стал заместителем начальника бронетанкового управления и погиб во время войны в автокатастрофе, вывернув руль, чтобы не задавить внезапно выскочившего на дорогу ребёнка. Генералу Афонину нравилось жить в коммуналке, и он смеялся на жалобы сына про «стыдно приглашать гостей». Овдовев, Клавдия Ивановна все равно отказалась выезжать в отдельную квартиру. А сын, тоже ставший генералом, увёл жену у Левитана.

Квартира замирала, когда Афонин-младший приводил в гости красавицу Раю Левитан и заглушал происходящее в комнате громко включённым радио, по которому вещал обманутый муж. Дело было беспроигрышное: пока Левитан в прямом эфире, Рая в безопасности. Но когда диктора ввели в курс, он потребовал, чтоб обидчик либо женился, либо попрощался с генеральскими звёздочками. Я помню её, красавицу тициановского типа. Рая любила рассказывать, что Левитан дико ревновал и бил её, запрещал учиться музыке и иностранному

языку. Отец-ювелир одевал Раю как королеву, её знали во всех комиссионках и оставляли лучшие вещи, привезённые из-за границы.

Клавдия Ивановна Афонина, став Раиной свекровью, осуждала, стоя на кухне, половую разнузданность невестки. И соседи сочувственно кивали, хотя помнили, как десять лет тому назад к самой Клавдии Ивановне ходил любовник. В этот день она надевала жёлтый атласный трофейный халат и выходила в нём на кухню жарить картошку. Все уже были начеку, и в случае внезапного приезда генерала Афонина-старшего кто-то занимал генерала у входной двери, а кто-то выпускал любовника с чёрного хода.

Доживала Клавдия Ивановна одна, ей не нашлось места в новой квартире сына. Она регулярно перемывала многочисленный хрусталь в подсинённой воде, варила каши в маленьких кастрюльках и аккуратно писала расписание дежурства по коммуналке.

В следующей комнате жила семья Жанны. Ее отец был на дипломатической работе, и они оказывались то в Иране, то в Индии, непременно привозя всем обитателям коммуналки фигурки из слоновой кости.

Ещё одну комнату занимала семья Олега Масаинова, ставшего кукольником, изготовившим Чебурашку. Отец его был белым офицером, а мать безупречной домохозяйкой в белых крепдешиновых блузках с маникюром. Она ползала на коленках, натирая полы, что было совершенно непонятно моей маме и бабушке. За хорошее поведение крохотных детей водили смотреть коробку телевизора, в которой три игрушечные обезьяны в концертных одеждах играли на музыкальных инструментах. Папой Карло обезьян был Олег Масаинов, и до эры электрических игрушек в России простиралась целая вечность. Генерал Афонин устроил его по блату в военное училище, но туберкулёз вернул Масаинова к куклам.

Последним обитателем была Толстуха, страшная тётка невероятных размеров и такой же вредности, прежде преподававшая географию в военной академии. Во время войны она поселилась в кладовке без окна около кухни, убежав от мужа после развода. Каждое утро, когда соседи, спешащие на работу, делили конфорки, никуда не спешащая Толстуха ставила чайник. Когда чайник закипал, она выливала его и ставила по-новой, иногда вместо чайника ставила бак с бельём. Соседи скрипели зубами.

Всё же жили дружной семьей. Чиновные помогали простым,

здоровые ухаживали за больными, вместе праздновали, горевали и хоронили. Ругались из-за очереди в ванную, обижались за плохо выполненное дежурство, но ощущали себя родственниками.

Я не помню переезда на улицу Лобачевского. Помню, как покупали немецкий мебельный гарнитур, обозначавший «всё как у людей». Как папа засаживал деревьями глиняные просторы. Как везде стояли краны, мы бегали по стройкам, и нас за это ругали. У папы была роль умного, доброго, солидного, но выпивающего. У мамы — очень больной, красивой женщины, через силу занимающейся домом. У брата — роль способного, ленивого и трудного мальчика. У меня — хромого, но обаятельного пятилетнего вундеркинда. Мама коротко стригла мои кудряшки и шила мне из старых отцовских брюк комбинезоны с грудкой. Мне очень хотелось носить косы, хвосты с бантами и красивые платья. Но это даже не обсуждалось: маме некогда было этим заниматься.

С игрушками тоже было неважно — «всякий хлам» мама не покупала, а «хорошие куклы» продавались в магазине «Лейпциг» и стоили дорого. Соседские семьи жили не богаче, но у всех девочек были косы, банты и кукольное хозяйство. Я на равных бегала и дралась с мальчиками. И бесконечно вундеркиндичала, заметив, что маме это нравится и она пересказывает мои перлы знакомым, как бы оправдываясь за мою хромоту.

Однажды я приставала к деду Илье, периодически приезжавшему в гости, чтоб почитал книжку. Дед посадил меня рядом и на больших буквах газетного заголовка практически за час научил читать. Первая книга, которую я стащила с полки, была огромным тяжёлым томом Шекспира шоколадного цвета с золотым барельефом.

Я сидела и нараспев читала по слогам, размахивая руками для убедительности, не понимая ни одного слова. Мне было пять лет. Мама не обращала внимания, потому что считала, что я дурачусь. Я долго мусолила Шекспира — мне нравился процесс и, видимо, вполне освоила беглое чтение. Второй книжкой, которую я взяла с полки, была книжка фантаста Беляева «Голова профессора Доуэля». Не берусь утверждать, что много оттуда поняла, но так боялась самой книжки, что закапывала её далеко и высоко на стеллаж и пугливо озиралась на синий корешок с верхней полки. Потом уже мела с полок всё подряд.

Соседские девчонки с куклами не были мне интересны не потому, что у меня не было хороших кукол, а потому, что я уже тогда назначила себя в интеллектуалки. Оки вытаскивали во двор домашнюю утварь и часами варили игрушечные супы из сорняков и веточек, кормили пластмассовых детей жёлтой кашей из песка

алюминиевыми ложками, переодевали, качали, били, ставили в угол и ругали. До сих пор считаю, что игра в куклы даёт только антинавыки в смысле материнства: молодые мамы с практикой отношения к кукле меньше всего способны видеть в ребёнке человека, идентифицировать его проблемы с проблемами отдельной личности, а не игрушки.

Однажды я увидела девочку из соседнего дома, разложившую под окнами своего первого этажа игрушки. Девочку звали Вера. Она была немного нескладная, но красивая, как кукла из магазина «Лейпциг». У неё были длинные кудрявые волосы, дивная улыбка, и в ней не было бессмысленной агрессивности моих соседок. Я влюбилась в неё без памяти. Стажу моей любви уже 35 лет, и, пожалуй, я считаю Верку не столько подругой, сколько сестрой. К сожалению, она целых десять лет живёт в Лос-Анджелесе, и нам остались только телефонные разговоры.

Семья у Верки была совершенно сумасшедшая. Её папа, известный адвокат по искусству, по домашней кличке «ДГ», всегда сидел в кресле, рассматривал художественные альбомы, читал газеты, разбирал коллекции марок и мурлыкал с дамами по телефону. Он был крупный филателист и крупный донжуан. Веркина мама заведовала посольским сервисом в ресторане «Прага», сидела в его правом крыле (где сейчас дурацкая надпись «Ломбард») возле стеклянных шкафов с посудой и приборами, их выдавали напрокат для больших посольских приёмов.

Когда мы с Веркой, взрослые, гуляя по Арбату, заходили туда, она выносила из ресторана тарелки с едой и кормила нас почти насильно. Пока ели, она ругалась: «Приходит ко мне сраная Болгария, дайте им по семь вилок к приёму! Я говорю: вы тремя сначала научитесь пользоваться!» или «Я французскому посольству, как людям, всё дала: и мельхиор, и посуду, и скатерти. Половину бокалов разбили, двенадцать вилок спёрли, а по скатерти как будто прошлась конница Будённого. Так себя ни одна Румыния не ведёт!». Веркина мама была полной противоположностью моей.

Она нелепо одевалась, жила мимо моды, приходила вечером с полными сумками, садилась на диван, не разувшись, и говорила: «Я устала как Бобик!» Она тащила на себе семью, родственников, знакомых, руководила, зарабатывала, готовила, доставала, кормила, одевала. И так приучила всех к этому, что никто уже давно даже не говорил «спасибо». Да она и не требовала, от жизни у неё было ощущение конвейера, на котором некогда отвлекаться. По темпераменту ей надо было иметь десять детей. Мужа она считала бестолковым ребёнком, и его это

устраивало. После её смерти он благополучно уехал в Израиль и женился на её сестре.

В Веркином доме был настоящий театр. Я жила в семье, где строго следилось за тем, чтобы всё выглядело «прилично». У Верки в доме жизнь происходила в жанре комедии дель-арте, и от этого было тепло.

— Тебя к телефону, старый кобель. Кажется, шлюха Элка! — передавая трубку мужу, шутливо говорила Веркина мама, женщина, учившая меня, семилетнюю, в хрущёвке пользоваться рыбным и фруктовым ножом. Веркин папа брал трубку и спокойно разговаривал по телефону. Я чуть не падала в обморок.

Когда Верка, став старшеклассницей, приходила на десять минут позже веленого, она шмыгала в свою комнату, потому что в неё летел тапочек, швыряемый мамой, лежащей в постели. Тапочек сопровождался дежурным текстом:

— Верка, стерва, сука, леблядь! Ты опоздала на десять минут, — после чего все спокойно засыпали.

Когда Верке исполнилось восемнадцать лет, мама начала её сватать. Раз в неделю она объявляла, что в субботу придёт мальчик из хорошей семьи. Когда приходил мальчик, Верка закрывалась в своей комнате на задвижку.

— Выходи, — стучала мама.

— Сунь под дверь пятёрку, тогда выйду, — цинично отвечала Верка.

— Ты столько не стоишь, — смеялась мама.

— Через час это будет десятка, — отвечала Верка.

— Я вырастила проститутку, — сокрушалась мама и совала под дверь пятёрку.

— Сама виновата, — отвечала Верка и выходила.

Мальчик, конечно, сразу был готов, Верка была хороша как куст роз. Она садилась и начинала строить из себя полную дуру. Мальчик мялся, мама заламывала руки. Горе было мальчику, который решался продолжить отношения, Верка мочила его по полной программе. Мама надувалась, но к следующей субботе изыскивала нового. По-моему, так они перелопатили пол-Москвы.

До школы во дворе у меня было два дружка, Серёжка и Витька; мы лазили по плитам недостроенных домов, бегали за мячом, меня брали на подсобных ролях играть в войну. Однажды забрались в подвал и начали играть «в доктора». Занятия эти предполагали постепенное, и замотивированное ритуалом «лечения», показывание гениталий. Не то, чтобы «ой, чего покажу!», а солидные, степенные жалобы на болезнь, осматривание пациента, консилиум из двух врачей, назначение

лечения и исполнение процедуры в виде накладывания зелёных листочков и других подручных средств. Я была первой пациенткой, честно исполнила все договорённости, но, когда роли поменялись, ничего, кроме голых задниц, для медицинских экспериментов не получила. Я очень обиделась на них — мужские гениталии я, как санаторно-больничный ребёнок, представляла себе в сто раз лучше, чем возможность неисполнения договоров. Честные партнёры по играм, заступавшиеся за меня в самых сложных ситуациях, кинули меня на такой мелочи. Я была поражена.

В школу я пошла в 1964 году. Мы оказались с Веркой в параллельных классах. Школа была скучнее больницы и санатория, дети много врачи и подлизывались. В классе сложился «отличницкий бомонд» — такие девочки с косами, тихие аккуратные и воображалистые. По отметкам я тоже была отличница, но у меня почему-то всегда тетрадь, руки, лицо и манжеты были в чернилах. В моих руках текли даже не заправленные чернилами ручки. Ещё у меня были проблемы с одним мальчиком. Моя любимая учительница Ирина Васильевна, видимо, всем вправила мозги, что дразнить меня хромоножкой нехорошо. Никто и не дразнил. Кроме мальчика, который как раз мне нравится.

Каждый день он выбегал из школы пораньше, прятался за колонну и при виде меня выскакивал с воплем: «Хромоножка!». Я изо всех сил давала ему портфелем по голове. Он шатался от удара, а я гордо удалялась к дому. Назавтра всё повторялось. Я никогда не жаловалась, но однажды раскровавила ему физиономию. Его отвели в медпункт, а мне в тетради написали: «Безобразно избила мальчика».

Наши садомазохистские услады кончились в четвёртом классе, когда меня перевели в специнтернат, иначе, я, наверное, отбила бы ему все мозги. Мы встретились через много лет в автобусе, я уже была замужняя женщина с детьми.

— А я вот в Америку уезжаю. Навсегда. Зачем ты замуж вышла? Я тебя любил всю жизнь, с первого сентября первого класса, — сказал он, и я чуть не заплакала и чуть снова не треснула его сумкой по голове.

Во втором классе на продлёнке мне всё объяснили про половую жизнь. В описании не было ни одного нормативного выражения, но технологические аспекты я усвоила. Каково было моё изумление, когда вскоре после этого мама выхватила у меня из рук «Декамерон» и унесла с криками негодования. Не идеализируя уровня маминой изобретательности, я прочесала

дом по квадратам и обнаружила синенький томик Боккаччо в тазу под ванной. Это упрощало задачу. Обычно мне не разрешали читать лёжа в ванной, объясняя, что от этого портятся глаза и книги. Теперь, залезая мыться, я доставала «Декамерон» и супервнимательно читала. Прочитав, была страшно разочарована и на всю жизнь потеряла пиетет к запрещённой литературе.

Несмотря на то, что мама не работала и не перетруждалась по хозяйству, она всё время меня куда-то засовывала — то на продлёнку, то в городской пионерский лагерь. Я и так плохо ела, а там кормили какой-нибудь холодной сосиской, слипшейся кашей и молоком с пенками. Я была совершенно дистрофичным ребёнком, весила меньше всех в классе. На фоне вальяжной роскошной мамы, набравшей, выйдя замуж, килограмм двадцать, я выглядела весьма не товарно и чувствовала это.

Насколько мой отец был героем своего времени, настолько моя мама была его жертвой. Она самозабвенно назначала всех виноватыми за свою неудавшуюся жизнь. Виноват был Муром, в который она поехала по собственной воле, бросив уже написанную, но ещё не защищённую диссертацию; виновата была я, — что заболела полиомиелитом, не дав ей устроиться на хорошую работу; виноват был отец, — что начал пить, хотя в её обществе пьянство было самой безобидной формой психологической защиты; после смерти отца виновата была советская власть, — что платила маленькую пенсию на детей, намекая, что хорошо бы маме и самой учиться зарабатывать, и т. д.

Глава 2. МАМА

Моя мама, Цивья Ильинична Айзенштадт, родилась в семье студентов Тимирязевской академии через год после своего брата. Тимирязевку она считает судьбоносным местом жизни — там познакомились родители, там была зачата, там родилась, там закончила Ветеринарный институт после эвакуации, там встретила моего отца.

Мамино детство прошло на колёсах. Когда её отец, мой дед Илья, закончил Тимирязевскую академию и был послан завучем в еврейский сельскохозяйственный техникум между Херсоном и Николаевом, маме было четыре года. Семья уехала с Арбата. Шёл 1926 год. Сад был завален фруктами, рядом с домом стояла сыроварня. За продуктами раз в две недели на арбе (арба — Арбат) жёны преподавателей ездили в посёлок Новополтавка. Мамина мама, моя бабушка Ханна, не работала, но, несмотря на

демократические декларации, в семье при этом была домработница.

Через год деда послали в Кизляр организовывать переселение горцев на землю. Таты — горские евреи — были люди дикие и горячие, они убили прежнего агронома. Горцы приходили к деду по всем вопросам, возбуждённые, крикливые с кинжалами за поясами. У маленькой мамы кинжалы вызывали дикий страх, поэтому она отбирала их прямо у порога, и гости, смеясь, не перечили девочке.

Горцы называли дедушку брат Илья, а бабушку — сестра Анна. Когда они заходили, их сажали за стол и бежали к хозяину за четвертью вина. Остаток вина дед выплёскивал за окошко. Во-первых, он не пил даже сухого, во-вторых, вино делалось на его глазах: горцы топтали виноград в лоханке грязными босыми ногами. Летом шли такие ливни, что было невозможно выйти на улицу, и специальные люди, громко крича, разносили по домам лаваш и виноград. На день семья покупала пудовую корзину винограда, и еле хватало. Был момент, когда горцы голодали, и дед куда-то ездил и добился для них вагона муки.

Потом деда отправили в Молдавию на организацию еврейских колхозов. Сначала жили в Балте, столице Молдавии того времени. Летом снимали дачу в роскошном саду и обеды брали домой у француженки. Вкус тех обедов мама помнит до сих пор. Переехали в Тирасполь, когда туда перенесли столицу Молдавии, и где мама пошла в первый класс. Дед в Тирасполе проработал год, организовал несколько колхозов. На него было покушение, в него стреляли, но, слава богу, обошлось.

Потом деда послали в Харьков в аспирантуру, и маме пришлось учиться во втором классе в украинской школе. Шёл тридцатый год, начинался голод. Ходили на вокзал и ели в столовой бурду, но для маленькой мамы эти походы были целыми путешествиями. На вокзале она видела жизнь без прикрас. Через год деда перевели в Москву в аспирантуру, и пришлось вернуться на Арбат, в Плотников переулок.

Но семья столь разрослась в четырёхкомнатной квартире, что в такой тесноте жить уже не могли. И мой прадед Айзенштадт поменял две комнаты в Плотниковом переулке на одну большую комнату в 52 метра с эркером в том самом доме на углу Арбата и Староконюшенного. В бывшей зале для приёмов Лики Мизиновой оказались три семьи. Мои прадед Иосиф Айзенштадт и прабабка Мария Айзенштадт. Мои дед Илья и бабушка Ханна с маленькими дядей и мамой. Но пока последние были в разъездах, пустили прадедова брата из Белоруссии с женой и дочкой. Думали, чуть-чуть поживут, но брат прадеда внезапно умер, и жену с дочкой

оставили навсегда.

Русская сказка «теремок» была в еврейской семье дежурным сюжетом. Впрочем, если б не пустили, немцы уничтожили бы этих родственников в войну — как остальных, оставшихся в Белоруссии. Три семьи разгородили залу для приёмов шкафами — маминой семье досталась самая неосвещённая часть, шёлковый абажур горел целый день, из-за чего она рано надела очки.

Мои прабабушка Мария и прадедушка Иосиф меньше всего напоминали библейскую пару, и жили в комнате с эркером в жанре мелодрамы. Прадедушка Иосиф шлялся ночами по любовницам до старости лет, а прабабушка Мария ждала его для упрёков до утра. Утром прадедушка являлся виноватый и ложился спать, а детям из-за этого не разрешали шуметь. Когда прадедушка просыпался, к нему ломились друзья, отчего прабабушка неистовствовала не меньше. Освободившись от светской жизни, прадедушка играл и озорничал с внуками.

Учебный год мамы был разбит переездами, пришлось снова идти во второй класс 9-й школы, бывшей Медведевской гимназии на Староконюшенном. Она училась в одном потоке с моим другом драматургом Вадимом Коростылёвым, написавшим бессмертную песню про то, что «хорошее настроение не покинет больше нас», и покинувшего нас недавно.

Когда взрывали храм Христа Спасителя, мама была среди арбатских детей, ходивших смотреть. У неё был такой стресс, что непонятно каким образом она подставила руку под непонятно откуда взявшийся работающий вентилятор. Шрам на руке остался до сих пор. У меня с этим местом тоже не было особой любви — меня насильно возили в бассейн «Москва» из оздоровительных соображений. Чтобы проникнуть из душа на улицу, необходимо было поднырнуть под стеклянную загородку. Я смертельно боялась этого, тренерша на меня орала. Я набирала воздуха в лёгкие, зажимала нос рукой и, естественно, ударялась о перегородку головой, почти теряя сознание и захлёбываясь.

В удачные дни до прихода тренерши удавалось пробежать расстояние по улице. Понятно, что после пробежки по снегу я заболевала ангиной и, лёжа две недели с высокой температурой, радостно отдыхала от оздоровительного плавания.

После аспирантуры дед Илья стал заместителем директора по науке на опытной станции в Детском Селе под Ленинградом, и в пятый класс мама опять пошла в новую школу. В Ленинграде жила двоюродная сестра деда, жена крупной номенклатуры. Всей семьёй ходили к ним в гости. В 1937-м мужа расстреляли, жену — выслали, осталась дочка-школьница. У её подруги умерла мать, и она вышла замуж за отца подруги, Бецофена — человека,

редактировавшего «Книгу о здоровой и вкусной пище», подаренную моим родителям-молодожёнам, по которой меня потом насильно кормили всё детство.

И снова переезд — под Москву в Расторгуево, где дед стал директором по науке «Дома директоров». Но долго не выдержал: директора совхозов и колхозов традиционно съезжались в «Дом» для пьянства и оргий с местными официантками, а не для обучения. Дед часто менял место работы из-за принципиальных разборок, всё время отчаянно боролся за правду и плохо вписывался в среду.

В 1936 году семья переехала в Коренёво под Москву, где дед работал в НИИ картофельного хозяйства. Там мама и дядя закончили школу с золотыми медалями. Мама, вступая в комсомол, страшно боялась, вдруг выплывет, что одни её родственники за границей, другие репрессированы. В этих графах анкеты она поставила прочерк.

Прадедушка Иосиф и прабабушка Мария имели пять сыновей, мой дед Илья был четвёртым из них. В России остались только он и Исаак, да и то не по собственному желанию. Самуил и Абрам успели уехать в Израиль, а Борух был расстрелян как польский шпион. В семье понимали, что детский врач Борух не мог быть польским шпионом. Исаак был откровенным антисталинистом и громко заявлял об этом. Его боялись и не любили в семье. Кончивший два факультета Сорбонны, он редактировал технические справочники и словари и публично издевался над необразованными советскими академиками. Никогда не был госслужащим, был богат, сидел дома, и научная элита приходила к нему на поклон.

Все годы железного занавеса никакой информации от братьев деда — Самуила и Абрама, живущих в Израиле, не было. После смерти Сталина выяснилось, что Самуил Айзенштадт — какой-то там заместитель председателя Комитета Мира и большой демократический лидер Израиля, и с ним можно переписываться. А Абрам Айзенштадт хоть и капиталист, владелец апельсиновых плантаций, но, вроде, у него мало подло эксплуатируемых наёмных рабочих, так что тоже можно переписываться.

Мою тётю Пнину, дочь Самуила Айзенштадта, живущую сейчас в Англии, а родившуюся на Малой Бронной, первый раз пустили в Россию в 1964 году. К её приезду мама сшила мне голубое капроновое платье, самое красивое платье моего детства. А отца вызвали в органы и объяснили, что ему, как идеологическому работнику, нельзя её принимать. Он их послал. Через много лет Пнина рассказывала мне в Лондоне, как её вербовали кагэбэшники, а она боялась навредить нашей семье

грубым отказом и вела себя примерно как Буба Касторский в «Неуловимых мстителях», предлагающий себя белогвардейцам в качестве агента.

Итак, перед войной мама с родителями и братом жила в Коренёво под Москвой. Бабушка Ханна, работавшая учительницей, вынуждена была получать русский диплом вместо утерянного польского и начала заочно учиться. Она владела немецким, французским, английским и польским, с родителями говорила по-еврейски, а с детьми — по-русски. В Коренёвской квартире была скромная казённая мебель, бабушка пыталась создать уют, делала покрывала и накидки с мережкой из полотняных простыней, расставляла букеты в вазах, начищала серебряные столовые приборы, заглушая тоску по хорошей жизни. У неё был очень сильный характер и непререкаемый авторитет, она никогда не повышала голоса ни в семье, ни на уроках. Её не имело смысла просить дважды — если она говорила «нет», это было бесповоротно. Поглотив детей своей любовью и волей, она не научила их строить партнёрские отношения. Мама до смерти бабушки считала её самой близкой подругой, и отношения с людьми умела строить, только если давили её или давила она.

Дед Илья стал заведовать библиографическим отделом Ленинской библиотеки, и семья вернулась на Арбат. В 1940-м мама без экзаменов как медалистка поступила в Первый мединститут на Моховой и закончила 1-й курс.

Война… Дядю забрали в десант. Лучших студенток, комсомолок и красавиц, отправили работать на подземный военный объект, а потом копать противотанковые укрепления под Вязьмой и Смоленском. В прифронтовой полосе мама была три месяца и по 12 часов копала под палящим солнцем. Часто работали голодными, потому что машины, возящие продукты, попадали под бомбёжку. Маму выбрали старостой, как наиболее активную. Она собирала у всех привезённые из дома сахар, печенье, сухари, хранила их до трудных голодных дней и тогда раздавала всем поровну. Это засело в ней так глубоко, что даже потом, при наличии денег, она всё время ограничивала меня и брата в лакомствах.

Девчонок с косами, приехавших копать противотанковые рвы, она стригла, потому что голову мыть было негде. Узкие платья перешивала в широкие сарафаны, в которых легче работать. Знала множество анекдотов и травила их на отдыхе. Немцы бросали на студенток сверху листовки со стихами: «Девочки-мадамочки, не копайте ямочки. Знайте, наши таночки пройдут сквозь ваши ямочки». Увы, так и произошло. В конце сентября

Смоленск был сдан. Студенток вернули домой. С опозданием, но началась учёба на 2-м курсе. Однако немцы приближались к Москве.

17 октября 1941-го бабушка, дедушка и мама взяли хлеб, тёплые вещи в рюкзаках и немного денег (дело было перед зарплатой) и по шоссе Энтузиастов направились в сторону Горького. Оттуда была дорога на восток, в глубь страны. Больше никто из квартиры не уходил, все остальные были русские. У бабушки Ханны, уже однажды убегавшей от немцев, иллюзий не было.

В Москве творился беспредел, люди били витрины и тащили всё из магазинов. До Горького доехали на двух санитарных машинах с пьяными водителями, отдав за это все имеющиеся деньги. В одной из машин с ними ехала семья: муж, жена и несколько детей. В темноте муж полез к маме, и она испытала больший ужас, чем от бомбёжки, боясь кричать о помощи. Девятнадцатилетняя студентка, она не знала, что делать в подобной ситуации, и страшно боялась, что увидят её родители и семья мужика.

В Горьком мест на эвакопункте не было, многие эвакуировались с первого дня войны. Дедушка и бабушка пошли искать хоть что-нибудь, и тут как в романе. В доме, в который они постучались, их встретила семья, по соседству с которой дед в детстве жил в Борисове. Приняли как родных. Однако надо было ехать дальше. Проехали ночь в товарном вагоне и поплыли по Волге на барже для перевозки зерна — деду посоветовали ехать в казахстанский Петропавловск, уверяя, что там можно устроиться.

На барже плыли до Перми, оттуда товарным вагоном до Казахстана. Ехали чуть ли не месяц, бесплатно питаясь в эвакопунктах: «выскочишь, ищешь эвакопункт с едой, туалет». Денег нет ни копейки, все во вшах. В Петропавловске нашли угол на кухне за печкой у местного агронома. Забавно: Петропавловск, до этого жили в Павловске под Петербургом, моих сыновей зовут Пётр и Павел, хотя я назвала их почти за двадцать лет до изучения семейных хроник.

Дед устроился преподавать в сельхозтехникум, бабушка — в школу, мама — пошла на курсы счетоводов. Около них был дом инвалидов-фронтовиков, мама ходила туда читать инвалидам вслух газеты и книги. Вечерами бегала в городской сад на танцы, где слепой баянист играл вальсы, девчонки танцевали друг с другом, а инвалиды счастливо глазели на них.

Вскоре деда назначили главным агрономом района, и семье дали пятистенку, девять соток земли и стог сена. К сену агроному полагалась корова, но коровы не добились, были слишком

интеллигентны. Сено продали, а деньги проели, началась голодная жизнь. Местные жители ничего не продавали эвакуированным, молоко, которое оставалось, демонстративно выливали на землю — эвакуированные представлялись им захватчиками. Получили муку пополам с полынью, достали мёрзлую прошлогоднюю картошку. Соли не было, света тоже.

Покупали пятидесятиграммовый пузырёк керосина, сворачивали фитилёк, и при этой коптилке бабушка готовилась к урокам русского и немецкого языка. Мама пошла работать в райфинотдел бухгалтером и быстро стала главбухом.

Дядя писал с фронта. Шёл 1943-й. Московский ветеринарный институт, эвакуированный в Петропавловск, возвращался в Москву, и мама решила ехать продолжать образование. Родители уже развернулись с огородом, стали снимать роскошный урожай, но голодная жизнь в столице манила больше сытой жизни в Казахстане.

В эвакуации мама из Цили стала Люсей и до сих пор кормит себя историей, что главной причиной было то, что в Казахстане коров звали «Циля, циля!». В цепочке «Циля, Цилюся, Люся…» она остановилась на последнем.

Многие евреи прятались под русскими именами и паспортами. Мама сделала это наполовину — она осталась Цивьей Ильиничной по паспорту и стала Люсей в миру. Самое смешное, что я взяла псевдоним Арбатова примерно в том же возрасте.

Фамилия «Гаврилина» казалась мне красивой, несмотря на то, что в школе всегда произносилась как имя нарицательное. «Опять эта Гаврилина! Ну, это же Гаврилина! Никакого сладу с этой Гаврилиной!» Однако сочетание круглых щёк и курносого носа боролось во мне с кудрями и еврейским темпераментом. Я наблюдала антисемитские акции вокруг, хотя ни разу не ощущала на себе, у меня проблемы «изгойства» происходили больше из личных, чем из национальных причин.

В шестнадцать лет, получая паспорт, я ссорилась с милиционером.

— Пишите еврейка! — требовала я. — Человек, рождённый от еврейки, считается евреем.

— Пишите русская! — кричала мама. — Какая она еврейка? У неё отец — Иван Гаврилович Гаврилин!

— Никаких евреек, девочка. Тебе жить, в этой стране евреям не сладко, — сказал пожилой милиционер и вывел «русская» крупными буквами.

Арбатовой я стала в двадцать лет. Подписала так первую публикацию, потому что в центровых хипповских компаниях

звалась «Маша с Арбата», «Маша Арбатская». Не хотелось подписывать стихи Гаврилиной ещё и потому, что в начинающихся русопятских настроениях сочетание «Мария Ивановна Гаврилина» открывало все двери. Написав стишок, начинающийся со строк «Мой отец родился под Рязанью…», и ещё что-нибудь про войну, можно было через месяц издать книжку и вступить в Союз писателей.

Итак, в Москву из эвакуации мама вернулась зимой 1943 года с Ветеринарным институтом. Квартира на Арбате не отапливалась, в комнатах жили какие-то люди, которые украли всё, кроме книг и мебели. Стипендия была 30 рублей. Мама сначала поселилась у знакомых и обслуживала их, за это кормили. Два раза в неделю ходила к своим богатым дядям, но сказать, что голодает, не позволяла гордость.

Выручила школьная подруга Зина Калинина, привезла из деревни, где её отец был председателем колхоза, сушёной картошки и лапши. А ещё Зина дала мамин адрес офицеру из «смерша», возившему штрафников на фронт. Однажды вечером раздался звонок в дверь, мама увидела громадного офицера с большим револьвером на боку, объяснившего, что его прислала Зина и ему негде остановиться. Мама пустила его, с ужасом думая: «А чем же я его накормлю?». Он, как будто прочитав мысли, сказал, что сейчас привезёт из поезда продукты.

Вернулся с мешком, там был хлеб (вспоминает мама полвека спустя, и глаза её горят), сахар, селёдка, гороховый концентрат и бутылка водки. Вид продуктов её парализовал, но она не подала виду, была гордая. Он предложил пойти в кино на «Свинарку и пастуха», мама благородно согласилась. За время просмотра от мук голода возненавидела и фильм, и офицера. Вернулись, сели за стол, офицер налил по полстакана водки и заставил выпить. Мама никогда раньше не пила водку, а тут выпила и чуть не умерла — у неё было сильнейшее отравление.

Весной нанялась сажать картошку, чтобы к приезду родителей было чем их кормить. Дедушка и бабушка вернулись из эвакуации в 1944 году; продали всё, что вырастили в приусадебном хозяйстве, купили на это несколько отрезов ткани, чтоб приодеть дочку, но по дороге их обокрали. В чём ушли в сорок первом, в том, заштопанном и заплатанном, и вернулись через три года домой, откуда всё было вынесено до последней нитки. Бабушка начала преподавать в школе, но ей не в чем было идти на работу. Выросшая в богатой семье города Люблин, она вынуждена была ходить на уроки в старых мужских ботинках и умирала от стыда.

Мама писала стихи. Ужасные с точки зрения поэзии, но полные пафоса и веры в победу. Её жениха, Колю Королёва, преподававшего физику после окончания института, убили на фронте. Осталось несколько писем. Убили почти всех мальчиков из класса. Драматург Вадим Коростылёв, учившийся в параллельном классе, рассказывал мне, что пошёл на войну в лыжном костюме и отцовых солдатских сапогах с гражданской, что их, не обученных, не обмундированных и не вооружённых, всем классом бросили немцам в пасть.

Мама училась в ветеринарном институте, в медицинский так и не перевелась, было не до того, специализировалась на болезнях, общих у людей и животных. В 1945 году сдавала экзамен профессору Ельцову. Профессор положил на неё глаз: мама была красотка, скромная и зажатая, с одной стороны, бойкая и языкатая — с другой. Началась двадцатилетняя дружба. Видимо, это была не просто дружба, но молодая мама была слишком зашугана воспитанием, а Ельцов был известный донжуан. Умный, немолодой учёный, он сломался на худенькой девочке в очках в золотой оправе со жгуче-чёрными кудрями. Она делала доклады на его кафедре, он брал её ассистировать при операциях. Был всерьёз увлечён, долго домогался. На выпускном вечере не отходил, ждал, что та попросит помочь устроиться в Москве на кафедре. Но мама понимала, какой ценой.

Закончила институт с красным дипломом, была признана лучшей студенткой курса, но при институте оставлена не была, а получила распределение в Калининскую область. Профессор сжалился и бескорыстно устроил в Москве два месяца помогать большому чиновнику делать кандидатскую диссертацию.

Позже мама бывала по работе в Академии на учёных советах и обязательно заходила к профессору Ельцову в кабинет. Ее считали его любовницей, а она была младшей подружкой, советчицей и утешительницей. Потом познакомила его с моим отцом, получила одобрение и назвала моего брата в честь профессора Сергеем. В 1965 году профессор Ельцов умер.

Несмотря на красный диплом, еврейке на работу было устроиться трудно. Взяли в научно-исследовательскую лабораторию. Директор вёл себя как мелкопоместный князёк: набрал в штат послевоенных вдов, реабилитированных, евреев и измывался как хотел. Они сделали ему докторскую, потом он стал академиком, лауреатом госпремии. Во всех статьях, которые писали сотрудники, первая фамилия автоматически ставилась его. Уходить было некуда.

Мама совмещала две должности: заведовала виварием и была научным работником-опробатором. По долгу службы ездила в

командировки, пробуя лечить животных новыми лекарствами, объездила всю Московскую область и три района Горьковской. Кстати, была секретарём комсомольской организации лаборатории, считалась «идейной комсомолкой» и собиралась вступать в партию по зову сердца.

Когда лабораторию хотели закрыть, шеф послал маму к комиссии из академиков — как девочку из хорошей семьи с подвешенным языком, способную объяснить, чем занимается лаборатория и насколько важна работа; сам он объяснить этого не мог. Во всех бандах есть штатная единица интеллигента, которого привозят на переговоры для хорошего впечатления. Короче, лабораторию оставили.

Мама начала писать диссертацию, даже закончила вечерний институт марксизма-ленинизма для кандидатского минимума.

И тут познакомилась с отцом через подругу, комсомольскую номенклатуру, в комсомольской организации которой числилась дочка Сталина. Считая, что первый брак отца не жизнеспособен, мама пошла напролом. Тут как раз произошла высылка отца в Муром, и, бросившись вдогонку, мама сознательно поставила жирную точку на своей карьере.

Ближайшими друзьями родителей в муромской жизни стали супруги Дёмины. Уже упомянутая литераторша Мария, в честь которой меня назвали, и её муж, Григорий Никитич, секретарь райкома партии, умный, весёлый и сентиментальный человек. Когда выпадало свободное время, он забирал моего маленького брата и отправлял маму с папой в кино.

В 1958-м, после Фестиваля молодёжи и студентов, началась эпидемия полиомиелита. Во всём доме, который в Муроме назывался «генеральским», я оказалась единственным ребёнком, получившим «остаточные явления полиомиелита». Я была розовым годовалым пупсом, когда, проснувшись утром, не смогла встать на ноги. Меня ставили, я падала, меня снова ставили, я снова падала.

Увезя меня в Москву, мама писала: «Машеньке делают уколы. Всё переносит как взрослая. Очень плохо кушает. Лежим в боксе, общаемся с другими детьми через стекло. У меня депрессия, а Маше всегда весело, смотрит на дверь и говорит «папа» с самыми нежными интонациями. Волнуюсь, как там вы справляетесь с хозяйством и Серёжей (брат ходит в детский сад, у него есть няня, приехали помогать бабушка Ханна и дед Илья, но мама в каждом письме просит, чтоб взяли ещё домработницу, и советует кандидатуры)?

Перед тем, как забрать в санаторий для укрепления нервной системы, маме велели насильственно оторвать меня от груди.

Длинное письмо про то, как во время этой акции рыдаю я и рыдает она. Таковы советские педиатрические способы укрепления нервной системы.

Все родственники, включая медицинских работников среди них, отказали маме в жилье, панически боясь моего полиомиелита, который давно прошёл. Мама осталась на улице в родной столице. «Все шарахаются от меня как от прокажённой», — писала она отцу.

Пустила к себе подруга. А я, полуторагодовалая, попала в санаторий, о чём мама писала: «У Маши общительный характер и милая мордочка с ямочками, ей везде особое внимание. Попав в санаторий, она объявила голодовку, стали кормить насильно, началась рвота. Нервничать ей нельзя, а она три дня рыдает не переставая. Главврач хотела её выписать, а потом лично целый день кормила с ложки, и Маша пошла на мировую. Я видела её в окно, она бледная и грустная».

До пяти лет мама переправляла меня из больниц в санатории, из санаториев в больницы, постепенно сживаясь с ролью матери непоправимо больного ребёнка, которую быстро начала переигрывать.

В 1962-м отца неожиданно демобилизовали по хрущёвской реформе и скоропостижно умерла бабушка Ханна. После смерти бабушки у мамы был такой стресс, что она много лет не могла ездить на общественном транспорте. Сорокалетняя замужняя женщина, имеющая двух детей, она неадекватно повела себя в этом испытании судьбы. И, потеряв ограничитель свободы в виде мамы, для психического баланса построила пространственные ограничения сама. У Битова это называется: «Шея мёрзнет без ошейника». Мама назначила себя сердечницей и, при совершенно здоровом сердце, начала «умирать» при малейшей нагрузке и особенно при малейшем сопротивлении мужа и детей её воле. Всё детство я наблюдала маму лежащей, держащейся за сердце или пугающей этим.

Вместо того, чтобы поддержать отца и помочь ему вытянуть семью, она стала третьим ребёнком. Прежде решения за неё принимала бабушка, и теперь, оставшись самостоятельной, мама не знала, что делать со свободой. Ей было некуда себя деть, и она выстроила эмоциональную жизнь вокруг своих псевдоболезней. «Больное сердце» закончилось, когда в двадцать лет, родив близнецов и подыхая от перегрузки, я жёстко отказалась выполнять какое-то её распоряжение. Она «легла умирать», вызвали «скорую», приехал молодой врач, сделал кардиограмму, посмотрел на меня, всё понял и сказал: «Как вам не стыдно! Посмотрите, в каком состоянии ваша дочь. У вас сердце, как у

спортсмена».

После его ухода мама кричала: «Я позвоню в райздрав! Я лишу его диплома!». Потом встала и тихо начала мне помогать. Тьфу-тьфу-тьфу, моим сыновьям двадцать лет, за это время ни одной «скорой» по поводу сердца к нам больше не приезжало.

Возвращение в Москву, на Арбат не вернуло её в роль «работающей женщины». Новая квартира в районе улицы Лобачевского тем более — мама перенесла сюда всю логику муромской жизни, только без прежних денег, нянь и домработниц. Ни я, ни брат не нуждались в ежедневной опёке, я даже ходила на продлёнку. Все женщины вокруг работали, но мама сочинила, что дисквалифицирована как специалист, а на курсы переквалификации пойти не может, потому что не может ездить на транспорте.

Ей было скучно, она не была талантлива как домохозяйка и не загружала себя бытом. Всё время и всю бешеную энергию мама тратила на общение и боление. Какие-то тучи приятелей и приятельниц, которых она опекала, селила к нам, ощущая себя благотворительницей, совершенно не занимаясь при этом собственными детьми.

Ни я, ни брат не ходили ни в один кружок с её подачи, не получали ничего сверх школьной программы, хотя все интеллигентные семьи заботились о будущем детей с первого класса. Её, в общем, и учёба не особо волновала. Она гасила неприятности с поведением брата за счёт своего обаяния и приятельских отношений с директором школы. Со мной и неприятностей не было. Правда, последний раз я принесла грамоту отличницы в четвёртом классе — я старалась для неё, но увидела, что ей всё равно.

В сорок недовольство жизнью превратилось в ее основное занятие. Отец пил. Не как извозчик, а как редактор — на гонорары, зарплату не пропивал. Был выбор: смириться, развестись, сделать жизнь всей семьи адом. Она выбрала третий вариант. Смириться не могла: мама относилась к женскому поколению, которое дралось за мужиков (потому, что их не хватало после войны), но при этом ни одной секунды не уважало их. А ведь муж был намного старше, умнее и образованней, прошёл войну, похоронил семилетнего сына от первого брака, после двадцатого съезда хотел покончить с собой.

Развестись маме не хотелось — в этом случае, во-первых, пришлось бы стать самостоятельной, во-вторых, брак с успешным мужчиной оказался главным социальным достижением ее жизни. Осталось последнее — превратить семью в ад.

Помню немалое количество её поклонников-вздыхателей и

любовника, занимающего очень большой пост и вхожего в дом на правах друга семьи. Но ни это, ни бурная половая жизнь с отцом, после разборок, не мешали ей ощущать себя женщиной-жертвой. При этом она была хороша собой, остроумна, активна, обаятельна, отлично манипулировала всеми.

Через пять лет после возвращения в Москву, совсем соскучившись дома, мама пошла заведовать филиалом аптеки, находящимся в поликлинике. Она зарабатывала копейки, но решала многие проблемы. Во-первых, сладострастно исправляла рецепты, уличая врачей в безграмотности, и назначала собственное лечение. Во-вторых, в ней нуждались те, кого она считала «своим кругом». В-третьих, занималась благотворительностью, помогая несчастным и одиноким, выслушивая и наставляя.

Внезапную смерть мужа пережила несоразмерно легче, чем смерть матери. И, хотя утверждала, что была в полном шоке, успела обидеться и пожаловаться десятилетней мне, что её любовник на поминках заигрывал с соседкой по столу. Образ жертвы расцвёл всеми красками: мама оказалась «без мужа с двумя детьми». Таких в стране были тысячи, но она никогда не оглядывалась вокруг.

Мне было 10, брату — 14. Проблемами брата она ещё как-то вынуждена была заниматься, хотя делала это как слон в посудной лавке. А я считалась «уже большая и самостоятельная». Денег не стало. Военная пенсия за детей пришла не сразу и оказалась невелика. Отношения с родственниками были построены так, что никто не помогал, лишь иногда давал денег дядя, иногда Пнина из Англии присылала шмотки. Дед Илья находился в расцвете любовной и издательской жизни. После смерти бабушки Ханны, державшей его в ежовых рукавицах, у него всё время выходили книги и всё время менялись жёны, сваливавшие с гонораром от этих книг.

Конечно, человек, заведующий филиалом аптеки, в годы страшного дефицита мог иметь бешеные деньги. Но мама была бескорыстна и бестолкова. Она начала делать уколы и вязать шапки. Но это была чистая оперетта, потому что вязала она примитивно, а уколы, начиная делать их за деньги, переводила в благотворительные акции. Проблему заработка она легко подменяла публичными страданиями по поводу его отсутствия.

Через несколько лет после смерти отца у мамы появился новый любовник. Звали его Эдуард, это был изысканный поляк, художник, интеллектуал и пьяница. Эдуарда я обожала. Он возился со мной, учил рисовать, оформлять стенгазеты и фотографировать, покупал книги и подарки. Конечно, начались

разборки по поводу алкоголя, мама никак не могла подчинить себе Эдуарда, беспрестанно советовалась со мной, уже в детстве замеченной в толковых советах по поводу обращения с мужиками. Через несколько лет Эдуард получил отставку, а потом и вовсе был возвращён законной жене, тоже польке.

Потом ещё был какой-то, не помню, как зовут, кстати, тоже художник и тоже пьяница. На пути к нему стояла его взрослая дочь, и даже мои выстроенные мощные стратегии не победили дочернего деспотизма.

Остальные хахали были эпизодическими, и всю эмоциональную жизнь мама сосредоточила на моём брате, пространство жизни которого контролировала почище, чем бабушка Ханна её собственное.

Мама жила в совершенно изолгавшемся мире и старалась не диссонировать с ним, и то, что она до моей взрослости скрывала историю первого брака отца, не казалось ей странным. Она как бы лишила отца прошлого. Ей хотелось, чтоб мир близких начинался с неё и заканчивался ею, она не имела частного пространства и не подозревала, что частное пространство другого священно.

На старости лет она стала целительницей и какое-то время преуспевала в этом жанре. Англичане говорят: «Когда вы лезете за плодами на высокое дерево или наклоняетесь к слишком низкому, деньги просыпаются из ваших карманов, когда вы снимаете плоды с дерева своего роста, деньги приумножаются в ваших карманах». Свою биографию мама жила мимо собственного роста — и много просыпала из карманов. Я имею в виду, конечно, не деньги, а саму себя, разбросанную между еврейской отличницей Цилей и вненациональной офицерской женой и вдовой Люсей.

— При царском режиме я, вдова подполковника, была бы всю жизнь обеспечена, — обожала говорить мама, так и не поняв за всю свою жизнь, что отец был не подполковником, а преподавателем марксистской философии, на которого случайно надели погоны.

Думаю, что феминисткой меня прежде всего сделал идиотизм маминой биографии. Я совершенно не понимала, зачем надо было обменивать собственный творческий потенциал на обручальное кольцо, чтоб потом быть ко всему миру в претензии. Зависимость женской биографии от амплуа мужа всегда напоминала мне анекдот: «Муж спрашивает жену: «Как ты думаешь, почему соседи называют тебя идиоткой?». Жена отвечает: «Был бы ты генерал, называли бы генеральшей».

Глава 3. ИНТЕРНАТ

Мне было девять лет, когда однажды на улице к нам подошла добродетельная дура.

— Скажите, пожалуйста, что у вашей девочки с ножкой? — спросила она, сочась мёдом. И мама, со свойственным ей тактом и чуткостью по отношению ко мне, начала взахлёб излагать историю болезни и её, мамины, страдания по этому поводу. Я стояла рядом, опустив глаза. Ситуация была привычной, периодически на улице меня ловил какой-нибудь активный козёл или коза и говорил: «Девочка, ну-ка, пройдись, я посмотрю, почему ты хромаешь. У тебя был перелом? Почему ты не отвечаешь? Ты обязана отвечать, я — медицинский работник! Ты почему уходишь? Какая невоспитанная и наглая девчонка!».

С возраста одного года я знала, что медик — это человек, который под предлогом белого халата имеет законное право унижать тебя в зависимости от собственной невоспитанности. Постепенно я выяснила, что частное пространство в нашей стране беззащитно не только от медиков. Когда родились красавцы сыновья, я окунулась в это извержение вулкана с новой силой. Дураки не давали ходить по улице. «Ой, смотри, смотри, близнецы! Ой, какие они у вас красивые! Ой, как похожи! Впрочем, кажется, вот этот мальчик чуть-чуть выше ростом! Я правильно угадал? А в профиль, деточка, повернись, я посмотрю! А вот этот первый родился? Да?».

— Мы же не вещи! — возмущались маленькие Пётр и Павел. — Почему они считают, что нас можно так нагло разглядывать и тыкать пальцем?

Я зверела и только что не кусалась. Притом, что мы никогда не одевали детей одинаково, они старались даже в метро не сидеть рядом, чтобы не устраивать из своего появления концерта.

Третий раз в жизни меня ткнула мордой в зависимость от дураков работа на телевидении, но об этом позже.

Итак, прохожая оказалась в сто раз опасней простых любопытствующих. Она с умильной рожей поведала, что в Сокольниках есть специальный интернат для детей с последствиями полиомиелита, в котором созданы все условия для счастливых советских больных детей, и немедленно дала адрес. Поскольку мама не ездила в этот период времени на транспорте, то в специнтернат меня отправили, не глядя. Отец отвёз на смотрины в первой четверти четвёртого класса, и через неделю я вступила в ряды интернатской братии.

Отец плохо соображал в вопросах лечения и воспитания, это была компетенция матери; он работал почтовым голубем.

Условия в интернате были созданы изо всех социалистических сил. Жёлтое кирпичное здание стояло в лесу на

Погонолосиноостровской улице. Половина его была отдана под классы, половина — под спальни. Примерно двести маленьких калек в корсетах, ортопедических аппаратах и на костылях благоденствовали в режиме, приближённом к лагерному. В семь утра дверь с грохотом влетала в стену, врубался весь свет, и под яростный окрик «Доброе утро!» давалось пять минут на то, чтобы сменить казённую ночную рубашку со штампом на казённый спортивный костюм со штампом и с полузакрытыми глазами встать в шеренгу. Для меня это было ежедневным стрессом, видимо, поэтому, закончив школу, я устроила жизнь, в которой сплю до двенадцати.

— Раз-два! Встали на носочки! Потянулись, раз-два! — рычал физкультурник.

Я была одной из самых здоровых в интернате. Тех, кто шнуровал на ногах ортопедические аппараты, грубые советские этажерки из железа и кожи, будили раньше. Раньше будили и тех, кто вползал по утрам в чудовищные, плохо пригнанные корсеты, подкладывая под подбородок кокетливый носовой платочек, потому что без платочка поверхность подбородка из малиновой вмятины превращалась в длинную открытую рану.

С того момента, когда на меня напялили ортопедическую обувь — страшные, тяжёлые, как глиняные горшки, ботинки тюремной гаммы (с шерстяной колючей гадостью на зиму, с глумливыми дырочками — на лето), я начала считать советскую ортопедию карательной.

— Мне неудобно в них ходить, мне в них ногу больно — ныла я.

— Врач выписал, значит, удобно. В обычной обуви ты ходить не сможешь, — объясняли мне.

— Но я дома ходила в обычной обуви.

— Дома ходила, а теперь не будешь! — одним словом, «больной, проснитесь, примите снотворное!»

Никакой особенной медицинской помощи в интернате, конечно, не оказывали. Собранные дети были с остаточными явлениями болезней, им нужна была психологическая помощь. Но не то что психолога, просто ни одного приличного человека среди персонала не было, что объяснялось стилем руководства. За неделю реакция на разнообразие увечий притуплялась, оставались только надбавка к зарплате и нахлебавшиеся дети.

После зарядки следовали уборка постели, сдача её дежурному на оценку, прогулка и завтрак. Столы накрывал дежурный по столовой класс, он же развозил на железной тележке огромные дымящиеся кастрюли с надписями «5Б», «8А», «1В». Убирал столовую тоже он. Ещё дежурство существовало по

классу, по спальне, по этажу, по школе и пришкольной территории. Иерархическая система была соподчинена и пригнана, в неё входили построения, линейки, раздача пряников и публичная расправа с инакомыслящими. В то время как у здоровых детей существовала семья, ставящая на стол тарелку с едой, целующая в нос, не изнуряющая уборкой, а главное, отчётностью за неё, мы, как зеки, целиком растили себя сами. Обслуживающего персонала практически не существовало — видимо, его ставки делились между другими сотрудниками, нельзя же предположить, что в интернате для больных детей не предусматривались штатные единицы уборщиц и дворников.

— Мы подготовим вас к жизни! С вами никто не будет цацкаться! — круглые сутки объясняли нам, и дети на костылях виновато опускали глаза. Каждый из нас являлся владельцем постели, тумбочки, парты и целлофанового пакета с замусоленными портящимися фруктами из дома. Обезоруживала система проверок. Дежурный воспитатель врывался с обыском, перетряхивал постель, тумбочку и портфель. Что они искали, было непонятно. Находили всегда одно и то же: зачерствевший хлеб под подушками, записки и личные дневники. Разоблачали на скоропостижно собранных линейках.

После уроков происходило переодевание в «гражданскую» одежду двух-трёх модификаций, выданную той же интернатской кастеляншей, одежда из дома не приветствовалась. Шли гулять в лес, в котором иногда проплывали лоси и брали из рук хлеб. Делали домашние уроки. Все сидели за партами, всем хотелось гулять. Сделал, не сделал уроки, до ужина из-за парт не выпускали. Ужин. Прогулка. Отбой. Вечером хотелось есть. Поварихи человеколюбиво оставляли в столовой подносы с нарезанным хлебом — им было жалко нас. Мы крались по пустым тёмным лестницам в столовую через два этажа, принося запасы хлеба на всю спальню. Попался дежурному воспитателю — пропал. В спальне была раковина. Запивая хлеб водой из-под крана, мы начинали светскую жизнь без надзирателей.

Из соображений дисциплины-дедовщины старшие приглядывали за младшими. В спальне кроватей на двадцать мы, четвероклашки, были разбавлены девятым классом. Отбой у них был позже, и мы, конечно, ждали их, тихонечко кидаясь подушками и добытым хлебом. Дежурный воспитатель в зависимости от темперамента или пил чай перед телевизором, или заваливался спать после стакана, или подслушивал под дверью и тащил хулиганку прямо в ночной рубашке в коридор: «Вот пусть все на тебя полюбуются!».

Девятиклассницы ложились, и начинался еженощный

«декамерон» в диапазоне от «Красная женщина повернулась в гробу, полном крови и закричала мужским голосом: «Отдай мою руку!»» до «И он взял меня на руки и понёс к морю, а сам говорит: «Кончишь десятый класс — гадом буду, женюсь!»». Утром, когда шнуровались корсеты и аппараты, когда щёлкали ремешки и бинтовались мозоли от костылей на ладошках, было понятно, что никого из наших наставниц никто никогда к морю на руках не носил и скорее всего не понесёт. Они были хорошенькие кокетливые, умные не по годам, готовые на все, но реализовываться могли, только вешая нам лапшу на уши.

Зачитанный до дырок всё тот же Шекспир поднял меня в чин местной Шехерезады. Никогда не видевшая своего деда Гаврила, я, точно как он, считалась первой сказочницей в компании. Сюжеты слушались только адаптированными к местным обычаям, а всё, что касалось литературы, считалось неправдой. «Жил был один парень, звали его Гена. Папа у него умер, а мама вышла замуж за Гениного дядю. А ещё у него была девчонка-соседка, звали её Оля…» — излагала я с душераздирающе-советскими подробностями, добиваясь, чтоб в финале послышались всхлипы. Это были, видимо, первые этюды моей драматургической ремеслухи.

В нашей умывальной комнате стояло биде — предмет культа. Назначение его было табуировано. На все расспросы воспитатель грозил отвести к директору. Биде стояло для комиссий, я даже представляю, как директриса, заводя почётного гостя в умывалку и обнажив железные зубы цвета корыта, вдохновенно изрекала: «Наши девочки — будущие женщины!», — и упиралась в девственное биде костлявым пальцем. Мы же, «будущие женщины», из-за отсутствия информации стирали в нём носочки и платочки и мыли ноги.

В интернате был настоящий культ личности. Директрису звали Елизавета Фёдоровна. Это была жуткая тётка с мелкой завивкой, носатым пустым лицом, нелепая и грозная в синем костюме с галантерейной стекляшкой на лацкане. Она появлялась только в свите холуёв и раздавала команды, превращающиеся в законы бытия. Страшное имя «Лиза» чёрными крыльями хлопало по коридорам: «прячься, Лиза идёт», «Лиза сама проверяет под матрасами», «Лизе не попадись с распущенными волосами». Меньше всего на свете Лиза понимала в педагогике и ортопедии; сомневаюсь, что у неё было хоть среднее образование. Она была типичная деревенская выдвиженка, а судя по организации жизни интерната, наверняка бывшая тюремная охранница.

У Лизы была одна, но пламенная страсть — «общественная работа». Наша жизнь была проникнута истерией общественной

работы, мы всё время к чему-то готовились: писали социалистические обязательства на красивой бумажке, обклеивали их картинками и вешали на стенде, на косичку из мулине вкусного цвета. Мы всё время принимали каких-то фронтовиков, которые сначала теряли дар речи от обилия изуродованных детей, вытянутых в пионерском салюте, потом рассказывали все одно и то же, потом подставляли общественной девочке неопрятную шею для подвязывания красного галстука.

Апофеозом был слёт дружбы народов. Представляю, на каком уровне Лиза засветила этот почин. На карте были изысканы аналогичные интернаты в четырнадцати других союзных республиках — благо, полиомиелит погулял по стране советов — и после двухлетней подготовки было осуществлено двухнедельное братание. Приглядевшись к себе, интернатцы с ужасом взирали на таких же увечных молдаван, армян и казахов. При общей пуританской обстановке во время слёта почему-то всё время устраивались танцы без света. Видимо, Лиза решила стать ещё и местным Лысенко, вывести новую породу и засветить это наверху. Советское правительство на Терешковой и Николаеве ставило свои генетические опыты, Лиза — свои. Демонстрацию братания союзных республик с помощью младенца, зачатого на специнтернатском слёте, слабо было бы выдумать самому клевещущему антисоветчику и самому изобретательному постмодернисту.

Все дети за забором интерната назывались «здоровые» с долей презрения лисицы к винограду. По недоступности их цивилизация приравнивалась не к другой стране, а к другой планете. Ни один «здоровый» не переступил порога интерната, хотя рядом был интернат для обычных детей. Но с ними общаться было запрещено, они были «будущие преступники», мы от них «могли набраться плохого». Жизнь за стенами интерната представлялась пытками в тылу врага, и я, пришедшая из обычной школы, портила картину.

— Правда, ведь там было хуже? — с надеждой спрашивали одноклассники.

— Лучше. Здесь просто тюрьма, — гнусно говорила я правду.

— Но тебя же там не кормили и не одевали!

— Меня дома кормили и одевали.

— Ну, тебя ведь там дразнили!

— Один мальчик дразнил. А я его била.

— А он сдачи давал?

— Нет. Ему нравилось, что я его бью.

Модель интерната и мира была точной копией Советского Союза в период войны и его несоветского окружения. Разговор о

любой провинности начинался с темы неполноценных ублюдков, на которых государство тратит деньги, а они… Я мгновенно выступала. Дело в том, что интернат был платным, не платили за него дети из совсем необеспеченных семей, я же регулярно приносила для оплаты справку с отцовской работы на пышном бланке Министерства обороны. Это раздражало и педагогов, и однокашников.

Однажды классная в порыве ярости сообщила нам, что в Спарте нас бы всех просто сбросили со скал… В субботу по дороге домой я спросила отца, что он думает о том, что в Спарте таких детей, как я, сбрасывали со скал. Отец улыбнулся и сказал, что Спарта — это тупиковый путь государственности и что она не дала миру никого, кроме полководцев, а вот Афины… И долго рассказывал про Афины. До понедельника я боялась расплескать эту фразу: я многозначительно излагала её перед зеркалом, я держала её под языком как дольку шоколада. При первой возможности я изрекла её классной, заняв наиболее пышную, по моим десятилетним представлениям, позу.

— А кстати, — сказала я, — вы говорили по поводу Спарты…

Когда я закончила всю тираду, класс представлял собой финальную сцену «Ревизора», а классная была белого цвета.

— Кто тебе сказал такую глупость? — заорала она, и подхалимы фыркнули. — Ты вообще знаешь, что такое Спарта и что такое Афины? Тогда выйди перед классом и расскажи подробно! Ты думаешь, что если пришла из массовой школы, то наведёшь здесь свои порядки? Вон из класса!

Я убежала плакать. Это был мой первый опыт правозащитной деятельности с вполне типичными последствиями.

С родителями других детей педагоги разговаривали так: «А вот мы вышибем вашего ребёнка из интерната, и кому вы нужны с таким ребёнком? Обществу такой ребёнок не нужен!». Родители трепетали.

Учебная программа десятилетки была растянута на одиннадцать лет, об этом заранее не предупреждали. При возвращении в обычную школу ты не только терял год, но и выглядел умственно отсталым. Для ребёнка с физическим изъяном и для его родителей такое испытание часто было непосильным. Количество детей сказывалось на зарплате персонала, и они делали учеников крепостными.

Дети были в основном из неблагополучных семей — какой нормальный родитель отдаст болезное дитятко в концлагерь. Многих дома не ждали даже на выходные, и они оставались в интернате вместе с иногородними. Конечно, я со всем своим набором замашек торчала, как кость в горле. Меня привозил папа,

эдакий улучшенный вариант Марчелло Мастроянни в пожилом возрасте, я всё время умничала и пыталась ставить взрослых на место. Про моего папу никто не понимал, что такое «редактор», а сочетание «Министерство обороны» будоражило мальчиков, не годных в армию. Потом, через много лет, один одноклассник даже утверждал, что помнит, как папа приезжал за мной в генеральской форме.

Проучившись полгода, я с изумлением узнала, что меня собираются бить, «чтобы не считала себя лучше других». Мне объявили место и час линча, я отнеслась к этому юмористически — у меня не было подобного опыта — и гордо явилась с заготовленной педагогической филиппикой о битье. Однако в беседке, спрятанной в лесу, моим ораторским способностям не дали развернуться, по-деловому натянули шапку на глаза, чтоб не видела, кто бьёт, повалили и начали озверело лупить ногами и костылями.

Ногой мне разбили нос и губы и долго возили лицом по земляному полу беседки. Когда все ушли, я с трудом встала, влезла в автобус и поехала через всю Москву. В метро меня, естественно, пустили без пятачка, назойливо пытаясь затащить в медпункт. Было очень стыдно, я стояла в вагоне, закрывая разбитое лицо руками в крови, смешанной с землёй. Хорошо, что я не видела себя в черкало, иначе пошла бы пешком. Пока ехала, я еле сдерживалась, чтобы не заорать всему вагону: «Я больше не пойду туда, хоть убейте!».

Продезинфицировав и заклеив пластырем моё прежде хорошенькое личико, родители покачали головами и сказали что коллектив не бывает не прав. И хорошо бы подумать и исправиться…

— Но я ведь ничего не сделала! — завопила я.

— Но других ведь не били, — ответила мама. Через две недели, когда лицо зажило, отец отвёз меня обратно, обещая, что всё будет хорошо. Мы подошли к двери класса, открыли её, отец многозначительно кивнул из-за моей спины классной, и я ощутила лопатками закрытую за мной дверь. Шёл урок, и пятиминутная пауза, пока классная лиса прокрутила все ходы, показался мне вечностью. Я стояла, набычившись, как не сломленный пионер-герой перед новыми пытками.

Сейчас я понимаю, что у отца был телефонный разговор.

— Садись, детонька, на место, — приторно сказала классная, и два десятка лиц из торжествующе-презрительных стали недоумевающе-испуганными. Дети, видимо, ждали расправы со мной за самовольный отъезд и двухнедельный прогул. Но классная понимала, что если отец зайдёт к Лизе, то она вылетит

из интернатской малины.

— Рассказывай, ничего не бойся, — предложила она королевским жестом.

— Я и так ничего не боюсь, а рассказывать ничего не буду, — сказала я, и классная поняла, что я могу испортить её сценарий, и перехватила инициативу. Она подняла главных стукачей, и, торопясь, перебивая друг друга, однокашники живописно восстановили мизансцены, скрытые от меня натянутой на глаза шапкой, бесстыдно закладывая друг друга.

Классная метала громы и молнии, орала о том, что класс должен был посоветоваться с ней (ха-ха!), а теперь она вынуждена доложить обо всём Лизе. От этого все похолодели, моя главная подружка даже начинала тоненько плакать. У меня всегда так по жизни — морду бьют мне, а прибедняется при этом кто-то другой. Классная подержала патетическую паузу (чем больше актёр, тем больше пауза), а потом сказала, что готова оставить это маленькой тайной, если увидит удовлетворяющие её масштабы раскаяния. По малолетству, конечно, мы не понимали, что засветиться Лизе классная не могла: ей же платили деньги за то, что она присматривала за нами.

Насладившись группешником раскаяния, классная завернула о том, что у Зои Космодемьянской тоже были какие-то проблемы с товарищами по парте и что то, что я никого не заложила, свидетельствует… и что за это меня надо избрать на какую-нибудь очень почётную пионерскую должность. В общем упоении эту должность сочинили и прикололи к моей зажившей роже, и голос ближайшей подружки, недавно кричавшей «Сюда, сюда, сюда ещё никто не бил!», жарко зашептал с соседней парты «Пересядь ко мне, я так по тебе соскучилась».

Детские слёзы быстро высыхают, детские раны быстро заживают. Я не помню очень многого в своей жизни, но через тридцать лет я почему-то помню свою розовую шапку, своё чёрное пальто в крапину, резиновые набалдашники костылей, летящих в лицо, вкус песка с кровью на губах и изумлённое «за что?». Я была ничем не лучше этих детей, я просто не была готова к выживанию в их среде, потому что их родители предали их раньше и глобальней, чем мои меня. Как говорят англичане: «Если кошку не гладить по спине, у неё высыхает спинной мозг».

Наша классная руководительница была большая умница. Туберкулёзного вида лиса, крашенная под красное дерево, она ежедневно продавала нас за две копейки и тут же покупала обратно. Она почти не покидала интернат, работая на две ставки и весь рабочий день бегая за косоглазым заторможенным женатым баянистом. Баянист, даже на наш детский взгляд, не

стоил её прыти, но, оказавшись в бабском коллективе, почуял себя лакомым куском. Пока классная устраивала свою сексуальную жизнь, с нами случались все передряги. Мы понимали, что нас ежесекундно предают, но любили классную, потому что больше любить было некого, а кто в мире бывает привязчивей брошенных больных детей…

Однажды утром на линейке перед завтраком классная, дико обозлившись, дала крепчайший подзатыльник Надьке. Надька упала, заревела, и её подняли, потому что сама она встать не могла: ноги Надьки в двух ортопедических аппаратах составляли половину размера туловища. Они были так деформированы, что было непонятно, как она носится на них, загребая стоптанными ортопедическими ботинками. Все девчонки в аппаратах носили под платье тренировочные штаны, из которых цеплючие железяки выдирали целые кляксы трикотажа. Девчонок ругали за дырки, и они лепили аккуратные заплаты из всего, что попадало под руку. Дикое зрелище являли собой отглаженное школьное платье и галстук над немыслимом по гамме, вытянутом на коленях тренировочном трикотаже.

Меня, конечно, пальцем не трогали. Не трогали также отличников и подхалимов. Остальным жаловаться было некому, да, собственно, и в голову не приходило жаловаться.

— Вот заведите собственных детей и бейте их сколько захочется! — вякнула я, поднимаю Надьку.

— Вон! Вон из интерната! Без родителей чтоб не возвращались! — дико заорала классная. Могла ли я знать, во что обходятся подобные вяканья по адресу сорокалетней безмужней и бездетной бабы. Мы пошли в лес. Надька не была моей ближайшей подружкой, но роль всенародной заступницы сохранилась за мной и после коллективного избиения, потому что я знала, что дома мне за это «ничего не будет».

Хотелось есть, дело было до завтрака. Решили ехать к Надькикым родителям, живущим на другом конце города, поскольку жертвой стала всё-таки она. Я должна была выразительно изложить историю и поднять их на защиту дочери. Главное место в плане занимало количество съедобностей, которое мы после этого получим.

Денег на транспорт, естественно, не было. Видимо, чтобы добавить в сюжет исключительности, я остановила самосвал. Не то, чтобы я была чересчур сообразительна, просто я видела в советских фильмах, как где-нибудь на целине люди поднимают руку и перед ними тормозит огромная машина. Водитель вылез из кабины и вытаращил на глаза на двух пятиклассниц. Я душещипательно рассказала историю. Мужик ответил

многоэтажной матерной фразой недоумения, «как на такого ребёнка ещё и руку можно поднять», бережно подсадил Надьку в кабину (сама она залезть не могла, у неё было очень сильное поражение ног), и мы поехали через всю Москву. Я смотрела в окно и умирала от гордости за собственную самостоятельность и изобретательность.

Дома у Надьки никого не было. Соседка по лестничной площадке отперла забитую коврами и хрусталём квартиру, так не вяжущуюся с заброшенной, драной Надькой, единственной дочерью. Мы бросились в кухню и начали хлебать холодный суп ложками прямо из кастрюли. Соседка жалостливо на нас глядела. Оторвавшись от супа, я прорепетировала на ней историю про битьё советского ребёнка и т. д. Соседка посмотрела на меня, как солдат на вошь.

— Смотри, Надька, — сказала она мягко. — У отца твово запой, а мать на сутки пошла, злая как собака. Вот те рупь, езжайка в свой интернат и прощения проси, а то здесь покрепше схлопочешь.

Надька уронила ложку в суп. Ложка, всхлипнув, исчезла.

— Поехали, — жалобно попросила она. — Ты не поймёшь. Меня знаешь как мамка бьёт? Чем попало, целый час, пока вся злоба не выйдет.

— А ты? — потрясённо спросила я.

— А я — ору. Когда соседи прибегут — отымут, когда — нет.

И мы поехали обратно. Классная лиса не задала нам ни единого вопроса, она просто до конца недели не разговаривала с нами. И, надо сказать, мы чувствовали себя от этого глубоко несчастными.

Папа любил гулять со мной по заросшим пустырям. Я плела венки, а он составлял изысканные букеты из высокой травы. Он вообще был эстетом, у него был любимый вопрос: «Что ты предпочтёшь: вкусную еду из некрасивой посуды или невкусную еду из красивой посуды?». Я, как и он, всегда выбирала второе.

— Вот, слушай, — говорил папа. — Ты Мария Ивановна. Я Иван Гаврилович.

— Не хочу быть Маша. Хочу быть Вика или Женя, — ныла я.

— Ты уже Маша, и будешь только Машей. Я Иван Гаврилович, отец мой Гаврил Семёнович, дед мой Семён Лупович, прадед мой Луп Савельевич.

— Что это за имя такое «Луп»? Его что, лупили?

— Нет. Не его лупили. Он лупил. Он был Тысяцкий. Тысяцкий — это который командует тысячей. — Я представляла себе Лупа Савельевича с бородой лопатой, в отцовской шинели и шлеме

Ильи Муромца, получалось кинематографично.

Отец был человеком с размахом. Если я просила мороженого, он приносил целый портфель мороженого. Однажды летом портфель растаявшего эскимо пришлось вывалить в таз и долго вылавливать деревянной палочкой клоки фольги и острова шоколада.

Как-то в день рождения мы вдвоём ездили по городу, папа пообещал купить всё, чего бы я ни пожелала, и я не могла ни на чём остановиться. Мы зашли в кулинарию ресторана «Кристалл» выпить воды, и я увидела на дальнем прилавке торт. Выдумать такого торта я не могла, он был дитя сверхфантазии: шкатулка из бисквита величиной с большую книгу была приоткрыта, а внутренности и крышка шкатулки густо усажены кремовыми розами невозможной пышности. Онемев от восторга, я показала на него пальцем.

Торт оказался сделанным по заказу и ждал хозяина. Не знаю, что уж там отец говорил продавщицам в течение получаса, но только они сломались. Прижимая к груди, я несла торт по тридцатиградусной жаре. Он благоухал в нос и означал мою принадлежность к тем, у кого сбываются желания. Пекло и пылкое объятие сделали из него кашу.

— Как ты мог это купить? — возмущалась мама. — Это голый крем! Как его есть в такую жару? А если б она у тебя попросила луну с неба, ты бы тоже купил?

Я обиженно запихивала в рот помятые кремовые розы, всю следующую неделю меня тошнило.

Зимним воскресным полуднем я, пятиклассница, была дома. Пахло воскресным обедом, стёкла запотели от только что выстиранного белья, по телевизору шла «Таня» Арбузова. Отец вышел из кухни и почему-то лёг. Это было странно: он никогда не ложился днём. Я даже не успела удивиться. Он попытался что-то сказать, у него не получилось, он засмеялся, страшно захрипел и умер. Всё это выглядело совершенно неправдоподобно.

Потом его положили на стол, одели в костюм, причесали. Пришли какие-то люди. Мама оставила меня в той же комнате на ночь. Мы сидели втроём с её подругой. Они разговаривали. А я смотрела, не изменится ли у него выражение лица, не встанет ли он, не засмеётся, потому что больше некому сказать, что всё это розыгрыш. От напряжения у меня заболели глаза. И тогда я начала прислушиваться — может быть, он что-то скажет, совсем тихо, так, чтобы услышала только я. Я знала, что покойники холодные, но я не могла подойти к нему и дотронуться, как будто между нами стояло стекло.

Какие-то соседки заходили, что-то спрашивали, хозяйственно поправляли лацкан пиджака. Как будто он разрешил им до себя дотрагиваться. Утром появилась толпа офицеров, они суетились, важным шёпотом обсуждали совершенно неважные вещи. Мне велели надеть чёрное, но у меня не было ничего чёрного, и я надела форму. Десять надутых полковников никак не могли развернуть гроб в коридоре. Военный оркестр яростно играл Шопена, папины медали, с которыми я в детстве играла, несли на бархатных подушечках. Ружейная пальба и незнакомые, сюсюкающие со мной люди. Какие-то дядьки, долго распинающиеся о его достоинствах. Меня толкают в плечо и строго говорят: «Пойди, попрощайся! Надо поцеловать! Иди скорее, сейчас будут заколачивать! Слышишь? Что ты стоишь?».

Я так ненавижу всех, что даже почти не плачу. Кто эти люди? Чего они припёрлись? Стучит молоток. Они засыпают моего папу землёй в этом дурацком ящике. Моего папу, который вчера гладил меня по голове большой нежной ладонью… Я слышу узкое слово «сирота». Кто сирота? Мне совершенно необходимо пожаловаться ему на всё, но они засыпали его землёй и какой-то маскарадно-похоронной дрянью. Всё. Теперь они едут к нам домой пить и жрать. Без него.

Маму уже увезли на какой-то машине. Я отстаю, едва не теряюсь. Никто, кроме отца, не знает, что мне трудно быстро идти по глубокому снегу. Я бегу за толпой по Востряковскому кладбищу, надрывая сустав, перепрыгивая через могилы, которых очень боюсь. Слёзы замерзают дорожками на полосатом интернатском пальто, выданном на вырост. Я понимаю, что осталась совсем одна.

Конечно, у меня мама и брат… Но, мама, оставляющая десятилетнюю интернатскую девочку, на глазах которой умер отец, на всю ночь в комнате с его телом… И брат с проблемами переходного возраста…

Я мечусь по квартире. Мне не хватает папы, его тепла, разговоров с ним, ощущения защищённости оттого, что он дома. Я открываю шкаф, в котором висят его вещи, листаю книги с его пометками, смотрю в зеркало и ищу его черты на своём лице. Я не понимаю, как он мог уйти от меня, как он мог меня бросить? Он ведь знает, что я больше никому не нужна! Я ищу на улице похожую походку, похожий костюм, похожий силуэт, похожую интонацию. Всю взрослую жизнь я буду искать мужчин, похожих на него.

Глава 4. ПАПА

Мой отец Иван Гаврилович Гаврилин — одна из загадочнейших фигур. Он умер на моих глазах. Я очень похожа на него. Образ сильно замусорен легендами мамы, безуспешно пытавшейся перенести родительскую модель семьи на иное время, иные обстоятельства и иное соотношение опыта и интеллекта внутри супругов.

Папина биография в каком-то смысле чёткая реализация в эпохе, а не мимо неё. Родился в 1910 году в деревне Кудашево Рязанской области. Про его отца, моего деда Гаврила, кое-что понятно, про его мать, мою бабушку Наталью, не понятно ничего. Она умерла, унеся с собой истории, с помощью которых внучки перекачивают из бабушек информацию о предках и жизненные навыки. Женская культура в нашей малоцивилизованной стране — культура преимущественно устная. Из-за взаимной нетерпимости отцов и детей она, обычно, передаётся через поколение.

Биография обокрала меня в этом смысле и как очень позднего ребёнка, и как дочь амбициозной женщины, не сумевшей сохранить родственные связи ни с одной, ни с другой стороны. Я выросла без дедушек и бабушек, без тёть и дядь, без двоюродных сестёр и братьев. Это вынуждает меня разгадывать образы предков как кроссворды.

Женские биографии, подобные истории жизни бабки Натальи, не остаются ни в письмах, ни в дневниках, ни в трудовых книжках. Она была редкой красавицей, и отец рассказывал, как, уже будучи молодым мужчиной, привёз её в Москву и был удивлён, что на неё оглядывались на улице. Несмотря на одиннадцать детей, шесть из которых не дожили до школьного возраста, несмотря на нелёгкую работу по хозяйству, пока дед не стал номенклатурой, — она сохраняла поразительную красоту.

Интересно, что в автобиографии дед Гаврил, возмущаясь гибелью солдат по вине плохого командования, не писал о собственных умерших детях. Погибших солдат он считал большей принадлежностью своей «мужской» биографии, чем собственных детей. Отсутствие санпунктов у солдат невероятно возмущало его офицерское достоинство, но дети и женщины ещё не были фигурами, права которых, в том числе и на жизнь, ему пришло бы в голову обсуждать.

Мой отец рос старшеньким в благополучной деревенской семье. В 10 лет стал атеистом своеобразным способом. Видимо, его замучили молитвами, и он решился на следственный эксперимент: начал подбрасывать икону к потолку, полагая, что если бог есть, он непременно вмешается. Дед Гаврил тоже со

временем стал атеистом и даже не крестил младшую дочь.

Мой папа практически жил без отца, служившего то царю, то революции, то возрождению страны; и, как старший сын, сформировался в качестве семейного лидера. Предполагаю, что жёсткий и патриархальный дед Гаврил начал обламывать сына, но слишком поздно. Соперничество было серьёзным. В шестнадцать лет, закончив профшколу, папа забрался на чердак с книжками и занимался сутками. Носившая туда еду бабка Наталья боялась, что сын сойдёт с ума от учёности, а дед злился, что тот удумал какую-то «журналистику» против его требований учиться «по технической части».

Однако терпение у моего отца было в деда: он поехал в Москву с деревянным сундучком, набитым книгами, и поступил в МГУ. Дед Гаврил, привыкший чувствовать себя во всём первым, несмотря на возраст, тут же поступил на заочное отделение финансовой академии.

Факультет, на котором учился мой отец, превратился в знаменитое ИФЛИ (Институт философии и литературы). Первая жена отца — Валентина Крайнова — была его однокурсницей. Отец учился на историческом отделении, она — на философском. В 1932 году, после получения диплома, папа остался работать в том же институте, а через год перешёл редактором плакатов в издательство «Изобразительное искусство». В 1934-м стал замом главного редактора молодёжного вещания Радиокомитета, где работал с Левитаном. В 1935-м заведовал отделом литературы в журнале «Смена». Писал стихи, однажды показал их поэту Суркову, Сурков ему это дело отсоветовал. В честные намерения Суркова не верю, но думаю, что Пастернаком мой папа тоже не был.

В 1936 году его отправили в Узбекистан заведовать отделом пропаганды газеты «Комсомолец Узбекистана». То ли хранила судьба, то ли покровители, многих из «Смены» именно в это время посадили. Вряд ли он хотел уезжать — жена Валентина была беременна. Он мечтал о ребёнке, надеясь таким образом скрепить союз с женщиной, сердце которой ему не принадлежало.

Это был странный альянс, Валентина была старше и опытней, у неё за спиной было детство аристократки, превратившейся в беспризорницу после смерти матери, роман с громко расстрелянным известнейшим лицом своего времени, фамилия которого останется для нас тайной, и философское образование. Папа был молодой романтический красавчик, приехавший из села, начитанный, благодаря домашней библиотеке, и большими усилиями вписывающийся в образ молодого руководителя. Родственники говорили, что он написал за жену и кандидатскую,

и докторскую. Хотя непонятно, почему, написав для неё две проходные диссертации, написал себе совершенно непроходную.

Мой сводный брат Юра родился 28 ноября 1937 года.

К этому времени папа вернулся в Москву в качестве редактора издательства «Молодая гвардия», с которым у меня будет гнусная встреча через сорок лет. В 1940 году был переведён старшим редактором политической литературы Госмориздата — партия бросала его с места на место.

Наступил 1941 год. Папа не служил в армии из-за астигматизма глаза, хотя и отлично стрелял. Он стал капитаном, оставаясь редактором политической литературы воениздата НКВД, писал листовки и брошюры, поднимающие боевой дух Советской армии. А как владеющий немецким языком, в рупор занимался разложением немецких войск. В 1942-м он — редактор политической литературы Военного штаба Северо-Кавказского и Закавказского фронта.

28 августа 1943 года в возрасте семи лет погиб мальчик Юра. Отцу 33 года, у него появилась огромная седая прядь.

После победы отец создавал первое издательство на русском языке в Лейпциге. Страна, и семья вместе с ней, зализывала раны, но Валентина Крайнова больше не могла иметь детей.

Папа закончил адъюнктуру при Военно-политической академии имени Ленина. Комнату на Алексеевской поменял на две комнаты в общежитии Тимирязевской академии, оформив их как собственность. Они переехали потому, что Валентина преподавала философию в Тимирязевской академии, а отец начал преподавать марксизм в академии Ленина.

В 1947-м папу назначили начальником идеологического отдела «Красной звезды». Это генеральская должность. Ему 37 лет, он молодой, горячий, образованный, честный. Через три года уходит оттуда, не сработавшись с главным редактором. Возвращается преподавать марксизм-ленинизм, теперь уже в Военной артиллерийской академии им. Дзержинского.

Его можно считать социально успешным: искренний сталинист, резкий в оценках, доносов не писал и не верил в их существование, образованный и со вкусом, говорящий курсантам «вы». Обаятельный и красивый. Умеющий жить на широкую ногу, любивший рестораны и шикарные курорты, знающий толк в поварах и винах. Мама любила упрекнуть, что я «вся в папочку».

Папа был создан для того, чтобы читать лекции: сочетание мужественной внешности, остроумия, невероятной густоты и бархатности голоса делали его редким персонажем в преподавательской среде. Если бы не трудное сожительство с Валентиной и гибель сына, жизнь папы до определённого периода

могла бы вызывать зависть.

Что-то происходит с ним в 1947 году, когда он работает в «Красной звезде». В его записной книжке появляются стихи на немецком и афоризмы: «Чувства возникают неожиданно, точно дети», «Лучший способ научиться хорошим манерам — это спать с благовоспитанной женщиной», «Вы ищете в супе фортепианных струн»…

Очень много огромных цитат о неразделённой любви из классических произведений. Какие-то страницы записной книжки аккуратно вырезаны ножницами. У него редакторская культура отношения к тексту и бумаге при широком жесте во всём остальном. Вырезал явно он, мать бы неаккуратно вырвала.

История высылки папы в провинцию темна и непонятна. Мама утверждала, что он напился и был доставлен патрулём в комендатуру. Его сестра и племянница рассказывали, что чистка кафедры философии МГУ, которой заведовал друг, задела его крылом. Второе больше похоже на правду, хотя не исключено, что дело было в чём-то третьем.

К этому моменту папа, по версии мамы, а других на этот случай у меня нет, находится в чисто товарищеских отношениях с женой, питается по ресторанам и живёт в разных комнатах с ней. Мама приходит к подружке в Тимирязевку, знакомится с Валентиной Крайневой, видит её мужа и влюбляется наповал. Бегает к нему на свидания, и однажды, 8 марта, жена пытается её задушить. Отец застаёт их в этой мизансцене, оттаскивает бушующую Валентину и даже связывает ей руки ремнём, о чём мама до сих пор вспоминает весьма сладострастно. Через сорок два года именно 8 марта я приглашу в дом даму, претендующую на моего первого мужа, и буду уговаривать забрать его немедленно.

Так или иначе, 16 октября 1951 года отец получает приказ в 24 часа выехать из столицы и три города на выбор. Он выбирает Муром. Что для мужчины, желающего расстаться с бывшей женой, с которой они потеряли ребёнка, может быть удобней отъезда по приказу? Он отдаёт Валентине Крайновой ордер, лишается всех прав на московское жильё, собирает чемодан и отправляется в новую жизнь.

В провинцию за ним собирается красотка из хорошей семьи, моложе его на 12 лет, готовая бросить под ноги любви не только столицу, но и диссертацию. Ему 41 год, он безумно хочет детей.

В Муроме до того, как дали квартиру, поселился у хозяйки. Та начала делать женские пассы, что неимоверно ускорило мамин приезд. Мама забеременела, но бывшая жена Валентина, не желавшая регистрировать отношения с отцом даже после

рождения сына, была автоматически вписана в его офицерскую книжку. Из-за этого родители смогли зарегистрировать брак только 10 октября 1953 года, а через три недели родился мой брат.

Представляю, каким напрягом это было для мамы. Изо всех сил правильная в 29 лет, из семьи, где всё полагалось делать «как у людей», она оказалась в загсе на сносях посреди чужого города. Образ первой жены так и не ушёл из её пантеона, свою жизнь она старалась жить с точностью до наоборот. Валентина была профессором — мама стала домохозяйкой, Валентина не занималась бытом — мама изображала Золушку при домработницах. Валентина не желала регистрировать отношения — мама рвалась замуж, Валентина была сдержанна в области секса — мама строила из себя Мессалину. Валентина в пожилом возрасте объехала весь мир — мама боялась ездить в метро.

Новая квартира в Муроме, налаженный быт, домработница, разносолы с рынка, обеды по синей книге «О здоровой и вкусной пище», новые друзья, спокойная провинциальная жизнь. Попытка держаться на интеллектуальном плаву с помощью выписывания всех толстых журналов и хождений в кино.

Отец читает лекции по марксизму-ленинизму. Он спокоен, авторитетен и уравновешен. Однажды входит во двор в ту секунду, когда мимо пробегают полуодетая соседка и гонющийся за ней пьяный мужик с топором. Отец отнимает у него топор, кладёт в портфель, идёт домой обедать и забывает о топоре до следующего утра. Это рассказ брата-очевидца. В маминых апокрифах подобных историй нет, её истории ориентированы исключительно на её жертвенность в браке.

Устраивает ли его жизнь провинциального преподавателя? Друзья остались в Москве, но образ жизни стал гораздо здоровей. Прекратились офицерские выпивоны по кабакам. (Мать утверждает, что после гибели сына отец начал сильно выпивать. Не исключаю, хотя своё «сильно» она меряет от деда Ильи, не бравшего в рот спиртного в принципе).

Семья с няней и домработницей — а без них мама не справляется — держится на заработках отца. В пятьдесят лет он имеет неработающую нервическую жену, двух нездоровых детей — никаких других у психованной матери быть не может — и родителей жены с непростыми характерами, приезжающих из Москвы помогать, когда мама со мной ездит по санаториям. Отец с мамой из разных миров, она проживает в жанре трагедии и заставляет окружающих в этом участвовать. Она на 12 лет моложе, у неё бешеная энергия, полное непонимание того, как эту энергию можно применить, потребность отчитываться перед

собственной матерью по любой мелочи и полное неумение строить партнёрские отношения.

На муромских фотографиях она дородна и довольна жизнью: при дефиците мужиков в 29 лет отхватила подполковника, при повальных коммуналках поселилась в отдельной квартире, родила двоих детей, имеет няню и домработницу. Изо всех сил пытается вписаться в образ офицерской жены, после замужества набирает вес, печёт торты по книжке, даже шьёт детскую одежду, не имея к этому ни малейших способностей.

И вдруг гром среди ясного неба — хрущёвское сокращение армии. Не дослужив до полковничьих погонов и соответствующей пенсии, в 1960 году папа демобилизован. Прощай большая зарплата, муромская квартира, денщики и прочая социалка. Он в панике, за двадцать лет жизни в погонах ему не приходилось решать бытовые проблемы. Семья на шее, жена инфантильна и дети нездоровы. Московское жильё оставлено бывшей жене. Где жить? Сможет ли он обеспечить их на гражданке?

Из Мурома семья перебирается в Москву, на Арбат, на площадь дяди. Для отца это унизительно. Он готов на всё и идёт работать за жильё главным редактором журнала «Жилищно-коммунальное хозяйство». Не представляю себе человека, более далёкого от содержания дурацкого журнала с фотографиями новых домов, белых кухонных гарнитуров и модных причёсок на ярких вкладках. Ему дают квартиру, двухкомнатную смежную хрущёвку, хотя мог претендовать на большее. Когда первый раз приходит смотреть её, удивляется: «Такие узкие лестницы, здесь ведь даже гроб не развернуть».

Он сажает деревья вокруг новостройки, замеряет чёрточками рост детей на стене, работает, помогает по дому вечно умирающей жене, по воскресеньям стирает бельё машиной и ходит за покупками на неделю. Он поёт в застолье с друзьями и родственниками русские песни и спорит до хрипоты о политике. Ходит гулять со мной и учит составлять изысканные букеты из полевых цветов, рано встаёт, долго пьёт чай и читает утренние газеты. Выпивает, в материном понимании это выглядит как «спивается».

Страшное напряжение на работе и бесконечные истерики дома. Мать, по собственному выбору отказавшаяся от социальной реализации, не подозревает, что у кого-то другого на этом поле могут быть проблемы. Она привыкла что муж зарабатывает, но не догадывается о том, что для этого семья не должна быть для него полем боя.

Отец переходит из журнала старшим редактором в Военное издательство и редактирует всякие там «Основы марксистской

философии» и «Основы научного коммунизма». Это то, что ему интересно, и то, в чём он понимает, но глаза… У него сильные очки, а с мелким текстом он работает с помощью лупы. Плюс гипертония.

В целом жизнь не удалась. Двадцатый съезд поставил под сомнение всё сделанное. Диссертация оказалась не проходной ни при Сталине, ни после его смерти. Карьера после демобилизации пошла под откос. Первая жена не любила, вторая — не понимает. Первая держала дистанцию, вторая — превратилась в домохозяйку, говорить с ней не о чем. Первый сын погиб, второй — в тяжёлом переходном возрасте. У них с отцом страшная конкуренция, и мало вникающий в воспитание отец оказывается перед совершенно враждебным подростком. Мама сделала из брата игрушку, и, гипотетически уважая отца за мужество и интеллект, брат выказывает ему материно пренебрежение.

Мама хотела видеть в брате выдающегося ребёнка и одновременно с этим не давала ему интеллектуально и социально развиваться. Она повторяла рисунок поведения бабушки Ханны, поступавшей с ней ровно так же. Но бабушка всю жизнь работала, у неё было меньше времени и сил, чтобы давить детей, она была значительно образованней, умней и тактичней мамы.

Как большинство совковых жён, мама допускала отца в воспитание исключительно в роли полицейского. И со всей страстью социально нереализованной женщины отдавалась бесконечным внутрисемейным провокациям.

2 марта 1968 года днём папа умер на моих глазах. От него осталась редко посещаемая могила, много-много книг, двое детей, и неправда, которую мама рассказывает себе и всем остальным.

Ещё осталась тетрадь с записями, озаглавленная им «Всякая всячина». Смесь анекдотов, цитат и заметок. Например:

«— Портфель у вас всегда такой пухлый, что вы в нём носите?

— Часть ума и грязное бельё».

«Муж не всегда находит педаль, приводящую в действие клавиатуру женской души, любовник порой тоже терпит неудачу, сын же — никогда. В скорбной повести без любви, так часто являющейся уделом женщины, сын — всегда герой, ему отводится первая, главная роль. Альфонс Доде».

«Слава — хорошая сигара, засунутая горящим концом и пеплом в рот».

«Девушка говорит подруге в троллейбусе: «— Знаешь, оказывается, Гобсек — это литературный герой, а я думала, это сокращение, как Госплан».

«В госпитале лежал моряк, севастополец, раненный в живот. Врач убивался над ним больше двух месяцев. Вылечил и сказал: «Ну, живи теперь».

Моряк ушёл сияющий и благодарный. А через два часа «скорая помощь» привезла в тот же госпиталь к тому же врачу того же моряка. Он попал под трамвай, и ему отрезало обе ноги. Доктор посмотрел на него и сказал: «Вот тебе раз…»

Отец называл маму ЛЮ, как Маяковский Лилю Брик. Несмотря на погоны, на папе всегда лежал налёт ИФЛИвской тусовки.

Как мне не хватало отца в этой жизни, как много хотелось с ним обсудить. В том числе и претензии к нему, к его времени. Впрочем, как говорила Марина Цветаева: «Дети сначала любят, потом судят, потом жалеют родителей».

Глава 5. БЕЗ ПАПЫ

Через несколько дней после похорон отца мне предстояло самостоятельно ехать в интернат с чемоданчиком, набитым вещами на неделю, с проспекта Вернадского до Сокольников, а там двадцать минут на автобусе. Никого не волновало, что я еще маленькая. Оставшись без главы, семья растерялась. Дед не помогал, а тратил деньги на женщин. Мама всенародно осуждала его чёрствость, но денег не просила и не зарабатывала.

Я понимала, что она не способна быть самостоятельной, поэтому пошла в галантерею, купила ей пачку хны и сказала: «Ты должна покрасить волосы и выйти замуж».

Я не знала, что седину на чёрных волосах нельзя закрасить хной.

Я была оглушена тем, что у меня больше нет папы. Но в интернате было понято, что теперь я стала как все, и началось выпихивание меня из привычной роли. Начались конфликты. В шестом классе я начала носить под мышкой книгу «Основы марксистской философии», выписывать оттуда цитаты в тетрадку и пытаться излагать что-то на публику. Классную это насторожило: «Администрация интерната не хочет отвечать за ребёнка, читающего книги не по возрасту».

Книгу пытались забрать, я стояла насмерть. Это была

последняя книга, вышедшая под редакцией отца. Если бы она была по квантовой механике, меня бы это тоже не остановило. Классная была недогадлива, ей бы по-хорошему меня расспросить, я бы сразу объяснила, но она зажгла костёр войны.

Одновременно с основами марксистской философии у меня появились буйные формы. Школьное платье тёрло, Давило и мешало под мышками, и старшеклассницы объясняли мне, где чего ослаблять и выпарывать. Начались облавы на накрашенные ресницы. Густо накрашенные воспитательницы перетряхивали наши матрасы, постели и тумбочки в поисках заветной коробочки с тушью. Оказавшись сообразительней, мы обвязывали коробочку прочной ниткой и спускали за окошко спальни.

Накрашенные глаза, обозначившаяся грудь и цитаты про марксистскую философию дали странный результат. Самые завидные мальчики из старших классов начали со мной подолгу беседовать про умное. Я была убеждена, что их влечёт моё серое вещество.

Роль разбивательницы сердец всегда казалась мне менее интересной, чем интеллектуальный флирт. Но удовлетворенно заметила — мальчики из деревянных домиков, стоящих около интерната, иногда заглядывая в наш лес в отсутствие воспитателей, начали меня примечать. Я им про умное, а они мне: почему вас не выпускают дальше забора, разрешают ли вам есть, если вы опаздываете к еде, приятно ли всё время ходить под конвоем?

Ненавидя интернатскую жизнь, я патриотично намекала на некие её загадочные плюсы. Местные мальчики недоумевали, но приносили мне полные запазухи яблок из своих садов. Яблоками я по недомыслию угощала подруг, снова обозначив исключительность. Трёх яблок оказалось достаточно, чтоб на меня стукнули. Классная в начале первого урока угрожающе сообщила: «На большой перемене тебя вызывает Лиза!».

Это было неслыханно. К персоне допускались самые отпетые — для показательной взбучки, и самые прилежные — для похлопывания по плечу. Но не шестиклассники — такую мелочь она не различала. А главное, не на большой перемене — это означало срочность. Меня провожали, как на костёр. Не могу сказать, что я боялась. Во-первых, за мной никаких грандиозных преступлений не было. Во-вторых, я почему-то с детства начальство всерьёз не воспринимала, это потом в большой степени помешало моей социальной адаптации. Было интересно посмотреть на Лизу вблизи и себя показать.

В кабинете, набитом вымпелами, кубками, грамотами и знамёнами, сидела Лиза. И смотрела в бумаги стеклянными

глазами. Прошло несколько минут, пока я стояла столбом между бюстом Ленина и сейфом. Не подозревая о существовании номенклатурных способов опускания посетителя, я решила, что раз она пожилая, значит, глуховата и проорала о своём приходе. Лиза подняла на меня раздражённые глаза и выдохнула: «Тебе чё, в нашем интернате не нравится?».

Я поняла, что она вызвала меня на совещание и собирается в дальнейшей работе опираться на моё мнение, и потому бойко начала излагать плюсы и минусы жизни специнтерната № 31. Я была из тех детей, с которыми взрослые любили побеседовать как бы всерьёз. Я встала на цыпочки и распустила весь павлиний хвост. Выдержав меня минут пять, она тяжело вздохнула и сказала: «Давай отсюдова!»

Я окаменела. Я ждала награды или расправы, изысканно хамила и провоцировала, но она даже не оживилась. Она встала и выпихнула меня из кабинета, как корову, зашедшую на чужой огород, со словами: «Пошла! Пошла отсюдова!».

Она поняла: «много умничает, надо убрать», остальное ей было совершенно неинтересно.

— Ну? — окружили меня одноклассники.

— Дура какая-то, — обиженно сказала я. — Двух слов связать не может.

Прошла неделя. Классная сказала, что Лиза вызывает маму. Я ответила, что мама не ездит на общественном транспорте. То ли из моего поведения Лиза сделала вывод, что покойный отец был очень крупной номенклатурой, то ли она боялась, что мама напишет жалобу, а формальных причин исключения нельзя было даже придумать — я была гордость класса. Она посадила меня в интернатский автобус, и мы поехали к маме. Я понимала, какой чести удостоена, и пыжилась от гордости. Дорога была не ближняя, и я долго излагала свою жизненную философию. Лиза кивала, задавала вопросы, и к концу пути мне казалось, что мы подружились. Я, видимо, даже разбудила в ней что-то человеческое, но человеческое у неё никак не было связано с производственным.

Разговор с мамой проходил за закрытыми дверями. Когда Лиза уехала, мама изложила подробности. Оказывается, оба шестых класса из-за меня стали неуправляемыми. Оказывается, я хожу с книжкой философии под мышкой и подпала под «чуждое» влияние («Основы марксистской философии»?), из чего следует, что я скоро принесу в подоле.

— Что такое «принести в подоле»? — спросила я.

— Родишь ребёнка, — пояснила мама.

— Разве можно родить ребёнка в 12 лет?

— Она считает, что можно.

— Но ведь я ей всю дорогу объясняла, что вообще не собираюсь иметь детей, потому что всю жизнь буду изучать и преподавать философию!

— Просто не верится, что это директор, у неё вид и речь уборщицы, она, наверное, из ткачих, — брезгливо предположила мама.

Я подозревала их в тайном сговоре — ну не могли же меня действительно выгнать за яблоки и марксистскую философию. Все девочки старших классов были сексуально озабочены, на их фоне я скорее выглядела придурочной с книжкой, чем потенциальной «приносильщицей в подоле». Из визита Лиза поняла одно: мама не опасна, ей всё по фигу, можно не церемониться. Было решено, что я последний раз еду летом в лагерь, потом ложусь на операцию, а оттуда возвращаюсь в обычную школу. Маму не волновало, что интернатская программа отстаёт от обычной школы на полгода, Лизу — тем более. Мне не хотелось терять лишний год и идти обратно в шестой. Предстояло обмануть всех, сталкивающихся с моим дневником и моими знаниями. Что большой кровью, но удалось.

Самым сильным местом интернатской жизни был летний лагерь, когда вся межпуха перемещалась в здание аналогичного одесского интерната. Туда не брали самых маленьких, самых тяжёлых и самых отпетых, зато все сотрудники пристраивали на халяву своих детей и детей своих друзей.

В шесть утра на жутком холоде мы строились по горну на уличную зарядку. Физрук, бывший спортсмен и местный секс-символ, рычал в мегафон. Его мятое лицо и мутный взор свидетельствовали о многообразии курортного досуга. По рассказам старшеклассниц, ни одной из них не пропустил; впрочем, могли и врать. В холодном сизом воздухе мы, дрожа, разминали озябшие руки и ноги. На столах под навесом стояли стаканы бордового виноградного сока и лежало печенье; от сока становилось ешё холоднее. Потом путь на пляж длинной шокирующей гурьбой. Прохожие столбенели от этого босховского зрелища, наиболее азартные дети обращались к ним возгласами: «Закрой рот — кишки простудишь! Не споткнись на повороте!».

На отгороженном пляже, лёжа на топчанах, мы снова делали лечебную гимнастику под мегафон, затем отрядами ходили на 10 минут в воду. Провинившихся лишали моря как компота. После пляжа и завтрака в раскалённых автобусах час ехали в загородную грязелечебницу Куяльник, где в немыслимой духоте загорелые студенты опрокидывали на наши дефективные ноги и руки вёдра обжигающей грязи. Когда пытка кончалась,

возвращались в духовке автобусов, подбадривая себя блатными и патриотическими песнями.

Обед. Тихий час. Тошнит от жары и слабости. Я плохо переношу жару, весь день пребываю в полуобморочном состоянии, начинаю соображать только ночью. Жаловаться некому, страна и так учит и лечит неполноценных неблагодарных ублюдков. После тихого часа общественная жизнь — грядут даты, слёты и смотры. Вечерний визит к морю, окрашенный тёплой водой, поразительным закатом и песнями Рафаэля из репродуктора. Ужин. Отчётная линейка. Горн отбоя. Как только дети оказывались в постелях, взрослые линяли с территории лагеря, и в палатах начинался разгул: мазанье друг друга пастой, наливание в тапочки варенья из посылок, завязывание чужой одежды узлами. Мы стояли у ограды, рассматривая соседний ресторан, в котором играл оркестр, и на веранде грузины в белых штанах приглашали танцевать крашеных блондинок. Мы лазили в соседние с лагерем сады, воруя фрукты. Обсуждали личную жизнь не слишком стеснительного персонала. Пахло морем, домашней едой с дач, хотелось плакать, хотелось убежать и переплыть по морю в Турцию, хотелось побыстрее вырасти. К утру всё немного унималось, тут и звучал горн подъёма.

Высшим проявлением сотрудничества с коммунистами была моя должность председателя совета отряда, но продержалась я на ней не долго. В библиотеке пионерлагеря был детектив, герой которого отрезал ножницами ресницы, после чего они отрасли так, что на них можно было класть несколько спичек. Мы достали ножницы в медпункте, и девочки отряда вслед за мной порешили всю растительность на глазах. На нас стукнули, была срочная линейка, меня выгнали из председателей совета отряда, объяснив, что из таких, как я, вырастают… (Напомню, что было лето между пятым и шестым классом, и стрижка ресниц диктовалась не интересом к противоположному полу, а жаждой эксперимента. Тем более, что отросшие ресницы оказались хуже прежних.)

На этой линейке процитировали стихи Сергея Михалкова: «Сегодня он играет джаз, а завтра — Родину продаст». Стихи меня совершенно потрясли — я знала от взрослых, что джаз — это «музыка толстых», но к пониманию того, что полнота является формой готовности к шпионажу, была не готова. С другой стороны, Михалков написал гимн и «Дядю Стёпу». Еще было совершенно не ясно, как теперь относиться к разъевшимся на харчах для больных детей толстым воспитательницам.

На хорошее лагерное футбольное поле прибегали постучать мячом местные, предводительствовал ими загорелый парень,

играющий, по слухам, в юношеской сборной. Все девчонки, включая меня, были влюблены в него. Администрация решила сделать общественное мероприятие и назначила матч местной команды против наших, наиболее здоровых, но всё-таки воспитанников специнтерната. Никому из лагерной верхушки идея не показалась запредельной. На линейках зазвучали призывы постоять за честь интерната, и наши тренировались — вместо моря и тихого часа.

Одесситы выиграли со счётом 30:0. Как одну из самых хорошеньких девочек, меня вытолкнули вручать приз победителю — керамическую статуэтку и цветы. Одесский красавец на зависть девчонкам поцеловал меня в щёчку, взял керамику, повертел цветы и в связи с их полной нефункциональностью отдал обратно. Ухмыляющейся толпой они побежали купаться, а нас построили на линейку и поздравили с общественно значимым событием. Мальчикам, глядящим в землю, напомнили про Маресьева и пожелали спортивных успехов. Щёки пылали у меня под загаром. Первый поцелуй оказался связанным с общим бесчестьем.

Седьмой класс я начала в больнице. В интернате трудилась бойкая чета ортопедов, поставлявшая пушечное мясо филиалу ЦИТО в военном госпитале. Я второй раз в жизни глянулась под тему диссертации — мне честно объяснили, что операция нужна не для меня, а для науки. Я привезла маме из интерната бумагу о согласии на операцию, и она без лишних раздумий подписалась. Плохо понимая, что такое операция, я радовалась, что за время больницы догоню объём учебной программы и вернусь в родной класс.

Оказавшись в госпитале, я быстро выяснила, что мне нужна другая операция, но никто даже не обсуждает, что мне её можно сделать — операция была сложная, делали её профессора, а чтобы попасть на консультацию профессора, нужно было наличие заинтересованных взрослых и взятка. Я подняла ор, но мама не желала дискутировать — в вопросах, не касающихся лично её, она доверяла советской медицине как господу богу.

Нет никого просвещённей оперируемых детей, потому что они ужасно боятся. Больничный фольклор передаётся из уст в уста. Новенькие получают опыт соседей по палате, большинство попадает на вторичные операции, приезжает на консультации, пишет письма в палату, в которой он уже никого не знает, и ему отвечают новенькие. Большинство мифологических персонажей реальны, и истории их вопиют: третьей операцией исправляли вторую, пятой — четвёртую. Советская ортопедия находилась на

уровне русско-японской войны, а безнаказанность врачей была выше, чем в среднем по стране, — родители, закомплексованные детскими изъянами, прав не качали.

Я безумно боялась операции… Конечно, в четырнадцать лет у меня не было никакой информации о ней, кроме страшилок. Чёрное железное слово «операция» означало одновременно и приговор, и звание после его исполнения. Ребёнка быстро переводили в общую палату, где он проходил тест на мужество, эдакий обряд инициации. Как все дети здесь, я не подозревала, что нормальный человек должен плакать и просить обезболивающее если ему больно.

— Всего-то делов, — сказала лечащая врачиха, дурно пахнущая «Красной Москвой». — Я тебе разрежу голень, наскребу с кости стружку, потом разрежу сустав, зацементирую его этой стружкой, а потом разрежу сухожилие и подкорочу его.

— Но ведь это больно, — меня тошнило от страха.

— Чего там больно? Ты будешь под наркозом, считай, что тебя вообще не будет, — пояснила она и ушла, цокая каблуками.

Туда везли на каталке подземным, длинным, как жизнь, тоннелем. Белая ночная рубашка и жёсткость операционного стола под лопатками. Но соседству мужчина в зелёном потрошит бедро маленькой девочки, кровь льётся ему на бахилы, вокруг кокетничающие и хихикающие сёстры. Я ничего не соображаю от страха, резиновая маска отнимает последний воздух. Слышу шершавый хруст собственной кости, с которой, как у Буратино, снимают стружку. Потом опрокидываюсь во что-то чёрное и бездонное…

Я просыпаюсь в палате в облаке кошмарной боли и луже крови, которая капает сквозь багровый гипс. Операция длилась несколько часов, но кажется, что прошёл месяц. Боль невероятная, даже не вериться, что так бывает. В дырке между двумя уколами наркотика кусаешь губы, всякий глубокий вздох проезжает по телу, как танк. Через три дня начинаешь осматривать новую палату, тут тебя и возвращают в прежнюю, где в тесноте и духоте живёт пятнадцать измученных девочек, где они учатся, едят, ругаются, вяжут, вышивают крестиком, ходят на судно и пишут любовные записки на этаж мальчиков.

В палате для самых маленьких — сорок крошек, загипсованных, обписанных, сопливых и грязных. В корсетах и распорках, они падают с кроватей, дерутся, плачут, переворачивают горшки, просят конфету, а главное, стоят часами, расплющив нос о стеклянную дверь, и ждут, когда придёт мама. Мам пускают раз в месяц, предварительно устроив потёмкинские деревни. Раз в месяц, считают эти ублюдки, достаточно. Вечно

пьяный лифтёр дядя Дима за рубль нелегально спускает вниз детей постарше. В кафельном подвале матери кидаются на болезных чад, ласкают, тискают, пихают в рот вкусное, воровски озираясь и смахивая слёзы. Если попался — пропал, ребёнка могут выписать.

Ортопедическое отделение находится в военном госпитале. На процедуры и обследования нас таскают в вотчину жирных дядек в синих пижамах, которые защищали Родину для нашего счастливого детства. Дядьки живут как короли. Их кормят в сто раз лучше. Им показывают каждый день кино, а у нас даже нет телевизора. Родственники сидят у них в палатах целый день, улица им не запрещена. Их лечат, на нас ставят опыты. Они заслужили, мы — наоборот.

Между нашей палатой и палатой мальчиков, этажом ниже, налажена оконная почта на верёвочках. Прелесть эпистолярных романов состоит в том, что лежачие не видятся друг с другом. Ведь встретиться можно было только на процедурах и у телефона-автомата. Я влюбилась в синеглазого брюнета из девятого класса, писала ему умненькие записки, а ответы оказались ещё круче. Изредка видясь издалека, мы делали вид, что это не мы. Перед выпиской он письменно сообщил, что уезжает в другой город, обещает помнить до могилы, но адреса не оставил. Сердце моё было навеки разбито…

В семнадцать лет у меня будет платоническая любовь с шестнадцатилетним сыном известного человека, и он расскажет историю трёхлетнего лежания в госпитале с переломом позвоночника и писания записок за всю палату мальчиков. В том числе и за синеглазого брюнета, ставшего на ноги после тяжёлой спортивной травмы. Тринадцатилетнему «Сирано» в это время давали мало шансов на возвращение в вертикальное положение. Но ненависть к родителям, после развода занятых личной жизнью и обещавших пожизненно сослать его, прикованного к постели, в деревню к бабке на свежий воздух, заставила его встать на ноги.

Прошло время, и лечащая врачиха разрезала мой гипс страшными огромными ножницами, которыми подстригают кусты. Я увидела измученную ногу с чёрными нитками швов и заревела, потому что было страшно на неё встать. Меня назвали избалованной истеричкой. Через неделю в гипсовом, снимающемся на ночь туторе я уже ходила, бегала, прыгала, танцевала.

Итак, я прошла обряд инициации на операционном столе. Была горда собой и вступила в братство «тех, кто вёл себя после этого прилично». Потом, встречаясь на консультациях, мы

многозначительно переглядывались. Тогда я не понимала, что это напоминает анекдот про то, как один верблюд встречает другого в пустыне и говорит: «Всё-таки, чтобы там о нас ни говорили, пить-то хочется…»

Глава 6. ЮНОСТЬ

Нога долго оставалась в гипсе, и директор моей прежней школы разрешил мне носить под форму штаны. Так я стала обладательницей моднейших клешей, в разгар борьбы с женскими брюками. Почти не было учителя, который завидев меня, не покрывался алыми пятнами гнева и не начинал сдирать их с меня. Демонстрация гипса и ссылка на директора только возбуждала, меня почти за ухо волокли к директору и, получив подтверждение, почему-то не извинялись, а негодовали ещё больше.

Одноклассники казались совсем маленькими детьми. Они не знали, что такое боль, что такое настоящее унижение и как ему противостоять. Они не умели и не желали пользоваться отпущенными здоровьем и свободой. На фоне больничных и интернатских детей они казались немного дебильными, а интриги их выглядели детсадовскими.

Самоутверждаться в школе было не на чем. Сочинения, которые я писала руссичка с внешностью и представлениями продавщицы из молочного отдела возвращала с припиской «Работа написана не самостоятельно». «Признанная поэтесса» в интернате и больнице, здесь я ни на что не годилась. Поехав на районную олимпиаду по литературе, бойко надругалась над Расулом Гамзатовым и дружбой народов, и больше меня не посылали. Как-то на школьном вечере я читала стихи в очень короткой юбке, чтоб потрясти воображение мальчика с гитарой. В стихах присутствовали «пацифист с гитарой», «вьетнамская девушка», «американская хипповка», «Ричард Никсон» и т. д.

— Ну, как? — небрежно спросила я избранника после выступления.

— Хорошо читала. Громко, — оценил он.

— А текст? — не поняла я.

— Да я уже читал их в «Комсомолке», — зевнул герой на всю жизнь отбив у меня охоту охмурять мужчин литературным дарованием.

В массовой школе все очень рано понимали, какие стратегии существуют на будущее, педагоги предрекали: «Этот поступит в институт! А этот — пойдёт к станку!» Вовсю шли игры с комсомолом. Комсомол на меня охотился потому что я была активная, но я стояла насмерть. Пугали, что без этого не будет высшего образования. Это входило в противоречие с планами на жизнь, но я не сдавалась. Еще в восьмом классе я составила «План

жизни» и очень смеялась, обнаружив его недавно. «Двадцать лет — поступление в университет. Тридцать — первый ребёнок и кандидатская. Сорок — второй ребёнок и докторская. Пятьдесят — член-корреспондент Академии наук». Вакансию мужа в планах занимал романтический возлюбленный, тоже сначала кандидат, потом доктор, потом академик — иначе о чём с ним говорить. Собственный облик рисовался в строгом пиджаке, очках и с пучком волос, за чтением лекций студентам. Удивительно, но это было очень близко к образу первой жены отца, о которой я тогда ещё ничего не знала.

В восьмом девочки начали курить в туалете, важно говорить о наркотиках и смотреть заграничные порножурналы, краденные у родителей. А ведь ещё совсем недавно делали «секретики» — трогательный, незаслуженно забытый эстетический жанр. Для «секретика» было необходимо стёклышко, фантик, лоскуток, цветок, камушек, фольга от конфеты, хороший вкус и укромное местечко. На земле создавалась композиция, накрывалась стёклышком и сверху присыпалась землёй. «Секретик» можно было смотреть сто раз в день, разгребая землю пальчиком, показывать, посвящать, дарить. Порножурналы воспринимались как «секретики» нового поколения.

В школе у меня была масса подруг, но я точно знала, что в жизни меня ждёт другая, «своя» компания. И тянулась к центру, где в переходах стояли лохматые хиппи в разрисованных штанах, где университетская молодёжь громко спорила о боге, прохаживались фарцовщики с обложками дисков немыслимой красоты, где слово «Таганка» произносилось как слово «свобода», куда не пускали людей, среди которых я живу, и где был вечный праздник.

В девятом классе я попала в Школу юного журналиста при факультете журналистики МГУ. Я не знала, что именно в этих стенах в своё время учился мой отец, но сразу возникло ощущение, что пришла «к своим». Несколько десятков литературно ориентированных старшеклассников под руководством аспирантов и студентов изображали взрослую свободную жизнь. Мы выясняли, что должен читать, как должен писать настоящий журналист и какая мразь вся современная журналистика. Для нас вели семинар социологии по лекциям запрещённого профессора Левады, и мы конспектировали их в тетрадках, обклеенных фотографиями группы «Битлз». Нас обучали основам ремесла и давали запрещённую литературу, поощряли слушать вражьи голоса и отправляли в многотиражные газеты на практику.

Конечно, среди «шюжевцев» были и люди, цинично

ожидавшие рекомендации на журфак, но в основном это было сумасшедшее содружество подростков, которым всё разрешили. ШЮЖ открыл двери во все литературные объединения Москвы, выслушал и оценил мои опусы, дал почувствовать себя серьёзной и взрослой. В школе я уже училась чисто формально.

Отношения с мальчиками вынужденно начались в седьмом классе. У подружки был возлюбленный, неотёсанный амбал товарного вида, у амбала был друг, менее неотёсанный и вполне изысканной внешности. Он звонил мне по телефону и дышал в трубку… Он вполне годился для свиданий, объятий и поцелуев, но он был ровесник. А я уже была существом опытным, начитанным, отчётливо держала его для свиданий, а для «души» заглядывалась на сложных и взрослых.

Шустрый студент режиссёрского факультета, отслуживший армию, склеил меня в метро. Я начала бегать к нему, а точнее, к его компании. Дело было летом, родители студента отдыхали, и в квартире происходило богемное пьянство. Отношения не заходили далеко, потому ему совсем не хотелось трубить срок за несовершеннолетнюю, а мне — начинать половую жизнь с проходного варианта. Я была влюблена в компанию взрослых, весёлых, театральных парней, занимала в ней свою нишу и была так глупа, что описывала всё это в дневнике. Слава богу, что я не описывала остальных поклонничков, вроде вокалиста из ресторанного ансамбля, заставлявшего меня читать стихи перед его дружками и очень гордившегося мной на фоне официанток из той компании, или матроса-грузина, писавшего мне поэтические письма.

Исследовав дневник, мама и брат неделю не выпускали меня из дома, после чего внутреннее стекло было навсегда опущено. После этого я, конечно, ещё много лет поддавалась на их манипуляции, но в частное пространство уже не пускала.

Мрачная Москва семидесятых. Вокруг выезжали как могли, бунтовали как умели. При каждом жэке шуршало литобъединение, в каждой мастерской художника ругали советскую власть и пили водку на заработанные на её заказах деньги. Неустроенные юнцы и неопрятные старцы изо всех сил охотились за молоденькими девочками, выдавая себя за непризнанных героев. Девочки с полными ушами лапши принимали их за таковых — им хотелось понимания, информации, самиздатовских книжек и умных разговоров; всё это предлагалось в обмен на постель. Другие девушки в эти компании не попадали, а гнали средний балл аттестата, суетились за

характеристику и комсомольские завязки, от которых зависело поступление в вуз.

Мне было проще, опыт почти тюремного выживания в больницах и интернате позволял не есть пуда соли, чтобы видеть, от кого держаться подальше. Но то, что я, молодая, красивая, начитанная и бунтующая, никому из немолодых бунтующих не нужна и не интересна, пока не позволю залезть себе в нижнее бельё, тоже было для меня огромным обломом. Мне нужна была среда, но я нужна была среде только как молодое тело.

По центру расцветали хиппи.

— Мы свободные люди, — объясняла двадцатилетняя хипповка, изгнанная с журфака за вольнодумство. — Я вчера зашла в вагон метро в пончо на голое тело, села на пол и начала вслух читать Евангелие. Конечно, мне скрутили руки, отволокли в ментовку, избили. Но я выполнила свою миссию!

С ужасом я представляла, как можно без нижнего белья сесть на пол метро, и понимала, что хиппи «такого высокого уровня» из меня не получится. Отсутствие белья было формой протеста не против его качества, а против качества системы. Мы демонстративно снимали бюстгальтеры. За это выгоняли с уроков и лекций, крича о доступных женщинах. Появились длинноволосые люди, ходящие по городу босиком. Милиция дрожала от злобы и не пускала их в метро. Тогда они брали с собой шлёпанцы, надевали их, проходя через турникеты, и снова разувались. Государство считало наши бюстгальтеры и обувь собственной компетенцией.

Моего приятеля, читающего в метро ксерокс «Мастера и Маргариты», попутчики, заглянув через плечо, сдали в ментовку. Там ему дали в зубы, забрали рукопись и позвонили в институт, откуда он был немедленно отчислен. Мою подругу забрали на улице в джинсах, показали ей свидетелей, готовых подтвердить, что она занималась проституцией, и довели до суицида. Слава богу, её спасли.

У меня всегда были дивные подруги. С Таней Александровой мы познакомились в пятнадцать лет в ШЮЖе. Она была красавица в максимально короткой юбке, максимально обтягивающей кофте-лапше, с беломориной в зубах, девяносто процентов её словарного запаса составляли ненормативные выражения, а остальные десять — слова-связки типа «экзистенциальный, брутальный, трансцендентный». Мы тогда все старались так разговаривать.

У нас была веселая жизнь и очень мало красивой одежды. Она отдалась своему первому возлюбленному в моей кофте, а я

познакомилась со своим первым мужем в её куртке. Недавно сидит у меня Танька, мы уже такие солидные тётки, она — директор студии и издательства, я тоже чего-то там… Звонит телефон, сообщают, что завтра я кому-то вручаю премию в вечернем платье.

— Танька, — говорю я. — У меня нет вечернего платья.

— У меня есть одно, общее на всю студию, я его всем даю, когда надо. Хочешь, я сейчас за ним водителя пошлю? — отвечает Танька.

— Нет, — говорю я. — Пойду в чём есть. А то нам сорок лет, а у нас опять одна шмотка на двоих. Мне кажется, когда нас будут хоронить, мы опять одну приличную вещь наденем по очереди.

Однако на юбилей Георгия Сатарова я сломалась, напялила общестудийное вечернее платье на одно плечо — и была одна, как дура, в вечернем среди дамского номенклатурного бомонда, начинавшегося с дочери президента и кончавшегося жёнами кремлёвских интеллектуалов. Вообще, если написать воспоминания переходящего общестудийного вечернего платья, то оно представлено всей европейской элите — не потому, что у сменных в нём тел нет денег, а потому, что у них нет времени… и привычки к наличию вечернего туалета.

Ох, как мы с Татьяной когда-то погуляли по крышам. Миф о качестве женских дружб придумали мужики, сильно преувеличивающее своё место в жизни женщин. Как «ценность любви определяется достоинствами любящих», так и ценность дружбы состоит из числителя и знаменателя дружащих. Я вообще долгое время была уверена, что с мужчиной можно только заниматься сексом, всё остальное гораздо интереснее делать с подругами. С возрастом и ростом правозащитного сознания у меня в голове наладилось, и я расширила мужскую компетенцию в мире до женской, но в юности казалось, что приключения с мужиками существуют для того, чтоб обсуждать их с подругами. Никакой «сверхценности» противоположного пола мы не признавали, за это нас считали распутными и доступными.

Жизнь начиналась после школы и проходила по трассе журфак — труба — москварь. Хиппи в чистом виде тусовались в диапазоне переход метро «Проспект Маркса» (ныне «Охотный ряд») — «труба», улица Горького (ныне «Тверская») — «стрит», памятник Юрию Долгорукому — «квадрат», кафе «Московское» (ныне ресторан «Крабхаус» — «москварь»). Слоган звучал «Со стрита на квадрат и с квадрата на стрит! Вам это что-нибудь говорит?».

В пятнадцать лет, бесшабашные и хорошенькие, глупые и пижонистые, окружённые плотным кольцом серых

тридцатилетних поклонников, не понятых жёнами и системой, мы поселились в кафе «Московское». Наши хахали, не способные бороться и не готовые сотрудничать с системой, с удовольствием болтающиеся вокруг нашей юной плоти и выдаивающие из этого какую-то эмоциональную жизнь, были идеальными «лишними людьми» семидесятых. Ни на что индивидуально-телесное они не претендовали, зная, что не обломится, вешали нам лапшу на уши, кормили, поили, ощущая себя взрослыми и значительными в кафе «Московское», где густые клубы дыма обрамляли их байроновский сплин и наши детские мордашки.

Мы их почти не различали, обменивали друг другу как джинсовые юбки и дешёвые украшения. Помню одного милого отъезжанта в Израиль, раз шесть передаваемого из рук в руки в недрах нашей девичьей компании, но так и не понявшего комизма собственных любовных метаний.

В летний сезон все вокруг начали стремительно терять то, что взрослые свирепо называли «девичьей честью». Воспитанные на русской литературе, мы совершенно не понимали, почему мужская честь охраняется дуэлями, а женская — отказом от половой жизни. Почему у мужчины она категория нравственная, а у женщины — физиологическая. И много дискутировали об этом. Одна моя экстравагантная приятельница, старше меня, совершенно книжная и не озабоченная противоположным полом, разобралась с родителями, достающими её идеей сохранения девственности, специфическим образом. После скандала по поводу её позднего возвращения с литературного вечера она лишила себя девственности бутылкой, внесла окровавленную бутылку в родительскую спальню и предложила им наконец успокоиться. Это был сильный ход, родители не смогли переварить его логики, но на всю оставшуюся жизнь отвязались от неё с идиотским контролем.

В нашей компании решение проблемы планировалось более традиционным способом. Летняя круглосуточная гульба по компаниям и дачам, квартирные выставки и музыкальные сейшены, чтение запрещённых стихов и споры о боге и советской власти под затяжку травки, платонические романы с их искренностью и истеричностью настраивали на роковые истории. К счастью, наркотики на меня не произвели впечатления (так же, как и алкоголь), и наши отношения не сложились ещё до того, как на моих глазах от этого начали погибать люди.

Помню, ночью мне позвонила Танька и голосом, полным тайны и самодовольства, назначила встречу. Я с завистью поняла, что этой ночью из школьницы она превратилась в «опытную женщину». Встреча была назначена в Пушкинском музее на

банкетке в зале импрессионистов, там у нас было местечко для особо важных разговоров. Умирая от зависти и любопытства, я начала листать записную книжку — увы, героя не было, а начинать половую жизнь со статистом было неинтересно.

Видимо, я начала бессознательно материализовывать этого героя, и как у человека с сильной энергетикой у меня получилось. Я стояла у метро «Кропоткинская» и ждала Таньку для похода в Пушкинский. На мне была вязаная из малинового ириса майка с бахромой, видавшие виды джинсы и взрослое количество косметики. Понять, сколько мне лет, было невозможно. Герой долго ел напротив меня мороженое, а потом решился подойти, представился художником и попросил попозировать. Он был высок, плечист, патлат, усат, добр, мятоват. Короче, вышел всем.

По городу всегда бродит уйма климактерических дядек, размахивающих удостоверениями разных типов и зовущих девушек сняться в кино, для журнала, заняться групповым сексом и т. д. Герой был не из этих. Он рефлектировал двадцать четыре часа в сутки, и это мешало ему рисовать. Мастерская была пестра, пыльна и романтична, как все мастерские непреуспевающих художников в глазах романтических школьниц. В ней было всё необходимое для любви: пластинка Битлз, душ, шампанское, арт на стенах и капающая с потолка вода в ведро, оклеенное заголовками газеты «Правда». Ему было тридцать, мне, по моему сценарию, восемнадцать. Во мне была влюблённая дрожь, а в нём хотя и базирующееся на половом интересе, но всё-таки желание рисовать.

Сначала я устала сидеть. Кстати, последующая работа натурщицы была самой тяжёлой из работ в моей жизни. Потом я устала рассказывать истории из своей «журфаковско-студенческой жизни». Потом устала слушать, что у меня уголки губ «от Мане», тем более, что никогда не отличала Мане от Моне. Я встала и начала красиво раздеваться, со вкусом бросая одежду на давно не мытый пол. Конечно, дебют был густо отрепетирован дома перед зеркалом и осуществлялся с балетно-постановочной жёсткостью, но гарантии, что он правильно откликнется, у меня не было до последней секунды.

Он окаменел и выронил уголь. Герой не рассчитывал на успех в жизни в принципе, и немедленный успех поверг его в состояние ступора. Наконец он хлопнул стакан коньяка и бросился на меня, как Матросов на амбразуру. Конечно, ближайшая подруга сильно романтизировала этот шаг. В моей памяти остался только нежный шёпот партнёра и вкус сданного экзамена. Потом, обнявшись, мы стояли перед его «настоящими» авангардистскими работами, я выдыхала «гениально!», а он ябедничал на советскую власть, не

дающую развернуться.

Всё было здорово. Я приходила в мастерскую, мы болтали, занимались любовью, принимали гостей. Он воодушевлялся моими стихами, я — его картинами. Всё было дивно, но я ждала шекспировских страстей. Он предложил поработать натурщицей у друзей-живописцев, потом в скульптурной мастерской. Сначала было страшно как перед операцией, но я успокоилась, как только поняла, что мы все здесь работаем. И неизвестно, чья работа тяжелее, потому что взрослые мужики заботливо принесли мне кофе через первые сорок минут и сказали: «Встань, походи минут десять, а то очень устанешь. И на ночь прими ванну, в которую высыпан пакет соли». Мне платили пять рублей в час. Это было невероятно много для моего бюджета.

Вдруг позвонила жена.

— Ты женат? — чуть не свалилась я с дивана.

— Какая разница? — удивился он.

— Может, у тебя дети есть? — съязвила я.

— Сын и дочь.

К такому повороту я была не готова. Не ревность сводила железные пальцы на детском горе, а полная растерянность. Я совершенно не знала, как вести себя в новых обстоятельствах, подруги тоже не знали. Ага, если наши отношения не похожи на извергающийся Везувий, значит, он любит жену, а у меня для этого дела нос не дорос! Значит, он должен немедленно развестись с женой. И я предложила это ему с большевистским напором — так, на мой взгляд, должна была вести себя восемнадцатилетняя студентка, под которую я косила. Он вяло оправдывался, я закатывала сцены, хлопала дверьми, он догонял, обзывал экстремисткой.

Не то, чтобы в моём мозгу роились конструкции несовершеннолетнего похода во дворец бракосочетания с взрослым дяденькой. Просто он был такой милый, такой добрый, что мне хотелось удочерения, ведь мама и брат не давали ощущения семьи и опоры. «А дальше думать было лень», как писала любимая нами в те годы Ахмадулина.

Все закончилось, когда мы шли под дождём по Гоголевскому бульвару, и он разглагольствовал по поводу какого-то партийного заказа, что и независимым быть хочется, и чтоб семья не умерла с голоду. Я, активная некомсомолка, сказала ему всё, что накопилось, он мне — тоже. С возгласом «Больше не желаю тебя видеть!» я остановила первую попавшуюся машину и красиво уехала в пелену дождя, окутанная его взглядом, означавшим «как я устал от выходок этой дуры, но она всё равно никуда не денется!». Это был финал. Я понимала, что будет больно. Но не

больней же, чем после операции, а терпеть я умею.

Поскольку я была дочкой медицинского работника, то летом перед второй тяжелейшей операцией, вместо того, чтобы отдохнуть, работала в регистратуре материной поликлиники. Я бегала с карточками, утешала больных стариков, строила глазки простуженным бугаям и заработала первые в своей жизни деньги, потратив их на первые в жизни пристойные шмотки. Обида на художника умножалась ещё и на то, что он не заметил на мне в этот день модного прикида, за который я два месяца дышала пылью регистратуры, а на меня дышали разнообразными микробами.

Учтивый лысый дядька в «Волге» утешал меня, уверяя, что всё наладится, а размазанная слезами косметика только испортит личико. Дядька сообщил, что он лётчик, что у него такая же дочка, как я, собака сеттер и жена — учительница. Что он готов взять меня как молодого журналиста на аэродром, всё показать и пустить в кабину самолёта, потому что его дочку зовут так же, как меня.

Через неделю дядька позвонил, подъехал за мной, и мы отправились во Внуково. Солнце светило, лес шелестел по краям дороги, и жизнь выглядела перспективно: первый раз я ехала на крупное журналистское дело и предвкушала, как зачитаю в Школе юного журналиста материал об аэродроме. Внезапно дядька резко свернул с трассы и с сухим «так ближе» начал забираться в чащу. Я продолжала щебетать, пока, резко затормозив, он не начал сдирать с меня одежду. Я была так потрясена, что не сразу начала кусаться и царапаться. По моему пятнадцатилетнему представлению, насильником никак не мог быть холёный дядька в лётных погонах, владелец собаки-сеттера, жены-учительницы, дочки — моей тёзки и машины «Волги», в которой я отбивалась от его сопящих объятий. У меня были длинные ногти, я начала царапаться, и, обнаружив кровь на собственной щеке, дядька связал мне руки лётчицким галстуком. Я заревела от унижения и беспомощности и вдруг сообразила:

— Там у меня в сумке паспорт, я несовершеннолетняя, я запомнила номер машины!

Изменившись в лице, дядька достал паспорт, потом молча развязал мне руки, надел галстук на жирную шею и повёз меня обратно.

— Слушай, — сказал он, остановив машину недалеко от моего дома. — Хочешь шубу?

— Какую шубу? — обалдела я.

— Натуральную. Я буду давать тебе деньги по частям. Хочешь?

— Мне не надо шубы! — заорала я, мечтая только выбраться из этой машины.

— Подумай, — сказал он требовательно-назидательным тоном, которым обычно взрослые говорили «Четверть кончается, посмотри в свой дневник, надо исправить все тройки и четвёрки». — Ведь свяжешься с какой-нибудь шпаной. А я приличный человек. Позвони мне. Позвони, пожалуйста.

Дрожа от страха и брезгливости, я удирала в подъезд. Я была шокирована. Понятны и радостны отношения с художником по обоюдному интересу. Но навязывающая себя пожилая плоть лётчика сбивала меня с толку. Почему мне можно наврать — пообещать аэродром, а устроить лес? Почему можно связать руки человеку за то, что ты ему неприятен? Почему можно оценить моё желание в стоимость шубы? Почему ему потом не было стыдно передо мной, как будто меня просто нет?

Но ведь я не считаю себя телом. Я отношусь к телу, как к платью, в котором пристойно выглядишь. Ведь «я» не там, и само по себе оно ничего не означает. Лётчик дал мне понять, что, процитируй я хоть всего Гегеля, проблему можно решить с помощью галстука и шубы.

Мне только исполнилось шестнадцать, и я всё время носила с собой паспорт из-за облав на стриту. Я ещё не знала слова «феминизм», но всё равно считала, что если я накрасила глаза, а мужчина считает, что это сигнал к сексу, то он слишком много на себя берёт. Потому что я сама решаю, кто до меня дотронется, а кто нет, и никто никогда за меня этого решать не будет, какой бы дискомфорт он при этом ни испытывал. Проблема была в том, что нам долбили «уважай старших», и, послав дяденьку в «Волге» к жене, дочке и собаке сеттеру, я чувствовала себя нахамившей классному руководителю.

Заклинание «права человека» я выучила уже тогда. На стриту всех джинсовых, лохматых и к ним примкнувших регулярно сгребали в машины и волокли в ментовку. Там держали ночь на каменном полу, били и пугали. Это называлось «проверка паспортного режима». Мальчиков провоцировали на драки и пытались впаять срока, девочек насиловали прямо на милицейских столах, обещая в случае отказа устроить статью «связь с иностранцами». Со мной такое случиться не могло, у меня был опыт отстаивания себя от домашнего, интернатского и больничного насилия.

Приёмы опускания в ментовке были тюремными, меня этим не удивишь, я это хавала в интернате. Видя не испуганную и не канючащую «дяденька, отпустите» девочку, меня принимали за прожжённую и обращались трёхэтажным матом. Я отвечала на

вопросы предельно коротко, предельно корректно и задавала только один.

— Откуда я могу позвонить?

— Куда… это ты… собираешься звонить…? — игриво спрашивали меня.

— Есть много вышестоящих инстанций, которые с удовольствием займутся этой ситуацией, связанной с правами человека. Но я буду звонить одному человеку домой, и ему будет очень неприятно, что мы с вами его побеспокоили, — для страховки у меня в записной книжке был записан телефон сына муромских друзей родителей, работающего помощником генерального прокурора, в честь мамы которого меня и назвали. Я отлично знала, что никогда не воспользуюсь этим телефоном, но наличие его охраняло меня как талисман.

Представители «правоохранительных органов» мгновенно понимали, что «не стоит возиться, видимо, чья-то дочка, погоны снимут», и тон менялся.

— Конечно, можешь позвонить, куда тебе надо. Но у тебя документы в порядке, мы ничего не имеем, — говорили мне, возвращали паспорт и брали под козырёк. Последний вопрос был коронным. Почти выйдя за дверь, я оборачивалась и подчёркнуто вежливо спрашивала:

— Скажите, пожалуйста, а в вашем отделении милиции такая традиция употреблять при проверке документов ненормативные выражения?

Мент скрипел зубами, но извинялся. Конечно, я не сама была такая умная, просто была хорошо обучаемая и как губка впитывала все разговоры в «Московском», а у хиппи, выезжантов и фарцовщиков были отлично наработаны разговорные техники. Оборотами «Декларация прав человека», «Конституция СССР», «компетенция правоохранительных органов» и т. д. они жонглировали, как циркач предметами.

Веселье продолжалось на каких-то ведомственных дачах — бунтующая молодёжь редко происходила из пролетарских семей. Хозяева дач, тихие мальчики, всё время рассказывали, как хотят хипповать и работать дворниками, а не идти в МГИМО и ехать заграницу послами. Они валялись в обуви на родительских постелях, тушили окурки о валютные ковры, читали нараспев Ахматову и Цветаеву, привезённых родителями из-за границы, слишком много пили и слишком хотели быть любимыми. А девчонки любили их плохо и мало. Их как-то даже немного презирали. Сейчас, через двадцать пять лет, видно, что мало у кого из них удалась личная жизнь, и с детьми у них все как-то по-дурному.

Шестнадцатилетняя, отбившаяся от комсомола, хромая, красивая, плохо одетая, хорошо накрашенная, диссидентствующая, собирающаяся на философский, отвязанная в компаниях, притесняемая дома, конфронтирующая с учителями, обожаемая в хиппово-шюжевской среде, я была вполне довольна собой. И веселилась на всю катушку, понимая, что за годик мне предстоит в больнице.

Вокруг меня было море мальчиков и снова не было героя. Герой должен быть красив, непримирим к совку и гениален. Он должен был уметь отвечать за сказанное. Пойти на свидание к инфантилу — всё равно что отдаться стукачу. Поиск себя был неотделим от поиска героя. Но мужчины были не виноваты, что я хочу от них больше, чем они могут и должны дать, что я по молодости взваливаю на них всё, чего недодал остальной мир.

Меня считали развязной за то, что я не смотрела мужчине в рот и не строила из себя дуру, даже когда это выгодно. Через много лет я узнаю, что всё это называется феминизм, и он не умаляет роли мужчины, а только предъявляет ему другой набор норм. И не принимающий этого набора мужчина теряет для меня всякий смысл.

Как президент Ельцин, я всегда держала систему противовесов, и, если появлялся остросюжетно-антисоветский поклонник, я тут же совмещала его с жизнеутверждающим строителем коммунизма (ни в коем случае не стукачом; хотя, в принципе, стукачи абсолютно поровну рекрутировались и из тех, и из других). Поэт хорошо гармонировал с физиком, хиппи с респектабельным фарцовщиком и т. д. Весь выводок поклонников я демонстрировала Верке, она ничего не понимала в мужиках, но убеждала меня, что у неё нюх на приличных. Поскольку Верка во многих вопросах была гораздо умней меня, то провожающего кадра я подводила к окнам первого этажа соседнего дома, стучалась в её комнату и просила попить. Верка протягивала из окна стакан воды или кваса и показывала на пальцах, во сколько оценивает увиденное, по пятибальной системе. В самых тяжёлых случаях она показывала кукиш.

С опытом стритовской жизни, с кучей вольнодумских статей и стихов я попала к началу учебного года в госпиталь на очередную операцию. При виде меня сестра аж захлёбнулась в вопле: «Смыть лак! Снять с шеи цепочку! Заплести волосы в косичку! Смыть тушь с ресниц! Не сметь так смотреть и отвечать взрослым!»

— Ты можешь лечь во взрослое отделение, — сказала

заведующая. — Там ты не сможешь окончить десятый класс, но там колют обезболивающие наркотики после операции.

— А почему нельзя лежать во взрослом отделении на первом этаже и ходить на уроки в детское на четвёртый? — удивилась я.

— Нельзя. У нас инструкция.

— А почему в детском отделении при той же самой операции не колют наркотики?

— У детей болевая чувствительность ниже.

— А кто это проверял?

— У нас инструкция.

Казалось, что если я потеряю год учёбы, то ничего в жизни не успею. Я знала, что операция мучительная, но я же «советский человек». Мама как всегда была занята собой. Решение я принимала в одиночку и выбрала детское отделение и учёбу.

Около меня лежали девочки с сильнейшим сколиозом. В три этапа за два года им из горба делали прямую спину. Всё это время они проводили в палате, потихонечку свихиваясь. По сути дела их запихивали в новое тело. Страшная боль, почти годовая неподвижность, дикие психологические перегрузки. Их гипсовали от подбородка до бёдер, и в таком виде предстояло жить и учиться в переполненной палате со всеми нарушениями санитарных и этических норм — ведь с ними происходило всё, что происходит с девочками в переходном возрасте. Весь день они скандалили, всю ночь плакали. В процессе трёх этапов рост увеличивался сантиметров на двадцать, они учились смотреть в зеркало, до которого прежде не доставали, читать старые книжки по-новому, думать об увеличившихся возможностях женской биографии.

Психологическая помощь была явлена в лице «воспитательницы», толстой пожилой тётки с пучком душераздирающе-крашеной рыжины, которая шныряла по тумбочкам на предмет «неположенного», пила чай с медсёстрами и стучала всем на всех. Девочки были в основном из провинции. От них я узнала, что консультация профессора Чаклина, крёстного отца советской ортопедии, стоит двести, а операция — пятьсот рублей. Ежемесячно рисуясь на профессорских обходах, он берёт в руки только «оплаченную» историю болезни. Все мечтают оперироваться у него, хотя ему сто лет в обед и руки у него дрожат.

Я со своей стороны посвятила девочек в подробности жизни на стриту и в ШЮЖе. Они сочли это чистым враньём, потому что «так не бывает», но на всякий случай донесли воспитательнице. Она насторожилась в ожидании вещдоков. Вещдоки не задержались, в день посещения ко мне ввалились красавицы

подруги, одетые на валюту родителями, и хиппи в натуральную величину. Отделение было в шоке. Утренняя пятиминутка в ординаторской обсуждала исключительно место хиппи в современном обществе. Меня вызвали на пресс-конференцию, и я терпеливо объясняла врачам и аспирантам новые пути спасения человечества. Молодые кайфовали, пожилые недоумевали, воспитательница глотала нитроглицерин.

Ситуация была смешная: с одной стороны, десятиклассница, говорит складно, ведёт себя уверенно, режим не нарушает; с другой, хиппи, все их видели. Воспитательница страшно боялась за своё место и за моральный облик оперируемых подростков. Она попросила одну из моих статей, имевших успех в ШЮЖе, и я гордо вручила ей эпатирующую галиматью с пылкими призывами к любви и свободе, предполагая немедленную духовную перековку воспитательницы после прочтения текста.

На следующий день в палату вплыла огромная зав. отделением, вокруг которой как красный потный мяч скакала, размахивая статьёй, воспитательница.

— Кто читал эту антисоветчину? — завопила она.

— Мы не читали эту гадость! — дружно соврали девчонки, переписавшие самые бойкие абзацы статьи в песенники с текстами в исполнении Муслима Магомаева и Палада Бюль-Бюль-оглы.

— Палата требует, чтоб её немедленно выписали! — заорала воспитательница. — Наши девочки — комсомолки, они не могут лежать рядом с ней!

— У меня нет оснований её выписать, — устало ответила зав. отделением. — Она не нарушала режим.

— Не нарушала режим? Разве вы не читали?

— Да, я читала. Я там ничего не поняла и ничего противозаконного не увидела, — разозлилась зав. отделением. У неё по пять операций в день, а эта дура к ней с детскими бумажками лезет.

— Вы здесь отвечаете за медицину, — возопила воспитательница. — А я за идеологию! Если меры не будут приняты, я буду вынуждена обратиться в более высокие инстанции! На территории военного госпиталя вы покрываете антисоветчину!

Сошлись на том, что я буду лежать в предбаннике ординаторской. Видимо, это была местная модель «высылки диссидента», отвергнутого народом, и основной дискомфорт я должна была испытать от роли изгоя. Может быть, какая-нибудь десятиклассница и плакала бы по ночам от разлуки с переполненной палатой, где перманентно кто-то вцепляется

кому-то в волосы, кто-то грызёт под одеялом конфету, а кто-то сидит на судне, но я была счастлива. Отдельное пространство, неформальное общение с врачами, возможность читать по ночам и курить в открытое окно, шкаф с ортопедическими справочниками и выслушивание детских обид сопалатниц друг на друга не двадцать четыре часа в сутки, а когда я этого хочу.

Операция была серьёзнее предыдущей, и началась она на столе с использованием не лучшей модели аппарата Илизарова. В просверленные с четырёх сторон голени и колена дырки просунули спицы, зафиксированные железной конструкцией. Каждый день спицы подкручивались на миллиметр. За сутки организм справлялся с этим, и винты подкручивались снова. Кайф длился пятьдесят дней. Неподъёмная железяка, торчащая из ноги в восьми местах, рвала кожу и истязала мышцы при каждом вздохе. Чёрные дыры вокруг спиц каждый день надрывались на новый миллиметр. Сразу после подкручивания винтов боль была резкой, через час сменялась на монотонную.

Во взрослом отделении всё это делали на наркотиках и снотворном. В детском давали только жёлтые шарики витаминов. Через неделю человек попадал в разряд хамов, хулиганов и истеричек. На помощь старшим традиционно приходила сизоносая санитарка баба Маня. Компания скидывалась на бутылку, баба Маня учила пить маленькими глотками, «чтоб крепше», и бережно укладывала пустую четвертинку в сумку.

— Глядеть не могу, как детки мучаются, — шмыгала она носом и закусывала шариками витаминов с моей тумбочки. Баба Маня дежурила через сутки, и благодаря ей каждую вторую ночь я имела нормальный сон.

Молодой лечащий врач Толик после трёх всегда и сам был чуточку пьян, в его дежурство мы распивали особенно вольготно.

— Как же вы оперируете, у вас же руки дрожат? — глумилась я над ним на перевязках.

— Главное, чтоб не дрогнула душа, — делал он глазки. Слава богу, оперировал не он, он ассистировал.

Молодые ортопеды мужеского пола бродили по госпиталю засучив рукава в надежде с кем-нибудь поругаться или кого-нибудь ущипнуть за задницу. В моём предбаннике у них был салон, мы менялись книжками, говорили об умном, демократия заходила так далеко, что я стреляла у них сигареты. С одной стороны, я была пациентка детского отделения со всеми особенностями карательной медицины, с другой — взрослая девица, умеющая управлять дистанцией между собой и представителем противоположного пола.

Самым серьёзным в отделении считался пожилой

чудаковатый Алексей Михайлович. Дети ненавидели его за резкую, садистскую послеоперационную разработку суставов — он дёргал так, что из перевязочной доносились крики. Он ничего не мог, да и не пытался объяснить сипиляво-шамкающим голосом, щурил глазки под очками, морщил нос картошкой. Пациенты и родители никогда не знали от него даже приблизительных сроков лечения, операции, выписки, он считал это своим личным делом.

Второго героя звали Димка. Он был молодой и добрый ординатор, все девочки были в него влюблены за нежные руки. Когда на моей постели обнаружили журнал мод с девушками в купальнике, воспитательница снова заорала: «Порнография!». А Димка полистал журнал и успокоил: «Это не порнография. Вот у меня дома есть порнография, я завтра принесу, вы сравните!». Воспитательница после этого обходила его месяц. У него была осанка мясника, халат с полоской голой жирной спины в родинках, но он был талантлив и упоительно нежен с малышами. Хорошим врачом может быть только хороший человек.

Мой лечащий Толик был красавец и киногерой, но к нему не тянуло, он ничего не умел делать точёными руками с алкогольным тремором. Это был «пирог ни с чем», и все знали, что он блатной.

Я старалась продолжать праздник жизни и даже инициировала новогоднюю попойку в палате мальчиков. Няньке удалось накрыть нас в семь часов утра с криками: «Девки в мужской палате вино пьют! Срам-то какой!». Это было крупное событие в жизни детского отделения, гораздо крупнее, чем финал моего лечения.

А финал был грубый. Толик никогда не мыл рук перед перевязками, мотивируя это тем, что воздух тоже не стерилен. И вот уже почти к концу моих пыток, когда остались только коррекционные пассы, температура у меня внезапно зашкалила за сорок. Я не сразу поняла, что происходит. Я почему-то ничего не соображала, и мне жарко. А ещё очень сильно болит нога.

— У меня очень болит нога! — поведала я Толику после ночи с температурой.

— Она и должна болеть. А температура от простуды, — успокоил Толик.

— Но она болит гораздо сильней, чем должна, — настаивала я.

— А она и должна болеть сильней, чем должна. Подождём профессорского обхода, и будешь пить аспирин, — резюмировал Толик.

Я сидела с температурой сорок целый день, и меня кормили

аспирином. Температура не падала, и шестое чувство подсказывало, что я в опасности. Димки не было. А обращаться через голову лечащего врача к вышестоящему начальству было слишком для десятиклассницы, даже такой опытной, такой курящей и такой не девственной, как я. На следующее утро, когда сознание моё уже помутилось от температуры, с комплексом доносчицы я поплелась к оперировавшему меня Алексису и твёрдо сказала, что у меня не простуда. Он потрогал мой лоб, сунул руку под мои бинты и громко матерно заорал. На крик сбежались врачи, меня отволокли в перевязочную. Алексис начал копошиться вокруг моих спиц, от боли я перестала соображать, но диалог ещё фиксировала. Именно память на диалоги сделала меня драматургом.

Алексис: Куда ж ты, сука, смотрел?

Толик: Я хотел профессорского обхода дождаться. Она ж у меня тематическая.

Алексис: А ты это, подонок, видел?

Толик: Видел… Ну, я думал с вами завтра посоветоваться.

Алексис: Я завтра выходной.

Толик: Послезавтра…

Алексис: Завтра мы бы ей уже ногу ампутировали. А послезавтра был бы сепсис по полной программе. Дай кусачки.

Толик: Прямо так без новокаина снимать будете?

Алексис: Какой новокаин! Давай попробуем девке ногу спасти.

Он обломил концы спиц кусачками, зацепился за спицу и потащил её. Сквозь собственный вопль я услышала хруст и скрежет вытягиваемых из кости спиц, а из отверстий хлынули чёрные струи. Потом в меня воткнули сразу несколько капельниц и начали вводить лошадиные дозы антибиотиков. Спасибо Толику, после этого я до сих пор не могу пользоваться лекарствами.

— Зачем вы вынули спицы? — возмутилась я, когда пришла в себя. — Ведь вы мне разворотили коленный сустав и не закончили операцию!

— Её теперь можно закончить только в морге! — рявкнул Алексис.

— Когда вы меня уговаривали на операцию, вы обещали, что после неё я не буду хромать!

— Ещё две операции, и не будешь, — честно ответил он.

Воспалительный процесс задавили в рекордно быстрые сроки, от меня надо было избавиться до профессорского обхода, мой анамнез угрожал диссертации Толика.

Профессорский обход был ежемесячным театром «кабуки».

Перед ним долго шмонали по тумбочкам, на постели надевали не только чистое, но и целое бельё. Откуда-то даже брали цветы. В палату вплывал свадебный генерал в крахмальном облаке свежих халатов с тиражированными подобострастными улыбками. Лечащий врач, запинаясь, читал историю болезни, генерал уголками рта изображал удовольствие или неудовольствие от увиденного, толпа хлопотливо поддакивала.

Одну маленькую лежачую девочку медсестра так запугала перед обходом, что та за минуту до действа попросилась на судно. Чтобы не омрачать церемонии, судно не дали, зато пообещали выписать, лишить обеда и побить. Величественная, как императрица, профессор Абельмасова трогательно расспрашивала, о чём плачет бедное дитя, а дитя рыдало и не сознавалось, боясь расправы… Одно могу сказать, больше всего я ненавижу коммунистов за ту карательную медицину, которую они устроили, которой я сначала объелась сама, а потом успела дать попробовать своим детям.

За оба года лежания в госпитале я так и не была удостоена чести быть осмотренной профессором — в отличие от своей двоюродной сестры, по иронии судьбы попавшей в тот же госпиталь почти в то же время и за деньги дважды прооперированной профессором Чаклиным.

Итак, меня выписали с гипсом до бедра на четвёртый этаж без лифта. В таком виде я должна была ездить на перевязки с проспекта Вернадского на Таганку. Матушка в это время лечила нервы и мало интересовалась мной, хотя мои нервы были явно в худшем состоянии. Надо сказать, что при всей любви наводить порядок в медицине, касающейся её самой, ей и потом не пришло в голову как-то обратить внимание на то, что дочке чуть не ампутировали ногу из-за немытых рук лечащего врача.

В квартире была мерзость запустения, брат с нерешёнными проблемами и парализованный дед Илья. В гипсе до бедра я пыталась приводить жильё в божеский вид, скача на одной ноге. Нервы были в ужасном состоянии, рыдать я начинала на ровном месте. Десятый класс шёл на убыль, и, поскольку дойти до школы я не могла, педагоги ходили ко мне, пили чай, смотрели журналы и расслаблялись. Какая уж там учёба…

Подружки дневали и ночевали у меня, и это делало жизнь терпимой. Звонили вздыхатели. Я осторожно училась ходить, было больно и страшно. Читала ночами классику, всё подряд, полками, это как-то расслабляло. Пить не могла, при виде водки начинало выворачивать, водка ассоциировалась с очень сильной болью. Я печатала подборку стихов на творческий конкурс в литинститут, но понимала, что сдавать экзамены будет трудно —

я в плохом виде, и последний год очень условно можно назвать учёбой.

Верка купила фиолетовой подкладочной ткани, и компания девчонок начала шить мне платье на выпускной бал. Ощущение плена не покидало. Скрипя зубами и опираясь на палку, я доползла до галантереи, купила краску для волос, стала душераздирающей блондинкой и приковыляла к Верке, где собралась компания. Это было первого апреля, и никто не мог понять, в чём именно шутка. А никакой шутки не было. Я просто дошла до точки.

Учителя, приходящие на дом, были в шоке от моего вида, но инструментов насилия надо мной уже не было. Сняли гипс, открылась рана, но я приняла решение больше не ездить на перевязки. Начала мазать рану облепиховым маслом, а ресницы — касторовым и вообще считать, что всё, что было в госпитале, было не со мной.

Ночами болела нога, днями — голова. Но это были мои проблемы, потому что вакантные должности вечно больных были заняты матушкой и братом. Чтобы после гипса научиться ходить до выпускного бала, я часами лежала в горячей ванной, сгибая ногу в колене.

После выпускного, возвращаясь с Ленинских гор, мы с Веркой обнаружили тишайшую девочку нашего выпуска, в шесть утра пишущую на асфальте перед школой крупную матерщину каллиграфическими буквами.

Итак, унижение школьного обучения оказалось законченным. Как говорил Ежи Лец: «Выход из безвыходной ситуации бывает именно в том месте, в котором был вход».

Глава 7. СТРИТ

Я жила, открывая причины и следствия не силой логики, а силой изобретательности биографии. Закончив десятый класс, вернулась на Арбат в Ликину гостиную полноправной хозяйкой, а детство на улице Лобачевского ощущала не вполне московским куском жизни. Собственно, живя там с пяти до шестнадцати, я на три года выбывала в интернат, на два — в больницу, а остальное время ненавидела тупомордые пятиэтажки и чувствовала себя их пленницей.

Итак, я получила право на самостоятельное жильё потому, что иначе бы просто ушла из дома. До этого я уже ночевала по подругам и возлюбленным, и, поняв, что меня больше не удастся контролировать, мама дала ключи от Арбата.

Я чувствовала себя одиноко и искала близких по всему свету. Хиппи были культовой группой, брали на себя функцию семьи, создавали атмосферу доверительности, близости и эмоциональной открытости. С ними мне было лучше, чем с родственниками.

Я вернулась в Ликину гостиную, переполняемая азартом деятельности. Оставшиеся от аборигенов генеральша Афонина, издерганный Олег Масаинов и занявшая остальные площади лимита не были готовы к моему появлению. Я перетряхнула шкафы и этажерки, упорядочила фамильный архив, обнаружила обрывки прадедовских любовных романов, написанных от руки каллиграфическим почерком, купила керамические вазочки, льняные занавесочки и начала самостоятельную жизнь. В этой новой жизни я открыла двери для всех, не понятых родителями и властями; в компанию вошли хиппи, студенты, малолетние диссиденты, художники, фарцовщики, тёмные и колоритные личности. Это называлось салон Маши с Арбата, с чего я постепенно и превратилась в Машу Арбатову.

Соседи организовались в педагогическо-карательную дружину. Мы нарисовали на лестнице условный знак, стук по которому был слышен в моей комнате. Гости пробирались тише индейцев на охоте, но соседи, овладев искусством шпионажа, сигнализировали в милицию. Мент из пятого отделения врывался проверять документы. Вид девиц в исписанных английскими словами джинсах и длинных юбках, шитых из занавесок, курящих из дешёвых галантерейных, но всё же мундштуков, приводил его в не меньший трепет, чем вид длинноволосых бородатых парней.

Паспорта и студенческие были в порядке, и тогда взор падал на стену, на которой две художницы грифелями изобразили в человеческий рост голую Магдалину и стоящего перед ней на коленях Христа.

— Что это такое? — орал мент.

— Атеистическая пропаганда! — объясняли мы.

— Это порнография! — орал мент.

— А это? — тыкали мы пальцем в иллюстрацию голой ренессансной бабы.

— И это порнография! — орал мент.

— Из фондов музея Пушкина, — поясняли мы. — Вы оскорбляете эстетические чувства советского народа! Мы так и сообщим вашему начальству!

— А это что такое? Снять немедленно! — утыкался мент в плакат с портретами членов политбюро, повешенный на боку голой Магдалины в качестве мулеты.

— Что вы сказали? — изумлялись мы дружно. — Вы

предлагаете снять членов политбюро? Так вы антисоветчик? Как же вас могли взять на работу в правоохранительные органы?

Если гость не терялся и после этого, от него отбивались декларацией прав человека, обещаниями жаловаться во «вражий голос». Если выдерживал и это, включались родительские связи. Связи имелись, молодёжь была в основном золотая и в основном несгибаемая. Мы ходили по горящим углям и, уж если попадались тем же самым милиционерам при облавах на улице Горького, получали на всю катушку.

Облавы были плановые, фургоны подъезжали к неформально одетой толпе, тусующейся в переходе метро «Проспект Маркса», возле Долгорукого, у кафе «Московское» и «Космос», всех подряд кидали в машины и везли в ментовку.

— Мы сделаем из вас людей, хиппи недорезанные! Вы нам спасибо скажете! — хрипели менты, наминая нам бока. И на самом деле сделали — все, кто прошёл за нарушение формы одежды побои на каменных полах центровых ментовок, стали приличными людьми, не боящимися иметь собственные взгляды.

— Ты хочешь сказать, что тебя били только за то, что на тебе были джинсы? — удивляются мои сыновья. — Ты ничего не преувеличиваешь?

Счастье, что всего за двадцать лет Москва стала городом, в котором из нормы жизни это стало историческим фактом.

Иногда компания обряжалась в старые тряпки из комода, гримировалась под булгаковских персонажей и бродила по Арбату, приставая к прохожим. Идут такие, с личиками, разрисованными под ведьм и вурдалаков, в старомодных пальто и шляпах не по росту, и спрашивают:

— Будьте так любезны, скажите, пожалуйста, который час?

Человек столбенеет.

— Ради бога извините, позвольте задать вам ещё один вопрос? Существует ли загробная жизнь?

Или: Сколько человек вы убили за свою жизнь прямо или косвенно?

Или: Как вы полагаете, Пушкин предчувствовал, что Дантес убьёт его?

Арбатский салон был нашими университетами. При свечах зачитывались новые стихи и романы, демонстрировались новые картины, пелись блатные песни, раздавались антисоветские издания, ловилось запрещённое радио. Прислонясь к стене, с лицом, заросшим сталактитами и сталагмитами бородавок, нас сутками подслушивала пожилая татарка Маиса, мывшая посуду в кафе «Буратино» и доносившая. Маиса загадочным образом вселилась в тот самый узкий рукав Ликиной гостиной, в который

мой прадед перед войной пустил семью брата из Белоруссии. Маиса приворовывала в кафе «Буратино» кур, жарила их в выходные на приход татарских родственников, ласково именуемых всей квартирой «золотой ордой», разговаривала на тарабарщине, не отягощённой родами и падежами, считала, что жизнь удалась, и глубоко презирала меня как «хиппи», хотя вряд ли связывала с этим словом что-то определённое.

На кухне скупой создатель Чебурашки подписывал коробки своих спичек фломастером. К моменту моего появления он назначил себя главным петухом в курятнике, уставил комнаты антиквариатом, принимал свой «кукольный бомонд» и охранял от меня привычную жизнь квартиры. Он был стар, визглив и истеричен, жена была молода и мрачна, а дочь — мала. Встречи моих гостей с его обычно проходили с взаимными потерями. В своей комнате генеральша Афонина тяжелее, чем старость и одиночество, переживала факт моего невступления в комсомол.

Лето после десятого я лежала на пляже Ленинских гор и готовилась к вступительным экзаменам на философский. Творческий конкурс в литинститут я, естественно, не прошла: у меня не было «паровозов» — стихов про трудовые подвиги, стройки века и родные берёзы, к которым на всех конкурсах прицеплялся лирический состав нормальных стихов.

Ни одной исторической даты, после десяти часов под наркозом, я запомнить не могла. Прежде, читая страницу, я пересказывала её через день близко к тексту, стихи классиков били из меня сотнями, а туг будто получила пыльным мешком по голове. Меня предупреждали перед операцией, что наркоз очень грубый, но я не предполагала, что до такой степени. Смирившись, я писала сложносочинённые шпаргалки. Длинные, мелко исписанные гармошки приклеивались пластырем к ногам под юбкой и рукам под рукавами.

Однако я получила четвёрку на профилирующем экзамене по истории, что означало общий провал. Кроме того, классная руководительница, мерзкая биологичка, сделала мне гнусную характеристику: «Я делаю это сознательно, для твоей же пользы, — говорила она мне, приковылявшей в школу сразу после снятия гипса. — Ты хочешь быть слишком умной и слишком независимой, пусть жизнь тебя пообломает, чтоб ты стала как все». В советской карательной педагогике разрушение личности считалось её созданием.

Горе моё было безутешно: все поступили, а я — пролетела, как фанера над Парижем. С этими баллами можно было пойти в какой-нибудь педагогический. Но проходные варианты никогда

не устраивали меня ни в социальной жизни, ни в сексуальной.

Второй облом ждал на ВТЭКе. Как дочь подполковника, я получала пенсию за отца. После того как в госпитале мне чуть не отрезали ногу по причинное место, я должна была пройти комиссию, определяющую мою принадлежность к инвалидному сословию. ВТЭК находился где-то в переулке улицы Горького, и, прошвырнувшись «по стриту», поздоровавшись со своими, я зашла на комиссию. Вид крашеных белокурых волос, рассыпанных по плечам, подведённых глаз и разрисованных джинсов привёл комиссию в неистовство. На ногах у меня были туфли на здоровенных каблуках и здоровенной платформе, которые мне строго-настрого было запрещено носить. Даже не открыв медицинской карты, члены комиссии объявили меня хиппи, малолетней проституткой и симулянткой. Меня это озадачило, потому что диагноз был поставлен не по состоянию ноги, а по состоянию души. Я вежливо начала подвергать сомнению их компетентность и была грубо вышвырнута.

Матушка накатала жалобу в вышестоящую организацию. Мне могли отрезать в больнице все части тела, не возбудив её к эпистолярному жанру, но финансовый сюжет тронул. Из комиссии пришёл ответ о колоссальных извинениях передо мной, о том, что среди диагностов не было ни одного ортопеда и даже ни одного хирурга, и о том, что мне за муки полагается пожизненная пенсия и инвалидность третьей группы. Надо сказать, они исполнили обещание, больше ни разу в жизни я не посещала данное заведение, хотя даже люди, у которых потеряны конечности, до сих пор ежегодно доказывают ВТЭКу, что конечности у них за год не отросли, как хвост у ящерицы.

Стены в моей комнате расписывались и подписывались всеми подряд. На них висела история человечества в таблицах Льва Гумилёва из книг о буддистском искусстве, патриотические плакаты, картинки друзей, иллюстрации классики, стихи, матерные тексты и телефоны лиц противоположного пола. Как говорил Пабло Пикассо: «Во мне было столько любви, что, если б рядом не было никого, я бы любил дверную ручку».

Мой семнадцатый день рождения и провал в университет мы отмечали вдвоём с Веркой в кафе «Московское». К нам подсели два дружка. Один, явный хиппи, учащийся на режиссуре, по кличке Марлок, запал на меня. Другой, аккуратный и свеженький, из Плехановского, по кличке Румянец, реагировал на Верку. Верка была очень хороша собой, очень буржуазна и относилась ко мне как старшая сестра к младшей, придурочной. Когда я тащилась на стрит, она шла со мной, садилась в очередь в парикмахерскую

около магазина «Российские вина» на маникюр и наблюдала тусовку из окна. Стрит не волновал её ни секунды.

Марлок и Румянец кутили с нами до утра, оплакивая моё университетское поражение, и в рассветной мгле оборвали тюльпаны возле Манежа, что по тем временам могло вполне трагически кончиться. На следующий день началось устраивание на работу. Я звонила по толстому справочнику Москвы в самые изысканные учреждения. Помочь было некому, друзья отца быстро рассеялись после его смерти, родственники были социально инфантильны.

— Семнадцать лет? Провалилась в университет? Идите к нам уборщицей. Не хотите? А кто может вас порекомендовать? А где работают ваши родители?

Тем временем крепли мои связи с «центровой системой». Системой называлась субкультура московских хиппи, возглавляемая Юрой Солнышко. Увидеть живого Солнышко тогда считалось покруче, чем пообедать с Ельциным сегодня. С имиджем Солнце работал виртуозно. Он был высок, эффектно пронаркоманен, худ, хорош собою, джинсов, белокур, длинноволос, обвешан бусами и поклонниками. Разговаривал так:

— Посмотри на мою руку! Неужели ты не видишь, что это рука трупа? Я за вас кровь проливал! Кто даст трёшный выкуп за жизнь Солнца? Будешь хамить — расчленю и урою!

Вокруг него ходили маргинальные персонажи с кликухами Инерция, Голубь, Страшила, Человек-гора, Красноштан, Леви. Барон, Красноштан и Леви просочились в мой салон. Барон был с хорошо подвешенным языком, актёрскими задатками и опытом психушек. Скорее всего он был профессиональным мошенником, не чуждым светской тусовки. Его главной присказкой было: «Мы на эти каламбуры отвечаем калом бурым».

Леви относился к выезжантам из хорошей еврейской семьи и учился на экономфаке МГУ. У него был надменный профиль, загнутые ресницы, много претензий и интеллектуальный багаж. Девочки немного боялись его за спесь и обилие западных терминов в сложносочинённых монологах. Впоследствии погиб от передозировки наркотиков.

Красноштан был маленький толстенький «человек-оркестр», на одной половинке зада его джинсов был вышит серп, на другой — молот. Его знало не одно андеграундное поколение. Каждый день он сочинял себе новую биографию, каждый раз, прячась от правоохранительных органов, менял облик. В том числе и на женский. Он не однажды хранил у меня запрещённую литературу (Мандельштама). Имел дело с торговлей книжками, иконами, живописью, наркотиками и мошенничал. Вертикаль его общения

находилась в диапазоне от создателя гимна СССР до криминальных авторитетов. Горизонталь ограничивали границы государства и отсутствие паспорта. Обаяния и придумчивости был нечеловеческой. Мои сыновья слышали от хиппи своего поколения, что недавно Красноштан умер. Но я не верю. И не исключено, что однажды ко мне подойдёт старушка в монашьем прикиде, бородач в ватнике или крохотный господин в смокинге и скажет: «Привет, Машка, узнаёшь? Ща я тебе такие сплетни расскажу. Ты же знаешь, я маниакально-депрессивный. У меня полгода был депрессив, а вчера маниакал начался, так что сейчас мы с тобой идём в гости. Имей в виду, там уже всё накрыто».

Огромным ударом для меня было узнать через двадцать лет от Олега Радзинского, сидевшего за антисоветчину, что Красноштан работал на органы.

Солнце уважали, но кулуарно считали, что он выдвинулся на фоне дебилов и, провозгласив войну истеблишменту, стал хипповской номенклатурой. Чтобы конкурировать с ним, нужно было отдавать стриту всю жизнь, никто к этому призвания не чувствовал.

Солнцу хотелось славы, любви и беспрекословного подчинения. Но, поскольку у «системы» не было законов, никто толком не знал, «в системе» он или нет, из-за этого любое общение с Солнцем выглядело разборкой. Он назначал хиппи своими подчинёнными, а они об этом не знали. Впрочем, он был мил и добр, и никому ни разу так и не дал в морду, хотя говорил только об этом. Юра Солнце талантливо творил свою легенду, хотя сегодня понятно, что и он сотрудничал с органами.

Жизнь на флетах проходила в жанре разудалых группешников под запрещённую музыку и винегрет из наркотиков. Меня это не манило, я использовала только свободолюбивые качества «системы», экзотичность её представителей, эстетический ряд, но система ритуалов у меня на Арбате была своя. Я задавала жёсткий салонный жанр, в который хиппи вплетались хитрым орнаментом только до той поры, пока жанр их сдерживал. Солнце не был у меня ни разу. Я понимала, что он захочет сделать это пространство своим, и ещё не известно, кто войну выиграет и с какими потерями.

Моя подруга Таня Александрова возилась с ним более пристально. Какое-то время они ходили «не разлей вода», все считали, что у них роман, но Солнце стремился к этому без взаимности. С её стороны были хипповское почитание и возвышенно-благотворительные мотивы. Солнце написал толстый графоманский роман «Бегство», и Таня даже отдала его своей маме, опытному редактору, для приведения в удобоваримое

состояние. На исходе отношений она привела Юру Солнышко в дом, где старый пёс лизнул его руку в сыпи, а мама-врач мгновенно поставила по ней диагноз — запущенный сифилис.

В московских хиппи причудливо сплелись бомонд, студенты, фарца и подворотня. Они взаимно презирали друг друга, но общий враг — «советская власть» — в минуты роковые делал их монолитом. Были и совсем случайные люди. Моя подружка по стриту хипповка Тамара гордо говорила:

— Я скоро замуж выхожу.

— Когда?

— Когда он из крезы выйдет, — всяческая психиатрия считалась хорошим тоном. Свадьба Тамары происходила в джинсе под «Битлз» с деревенскими родственниками и периной в приданое.

Мы с Веркой крутили романы с Марлоком и Румянцем. Но Марлок сделал неосторожный шаг в надежде повысить авторитет: отвёл меня в гости к своему другу и наставнику, сорокалетнему неуспешному сценаристу по фамилии, скажем, Валентинов. Валентинов был тем, что совали в наше бессознательное как образ настоящего мужчины: высок, плечист, бородат, смугл, хрипловат, пьющ, в трудный момент способен сделать заинтересованное лицо и к месту процитировать Бродского. Он даже дослушивал до конца, в то время как большинство его сверстников до конца могли дослушать только инспектора ГАИ. Я влюбилась до беспамятства.

Его жена свалила навсегда в Америку, периодически высылая магнитофоны и джинсы, на продаже которых он строил бюджет, не пренебрегая позой оставленного трагического героя. У него была овчарка, стеллаж самиздата, пьющая хорошенькая любовница-актриса и ощущение себя большим художником. Когда мы пришли в гости, там веселилась компания. Хозяин пил водку из пивной кружки и стряхивал с колен то полуодетую любовницу, то требующую прогулки овчарку. Это мешало подсесть поближе. Пришлось достать первую попавшуюся книжку с полки и начать обсуждать её так, чтобы, отогнав боевых подруг, Валентинов кинулся защищать автора.

Уже в юности я понимала, что номер работает на контрастах: если передо мной мужчина, рисующий на себе супермена, надо петь про кризис мачизма — без нажима, но с пониманием, даже с сожалением. Но про кризис. Если наоборот, то про то, как даже самой возвышенной мужской душе и самому толстому кошельку пошли бы стройные длинные ноги и рельефы мускулов. И тоже с пониманием и сожалением. Модель практически не даёт сбоя:

чтобы защитить своё сословие, мужчина оторвётся даже от полового акта, а потом в полемическом пылу не успеет заметить, что участвует в том же самом акте, только уже с вами, а не с предыдущей партнёршей. В юные годы я не пренебрегала манипуляциями; с возрастом поняла, что мужчина, не идущий в руки без дополнительных усилий, практически не имеет смысла.

Объяснившись по поводу книги, Валентинов успел разглядеть меня, потребовал выпиванья на брудершафт, запихнул в мою сумку свежий самиздат и предупредил, что послезавтра я должна его вернуть. Марлок был отставлен, он был инфантильным московским мальчиком, которого важный папа запихнул учиться на режиссуру вместо армии. Ел наркотики, отвязывался, любил фантастику и мороженое. По опыту и сообразительности я казалась ему Сократом. Надо сказать, высокий процент поклонников западал не на мои внешние данные, а на мою «взрослость и многоопытность», руша миф о «простушке и дурочке» как золотой мечте среднеарифметического мужчины.

Через пару дней, потрясённая темпом и органичностью отношений, возникающих между полами, я была в объятьях Валентинова, ощущая второй в жизни роман как историю двух людей, наконец нашедших друг друга в этом огромном мире. Понятно было, что меня любят безумно — иначе стал бы взрослый серьёзный человек тратить столько времени? Он писал киносценарий о молодёжи, и я не знала, что он писал его последние пять лет. Я немедленно разложила на его письменном столе свои дневники и опусы и с пылом «истинной подруги художника» начала выслушивать одни и те же картонные куски сценария, пытаясь вдохнуть в них жизнь. Еще первый возлюбленный научил меня тактично глотать галиматью о творческих муках, и я понимала, что на меня снова возложена высокая ответственность.

Сегодня, в сорок лет, написав четырнадцать пьес и кучу прозы, я так и не изведала онанистической прелести вербализации творческих мук. Очевидно, я малотворческое существо, но вздохи над белым листом бумаги и чистым экраном компьютера до сих пор кажутся мне мизансценическими излишествами. Если нечего написать, пойди займись другим, дел-то вокруг сколько. Так что никто из спутников не может пожаловаться на моё околотворческое нытьё.

Я ночевала у Валентинова, варила гостям кофе, важно поддерживала беседу и невероятно гордилась своим положением. Актрисе было отказано от дома, Марлок прервал отношения с Валентиновым; а я, как большая (хотя возлюбленному было известно, что мне семнадцать), ходила по квартире, уничтожая

художественный беспорядок, и валялась на тахте с сигаретой, листая книги и альбомы. Овчарка меня ненавидела, и я боялась оставаться с ней вдвоём.

— Зачем тебе на философский? — недоумевал Валентинов. — Тебе надо во ВГИК на сценарный или замуж.

— Мне необходимо приличное образование, — пышно поясняла я. — Только на философском преподают логику, высшую математику и историю религии одновременно.

— Зачем тебе логика? Зачем тебе высшая математика? — ужасался он. — Кто вбил тебе это в голову?

Однажды он надолго ушёл с собакой, а я начала преображать жильё. Решила выстирать постельное бельё, под Шопена, изображая крутую хозяйку, не чуждую культурных ценностей. Но навыки были нулевые: дома бельё сдавалось в прачечную или кидалось в стиральную машину. Короче, что-то я с ним делала, оставив на финише открытый кран при закрытом стоке. Что-то я сделала и с дорогим проигрывателем. К возвращению Валентинова вода протекла на нижний этаж, а иголка проигрывателя накрылась медным тазом. К чести возлюбленного, он оказался не мелочным и не занудой, тем более, что жил на чувство вины бывшей жены, материализованное в американские посылки. Он как-то утешил нижних соседей, захлопнул недействующий проигрыватель, налил водки в пивную кружку и задумчиво сказал:

— Не думал, что ты окажешься такой дорогой любовницей.

Он умел это сказать так, чтобы напряжение исчезло, а не усилилось. За что ему «спасибо», и ещё «спасибо» за то, что больше ни с одним мужчиной я не пыталась утверждаться в посудохозяйственных формах, понимая, что это может оказаться слишком дорогостоящим.

Что до «любовной дороговизны», то второй раз услышала этот диагноз лет через десять, когда, прощаясь у моего дома, другой любимый мужчина сказал: «Как тебя угораздило поселиться в Ясенево? Это ж целый бак бензина!» Он был одним из самых хорошо оплачиваемых работников пера, и заявление это придавило хрупкую конструкцию наших отношений. А Валентинов умел сказать, умел рассмеяться, умел взять паузу и напихать в неё всякого такого… Он только не умел перевести всё это в жанр заказного сценария.

Однажды вечером, придя, как уговорились, я обнаружила запертую дверь. Удивлённая, отдежурила у подъезда часа два. У меня не было никакого алгоритма поведения в такой ситуации, а жил он в далёком новом районе. Темнело. Идти к автобусу уже

было страшно. До дома на такси десятка, а в кармане пять рублей. Ничего, выпрошу остальное у матери. Я села в такси. Дорога по пустому шоссе не сулила ничего хорошего, но выбора не было. Молчаливый таксист свернул в лес и без прелюдий, как глухонемой, начал стаскивать с меня кофту. Я уже не растерялась, и мои длинные когти разметили его щёки, как наскальная живопись. Удивлённый сопротивлением, он отступил.

— Вот паспорт. Мне нет восемнадцати. Вот экзаменационный лист. Я провалилась в университет, — вытряхнула я содержимое сумки. — Мой родственник работает в прокуратуре. Пятнадцать лет за изнасилование несовершеннолетней. Выйдете из тюрьмы седым.

— Я в такси работаю, дура, — хрипло сказал он после паузы. — Я вас всяких видел. И несовершеннолетних, и пенсионерок, и с университетами, и с партбилетами. У всех эта штука одинаковая. Или давай, или вали пешком!

Я вышла из машины, гордо прошествовала вперёд по освещённому фарами пространству, и он медленно тронул за мной.

— Вот я сейчас по тебе проеду, сука, и никто никогда твоих следов не откопает!

Машина зарычала прямо надо мной, и, забыв о свежей операции, о запрете бегать, о туфлях на высоком каблуке, я понеслась как сумасшедшая по мокрой болотистой жиже. Но сколько я могла пробежать? Я остановилась и начала торопливо и неумело обращаться к богу. Таксист еле успел затормозить. Потом закурил и, ни слова не сказав, развернулся и уехал. Тут началось самое страшное. Смертельно боящаяся леса, темноты и неизвестности по отдельности, я получила всё в одном флаконе. С ледяным от ужаса, непослушным телом и грохочущим сердцем, я бродила по лесу до рассвета, вела диалоги с друзьями, читала стихи, а меня обступали все ужасы по очереди, от самых детских до самых взрослых. Ветки цепляли меня за распущенные волосы, ямы ухватывали мои туфли на неудобных каблуках, тени демонстрировали ужасные картинки. При своём топографическом кретинизме я, может быть, ходила всю ночь по кругу, пока радиус его не увеличился и колючая проволока не вцепилась в мои светлые брюки. Проволока оцепляла что-то тёмное и огромное, по ней, как мальчик-с-пальчик по камушкам, я вышла на шоссе.

Светало. Я села на сумку и заснула. Меня растолкали водители, едущие с ночной смены. Они дали кофе из термоса, чистый платок для физиономии, долго ругали, что не запомнила номер, и отвезли обратно. В пять утра я позвонила в дверь. Валентинов открыл и отшатнулся. Брюки были рваные и грязные

по колено, футболка — с размытыми пятнами слёз и косметики, руки и лицо исцарапаны сложным узором. Когда, выйдя из ванной, я посвятила его в подробности, он пришёл в ужас.

— Понимаешь, — сказал он виновато, — заболела мама. Взял собаку, сел в машину. Думал, быстро. Туда, сюда. Позвонить некуда. Ключ соседям оставить не догадался.

И вдруг я увидела, что он врёт. Что он просто забыл, засиделся, затрепался где-то. Я не стала качать права. Во-первых, я ещё не умела. Во-вторых, я онемела от цинизма. Спать я не могла, меня преследовали кинокадры, по мне проезжает рычащее такси, мокрая земля смыкается надо мною, под ней остаются все планы, все ненаписанные стихи и статьи, вся моя глупая молодая жизнь, а в это время он сидит, пьёт водку, к месту острит и ни капельки не помнит, что мы договорились сегодня утром по телефону!

Я тихо встала, собрала с письменного стола все свои произведения (а я давно заметила, что он их кусками перепечатывает на машинке для своего мёртворождённого сценария), натянула ещё мокрую, выстиранную им одежду и выскользнула. Собака даже не заворчала вслед. Её всё устроило.

У Валентинова не было моего телефона — я редко давала телефон, потому что не было такой щёлочки, в которую матушка не пыталась бы пролезть в мою жизнь с целью обустроить там всё по-своему. Больше ничего об этом человеке мне не известно, имя его так никогда и не всплыло в кино.

Какие-то мальчики из прошлой жизни продолжали клубиться на Арбате, среди них были будущие атташе, финансисты, профессора и режиссёры. Но все они пахли своими московскими мамами и папами, которые решали и делали за них всё, а меня тянуло к героям, создавшим себя самостоятельно. Оглядевшись на стриту, я нашла такого. Его звали Роман, ему было лет тридцать. Он был зеленоглазый грек неземной красоты с агатовой бородой. Видеоряд для меня всегда был очень значим, у меня без него просто тормозились гормональные процессы. Роман фарцевал пластинками и уверял, что работает патологоанатомом. Скорее всего он был недоучившимся медиком, застрявшим на хороших заработках в анатомичке. Мысль о том, что смуглые породистые пальцы, касающиеся меня, ежедневно потрошат трупы, не давала покоя. Но тем не менее на стриту мы были объявлены женихом и невестой.

Проблема состояла в том, что ритуалы у нас были разные. Я потащила его в театр на партийный спектакль Марка Захарова «Автоград». Роман честно надел костюм, но после первого акта объявил, что тратить вечер на это «конъюнктурное говно» не

может, и мы пошли в кабак. Он любил застолье и умел его вести, любил и умел платить, всего остального я про него не понимала, была ещё маленькая. Потом я привела его к маме на обед. Мама была в шоке, она не знала, как разговаривать с красивым взрослым мужиком, изображающим жениха несовершеннолетней дочери.

Я бывала в его снятой квартире, но он так и не потащил меня в постель. Что-то мешало. То ли у него были проблемы, то ли ему нравилась игра в девочку-невесту, которая вовсе не скрывала от него собственной недевственности. Кончилось всё мрачно. Мы стояли компанией у «Московского», сзади неожиданно подошли двое в штатском и, предъявив документы, повели его к себе. Это была стандартная пугаловка, но было непонятно, как она будет разворачиваться дальше. С ментами было понятно, но ловцы в штатском выходили на нас, как шариковы на котов. Роман обернулся и строго сказал: «Бери такси, езжай домой!».

Смеркалось. Я вышла к проезжей части и подняла руку. В затормозившем такси кроме водителя сидело два грузина вполне солидного вида. Естественно, я боялась их меньше, чем гэбистов. Или просто была самоуверенной дурой.

— Мне, пожалуйста, до Маяковской, — сказала я таксисту и села сзади на свободное место, потому что спереди сидел один из пассажиров.

— О, хиппи-студенты, кто же отпустит такую девочку ночью, поедешь с нами! — сказал мой сосед и бросил таксисту пятидесятирублёвую бумажку.

Всеми способами я призывала к совести таксиста, спрашивала, есть ли у него жена и дочь, но пожилой человек только вжимал голову в плечи и так и не поднял глаз на зеркало, боясь встретиться с моими. До сих пор помню его жиденькие волосёнки и сутулую спину в обшарпанном пиджаке. В новом районе, куда меня завезли, на улице не было ни души. Заорать я не успела, быстро заткнули рот. Кстати, не факт, что я бы смогла заорать. Я потом выяснила, что все девочки, которым в детстве запрещали громко плакать и чего-то требовать, немеют в экстремальных ситуациях.

В однокомнатной квартире был третий. Этаж — восьмой, телефон вынули из розетки и заперли в шкаф вместе с моей одеждой. Всё, что происходило в квартире в течение этой ночи, оставляю на совести грузинского народа. Каждый народ должен отвечать за своих подонков. Потом, пьяные как свиньи, они даже пели по-грузински. Они дрыхли. Я стояла у окна, разглядывая голубой асфальт. На мне не было ничего, кроме эластичного бинта, который было велено носить на больной ноге после

операции. Спасло только богатое воображение, я представила себя голую и мёртвую на асфальте, а эту мразь в полной безопасности. Побродила по квартире, закрыла форточки и открыла газ. Я думала, что всё произойдёт довольно быстро.

Но один из них встал в туалет, закашлявшись, понял, разбудил гортанными звуками остальных. Они вскочили, открыли окна, попытались снова дать мне по физиономии, но мне уже было всё равно, я не плакала и на вопросы не отвечала. Очевидно, старший понял, что что-то не то, отпер сумку из шкафа, вывалил из неё мои вечно таскаемые с собой рукописи, косметику, кошелёк и паспорт. Изучив паспорт и наконец поняв то, что вчера я не могла докричать до их пьяных ушей, они затрепетали и начали громко ругаться по-грузински. Потом начали писать восьмёрки вокруг меня.

— Деточка, хочешь кофе? Шампанского? Мы же не знали, что ты несовершеннолетняя. Ты же так взросло выглядишь. Мы за всё заплатим. Сейчас мы оденемся, всё будет хорошо. Ой, какие у нас джинсы польские! А теперь будут американские. У тебя будет столько денег, сколько ты захочешь, только никому не надо говорить. У тебя ничего не болит? Тебя от газа не тошнит? Мы же не бандиты, мы серьёзные люди, приехали в Москву по делам. У нас у всех семьи, дети. Ты только не молчи, ты отвечай нам на вопросы, пожалуйста.

Меня с почестями посадили в такси, сунув в сумку толстую пачку двадцатипятирублёвок. Когда машина отъехала, я выбросила деньги в окно. В этом не было литературщины швыряния купюр, я боялась сделать это раньше потому, что за две такие бумажки, сунутые таксисту, они вполне могли заполучить меня обратно. В зеркало я видела, как самый шестёрочный из них собирает деньги с асфальта, на котором вполне могла к этому моменту лежать я, не спрячь они одежду.

Только через семнадцать лет после этого я прошла психическую реабилитацию, и жизнь резко изменилась в лучшую сторону. Поэтому я настойчиво советую всем жертвам изнасилования последовать моему примеру, ведь изнасилование оставляет в психике мощные последствия. Самые безобидные из них — низкая самооценка и вытекающая из неё социальная неуспешность, сексуальные проблемы, связанные с ожиданием насилия в постели; и гипертревожность за детей, выливающаяся в их неврозы и частые болезни.

Сейчас я могу вспоминать об этом отстранённо. Впрочем, газ я тоже открывала по трезвому расчёту. Понимала, что не пойду в милицию, а если пойду, мне не помогут. С интернатско-

больничного детства я привыкла рассчитываться за всё сама. И ещё поняла, что эти грузины не были особыми сексуальными маньяками, они были среднеарифметическими скотами. По одежде и способам сопротивления они не могли спутать меня с проституткой, но в их голове было простое мужское «Как это она не хочет? Мы же деньги потом дадим!». Было бы интересно спросить, за какие деньги они готовы были бы вступить в половой контакт с женщиной, внушающей омерзение?

Я остановила такси около Веркиного дома. И увидела, как навстречу мне идёт Веркина одноклассница по кличке Ёка в белом платье, белых римлянках и с белыми волосами. Она показалась мне из той жизни, из которой я автоматически выбыла минувшей ночью. Я стояла посреди дороги и не могла сделать ни одного шага. Она подошла ко мне, всё поняла, обняла меня, и мы вместе заревели. Неделю, пока сходили следы побоев, я жила у подруг.

Но следы были не только на теле: я поняла, что боюсь выходить на улицу, что мужской взгляд вызывает у меня животный страх, а грузинский акцент — спазм во всём теле. За эти два года произошло слишком много даже для такого жизнестойкого существа, как я. Я перестала спать ночами и перестала есть. Обратиться за помощью было не к кому. Было непонятно, как рассказать эту историю вслух. Подруга отвела меня к какой-то даме-психиатру, предварительно всё за меня рассказав.

— У тебя, деточка, истощение нервной системы. Я могу положить тебя в больницу, но давай попробуем сами. И будь очень осторожна в выборе партнёров. Одна ошибка, и у тебя будут проблемы на всю жизнь, — сказала она и выписала мне кучу таблеток.

Постепенно я вернулась от подруг на Арбат, начала есть, спать и даже улыбаться. Спала днём, а ночью читала и писала при лампе, и у меня всё время жил кто-то из девчонок. Как-то ещё с пустым взглядом и испуганным телом я ходила по арбатским магазинчикам и встретила одну из интернатских девиц-старшеклассниц, обучавших нас в спальне «науке побеждать». В каких-то вызывающих тряпках и большом количестве штампованного золота она рассказывала, как удачно пристроилась в торговле. У неё были сильно поражены нога, рука и спина, держалась она бойко, но жутко накрашенные глаза были затравлены.

— Дура ты, дура! Зачем тебе этот сраный университет? — заорала она. — Мне б твою фигуру на недельку, я бы таких дел

наделала!

— Каких? — вяло спросила я.

— Я бы всем мужикам, которые меня унизили, сказала бы, какое они дерьмо!

— А так ты им не можешь сказать?

— А так они мне не поверят!

Что я могла ответить ей на это?

А что касалось красивого зеленоглазого Романа, то, когда я позвонила и рассказала всё по горячим следам, он долго держал паузу, а потом заметил, что нельзя изнасиловать женщину, если она этого не хочет. Потом одумался, жалел, пытался всё повернуть назад, но больше он мне был не интересен. В памяти осталась только одна фраза. Когда я притормаживала его богемность, он язвил: «Из тебя получится хорошая секретарша мужу-зануде!».

Из этого опыта общения с мужчинами я усвоила английскую пословицу: «Джентльмен — это человек, который снимает шляпу, прежде чем ударить женщину».

Глава 8. ПОИСКИ

На временной работе в Институте социологических исследований я обрабатывала анкеты сельских жителей — как они распределяли свое время. Но я была слишком далека от народа, и информация казалась идиотской. «Встал, шёл на работу, курил, шёл домой, ел щи, ругался с женой, выпил маленько, смотрел телевизор, ещё выпил, спал пьяный». Зато в моём распоряжении появилось служебное удостоверение, которое я с гордостью демонстрировала ментам при облавах на стриту, приводя их в глубокое недоумение его подлинностью и моим текстом: «Я здесь провожу социологические исследования. Вы против? Дайте бумажку, что вы против, я отнесу её руководству».

В компании на стриту появился удивительный парень по кличке Бемби. Он был совершенно цивильно одет, коротко стрижен, жил с родителями на улице Горького, учился в Институте Азии и Африки, был обаятелен, нежен, образован, часами трепался со мной о смысле жизни и читал свои стихи. Было похоже, что на стриту искал эмоций, был явно влюблён, на секс не съезжал, да и я была ещё в стрессе. Однажды сказал, что уезжает на полгода за границу на практику. Мы долго и трепетно прощались, встречали рассвет, взявшись за руки, целовались. Как во всякой ласке у подножки самолёта, возникло чувство, что расставаться нельзя. Он обещал писать.

Через месяц я попала на флет в другой конец города, хозяин сказал: «Пойдём, познакомлю тебя с классным чуваком из Питера, неделю назад приехал от верных людей, может, ты его знаешь, у

него кликуха Вася-флейтист!»

Я зашла в комнату, на ковре сидел парень с длинными волосами, весь в трёпаной джинсе и играл на флейте. Я подсела к нему и чуть не заплакала — это был Бемби. Он повернулся, увидел меня и почти выронил флейту. Было понятно, что он гэбист-виртуоз; надеюсь, из него получился гениальный разведчик.

В институте социологии я была фигурой неприметной, мной интересовались только сексуально озабоченные. Девочка и девочка, работала, шутила, ездила со всеми на картошку. Некий козловатый младший научный сотрудник с магендовидом (шестиконечной звездой Давида) на шее в надежде на телесное сближение отвёл меня к другу-поэту. Меня всегда потрясала в поклонниках подобная стратегия: из соображений увеличения звёздочек себе на погонах они показывали дружка покруче, но дружок покруче не желал играть свиту, делающую короля, а тут же лез ко мне самостоятельно. У мужиков в этом смысле удивительное отсутствие корпоративной этики.

Поэт, не создавший ничего, кроме песенок, вешал мне лапшу на уши про «СМОГистов», уверяя, что он самый крутой из них. Прочитал мои произведения, сказал, что надо писать менее интеллектуально и реже вытирать ноги о человечество, что владею диалогом и надо идти на сценарный. Я уже привыкла к идиотской ситуации, в которой тебе обещают большое литературное будущее и тут же объясняют, что готовы возиться только за постель. И «крутила динамо», обрастая литературными знакомствами и новыми тусовками.

Другой козловатый младший научный сотрудник, но уже с крестом на шее, с той же целью привёл меня в компанию «Зелёная лампа» при журнале «Юность». До этого он безуспешно бегал за мной вокруг стола в своей комнате в коммуналке, куда я, между прочим, пришла к нему по работе. Он был болен, и я должна была не то взять, не то забрать какие-то анкеты про тот самый досуг сельского жителя. Вероятно, он решил, что фактом рабочего визита к нему я подписываю договор о немедленном сексуальном соитии, и с криком: «Выебу!» начал гоняться за мной среди стен, увешанных иконами квадратно-гнездовым способом. Впоследствии этот человек долго сидел как христианский правозащитник и вошёл в цвет отечественного диссидентства.

Седьмого ноября мы отрывались. Я, Верка, Таня Александрова, Боря Юхананов, Толя Баранов, Саша Лебедев, Олег Радзинский и ещё целая толпа отправились на поиски приключений. Мы мотались из компании в компанию, всё везде обламывалось, а нас уже заклинило. На стриту в праздник были

ментовские строгости, и, не найдя там удовольствий, прямо на станции «Охотный ряд» мы начали валять дурака. Боря Юхананов, местный поэт и ситуационный импровизатор, был красивым мальчиком, он напялил моё пальто, Веркину шёлковую косынку и накрасил глаза. Компания вламывалась в вагон метро, Борька заходил в другие двери, вихляя бёдрами, и начинал недвусмысленно и успешно клеить пьяненьких мужчин, пока мы надрывались от хохота.

Вскоре, однако, его вывел на чистую воду трезвый тридцатилетний господин в светлом пальто, вступивший в диалог с нашей компанией и пригласивший всех в гости. Мы переглянулись — человек был «не наш» по всем статьям. Приглашение приняли: я, Верка, Боря Юхананов и Толя Баранов. Господин в светлом пальто был физиком по фамилии, скажем, Днепровский. В снимаемой квартире в престижном доме на Фрунзенской он рассадил нас за столом, достал баночки с закусками (ехал от родителей), бутылку водки и поставил пластинку с Сен-Сансом. Нас он позвал как цыганский табор — ему было интересно понюхать и потрогать молодёжь нового поколения, что она читает, о чём думает.

Днепровский был физиком-теоретиком из номенклатурной семьи, знал Сахарова, говорил длинно и многозначительно, был добр и тактичен. Образ «физика», противопоставленный образу «лирика», ещё совершал хождение в наших умах, и мы влюбились в дяденьку всем коллективом. Когда вышли от него на рассвете, вечный провокатор Боря Юхананов сказал:

— Это тебе не стритовским героям мозги крутить, ты попробуй такого охмури!

— Спорим, неделя срока, — машинально откликнулась я. И мы, четверо загульных ребятишек, разошлись по домам.

Кстати, о компании разнузданного молодняка. Верка, уникальнейший реставратор, живёт теперь в Америке; там же живёт в качестве директора финансовой корпорации Олег Радзинский, побывав до этого преподавателем литературы в советской школе и посидев в тюрьме за антисоветскую пропаганду. Таня Александрова — директор телестудии и издательства «Альма Матер», её работы в кино хвалил лично Маркес. Боря Юхананов — известный режиссёр-авангардист, Саша Лебедев — директор фондового клуба, Толя Баранов — доктор наук, структурный лингвист, выпустил словарь русского мата и входил в группу экспертов по разработке национальной идеи при администрации президента. Так что прямо пропорциональной зависимости между загульной молодостью и

последующей социальной неуспешностью я в этой жизни не видела.

Днепровский был совсем не мой герой. Но нравилась взрослость, мягкая солидность и опекающая манера. Он был буржуазен, и я рядом смотрелась как трудный подросток. Бережный в постели, он помог мне решить проблемы, связанные с изнасилованием. Ему, после двух браков, я не подходила ни по каким параметрам, кроме молодости и забавности. Мне он подходил как большая красивая игрушка, которой можно хвастаться перед подружками, но я не могла простить того, что он прятал меня от знакомых. Моя матушка, конечно, положила на него глаз как на красавца еврея, кандидата наук, которому хорошо бы сбагрить непутёвую дочку; она изо всех сил приветствовала связь, в том числе и продуктами, которые пихала в сумку, когда я отправлялась к нему.

Продукты не давали ему покоя: он страшно боялся варёной курицы в целлофановом пакете, подозревая, что именно курица заставит его вступить в законный брак с малолетней хипповкой. Сам он был на пути к вегетарианству и кормил меня какой-то дрянью из травы и каши. Помню, в пылу дебатов о том, должно ли ему есть курицу, присланную моей матушкой, я выбросила бедное варёное животное из окна в ночную Москву. Как у всякого рефлексирующего в тот момент интеллигента, у него в башке был винегрет. Он считал, что спать с несовершеннолетней нехорошо, но спал. Он считал, что его могут заставить жениться, но ни разу не обсуждал вопросы контрацепции, полагая, что я уже взрослая и как-нибудь решила эту проблему сама. Так что только милость господняя спасла меня от аборта.

Работа в институте социологии кончилась, и я снова начала ходить по организациям, уверенная, что, увидев меня, никто не устоит перед моими деловыми качествами. И точно. Пожилой толстый дядька, заведующий лекторами в обществе «Знание», сказал, что я ему подхожу, пообещал большую зарплату, командировки, рекомендацию в университет и дал заполнить анкету. Анкету надо было принести завтра днём ему домой на проспект Вернадского.

Преисполненная гордости и даже поменяв джинсы на что-то социально спокойное, я позвонила в дверь. Дядька открыл в халате, предложил чай, сигарету и начал внимательно читать заполненную анкету.

— А ты почему не в комсомоле? — спросил он строго.

— Потому, что считаю эту организацию позорной, — ответила я, ведь мы успели в первый раз поговорить о

несовершенстве советской системы.

— У нас вступишь, — сказал дядька. — У нас организация идеологическая. Поступишь в МГУ, будешь сама лекции читать, язык-то подвешен.

Он открыл дипломат, достал порнографический журнал, полистал его, остановил на особенно томящей его душу теме и ткнул в неё пальцем.

— Ты как к этому относишься?

— К чему? — ноги и руки у меня мгновенно оледенели.

— Ну, ты, я и один мой друг. Серьёзный человек. Мы можем платить тебе по сто рублей за раз.

Взрывной волной меня снесло в прихожую, я невероятно быстро открыла замок, хотя вообще они у меня никогда не открываются, кубарем покатилась по лестнице, чуть не сбила женщину с коляской и очухалась, только прыгнув в троллейбус. Потом я спрашивала себя, почему со мной всё это случается? Видимо, моя внешняя раскованность читалась как доступность.

Близился новый, 1975 год, падал крупный снег, я шла по Ленинскому проспекту и ела мороженое, чтоб утешить себя после дядьки из общества «Знание», заходила во все учреждения подряд и везде слышала слово «уборщица». Увидела табличку «Литературный музей», поднялась по лестнице и попала в кабинет к важной тётеньке.

— Здравствуйте, — сказала я. — Возьмите, пожалуйста, меня уборщицей.

— Покажи руки, — попросила тётенька, улыбаясь.

— Руки как руки, — удивлённо выполнила я её просьбу.

— Ты полы мыть не умеешь и никогда не научишься. Да тебе и не надо, — сказала тётенька. — Стихи пишешь?

— Пишу, — покраснела я.

— Почитай.

Я прочитала что-то авангардистское.

— Я возьму тебя в массовый отдел, будешь расклеивать афиши и подавать чай на вечерах. А что касается полов, не расстраивайся, я тоже их так и не научилась мыть, — призналась тётенька, оказавшаяся директором музея.

Четыре месяца в Литературном музее были одним из самых счастливых периодов моей молодой жизни. Мужчин там практически не было, их представлял будущий авангардист Андрей Монастырский, клеящий вместе со мной афиши о литературных вечерах. Но какие там были женщины! Музейщицы, это национальность. Они были образованны, умны, красивы, породисты, элегантны, тактичны. Они подсовывали мне самые запрещённые тексты, и чего только я не выносила на ночь из

музея, чтобы прочитать друзьям. Я подавала классикам чай на авторских вечерах и ощущала себя бесконечно счастливой и значимой для отечественной культуры. Музей занимался выставкой Маяковского, приезжала Лиля Брик, но она не ослепила меня, музейные тётеньки были шикарней.

В «Зелёной лампе» тоже продолжалась жизнь, и меня как юную публицистку отправили в «Литературную газету». Там комсомольский вожак Валерий Поволяев посмотрел на меня с тоской, но от письма за подписью Полевого отмахнуться не посмел.

— Сделаешь материал о Юлиане Семёнове, вот тебе телефон и адрес его мастерской.

Онемев от счастья, я начала дежурить у порога мастерской Семёнова около кинотеатра «Октябрь» — так, по моим представлениям, должна была вести себя журналистка-волчица. Через четыре часа в состоянии лёгкого обморожения я была обнаружена его приятелем по фамилии Ситников, заехавшим навестить. Господин Ситников был номенклатурой из ВААПа и ездил чуть ли не на «чайке». Он отвёз меня домой и пообещал походатайствовать о встрече с классиком. Встреча состоялась. Передо мной оказался один из самых умных, тонких и образованных людей, которых я видела к тому моменту. Правда, он кичился кагэбэшными связями и долго объяснял разницу между собой и штатскими на стриту; но тогда у меня в голове она плохо укладывалась.

Я наваяла материал со стёбом, пронизанный эстетикой «Семнадцати мгновений весны». Семёнов смеялся, говорил, что у меня большое будущее мастера капустников. Поволяев нахмурил брови и сказал:

— Неужели ты не понимаешь, что это никто никогда не напечатает?

— Почему? Это неталантливо написано? — недоумевала я.

— При чём тут талант? Если ты не понимаешь, почему, то тебе в журналистике делать нечего! — Тут он был прав.

Однажды мы с Танькой возвращались с заседания «Зелёной лампы» после вечера Аксёнова. Недалеко от арбатского жилища, напротив Дома дружбы к нам приклеился молодец восточно-приезжего разлива, бойко предлагающий условия, на которых я должна скрасить его досуг. В одиннадцать часов Калининский был набит народом. Мы безуспешно отмахивались, огрызались, просили защиты у прохожих. Потом отвернулись и быстро пошли, ощущая погоню. Потом я оглянулась и получила удар в лицо, а Танька — по голове со спины. Мы свалились, как кегли, и молодец ещё успел поохаживать нас ногами посреди честного

народа. Прохожие брезгливо обходили нас.

Танька помогла мне подняться. Мы плохо соображали, у обеих было лёгкое сотрясение, а из моего разбитого лица хлестала кровь. Я приложила к лицу шаль, она стала мокрой и красной.

Через полчаса «скорая» подвезла нас до Первой градской. Танька вела меня, закрывающую лицо шалью, сквозь очередь в приёмном покое, а за нами бежала матерящаяся нянечка, вытирающая кровь с пола. Вид впечатлял, пустили в кабинет без очереди. Молодая врачиха зевнула, глядя на меня, достала карту приёма и начала её заполнять.

— Имя. Фамилия. Год рождения. Место жительства. Чем болела? Только не ври, что ты его в первый раз видишь! Ко мне почему-то на улице не пристают с такими предложениями!

Несмотря на семнадцать лет, я уже понимала, что женщина, к которой не пристают на улице с предложениями, изо всех сил не будет оказывать помощь той, к которой пристают. И никакая клятва Гиппократа не поможет. Но я потеряла много крови, у меня кружилась голова, и я плохо соображала. Мне казалось, что если я умоюсь холодной водой, то боль станет легче.

— Можно, я умоюсь? — спросила я.

— После того, как заполним карту, — ответила она зевая.

Это был предел. Я встала и, покачиваясь, побежала на поиски туалета. Нашла его, заперла на задвижку, включила холодную воду и подставила под неё лицо. Раздались удары в дверь и мужской приказ:

— Открой! Дура! Открой! Руками в лицо не лезь, пластику придётся делать!

Задвижка вылетела, и молодой парень в белом халате силой потащил меня в кабинет.

— Не трогайте меня! Мне от вас ничего не надо! — вопила я.

Он толкнул меня к зеркалу, и под своими накрашенными глазами я увидела жуткое сине-коричневое месиво. Носа не было вовсе. На его месте была какая-то открытая рана, и из неё аккуратно струилась кровь, В глазах у меня потемнело, всё закружилось, закачалось, и парень подхватил меня и уложил на кушетку.

— Терпи, моя милая… Терпи, моя хорошая… — приговаривал он, а сам возился руками в том, что ещё недавно называлось моим лицом. Через несколько часов все кости на нём были собраны, но всё, что составляло пространство между глазами и ртом, было составлено из мелких кусочков. Физиономия была забинтована и заклеена так, что я не могла ни говорить, ни плакать. Я достала паспорт и показала парню в

белом халате фотографию.

— Это ты, что ли? — удивился он.

Я опустила глаза в знак согласия.

— Красивая была девочка. Ну, я что мог, то сложил. Только рана на переносице странная. Кастетом били?

Я показала, что на пальце у обидчика был массивный золотой перстень, какие обожает быдло. Этот шрам заметен до сих пор.

Месяц я провела в бинтах и самых мрачных предчувствиях. Боялась лица, с которым предстояло жить. Конечно, раньше было лучше, но сейчас тоже люди не пугались. Нос стал асимметричным и с горбинкой, центр физиономии стал неподвижным, как маска, но обошлось без пластической операции.

— Вроде ты, а вроде не ты, — говорили знакомые.

— Как хорошо собрали, — сказал профессор в Институте красоты. — Вот уж не думал, что в Первой градской из такого лома могут лицо сделать, обычно они мне присылают всё набекрень.

Я начала разыскивать спасителя — ничего не получилось.

— Студент какой-то, как мы его найдем? Много их тут обалдуев крутится, — ответили во всех инстанциях больницы. Низкий поклон, если он прочитает эти строки.

Казалось, за те три года мужчины отметились на всех частях моего тела и духа; логично было бы стать мизандристкой. К счастью, я ею не стала. Начиналась весна, бродила кровь, надвигались вступительные экзамены. Я попала в Дом литераторов, выпивохи за столиками в пёстром буфете в очередной раз пообещали мне большое будущее. Я снова печатала стихи на отцовской трофейной «Олимпии» и отправляла в редакции и на творческий конкурс в Литературный институт.

Из института пришло письмо. «Внимательно рассмотрели ваши работы. Есть интересные находки, смелые решения, свежие эпитеты. Но в целом стихи сыроваты. Присматривайтесь к жизни, больше пишите. Ждём ваших новых работ». Это они писали под копирку.

Из редакции пришёл такой разгром, что я, в принципе мало плачущая, прорыдала всю ночь. Через год купила поэтическую книжку автора рецензии, морфлотско-комсомольского молодчика, и чуть не просмеялась всю ночь. Сам он оказался бездарен как пень и конъюнктурен как сука. До сих пор иногда вижу его на усачёвском рынке с женой. Они ходят как две жирные морские свинки и ругаются у каждого прилавка. «Вот тебе, гад, за мои юношеские слёзы!» — злорадствую я.

Боря Юхананов любил рассказывать о старшем товарище Лёне Митине. Он был старше нас на три года и вёл экзотический образ жизни профессорского сына, откошенного от армии реальной психиатрией и меняющего вузы и женщин. Он был женат на какой-то дипломатической дочке.

Как тусовочных лидеров нас с Лёней долго науськивали друг на друга, пока наконец встреча не состоялась у меня на Арбате. Компания, состоящая из его и моей свит, с замиранием сердца наблюдала «кто кого», а мы мочили друг друга изо всех сил и выделывались по полной программе. Утром зрители оборвали телефон, чтобы выяснить, «как она его» или «как он её», но были озадачены. На рассвете я и Лёня, обнявшись, уехали в Питер. Режиссёрский ход был настолько грамотным, что нам самим показалось, что мы безумно влюблены. Лёня был высокий, не шибко красивый молодой человек. Он брал другим, работая в амплуа напористого психа. Имея безусловный дар импровизации, в том числе и поэтической, он садился и писал поэму на заданную тему на ваших глазах. Он рисовал авангардистские пятна дурного цвета и так же бойко выдавал их за искусство. Он активно играл на театре, снимался в кино и читал проповеди.

Это была моя первая взрослая поездка. На вокзал меня провожал Днепровский. Это не было стравливанием двух самцов — физик уже перешёл в разряд добрых друзей, и меня волновало его впечатление от нового избранника. Посмотрев на выделывания Лёни Митина, Днепровский вежливо сказал: «Любопытный молодой человек, хотя и несколько эксцентричный». Билетов у нас не было, и Лёня обольстил молодую проводницу байками о том, что мы бежим из Москвы, скрываясь от его жены и моих родителей, что было враньём втройне. Именно его жена и моя мама финансировали поездку. Проводница поселила нас в своём купе, накормила, а сама ушла на всю ночь трахаться в соседний вагон.

С вокзала он позвонил другу-художнику. Художника не было дома.

— Ты предупредил его, что мы едем? — спросила я.

— Как я мог его предупредить, мы с ним виделись два раза в жизни в прошлом году? — спросил Лёня. Увидев, что я впала в ступор, перезвонил ещё раз, повесил лапшу на уши сестре художника, и та пригласила приехать за ключами от дядиной квартиры.

Квартира была на Васильевском острове, а покойный дядя был директором Эрмитажа, о чём извещала мемориальная доска на доме. Квартира была архитектурно витиевата, набита

изобразительными шедеврами и не имела ни ванны, ни душа. Уже потом я узнала, что в питерских квартирах и не то возможно, но тогда казалось, что всё это чистый спектакль, поставленный на нас двоих. Кроме самого города, в спектакле принимали участие люди в пивных, бросавшиеся на шею, как только мы заходили, персонажи, знакомящиеся на улице и в музеях, тащившие нас в гости. Видимо, у нас был вид двух влюблённых идиотов и от нас сыпались искры.

И ещё роман сопровождала странная парочка: нездоровая пожилая женщина с непропорционально большой головой, возившая по городу инвалидную коляску с взрослым идиотом. С точки зрения теории вероятности парочка никак не могла попадаться нам на глаза по нескольку раз каждый день в разных кусках города. Может, они вышли на нашу волну и вампирили подле нас. От Питера можно ждать всего, и мы с Лёней, заслышав скрип инвалидной коляски по тротуару, вздрагивали и переглядывались, как семеро козлят, к которым в дверь ломится волк.

Деньги кончились, любовь почти иссякла, Лёня не был готов к трудностям. Он капризничал, я качала права, поскольку не я его в Питер завезла. Вернулся друг-художник и попал в наше силовое поле. Он был такой же раздолбай, как Лёня, и ему подошла компания двух выясняющих отношения пассионариев, гульба, пальба и пьянки. Пойдя провожать нас на поезд, он остался в вагоне, намекая на любовный треугольник. Именно в таком составе нас и выкинул контролёр в районе Бологого, не вняв театральным завываниям моих спутников. Они так унижались перед ним за право достоять в тамбуре до Москвы, что мои последние иллюзии рассеялись. Как у интернатской воспитанницы, у меня непобедимая брезгливость к шестёркам.

Из Бологого было решено добираться электричками. Холод, хотелось есть. Лёня вломился в уже закрытый буфет и выпросил в качестве милостыни пострадавшему поэту кулёк с едой. До Москвы добрались унылые и потрёпанные, без особых признаков любовной поездки на лице и теле. Отоспавшись и придя в себя, я пригласила Лёню к маме на обед. О его разводе с женой речь уже особенно не шла, хотя, думаю, она бы мне сказала «спасибо».

Лёня пришёл по всей форме: на шее были платок и бусы, в руках Евангелие, а на дворе 1975 год, сами понимаете. Обед прошёл под его проповеди, я была в кайфе от зрелища.

— Параноик в бусах, — сказала мама.

— Он не параноик, — уточнила я. — У него в военном билете написано шизофрения и эпилепсия.

В нашем кругу иметь психиатрический диагноз было

престижней, чем теперь иметь особняк. В каком-то смысле это было справедливо — советская власть не могла заставить этих людей играть по своим правилам, кроме того, все диссиденты были объявлены сумасшедшими.

Потом Лёня сообщил, что решил остаться с женой, и я даже была приглашена на тусовку, где она присутствовала, оказавшись красивой девушкой постарше меня. Дальше мы страдали на публику от невозможности воссоединения. Финал стоил старта. Он пригласил в новую квартиру на высоком этаже без телефона. Всё пространство пола и полок было занято его изобразительными творениями. Я в очередной раз подробно усомнилась в их гениальности.

— Ты пожалеешь об этом, — сказал он, сценично изорвав и скомкав часть работ, и со скорбным лицом вышел в ванную. Когда вернулся, с рукава его светлой рубашки живописно текла кровь. Сев так, чтобы она по возможности капала на смятые гениальные творения, он закурил и повёл светскую беседу, заметив, что раз он не гений, то я стану единственной свидетельницей его смерти от потери крови.

Телефона не было. Дверь была заперта. В дом ещё не заселились люди. Мне было семнадцать. Это было сильным ходом для моего жизненного опыта. В течение часа я умоляла, извинялась, сожалела, хвалила, клялась и унижалась с целью перевязать его честно разрезанные вены. Поглумившись, он сдался, и, изорвав простыню на ленточки, я наложила жгут, как фронтовая санитарка. От нервного напряжения я спала как убитая. Когда проснулась, он сидел в свежей рубашке, на столе стояли цветы, а в мороженое на завтрак были нарезаны персики. Персики меня доконали. Я бросилась делать перевязку и обнаружила, что рана на нём заживает, как на героине фильма «Солярис», а около неё целый лес рубцов, когда-то работавших последним аргументом в споре. И по ним, как возраст пня по кольцам, можно сосчитать количество романов. После Лёни я долго держала вокруг себя только платонических мальчиков, дарящих гладиолусы.

Мне исполнилось восемнадцать. Экзамены надвигались. В шпаргалки я больше не верила, к тому же выяснилось, что почти все кореша поступили в прошлом году по блату. У меня блата не было. У меня вообще ничего не было, чтобы сражаться с этим миром, кроме внешности и мозгов, и за то, и за другое я только кроваво расплачивалась. Пора было пустить это в оборот. Подготовка к экзаменам заключалась в кроении кофты, Верка помогала. Объём груди у меня был в два раза больше объёма

талии, и в кофту была вмонтирована кнопка, которая, расстёгиваясь при еле заметном сведении лопаток, демонстрировала соотношение объёмов. Я выбрала экзаменатора с самым сальным взглядом, дело было беспроигрышное.

Как честный офицер, я свела лопатки, только отлично ответив на вопросы билета, потому что сыпят на дополнительных.

— Ах, извините, — сказала я, сведя лопатки и мило залившись краской. — У меня порвалась кофта.

— Счастье спрашивать такую абитуриентку, — перегнулся через стол преподаватель, чуть не упав головой в моё декольте. — Вы блестяще подготовлены. Я буду вести у вас на третьем курсе спецсеминар, я запомню вас!

«Запомни, запомни, козёл. Уж тогда я тебе всё скажу, что о тебе думаю», — хихикала я про себя, унося пятёрку, а с ней и поступление. Поступала на вечерний. Дневной исключался из-за отсутствия комсомольской корочки, на вечернем это никому не могло прийти в голову. Надо было устраиваться на работу, и, снова прочесав конторы, я устроилась курьером в архитектурное заведение, базирующееся в Донском монастыре. Это было красиво. Полдня бродила по Донскому кладбищу возле барельефов с храма Христа Спасителя, а потом везла куда-нибудь бумажки.

На философском факультете оказалось редкостное количество идиотов. Собственно, курс делился на романтических головастиков вроде меня, партийных кретинов и перепуганных нацменов. Было весьма интересно, как с трудом говорящие по-русски нацмены сдадут историю философии, логику и высшую математику. Сдали!

У меня появились новые подружки. Хорошенькая девочка, живущая с наркоманом, зачем-то запихнутая на философский мамой, работающей в МГУ. После университета она выбросилась с пятого этажа, свихнувшись на жидо-масонском заговоре, по счастью, осталась в живых. И Зара из Еревана, тоже зачем-то засунутая на философский дядей, замом министра. Зара ходила в красном пальто, жёлтых сапогах, зелёных перчатках и с живым цветком в руке. Борясь с унылой московской палитрой, она рисовала сюрные картинки и гадала на кофейной гуще. Квартира Зариного дяди с камином была в Старосадском переулке, вместе с моим Арбатом, университетом и стритом составляла золотое кольцо, по которому круглые сутки пульсировала жизнь.

Мы ходили только на интересные лекции, но атмосфера общей суетливости и стукачества всё равно вынимала душу. Зарка писала картины, я — стихи. Энергетически мы питались от

домашней компании. И творили в ней беспредел. Как-то, сильно разгулявшись, оказались в бомондной квартире на весь этаж. Юхананов, уже учившийся в воронежском театральном, привёл бойкого однокурсника. Мы завелись друг на друга, плели ахинею про выдержку и поспорили, что он пять минут продержит меня на руках над улицей, стоя на балконе десятого этажа. Причём оба были трезвые — после операционной водки алкоголь для меня был закрыт.

Конечно, нервы сдали у него. И вместо пяти минут я висела над землёй две. Компания была в ужасе. Зарка обиделась на меня. Лет через пятнадцать этот парень, в качестве провинциального артиста, пробующегося в Москве, репетировал в моей пьесе. Понадобилось полгода, чтобы вспомнить, что мы уже виделись в сцене на балконе. Из-за пустого пижонства я могла вывалиться из его рук с десятого этажа! Такая дурная долоховщина. Если бы он стал серьёзным артистом, может быть, было б не так обидно.

Кого только не было в компании. Помню, к нам прибился пожилой математик, охочий до юной тусовки. Однажды по какой-то экстремальной причине мне довелось ночевать у него. С одной стороны, он был уже свой, с другой стороны, понимал, что если что — ребята из компании размажут его по стене. Я легла на кухонном диванчике в одежде, но не прошло и получаса, как он явился объясняться в глубоких чувствах. Танька занималась самбо, Верка — карате. Обе они объясняли мне, как бить ногой в пах. Сначала я сделала несколько предупреждений, потом опробовала, чему учили подруги. Пожилой математик рухнул на пол и заскулил, что у него больное сердце и начался приступ. Я предложила вызвать «скорую», а заодно милицию. Приступ мгновенно прошёл, и он умёлся из кухни, в которой я, на всякий случай, придвинула к двери стол и стулья.

Потом он пытался пожаловаться на меня в компании. Сказал, что из человеколюбия пустил ночевать, а хулиганка вместо благодарности устроила драку. И что, понимая, что остаётся на ночь в одной квартире с криминальным персонажем, решил спрятать самое ценное, что было в его доме, — партбилет. История превратилась в стритовский анекдот, и я её слышала уже обросшей густой шерстью вымышленных подробностей.

Приятельница матери, режиссёр дубляжа, отправила меня со стихами к одному известному шестидесятнику, выведшему в люди не мало пишущих. Я начала бывать в его квартире, обвешанной антикварным оружием, и принимать участие в салонных сборах. Он читал мои стихи, объяснял, где что

поправить, а вокруг сидели взрослые известные люди и сыпали именами ещё более известных. Это был знаменитый дом в Москве, хозяин считался крупным донжуаном, и толпы женщин сражались за право переночевать в его пожилых объятиях. Фамилия его была, скажем, Тимашов. Человек он был обаятельный, напористый, маленький, лысенький, очкастенький и очень импровизационный. Он виртуозно приручил меня — тема поиска отца томила меня во всех видах отношений с мужчинами. Я была совершенно расслаблена ещё и потому, что он был любовником материной приятельницы.

Я получила от него много внимания, заботы, связей и поощрения. Он выслушивал, давал дельные советы, а человеку в восемнадцать всегда так не хватает взрослого друга! Однажды, когда гости разошлись, я помогала мыть посуду… По российским канонам, в отличие от цивилизованных, не считается, что он изнасиловал меня: не бил, не связывал. Он совершил психологическое насилие, построил интригу так, что я не сумела и считала, что не вправе физически сопротивляться.

Вероятно, в суде сказали бы, что сама оказалась в квартире у мужчины, что совершеннолетняя и что была возможность сопротивляться. Но человек заставил меня поверить, что я ему страшно обязана, и сыграл по детским комплексам, как по клавишам.

Светало. Он храпел. Я сидела и плакала от бессилия и омерзения. Позвонила Днепровскому. Он был настоящий друг — взял такси и приехал меня забирать. Я сняла со стены музейную коллекционную кольчугу, напялила её на голое тело, надела на голову шлем и открыла дверь. Днепровский понял, что у меня стресс, и долго утешал, привезя к себе. Эти строки не для того, чтобы прибавить к моему декамерону ещё одну историю. Их будут читать мужчины, и, может быть, это их хоть раз остановит от свинства. Их будут читать женщины, побывавшие в подобных ситуациях и, как я прежде, считающие себя единственными виновницами. Пусть они знают, что в цивилизованном мире, если женщина говорит «нет», но почему-либо не может сопротивляться, ситуация квалифицируется как насилие.

Я больше не виделась с этим человеком. Он звонил, сожалел, извинялся. Боялся, что наябедничаю маме, а та — приятельнице. Я даже не была на его похоронах. Я знаю массу людей, до сих пор благоговеющих перед его памятью. Прошло очень много лет, но отвращение во мне неизгладимо.

Если кто-то скажет, что слишком часто со мной происходили такие истории, я рассмеюсь ему в лицо. С моими подругами это происходило ещё чаще, независимо от того, носили они имидж

«хорошей девочки» или «протестующей хипповки». Над одной моей подругой в пионерском возрасте совершил насилие пожилой уважаемый родственник, в семью которого её отправили отдыхать; другую изнасиловал сосед по коммуналке, в которой она ночевала в гостях, не зная, что надо запирать дверь, внешне вполне интеллигентный мужчина; третью изнасиловал муж подруги, потому что она боялась кричать; четвёртую — консультирующий её психиатр; пятую — режиссёр, бравший на работу; к шестой в пьяном виде лез собственный отец… и так далее. Всё это были девочки из интеллигентной московской среды.

Насилие пронизывало всю советскую жизнь, сексуальная сторона отношений даже вербализовалась как иерархия властных функций: «я её возьму», «она будет подо мной», «я её…». С одной стороны, партнёрская роль женщины в сексе как бы не подразумевалась, с другой, получалось, что баба только об этом и думает. Сложив оба тезиса, мы получали, что она только и думает о том, чтобы стать жертвой.

Не скажу, где я тогда работала — иначе персонаж можно высчитать, — но однажды в обеденный перерыв в буфете ко мне подсела дама лет сорока из соседней конторы, казавшаяся мне тогда величественной старухой. Я ела пошлую сосиску, а она тянула из бокала изысканное вино, которое специально для неё держала буфетчица. Она помурлыкала о разном и пообещала принести суперзапрещённую книжку. Я стала ходить обедать вместе с ней, слушать её истории. Мне завидовали. Она была начальницей, слава богу, не моей, некрасивой, умной, образованной, стильной, успешной и одинокой. Начала делать шикарные подарки — книги из серии «Библиотека поэта», на чёрном рынке такие книги стоили две моих зарплаты.

— Пустяки, — говорила она. — У меня нет детей. Кому пойдёт библиотека?

Через какое-то время предложила посмотреть библиотеку целиком, в воскресенье, а заодно и пообедать. Я раздувалась от гордости. С детства мне объясняли, что приходить с пустыми руками в чужой дом неприлично, а по примете, в дом, в который ты хочешь ходить часто, в первый раз полагается приходить с чем-то мучным. Долго изводясь в арбатской булочной и выкраивая на обмылки зарплаты шикарное приношенье, я опоздала на полчаса. Хозяйка была недовольна. Хмуро провела экскурсию по квартире, уставленной антиквариатом, и усадила за стол. На нём были такие изыски еды и сервировки, что я почувствовала себя пастушкой, приглашённой к английской

королеве. Выпили по бокалу хорошего белого к рыбе, какой я сроду не видала, хозяйка закурила и начала грустно рассказывать про папу-маму, хорошую семью, задетую тридцать седьмым, про одиночество…

От вина, рыбы, интерьера и оказанного доверия у меня в груди образовался ком. Она посмотрела очень грустно и серьёзно и спросила:

— Ну, и что ты обо всём этом думаешь?

Я собрала в кучку молодые мозги и уж было придумала, как элегически отвечу о душе, жизни и отечественной истории, но она пришторила глаза ресницами и положила руку на мою коленку.

Вот тут-то я выпала в осадок. Я уже ожидала этого от дядек всех видов и мастей, но чтобы… Я хрипло сказала:

— Мне надо выйти на минуточку.

— Найдёшь ванную? — спросила она томно.

— Ага, — сказала я, преувеличенно заискивая, бросилась к двери и рванула в чём была на двадцатиградусный мороз. Дело было в центре, и такси я поймала до обморожения, дальше предстояло ездить по подругам в надежде, что кто-то окажется одновременно и дома, и при деньгах, и что-то верхнее на меня натянет. Утром следующего дня я пришла на работу в лёгкой курточке и обнаружила шубу, шапку, шарф, варежки и сумку, аккуратно сложенными на своём рабочем столе. С тех пор она не здоровалась, а подружки по очереди приходили ко мне обедать, чтоб поглядеть на неё. Она это понимала и вела себя ещё более подчёркнуто независимо, тянула всё то же вино, курила всё те же сигареты и шутила с буфетчицей хрипловатым голосом.

Я, конечно, знала, кто такие лесбиянки, но не была готова к тому, что у них возможны те же самые приёмы, что у презираемой мною части мужчин, для которых секс реален без согласия второй стороны, а психологическое задавливание входит в набор сексуальных возбудителей. Я готова всеми способами защищать права сексуальных меньшинств, но я ненавижу взрослых растлителей. Для меня не принципиальна чужая сексуальная ориентация, но когда я вижу, что кто-то лезет к молодняку и пытается из юношеских незащищённости, проблемности и одиночества выгадать на свои сексуальные нужды, я зверею как бык на красную тряпку. Я веду себя как квочка, и ходить по ночным клубам со мной просто неприлично, потому что я опекающей мамкой лезу в чужие альянсы с кондовыми: «Девочка, протри глаза, он тебе в дедушки годится. Мальчик, беги от этого козла».

Мне было восемнадцать. Алгоритм отношений с противоположным полом выглядел однообразно: либо меня грязно домогались, либо я истерически влюблялась ровно до мига обвального разочарования. И то, и другое не казалось мне венцом отношений между полами. С одной стороны, постель представлялась мне местом максимальной психофизической реализации, с другой стороны, я понимала, что гипотетически среди мужчин ровно такое же количество нормальных людей, как и среди женщин, с которыми можно строить честные человеческие отношения. Я догадывалась, что, как и любой другой, этот предмет может быть изучен, но не представляла, где взять учебники.

В русской классической литературе об этом не было ни слова — все бабы там покорно ждали, что их заметят и обольстят, потом бросят или поведут под венец. Подруги знали ещё меньше меня, мама понимала только модель, в которой один сверху, другой снизу. Дамы постарше говорили исключительно об одном: мужика надо охмурить и дурить всю жизнь. Чем мужик оказывался задуренней и богаче, тем брак считался удачней и тем омерзительней выглядело это со стороны. Клянусь, но первую нормальную супружескую пару я увидела только на собственной свадьбе: это были мои свёкор и свекровь.

Обучающей книгой моей юности оказался текст Андре Моруа «Из писем к незнакомке». Мой юношеский дневник вдоль и поперёк был исписан цитатами оттуда. А фраза «Женщина никогда не наскучит самому выдающемуся мужчине, если будет помнить о том, что и он человек» стала основным правилом жизни. И чем дольше я живу, тем чаще мне приходится повторять её женщинам, неудачливым в любовном партнёрстве. Полное неуважение себя всегда закладывается в девочку советским воспитанием в пакете с полным неуважением к нему.

Изучение «науки страсти нежной» одарило меня огромным набором цитат, правил, ходов и приёмов. Но то, что через много лет мне объяснили сексопатологи про четыре основных типа мужчин, я уже в юности чуяла кожей. Приведу типизацию в помощь девушкам, чья кожа еще «не так чувствительна».

Первый тип — шаблонно-регламентированный. У него всё идёт по плану, это самый изменяющий жёнам в командировках фрукт; когда приходит вечер, ему психологически необходимо, чтоб всё было на местах и в привычной очерёдности. Ужин, телевизор, душ, половой акт, сон. Если нет ничего лучше, способен изменить с бабой-ягой. Наиболее надёжно приручаемый и наиболее монотонный в любви.

Второй тип — творческий. Для поддержания внутренней

энергетики ему надо много и разных. Сентиментален и циничен. Интересный любовник и предупредительный муж, поскольку всегда чувствует себя виноватым. Ему нет цены, если научить его пользоваться презервативами и не афишировать других женщин.

Третий тип — донжуан. Вершина любовного таланта. Он никогда не женится, а если женится, то это тяжелейшая ноша, потому что он принадлежит всем женщинам мира. Совершенно искренне умирает в каждой. Прикасаясь к женщине, он, как алхимик, обращает её в золото. Пробуждает сексуальность даже покрытых мхом эрогенных зон. Женщины, пытающиеся сажать его на цепь, совершенно наивны. Никакой «нравственности» для него не существует. Он художник, а не жених, и спасибо ему за это. В течение ночи может снять комплексы, накопленные всей предыдущей жизнью.

Четвёртый тип — генитальный. То, что в быту мы называем «грязное животное». Секс не связан в его сознании ни с какими моральными нормами, а партнёрша воспринимается не как человек, а в качестве функции. Этот тип поставляет насильников, маньяков и прочих свиней. Не годится ни для брака, ни для романа, ни для случайной связи. Годится только для прокурорского надзора. Однако, напоминаю, представители этого типа — жертвы насилия в детстве, всю жизнь они только повторяют совершённое над ними или над матерями в их присутствии.

Ни один тип не встречается в чистом «лабораторном» виде, но любой мужчина основными свойствами всё-таки попадает в одну из ячеек. С юности я инстинктивно ориентировалась на второй и третий тип. Первый был скучен, четвертый — страшен.

Да, и ещё всегда остро стояла проблема гармонии аудио-видеоряда. Я западала на красивых мужиков, но они так редко дотягивались собственной личностью до собственной внешности, что я торопилась с постелью, пока они не успели опошлить собственную фактуру текстом. Как утверждал Ренар: «Красавец мужчина, будь он при этом ещё и немым, был бы само совершенство».

Глава 9. ДО ЗАМУЖЕСТВА

Работа в Донском монастыре быстро кончилась. Но когда я, ещё работая в Литературном музее, старательно участвовала в организации вечера музея в Центральном Доме литераторов, тётенька из ЦДЛ, знаменитая Анна Максимовна обронила: «Мне бы хоть одну такую девочку в подчинение».

Я пришла к ней.

— Куда же я могу тебя взять на работу? — удивилась Анна Максимовна. — В системе Союза писателей работают только свои. Если б ты была дочерью, женой или любовницей… (Прикормленные льготами Союза писателей назывались в свете «жописы» — жёны писателей, «дописы» — дочери писателей и «мудописы» — мужья дочерей писателей.)

— Но я пишу стихи, — открыла я тайну.

— Боже, такая умная девочка и пишешь стихи! Умоляю, никому не говори. Ну, зачем тебе это, ты же учишься в университете? Пойди в буфет и посмотри на поэтесс! До сорока лет по редакторским постелям, после сорока — за бутылкой! И посмотри на их детей, это одни слёзы! — закричала Анна Максимовна. — Вот что, в Союзе писателей РСФСР, у Михалкова, кто-то нужен в канцелярию. Пойдёшь и скажешь, что ты моя племянница. Поработаешь, подцепишь какого-нибудь толстого богатого писателя. Только, ради бога, никому ни слова про стихи, иначе тебя немедленно потащат в постель. И переоденься во что-нибудь приличное, ты же как пугало!

На мне была драная котиковая шуба, обшитая мехом мужская шляпа. Волосы свисали почти до пояса, а холщовая сумка была украшена портретами Леннона и Маккартни вместе с призывами к свободе. Себе и своему окружению я казалась очень крутой в таком виде.

В Союзе писателей РСФСР, находящемся тогда на набережной Мориса Тореза, поверив «в племянницу Анны Максимовны», меня взяли на должность заведующей канцелярией и выдали удостоверяющую сие корочку с золотым гербом и буквами «Союз писателей СССР». Ксива была убойная, добавив к ней надменное лицо и фразу: «Добрый день, я журналист, делаю о вас материал…», можно было добиться всего. Например, чтоб тебе перестали хамить в магазине, чтоб с тебя в такси не требовали неразумных чаевых и прочих гуманитарных подробностей жизни.

Пышное название должности означало только то, что на ней предполагался самый низкий оклад в организации. Бумаг в

учереждении была туча, и кроме меня в канцелярии сидело несколько девушек и женщин — все они были либо партийки-комсомолки, либо дочки кагэбэшников, либо временные любовницы больших писателей. В мою задачу входила регистрация почты, распихивание её по адресатам, отправка ответов, чаепития и банкеты.

Лоснящийся Сергей Михалков, возглавлявший союз, появлялся раз в неделю, не глядя подписывал бумажки, сочинённые за него шустреньким помощником, и отправлял собственную корреспонденцию за казённый счёт. (О скупости Михалкова ходили легенды.) Работа учреждения мало занимала его и в основном выражалась в традиционном тосте на банкетах: «Предлагаю выпить за меня, потому что если бы не я, вас бы тут не было!».

В своё время создателей гимна некто прозвал «гимнюками».

— Гимнюки, не гимнюки, — ответил Михалков. — А петь будете стоя!

К телу Михалкова допускались деревенского вида секретарша Люся, маленький ироничный помощник Лёва, по сути дела управляющий Союзом писателей, и злющая неустроенная баба, близко не лежавшая к литературе, в отличие от лежания к литераторам. Не зная ни одного иностранного языка, она возглавляла иностранную комиссию и, намекая на особые отношения с создателем гимна, ежегодно избиралась парторгом.

На фоне хамоватого Михалкова второй секретарь союза, Юрий Бондарев, тогда смотрелся как провинциальный священник возле столичного хозяина борделя. Тогда ещё не было принято работать «русским патриотом», и Бондарева занимали только собственные астрономические тиражи и машина, вовремя подававшаяся к подъезду. Дальше по иерархической лестнице следовали освобождённые секретари — третьесортные писатели, отличившиеся преданностью. Они получали зарплату, улыбались как кинозвёзды и поддакивали на секретариатах. За ними шли консультанты по областям и жанрам — какие-то уж совсем серые люди в серых костюмах, бывшие партийные работники, родственники писателей, вовремя приглянувшиеся боссу училки и т. д. Например, драматургию курировала дама, имевшая диплом Плехановского института и полученную квартиру в небоскребе на Краснопресненской, явно не за заслуги перед отечественной культурой.

Первое время у меня было ощущение, что Анна Максимовна устроила меня работать внутрь сложного часового механизма, исправно работающего, но показывающего неправильное время. Потом постепенно передо мной развернулось роскошное

бюрократическое шоу, ведь я сидела на входящей и исходящей почте. Тайны соцраспределителя, анонимки, стенограммы секретариатов и демонстрация кнутов и пряников текли передо мной как молочные реки с кисельными берегами. Я увидела, как отчетливо пригнаны все болты ко всем гайкам машины, уничтожающей отечественную литературу, я возблагодарила своё путешествие во внутренности Союза писателей — у меня не осталось иллюзий, и это сберегло мне много сил.

Когда меня заставляли посидеть секретарём перед чьим-нибудь кабинетом с тяжёлой дверью, я созерцала бойких поэтесс, выходящих, застёгивая пуговички на блузке, и по количеству пуговичек можно было высчитать, оторвала бесстрашная стишок, подборку в коллективном сборнике или книжку. Были и другие технологии. Я столько всего узнала и увидела, что меня давно было пора убивать.

Склеротические классики и молодые прохвосты ежедневно подписывали мне скабрезностями свои лирико-гражданственные книжки. За все четыре года работы я не нашла в коллективе ни одного собеседника, с которым можно было бы обсудить то, что я понимала под литературой, — перед моим взором всё время надували какие-то мыльные пузыри люди типа Егора Исаева и Расула Гамзатова.

Продвижение молодых проходило на моих глазах. В глубинке откапывался какой-нибудь славненький одарённый мальчонка или девчонка, и его тестировали на понятливость. Если понятливость наблюдалась, то его вместо того, чтобы как-то цивилизовать и поучить, начинали демонстрировать как пуделя на собачьих выставках. Катали по семинарам и совещаниям, выпускали тоненькую книжонку. Книжонка означала первую планку на погонах. Если персонаж слушался дальше, бегал за водкой или ложился с кем надо, то его вступали в Союз писателей и помогали с жильём. Он быстро жирел и окружал себя точно такими же мальчонками и девчонками, потому что больше ни с кем не мог быть лидером. За всё это время он так и не приближался к традиционным для пишущего человека ценностям, несмотря на то, что успевал получить корочку Литературного института или Высших литературных курсов.

Он разглагольствовал о русской истории, путая всех царей; ставил отметки классикам; отпевал запрещённую литературу, никогда не видя её в глаза; печатал концептуальные статьи при том, что «не мог он ямба от хорея». Он олицетворял собой исконное-посконное-избяное-нутряное, писал произведения на «истинном русском языке», которого я, прожив всю жизнь в России, до сих пор не понимаю, и, конечно же, имел монополию

на истину. Он жил в субкультуре выдвиженцев, которую придумала советская власть, чтобы обойти жалобы Сталина на то, что «нет у меня других писателей». Он был выращенный в пробирке Союза писателей «другой писатель». Интеллигентная среда не воспринимала его никак. Как говорил Твардовский, «в Союзе писателей нет никакой групповой борьбы, просто одни прочитали «Капитанскую дочку», а другие — не прочитали».

Близилась весна, а с ней и творческий конкурс в Литературный институт. Я сидела у себя Арбате и печатала новую подборку стихов на творческий конкурс. Зашёл Гриша Остер, известный детский писатель, проживавший тогда в сане многообещающего взрослого поэта. У него к этому моменту вышла книга стихов где-то на севере, и мы все цитировали из его поэмы: «И слова расступались как пальцы огня, когда имя моё ты носила в груди. А сегодня оставила ты для меня только шорох, слетающий с губ: «Уходи…»

Гриша был безумно талантлив, но столь же нетерпелив. Однажды он сказал: «Всё, хватит, я больше не буду поэтом, я назначаю себя детским писателем. И спорим, что через три года вы все ахнете, потому что я приеду на красных «Жигулях»!». Тогда «красные Жигули» были покруче, чем сейчас собственный самолёт. И он приехал, правда не красных, а оранжевых. Зато не через три года, а через два.

Он был старше, и к нему прислушивались.

— Брось печатать стихи, — сказал Гриша (не тогда, когда приехал на оранжевых «Жигулях», а тогда, когда зашёл на Арбат). — Без партийных паровозов ты всё равно никогда не пройдёшь творческий конкурс. Напиши пьесу, поступи в семинар Розова и Вишневской, проучишься пять лет, получишь диплом. Им на студентов совершенно наплевать — жив, умер, они и не заметят.

— Я не умею писать пьесы, — ответила я. Правда, всегда считалась мастером капустников, а в школе писала какую-то любовную похабель, и даже ставила её, естественно, играя одну из главных ролей.

— А чего там уметь? — удивился Остер. — Сними Шекспира с полки, посмотри, как он это делает. Справа — кто говорит, слева — что говорит.

Это был самый полезный совет создателя «Вредных советов». То ли Чехов в моей комнате слишком страстно объяснялся Лике Мизиновой в любви, то ли Остер — гениальный провидец, но за ночь я написала пьесу, с которой поступила в Литературный институт. И по-моему, до сих пор лучшее, что я умею делать в

этой жизни, — это писать пьесы.

Однако поступление было впереди, а в настоящий момент был кризис жанра. От философского факультета воротило, от Союза писателей тошнило. Литературный институт представлялся спасением целостности личности, но там не ждали. Идея бросить философский пришла нам с Зарой в голову примерно одновременно. Она тоже мучилась и хотела заниматься живописью.

Однажды, после очередного веселья я, Зара и Наташа по кличке Ёка в честь жены Джона Леннона ввалились в пустую квартиру Зариного дяди. Настроение было самое неистовое, мы включили музыку и долго плясали, распаляясь как профессиональные ведьмы. Потом сварили чайник глинтвейна, напились, расчертили ватман и начали гонять по нему блюдце. Это было моё первое и последнее участие в спиритическом сеансе. Сначала было страшно, свечка рисовала настенные кошмары, а ветер завывал в никогда не растапливаемом камине. Блюдце складно поехало по буквам, и если первые пять минут мы обвиняли друг друга в манипуляции пальцами, то потом начали вникать.

Мы фамильярно вызвали дух Марины Цветаевой. Блюдце написало: «Я здесь». Для важности задали пару вопросов, ответы на которые из всех присутствующих могла дать только я, рывшаяся в бумагах Литературного музея, и сама Марина Ивановна. Ответы устроили. Начали расспрашивать по делу и получили немедленное указание бросить философский факультет и гарантии поступления мне — в Литературный институт, Зарке — в Ереванский художественный институт. Ёка собиралась поступать в Суриковский, она неплохо рисовала, и у папы, полковника КГБ, там была договорённость. Дух Марины Цветаевой сказал, что она никогда не будет учиться в Суриковском. На вопросы о личной жизни было сказано, что выйду замуж за человека по имени Андрей через два… Дня, месяца, года, брака? Осталось загадкой. Дух закапризничал, и буквы перестали складываться в слова.

Понятно, что на следующий день мы с Зарой пошли в учебную часть забирать документы. Тётенька была ошарашена и долго отговаривала, объясняя, как высок конкурс и как велик статус. Мы снисходительно улыбались. Многие до сих пор считают, что нас за что-то тайное выгнали, а остальное мы наврали, потому что тогда люди не бросались университетом. Матушка моя, естественно, была в шоке, но объяснять про отвращение к идеологическому факультету и доверие духу Марины Цветаевой я считала излишним. Кстати, Ёка

действительно так никогда и не поступила в Суриковский.

По поводу Андрея никаких соображений не появилось до сих пор. Первого мужа звали Александр, второго зовут Олег. Для укрепления авторитета Марины Цветаевой в междубрачный период я составила коллекцию из Андреев, однако сердце ни разу не дрогнуло.

Это был красивый жест с философским. Оценить его могло не много народу. Мы с Заркой кайфовали, но было понятно, что это подведение некой черты… Что Зарка уедет в Ереван, что больше никогда в жизни ни вместе, ни по отдельности мы не переживём такого лихого веселья, такой трогательной дружбы, такого несказанного ощущения полноты бытия.

После ухода с философского меня обвиняли в дурости и непрактичности. Но я делала это не из желания эпатировать кого-либо, а потому что ещё в юности начиталась книжек по дзен-буддизму и понимала, что жизненный путь удаётся или не удаётся не потому, что один делает всё правильно, а другой — всё неправильно, а потому, что один слышит свою судьбу, а другой затыкает уши и пытается её обмануть. Как шутили на философском факультете, «никогда нельзя бороться с самим собой. Силы слишком не равны».

(Дзен-буддизм — несмотря на то, что я была изо всех сил пишущим и изо всех сил говорящим существом — я понимала как внеязыковой опыт получения знаний о мире. Мне было очень понятно то, о чём Налимов писал: «Человек в каком-то глубоком смысле думает всем телом».)

Итак, я попрощалась с университетом. Через две недели Зара сложила чемоданы, и мы последний раз на пару слонялись по местам боевой славы. Сели за столик в кафе «Аромат», где собирались хиппи и музыкально-театральные студенты, и к нам подсел очень красивый молодой человек. Было понятно, что подсел ко мне, но никак не решится познакомиться.

— У вас такой вид, как будто вас каждый день сжигают на костре, — сказала я иронично, но не настолько, чтоб погасить его интерес.

— Меня действительно каждый день сжигают на костре. Я учусь в Гнесинском училище на отделении музыкальной комедии сразу на двух курсах, — ответил он.

Дальше был дежурный набор слов, якобы неохотное давание телефона и небрежное прощание. Когда мы с Заркой остались одни, она сказала:

— Ну, вот, я уеду, а ты выйдешь замуж за этого провинциального типа, нарожаешь кучу детей. И всё. И больше ничего хорошего в твоей жизни не будет.

— Я? За этого? Ты с ума сошла? — удивилась я.

— Вот увидишь. Я всё про тебя знаю, — сказала Зарка и улетела в Ереван.

Вокруг меня в этот момент было по крайней мере три внятных мальчика, подробно и настойчиво зовущих замуж. Но мне было девятнадцать, и матримониал не манил. И ни одной секунды не грела мысль о браке с московским мальчиком, заласканным мамой и бабушкой. У меня перед глазами был собственный брат, принимающий решения по маминой подсказке, и семью я представляла себе как изнурительную круглосуточную работу бабы вокруг комплексов распущенного мужичонки.

Однако через неделю мы потащили заявление в загс. Этому предшествовал стремительный роман с полным набором музкомедийных мизансцен: Саша показывал, как за два часа может сшить идеальные брюки из бархатного занавеса, сыграть «Лунную сонату», починить любой предмет, отжаться сто раз, спеть арию по-итальянски, неся при этом возлюбленную на руках по ночному Арбату и т. д. В один прекрасный момент мы поняли: надо что-то решать, и стали бросать монетку. Монетка ответила, что нам надо жениться. И думаю, мы оба даже теперь к ней не в претензии. Поскольку, как говорил классик: «Брак — это не ад и не рай, а чистилище».

Глава 10. ДЕД ГАВРИЛ, БАБКА НАТАЛЬЯ

При всём моём московском снобизме самые серьёзные романтические истории у меня случались с провинциалами. Я энергетически ощущала их другими, иными настолько сильно, что даже пыталась подвести под это астрологию и гумилёвскую теорию пассионарности. Думаю, всё проще: в Москве обращали на себя внимание лишь самые яркие из провинциалов, сдавшие неоднократный тест на волю и мужество, экстерьер и интеллект. Плюс семейный сценарий, героем которого всегда оказывался пришедший издалека и сделавший себя сам мужчина.

Я никогда не видела родителей своего отца, деда — Гаврила Семёновича Гаврилина и бабушку — Наталью Николаевну Зайцеву. Половина проблем нашей семьи, — это проблема семейных тайн. Только после двадцати я узнала, что у отца была первая жена, а у меня — сводный брат, трагически погибший в возрасте семи лет. Естественно, родные отца, поддерживая дружбу с первой женой (кстати, детдомовкой), не могли столь же страстно любить вторую, очень молодую, амбициозную жену.

Лет в тридцать пять я добралась до автобиографии деда Гаврила, толстенной амбарной книги, которую мой отец принёс после смерти деда и поклялся издать, но не смог. Перед вами малая её часть.

Родился я 1888 года 26 марта по старому стилю, по новому 8 апреля.

Дед не любил мою мать, поэтому отправил нашу семью начинать новую жизнь, оделив частью двора, половиной риги, двумя овцами и плохоньким теленком. К этому моменту нас было пять ребятишек, да мама опять в положении. Пока отец строил новый дом, в старом жили вместе. Они обедали как богатые, а нам мама покупала куски хлеба, которые собирали нищие у церкви, а потом распродавали. Особенно плохо было мне — младший из братьев, я видел от них много обиды. До школы обуться и одеться мне было не во что. Выходя на улицу, обувал и надевал что-то со старших. Уберусь как чучело и стою около дома, а ребята постарше дразнят меня.

В школу пошел в 1896 году. На открытие учебного сезона собралась местная знать: сельский староста, волостной старшина, урядник, поп, дьякон, князь Кропоткин и купец Галахов. Поп отслужил молебен, и присутствующие мамочки учеников молились о ниспослании чадам преуспевания в науках. Но не всем бог ниспослал милость, многие из зажиточных семей оказались тупицами и олухами. Я начал учиться не скажу чтоб прилежно, но у меня оказались приличные способности.

Старшие братья уже работали, а в хозяйстве я оставался за мужчину. До Казанской, престольного праздника, надо было хлеб убирать да обмолачивать, а после Казанской овёс убирать да обмолачивать. Одному не под силу, а старшие с меня спросят. Я звал на подмогу товарищей. Подмогу надо было чем-то компенсировать, я сообразил, что могу платить яблоками. Яблонь своих у нас не было, так я ночью перед самым утром забирался в чужой сад, набирал яблок с лучших яблонь, которые ещё днём примечал, и кормил товарищей.

Работы было так много, что гулять ходил только вечерами, мы садились с ребятами и рассказывали сказки. Сказок я знал больше всех, их уйма была в школьной библиотеке. Пока были одни, я рассказывал озорные сказки про попов да отставных солдат, а когда приходили девчата, только сказки о богатырях, царевичах да их невестах. Теперь уже всё перезабыл, а тогда целые ночи сказками моими заслушивались. Я любил во всем держать первенство.

Мне рано пришлось работать по найму плотником, хотя хотелось продолжать учение дальше. Вставать приходилось в 4 часа, а ложиться в 10. Бывало, иду на работу и сплю на ходу. Ещё через год меня стали считать женихом, а женихами считали ребятишек с наступления семнадцатого года, и невест сватали за

год до венчания. Семья стала зажиточной, и я считался завидным женихом.

Гулянки по улице проходили часов до 11–12 ночи. Зимой гуляли в овчинных тулупах, бывало, сядешь в укромном местечке, завернешь подругу в тулуп и сидишь, пока не захочется спать, да разговоры разговариваешь. Девушки рассказывают, у кого сколько платьев, кому какое ещё хотят купить, ребята — про своё. Запасёшься семечками на всю гулянку, иногда конфет недорогих купишь 100–200 граммов. Эх, милое время, и помирать будешь, так будешь жалеть, что быстро прошло.

Гулял я с многими девчатами, но решил остаться холостым и так пойти на службу в армию. Было принято, что несговорённые, непросватанные гуляли с кем хотели. Я, как самый завидный парень из самой зажиточной семьи в деревне, приглашал гулять уже сговорённую девушку, и она не отказывала. Помолвка её рушилась, а я вскоре её бросал.

Мама плакала и горевала, что я от рук отбился, а отец говорил, мол, добегается по чужим дворам, зарежут его, только шкура даром пропадёт. В семи км от нашей деревни находился монастырь, воздвигнутый во имя апостола Иоанна Богослова. Там в субботу на пасхальной неделе освящали и раздавали так называемый артус, и все ходили, чтобы получить небольшой кусочек обыкновенного чёрствого белого хлеба, имевшего форму кулича. Хлеб этот святили вместе с пасхами, и после он стоял в церкви против левых великих царских дверей. Чтобы получить кусочек, надо было простоять часов пять-шесть в очереди, да ещё могло не достаться. В очередь-то становилось около 2000 человек, и среди них всегда моя мама. Кусочки эти хранились до трёх лет, а расходовала она их крошечками, в случае болезни кого из семьи и даже скота.

В этой очереди мама встретила женщину из деревни Кудашево и пожаловалась, что младший сынок никак не найдет невесту, какую хочет, и может уйти на службу неженатым. А женщина говорит, что у неё племянница невеста, красавица писаная, и предложила прийти посмотреть. Приходим в ту деревню, а там уж все знают, что к Наташе Зайцевой жених пришел. Увидел я Наташеньку, и всё. Это была молоденькая розочка, ростик средний, комплекция, как у статуи, одним словом, куколка, а было ей 15 лет 6 месяцев. Свахи вызвали меня в сенцы да спрашивают, можно ли договариваться. Я дал согласие, и она дала. Пришли её подружки, и мы начали играть в карты. Такое первое развлечение полагалось между молодыми. Часика два посидели и решили, что сговариваться будем на Троицу. А покуда получше узнаем друг друга и начнём родниться.

Свадьбу назначили на 22 октября, да не договорились о приданом. Родители хотели взять за невестой 80 рублей, а Наташины давали только 60. На семейном обсуждении вдруг без меня решили это сватовство оставить и искать другую девушку. Я рассердился и сказал, что если б сватали не девушку, а корову, то могли бы за деньги торговаться, что я больше ни на ком жениться не буду, хлопнул дверью и ушёл из дому. Отец начал кричать, а мама упала ему в ноги и вымолила согласие.

А быт семьи был таков, что всем управляли родители, семья была 19 человек. 5 мужчин-работников, остальные женщины и дети; работали все в один кошелек, а деньгами распоряжался папаша. Я в любимцах папашиных никогда не ходил и понимал, что с моим характером не вытерплю, если молодую жену мою станут обижать.

22 октября собрался свадебный поезд, и мы поехали из Аксенова в Кудашево. В этот день землю покрыл снег, пришлось ехать на санях. Свадьба продолжалась четыре дня, было выпито 7 ведер вина белого и 4 ведра вина красного, съеден бык на 7 пудов и поросенок на 5 пудов. И много чего ещё, и после этого стали мы мужем и женой.

Постом поехал работать в Спасский уезд к подрядчику Сергееву. Договорились с ним на 10 рублей в месяц на его харчах и с его квартирой. Работа нелёгкая, а харчи постные, постом ни рыбу, ни мясо есть было нельзя. А попы пустили легенду, что по святому писанию должен быть вот-вот свету конец. И я, работая, думал, что не придётся больше мне увидеть близких. Сказали, что вернёмся домой в пятницу утром, а света конец будет на благовещенье, 25 марта, в воскресенье. Получилось, что день пасхи совпал со днём благовещенья, так было только второй раз с начала нашей веры, и попы говорили, что это и будет второе пришествие.

Когда я приехал к Наташеньке, она, как и все, готовилась помирать. Но дождались пасхи, разговелись, сидим… а архангелы всё не трубят. Обрадовались все, стали пить да гулять.

Поехал я после праздника работать в Рязани у Степана Ивановича Пирогова, отца артистов Григория и Александра. Тогда, весной 1909 года, Григорий был уже артистом, Александр ещё подростком, а их брат Михаил был протодиаконом. И так как у меня голос был отличный, тенор, часто мы с Михаилом певали на два голоса «тройку почтовую». Голос у Михаила был редкостный, Шаляпин в сравнении с ним был мелочь, но славы Михаил не получил, потому что стал дворцовым протодиаконом. А попал туда во время Бородинского юбилея, когда провозгласил многолетие Николаю второму. Царь, как услышал голос, сразу

забрал его к себе. Потом из царского двора Михаил вылетел и объявлен был неблагонадёжным.

На уборку урожая я приехал домой. Наташенька объявила мне, что беременна, и я радовался, что пойду в армию, а у неё будет забава. Жили мы по-деревенски неплохо, но меня эта жизнь не устраивала. И думал я, как всю эту жизнь изменить.

15 октября поступил я в распоряжение воинского начальника, а 29 узнал, что назначен служить во Владивосток на Русский остров.

На поезд провожать приехали папаша и дядька, одетые в серые суконные поддевки, в дорогие шапки, оба большого роста и с бородами лопатой. Мне было приятно, что мои родственники лучше и богаче всех провожающих, но сердце щемило от того, как несправедлив ко мне отец. Поезд тронулся, Наташа заплакала так, будто навсегда со мной прощается, и тут только я понял, что оставляю её на целых три года. Худо мне стало, а поезд уже едет, сел я на свое место, сбросил пиджак и запел с горя. Голос у меня был отличный, все стали слушать, кто подпевать, а у кого слезы полились. Когда я кончил, то все закричали «Браво, Гаврилин! Браво!», как в театре, а я уж и сам чуть не плакал.

По дороге я в карты играл да книжки читал да смотрел во все глаза. Увидел я уральские горы, сибирские леса, людей, каких раньше не видывал. Татар, башкиров, калмыков, киргизов. А на станции Маньчжурия всё стоило так дёшево, что все напились и из состава в состав перегружались еле ноги волоча.

Когда приехали во Владивосток, бухты были покрыты льдом, и мы пошли на остров Русский пешком. По дороге некоторые хулиганы из наших обижали китайцев, а парни поосновательней их одергивали, китайцы ведь были ничем нас не хуже, просто мы их раньше никогда в глаза не видели.

Поселились в бараки плохо натопленные, и в баню свели в такую, что в ней больше испачкаешься, чем вымоешься. Но тут уж без всякого ропота, такая солдатская доля. Коек для спанья не было, а только общие нары. Выдали обмундирование и постельные принадлежности: шинель новую, брюки чёрного сукна, сапоги козьи две пары, верхнюю рубаху штапельного полотна с погонами, фуражку-бескозырку, папаху баранью, башлык суконный жёлтый, матрас набитый соломой, одеяло шерстяное, наволочек три штуки, простынь двуспальных три штуки, полотенцев три штуки, платков носовых три штуки и белья тельного три пары. Те, которые из бедноты, обрадовались, они ведь и дома так не одевались да на таких белых простынях не спали. Столовая была рядом, харчи хорошие, по три фунта хлеба, по фунту мяса, по полфунта крупы, масла, сахара, овощей всяких,

в общем, жить можно. Да ещё в лавке можно чего хочешь купить.

Начали мы заниматься словесностью и строем. Словесность — это изучение уставов начальствующих лиц всех рангов, включая царя, царицу и наследников. По грамоте я был выше всех, это мне давалось легко. А вот строем ходить тяжело, непривычно; бывало, кто собьётся с ноги, а старший, стервец, вместо того, чтобы поправить подсчётом, возьмет да и начнет гонять бегом до упаду. А по утрам осмотр, кто как оделся, как сапоги почистил да портянки постирал да ногти подстриг, да такой медленный осмотр, что иногда и позавтракать не успевали. Потом нас стали песням солдатским учить, сделали меня запевалой, сначала я гордился, а потом понял, что ничего в этом завидного, петь-то я привык по настроению, а тут хочешь не хочешь — запевай.

В конце января месяца получил я письмо из дому, что у меня родился сын Иван, что справили хорошие крестины. А Наташа писала, что скучает сильно. А уж я как скучал!

Через полтора месяца взводный командир отправил лучших новобранцев в учебную команду, обучаться на унтер-офицеров. И пошёл я на девять месяцев мучиться.

Вставали мы в 6 утра, и до 7 утра шёл осмотр, заметят какое маленькое нарушение, бегом заставляют бегать или ходить на полусогнутых ногах. Просто издевательство. Чаю попить не успеешь, и сразу строевое занятие, гимнастика и ружейные приемы. С 11 до часу обед и отдых, с часу до вечера классные занятия, в 6 часов ужин, потом учение устава и Закона божьего. Иногда грамматика и арифметика. В 9 проверка и читка указов по полку, а после муштра отстающих, да только отстающими считали всех и редко кого отпускали. Хорошо если в 12 упадёшь спать. Словом, настоящее мученье.

Постепенно свыкся я с адской жизнью и новыми людьми. В сентябре меня произвели в унтер-офицеры, нашили лычки. Сдал испытательные экзамены на все пять, и мне командир батальона предложил с результатами экзаменов пойти в юнкерское училище, куда по закону я должен был быть принят. Но мне опротивела служба, в которой я понял, что человек есть самый подлый и хищный зверь, и дал себе слово не быть таким.

Принял я командование взводом. Первое время было как-то совестно, что люди подходят, берут под козырёк и что-то спрашивают, а потом привык. Обижать людей не обижал, старикам запрещал над молодыми издеваться, и скоро со всеми сдружился. А тут уволился в запас каптенармус, и потому как я был самым грамотным унтер-офицером, сделали меня каптенармусом.

И вот, наконец, сдал я все дела, довёз на ротной лошади пожитки и стал ждать парохода.

Приехал в Рязань утром, пошел в баню, вымылся. Потом в хороший магазин, купил себе пальто зимнее, костюм, сапоги лаковые и шапку дорогую. Денег много, я ж ничего не пропивал, пока служил. Иду я по Почтовой улице в гостиницу, вдруг вижу, моя мама куда-то бежит-торопится. Я перешёл дорогу, остановился перед ней. А она смотрит на меня и не узнаёт. Она-то ждала оборванного солдата, какими братья мои возвращались, а перед ней гражданский хорошо одетый человек, и три года прошло, я ж совсем другой стал.

Наташа моя ещё больше расцвела, а сын Иван сразу меня признал, как получил пакет с конфетами. Пришли родные, и гуляли изрядно.

Работать я пошел на Коломенский завод в строительный цех, но было мне там скучно. Искал я другой жизни. Взял расчет, поехал на заработки в Москву. По случайной протекции взяли меня в бутафорский цех Художественного театра, строил я там всякие вещи для спектаклей, спектакли смотрел. А заработав денег, решил дом новый строить на широкую ногу и всё хозяйство устраивать по-другому. Вернулся домой, обзавёлся лошадью, начал лес возить да сруб делать. Тут призвали меня на фронт, а уж стройка началась без меня.

Назначили меня фельдфебелем маршевой роты. Ехали мы на поезде 5 суток, высадились около Бобруйска, прошли походным порядком 4 суток, и пришли в штаб 48-й славной дивизии Корниловской. Когда мы пришли, Корнилов был в плену, а дивизией командовал генерал-лейтенант Новицкий. Расквартировали нас в 20 км от передовой да начали проверять, можем ли мы ходить повзводно и отвечать начальству по уставу.

Начали гонять бегом да изводить шагистикой вместо того, чтобы познакомить с фронтовой жизнью. Солдаты мои были молодые забитые парни, ничего, кроме своей деревни, в жизни не видели. Кормили их плохо, к муштре они были непривычные, смотреть на них было жаль, и ясно было, какие из них вояки. Отправили нас к линии фронта, распределили под командование командира полка полковника Потапова, толстого, со свиной рожей и такой же душой. Он начал всех оскорблять, над всеми издеваться, обращаться не по уставу, а солдаты мои были не виноваты, что в жизни до этого учились работать по хозяйству, а не маршировать на плацу.

Жили мы в чужих домах, стесняли хозяев, и столько безобразий было со стороны солдат и офицеров по отношению к девушкам и молодым женщинам, что просто стыд. А я всегда

думал, что если б к моей Наташе откватировали такого. И всегда ругал своих солдат, замеченных в таком. Наташа писала нежные письма, хоть и трудно ей жилось без меня, Ивану уж было 6 лет, Евдокии, дочке нашей, 2 года, и готовилась моя супруга родить дочь Александру.

Полк был уже на первом фланге частей, участвующих в брусиловском прорыве. Я не верю в чудеса, но однажды стояли мы в резерве в небольшом лесочке. Мой денщик Козлов, а жили мы с ним душа в душу, должен был разбудить меня в 11 и принести обед. Но он замешкался и разбудил позже. Я рассердился, что придется обедать неумытому, а он говорит, мол, скорей ешьте, всё остынет. Съел я обед, хочу умыться, а он мне, мол, скорей пейте чай, остынет. Выпил я чаю, вышли мы из блиндажа, пошли к умывальнику. Я говорю, мол, что мы, Козлов, как нерусские, сначала обедаем, потом умываемся. Тут страшный грохот, оборачиваемся, а на месте блиндажа чёрная воронка в земле, и вокруг несколько убитых наших солдат.

А второй случай был, шли мы по вершине горного хребта. Я никогда не падал при горном хождении, потому что всегда имел палку, и вдруг я падаю да качусь вниз, и тут же на месте, с которого я упал, дважды разрывается снаряд из трехдюймовки. И главное, я шёл впереди, а ребята все сзади, значит, он для меня предназначался.

Еще был случай. Мы шли в наступление по приказу батальонного командира полковника Чернявского, пошлого дурака. Если бы не война, то он так бы и кончил жизнь капитаном, а на передовой их быстро повышали, считая от времени прибытия. Дал он команду в наступление идти, и сам скрылся, так часто бывало. Подошли мы к проволочным заграждениям, а противник открыл по нам пулемётный огонь. Люди ринулись назад по хребту вниз слева, забыв, что там ждут ещё два пулемета. Я начал кричать, чтоб уходили по хребту справа, но в панике солдаты не слушали меня, не понимали, где лево, где право, их косило пулеметом. Собрал я остатки своей роты, спустил их и приказал рыть окопы. Тут появился полковник Чернявский, который всё время до этого сидел в укрытии, и стал требовать, чтоб я роту выровнял и переместил на левый спуск. Я отказался, нарушив устав. Он требовал категорически, но я стоял на своём. Тут ему донесли, что почти все спускавшиеся слева убиты. Тогда он стал себя винить, что плохо расположил роты, и велел оставшимся в живых переходить на позицию, на которой стояла моя рота. И солдаты начали кричать ему в глаза, мол, зачем таких дураков ставят командовать боевыми операциями. А он стоял весь красный как свекла и молчал.

А я почему-то был уверен, что меня не поразит ни одна пуля, потому что я за всю войну не выстрелил в человека сам. Не мог я этого делать, хоть и положено было.

На фронте всё ухудшалось, мы ходили в наступление, но всё время безрезультатно. Людей теряли, но не заняли ни метра земли противника за всю зиму. Всю зиму 1915 и 1916 года провели на горах в шалашах, даже землянки не строили, а только перебегали с одного места на другое. Довольствие солдат становилось хуже и хуже, а офицерам, наоборот, делали всё время надбавки. За эти две зимы получил я георгиевские кресты 4, 3 и 2 степеней за то, что ставил свою дурную голову под пули.

Люди приезжали на фронт из отпусков и говорили, что в городе всё труднее и труднее. Рассказывали о беспорядках в заводах Москвы и Петрограда, а мы собирались и обсуждали, когда же кончится война. Порка в армии всё усиливалась, в соседнем полку солдаты убили командира за то, что он забил в строю больного солдата до смерти. И никто не выдал убийц.

17 марта начальник дивизии объявил, что батюшка царь отрёкся от престола в пользу своего сына Алексея, а потом передумал и отрекся в пользу брата Михаила. Что Госдума организовала правительство, ответственное перед народом под председательством князя Львова, и рабочие с крестьянами этим довольны, а мы должны вести себя спокойно, быть верными союзниками и всеми силами победить врага. Это было так ошеломляюще, что мы и не знали, что и думать. Не то, что солдаты, офицеры ничего не понимали. А на следующий день немцы сообщили нам, что в России революция, власть у временного правительства, а весь царствующий дом арестован.

Тут появились газеты, которые всё подробно объясняли, и мы, хоть ничего не поняли, присягнули временному правительству. Подошла мне очередь ехать в отпуск домой.

Утром в России увидел совсем новую обстановку. Везде вывешены красные флаги, публика ходит весёлая, разодетая по-праздничному. Всем весело, стало и мне веселей. Дело было на благовещенье, весна и песни в поезде лились рекой. Домой я пришел в восемь утра на второй день пасхи, все обрадовались, что я жив, а дети — гостинцам.

Пошел я навестить родителей, нашёл папашу в плохом виде, он лежал без языка и движения, паралич разбил его. Папаша проводил на войну четырёх сыновей и двух зятьёв, получил похоронки на двух зятьёв и ждал похоронки на сыновей. Не выдержал его богатырский организм.

Гуляли на пасху изрядно, будто я вернулся с того света. Дом у нас с Наташей был новый, на новом месте, здесь детям было где

побегать да поиграть. Ивану уж было семь, Евдокии три, а Александре год.

В городах начались демонстрации за мир без аннексий и контрибуций. Конечно, я радовался, потому что устал воевать. Потом везде расклеили объявления, мол, бойтесь Ленина, он немецкий шпион. Мне всё равно было, немецкий или турецкий, мне не хотелось воевать, но присяга есть присяга, собрался я да поехал обратно.

Часть наша стояла в том же месте, откуда я уехал. Сразу выбрали меня председателем ротного комитета и членом полкового комитета, а в полковом комитете назначили разбирать конфликты во всех полках дивизии.

Работа оказалась не из лёгких: настроение у солдат было бросить войну, и некоторые полки оставляли позиции или не хотели идти сменять товарищей. Мне приходилось ходить уговаривать людей. Корнилова временное правительство назначило командующим петроградским военным округом, и он решил снять нас с позиции и забрать под своё распоряжение в Петроград. Все командиры дивизии были его воспитанниками, да и в Петрограде на первый взгляд было поспокойней, чем на фронте, но мы-то, офицеры, понимали: одно — стрелять в немцев, другое — в своих рабочих.

Правительство Керенского не унималось, оно собралось послать армию в наступление. Передовой фронт на это согласия не давал, начали организовываться армейские съезды. С нашего полка было послано на съезд шесть человек, в том числе и я, раб божий. После съезда дисциплина стала покрепче, но конфликты стали чаще, солдаты хотели кто царизм, кто Ленина, лишь бы войну кончить, а офицеры сами толком не понимали, чего хотят.

На новом месте моей обязанностью было развозить приказы и деньги по представителям интендантства. Жизнь такая после окопной казалась райской. Повар как в ресторане, служба лёгкая, отношения добрые. Обжился я и стал будировать вопрос о солдатском комитете, солдаты сразу меня зауважали, а чиновники и офицеры стали осторожны, но делали все тактично. Я связался с корпусным комитетом и попросил представителя прийти и провести у нас выборы солдатского комитета. На выборах я выступил, сказал, что среди трёхсот человек никто не читает газет, никто не проводит собраний, живут как до революции и совсем не ориентируются в том, что происходит в России.

Начались выборы, конечно, выбрали меня председателем комитета, потому что я эту кашу заварил, и я умел это дело делать. Надо сказать, я оправдал доверие и двух подпоручиков,

которые дурно обращались с солдатами, заставил исправиться. Тут по поводу ареста Корнилова пришёл приказ командирам ничего не делать без санкции солдатского комитета. Офицеры на меня косятся, а солдаты радуются.

Вдруг прошел слух, что временное правительство свергнуто большевиками, ставка верховного главнокомандующего разгромлена, генерал Духонин убит матросами, Ленин организовал правительство, в которое вошли большевики и левые эсеры, и издал Декреты о земле, о мире, о демократизации в армии. Радости не было конца, и поехал я с другими выборными на армейский съезд. В октябре 1917 года.

Приехали мы в штаб армии, нашли там всё в хаотическом порядке. Представители разных корпусов слонялись повесив носы и не понимали, что делать. Мы нашли коменданта, который прятался, взяли его за грудки, а он заявил, что никаких распоряжений по поводу съезда не получал. Мы провели что-то вроде митинга, составили комиссию, которой было поручено организовать приём и встречу остальных депутатов. Я попал в эту комиссию от нашего корпуса. Нашли мы поваров, вахтёров, решили, в каком помещении будет зал заседаний, в каком кухня, в каком столовая.

В 12 часов 20 ноября съезд был открыт. В президиум выбрали ребят, которые повели дело по-большевистски. Некоторые пытались саботировать работу съезда, и много сил ушло, чтобы их утихомирить.

Вернулся домой к 7 часам утра под рождество. Все обрадовались и закружились вокруг меня. Дети скакали, как козлята, а Иван спел частушку: «Был царь Николашка, у нас была кашка, а теперь-то комитет, и у многих хлеба нет!». А Наташа и говорит: «Хлеба, Гаврил, осталось на месяц! Не знаю, как дотянем до урожая…»

Поехал я в Рязань на комиссию, и предложили мне командовать отрядом особого назначения. Я уже знал, что это такое, и категорически отказался. Дали мне двухмесячный отпуск, и устроился я в завод. Хлеб кончался, и отправились мы с братьями за мукой. Накупили по далёким деревням по 10 пудов муки каждому, сели на поезд и узнали, что в Самаре поезд обыскивает заградительный отряд по борьбе с мешочниками. Подъезжаем в страхе, что вот сейчас отнимут и чем детей кормить, а тут начальник станции пропускает нас мимо Самары транзитом, без остановки.

Дело было в том, что подъехал поезд с мешочниками, с такими же, как мы, его остановили, начали обыскивать и отнимать муку и зерно. Люди подняли крик, тут напротив

остановился эшелон с вооруженными солдатами, эшелон шёл с фронта, и солдаты решили, что перед ними очередная банда. Они тут же пристрелили начальника продотряда, его свита стала разбегаться, и солдаты открыли по ней пальбу. Нас пустили транзитом, чтоб не усугублять кошмара, и мы спасли свой хлеб.

Гражданская война разгоралась, и всех офицеров брали на фронт, но завод делал броню и спас меня от новых окопов. Работы было много. Деньги падали. В заводе я завоевал авторитет, а после смерти Владимира Ильича Ленина, в 1924 году, вступил в ряды великой партии и начал учиться.

Назначили меня в уездный финансовый отдел на должность ревизора по сельхозналогу. Сначала я думал, что рабочему от верстака между чиновниками, при их ко мне отношении, работать невозможно. Было тяжко, за составлением сводок сидели дни и ночи напролёт. В уезде шестнадцать волостей и посёлок Озеры, приходилось ездить в командировки. Сбор налогов проходил тяжело, налогоплательщики подавали массу заявлений на неправильное обложение, приходилось обследовать имущество. Кулаки саботировали налоги, выход был только описывать имущество и назначать торги. Тут они немедленно отдавали недоимки и возвращались во владение. Много было бедноты, этих мы освобождали от налога.

Время шло, и начал я подумывать об учёбе для ребятишек и обсуждать с Наташей, что хорошо бы перебраться семьей в Коломну. Так и сделали. Иван сразу же пошел в профшколу, Евдокия и Александра в обычную школу, а Николай подрастал. Появилась на свет наша младшая дочь Валюта.

По службе я продвигался, стал квалифицированным финансовым работником. Ребята росли, и требования с их стороны росли, денег все время не хватало. Зато старший сын Иван поступил на редакционно-издательское отделение Московского университета. Я, конечно, советовал ему пойти по техническому делу, но он категорически заявил, что у него тяга к журналистике. Противиться этому было нельзя, Иван оказался такой же упрямый, как и я.

Тут окружком решил послать меня управляющим окружной сберегательной кассой. Огорчился я, хоть и повышение, но, как коммунист, должен был слушаться.

Время было тяжёлое — карточная система, рабочим по два месяца не выплачивали зарплату. А мне шли сверху распоряжения увеличить вклады. А какой дурак понесёт деньги в сберкассу, когда у него дома кушать нечего? А кто имел деньги, тот старался их скрыть, чтоб не причислили к чуждым элементам. Мучился я, пока не отправили меня на раскулачивание.

Думал, здесь легче будет, а тут вообще головы можно было лишиться. Кому из кулаков хотелось отдавать своё? Бился я полгода, посылал заявление за заявлением, чтоб освободили меня. Понял, что годы идут, нельзя ими бросаться, и поступил заочно на финансовое отделение экономической академии. А уж когда диплом получил, предложили мне на выбор быть директором совхоза, начальником конторы, управляющим сельпо или возглавить артель инвалидов. Я выбрал последнее, потому что устал от большой работы и большой ответственности.

В артели было всего двести членов, крахмальный завод, сушильное производство овощей, колбасное производство, сапожная мастерская, столярная мастерская и торговля грибами. Годовой оборот 500 рублей. Взялся за дело, хозяйничать-то я умел, а тут ещё в академии всему обучили, купил хутор, завёл свиней, кроликов, коров. Через год артель стала насчитывать 5000 человек, а её годовой оборот около 20 миллионов рублей. Образования и решительности мне хватало, дела пошли отлично, но я ни разу не нарушал закона и не давал руководству района использовать ни одного артельного рубля в собственном кармане.

Мы регулярно перевыполняли план по выработке крахмала, построили собственную пекарню и завели карточки собственного образца для членов артели и иждивенцев из их семей. Я спроектировал, что если в этих условиях буду выдавать рабочим больше общей нормы хлеба, то мои излишки будут расходиться и даже останется маленькая экономия. С этим проектом пошел в районные организации, а они запретили это делать, велели все излишки сдавать в район, а уж они сами будут распоряжаться.

Возмутился и поехал с этом делом в Совет союзов, там в принципе не возразили, но сказали, что разрешить это может только лично товарищ Куйбышев. Поехал к Куйбышеву, он тоже возмутился и сказал, что у людей нельзя отнимать их труд и уменье, чтоб передавать другим, и написал резолюцию. Когда я вернулся в район, одни меня хвалили, другие называли индивидуалистом. Я думал, что раз делаю всё по закону, никто не может помешать, развернулся вовсю. Какой я был дурак!

Меня вызвали на бюро райкома и стали ездить по моим нервам. Мои люди жили явно лучше остальных, у них не было проблем с картошкой, из колбасного цеха они получали ежедневно по полкило колбасы, в столовой были обеды, хлебная норма была выше общей, колбасный цех продавал артельщикам кости на суп для семей, а особо нуждающимся мы выдавали безвозвратные денежные ссуды.

Артели вокруг ничего этого не имели, потому что плохо работали и руководили ими дураки, и на меня всё время писали

жалобы и устраивали провокации. Однажды я уехал по делам в колхоз, тут же появился с ревизией представитель госбанка и составил такой акт, что район решил судить меня показательным судом. Я вернулся, прочитал акт, изругал своего бухгалтера, его подписавшего, а бухгалтер заявил, что его вызвали в райисполком и сказали, что если не подпишет, то его будут судить вместе со мной. Я собрал документы, пошёл разбираться, но дело уже передали прокурору, чтоб судить меня показательным судом за нарушение финансовой и торговой политики, за высокие цены на вырабатываемую продукцию и сверхприбыль.

Я принес прокурору документы, подтверждающие, что деятельность артели законна, и все планы утверждены райисполкомом и банком. Прокурор написал райисполкому, что на судебное дело нет оснований, а госбанку, что ревизия не может производиться при отсутствии руководителя организации и что при повторении подобных беззаконий он будет привлекать к ответственности райисполком и госбанк.

Тут началась работа по чистке в партии, председателем комиссии по чистке на нашем участке был некто Волченков, член президиума Московской городской комиссии. Я наблюдал за его работой, он вёл себя вызывающе, всех унижал. Я думал призвать его к порядку, но меня никто не поддержал, все боялись. Подошло время проверки артелей, естественно, начали с меня. Три часа я отвечал на вопросы без запинки, в одном случае он то ли специально, то ли по незнанию пытался меня запутать, но я сослался на закон и на цитату из Ленина, чем сразу посадил его на место. Он ответил: «Ну, ты как профессор, с тобой нельзя говорить!». И по тону его я понял, что дело моё плохо.

После окончания чистки я оказался исключенным. Все аппеляции мои прошли безрезультатно. После отказа мне центральной комиссией я написал заявление на имя товарища Сталина. От референта Сталина получил ответ, что заявление направлено в центральную комиссию для пересмотра. Через месяц получил окончательный отказ.

Я был очень возбужден, обругал комиссию, как кучер лошадей. Приехал сын Иван, он был дружен с Емельяном Ярославским и его женой Клавдичкой, писал с ними вместе книгу, писал также книгу о жене Дзержинского, что-то писал о Крупской. Он много раз общался с Крупской как журналист и всегда рассказывал про то, какую тяжелую опухшую руку она подает при встрече.

Иван предложил искать помощи у его высоких знакомых. Я отказался, моя гордость этого не выдерживала. С работы я был уволен и после исключения из партии смог устроиться только на

производство к верстаку. Выполнял все общественные нагрузки, в разговорах защищал линию партии и вообще вел себя так, как будто меня никто не исключал. Как мне тяжело, знали только я да Наташа. У верстака я долго не простоял, был назначен мастером цеха, снова стал избираться в президиумы всяких собраний и проводить производственные и политические беседы.

С деньгами, конечно, было плоховато, семья большая, но как-то я её тянул. Девчата мои подросли, Евдокия и Александра поступили в институты. Николай сначала высшего образования не захотел и пошел ко мне в цех работать. Это уже потом он начал расти и стал крупной областной номенклатурой.

Началась компания выявления врагов народа, в администрации завода было выявлено человек пятнадцать, занимающих должностные посты. А какие там враги? Люди хорошо работали, кто-то этому завидовал и собирал материал, что они враги. Я такие вещи уже хорошо по себе знал. И на собрании резко выступил по этому поводу, что работать надо, а не врагов искать.

Администрация меня поддерживала, но парторг и профорг хотели от меня избавиться, устроили товарищеский суд по заявлению женщины, которая написала, что я имею к ней мужские притязания. Я написал заявление, что считаю решение суда неправильным, и все рабочие его подписали. Парторг это заявление порвал на наших глазах и бросил в корзину. Я пошёл к начальнику цеха за увольнением и расчётом, тот сначала заявил, что никакое решение дурацкого суда ему не указка, но через три дня на него нажали, и он дал мне расчет.

Я подал в суд на отмену решения товарищеского суда. Вскоре получил повестку и был вызван на допрос. По тому, как вёлся допрос, понял я, что никаких законов не существует. Я требовал официального суда, умные люди меня отговаривали, но моё дурацкое самолюбие взяло верх. На суде было полное бесстыдство, мне не дали слова, адвокат, приглашенная мною для защиты, не явилась, и мне присудили два года. Потом эта женщина — юрист пришла в тюрьму, что-то стала придумывать. Я попросил её честно признаться, что ей дали указание, она покраснела и призналась.

Я потребовал, чтоб она подала аппеляцию в верховный суд, и она обещала. Я знал жизнь тюрьмы по книгам Дорошевича, Кропоткина и Чехова, сам был членом комиссии по тюрьмам коломенского уезда, но, когда попал в неё, понял, какое влияние она имеет на людей. Я увидел, сколько зла получается от тех, которым доверено перевоспитание людей.

В тюрьме я потребовал работы, потому что делать просто

было нечего. После утренней проверки уходил в столярные мастерские, а вечером брал книги из тюремной библиотеки, чтоб чем-то забить время. Наташа навещала меня, приносила еды, в тюрьме было голодно, молодые ребята недоедали и всё время крали друг у друга передачи. Вскоре меня перевели в камеру к рабочим, где были нормальные мужики. Там жили чисто, свободно, встречались с родственниками, только не выходили с территории. Вскоре начали прибывать в тюрьму знакомые, бывший начальник городской милиции Чистяков. От него я узнал, что меня осудили по личной просьбе парторга. Поступили начальники с завода Куйбышева, все оказались троцкистами.

Меня перевели в Рязанскую тюрьму, я снова работал, за это мне начали платить, и я хоть чуть-чуть помогал семье. Кормить стали лучше, организовали камеру стахановцев. Публика была приятная: врачи, учителя, бухгалтеры. В столовой у нас был свой стол, еду подавали из трёх блюд. Наконец пришли бумаги в ответ на мой протест против осуждения, и меня освободили. Вернулся я домой, съехались дети, и мы устроили гулянье.

Когда война началась, ясно было, что мы к ней не готовы. На моих глазах бомбили поезд, целиком состоящий из детей, едущих из пионерских лагерей, и ведь видели, что там ни одного взрослого, а бомбили в три захода. Я сам в первой войне воевал с немцем, но там мужики выходили на мужиков, а здесь…

Я записался в трудовое ополчение, но меня отправили домой, сказали, что должен помогать государству на своём месте. На Ивана надели погоны капитана, хотя до этого он в армии не служил из-за астигматизма глаза, и отправили писать листовки и фронтовые брошюры для наших солдат. Кроме того, он знал немецкий язык и в рупор занимался разложением немецких войск. После победы он руководил созданием первого издательства в Лейпциге, которое печатало книги по-русски. Николай воевал, у Александры муж воевал, у Евдокии — погиб, Валентина в Москве голодала.

Пошёл я работать заведующим хозяйством в Коломенский лесхоз. Директор и старший лесничий были там цари леса. Я работал в полной зависимости от них, ни одной малости не мог сделать на пользу дела. А во время войны везде и всюду в тылу можно было видеть одни только подлости. Все руководители колхоза тащили и спекулировали на рынках через подставных лиц, брали на складах что хотели, пьянствовали до безумия, за еду и дрова покупали жён фронтовиков, которые шли на это ради голодных замёрзших детей. Так они, сукины дети, руководители помогали фронту.

Началась мирная жизнь, работа. Дети все вылетели из гнезда.

Приезжали погостить да внуков пожить оставляли нам с Наташей на игрушку, скучать не приходилось.

Проработал я до 1953 года, в апреле девятого числа сдал свои дела и вышел на пенсию. Вот теперь живу и скучаю, привычка даёт себя чувствовать, всё работал, боролся, чем-то руководил, за что-то отвечал, а тут вдруг стал свободен. Сначала я по дому что-то ладил, дачу строил, а после здоровье стало ухудшаться, ноги стали плохо ходить, а руки сильно болеть. Тут-то я понял, что старость это не молодость и что она не проходит. Теперь уж и в город ходить перестал, только в библиотеку, чтоб книжки менять, ими и убиваю время. Да пишу эти записки, вдруг кто прочтет потом.

Глава 11. ДЕТИ

— Наш папа — певец, а мама — драматург.

— А что она делает?

— Целый день разговаривает по телефону, — объясняли маленькие Петя и Паша своё семейное положение.

Мы с Сашей впали в бурный роман, замешанный на чувственности, богемной общности и сходстве детских комплексов. Он был невероятно хорош собой и жизненно опытнее меня: на пять лет старше, в шестнадцать покинул отчий дом, учился в третьем учебном заведении, объездил много городов. При всей бойкости и сообразительности я, московская девочка, не умела заплатить за квартиру, потребовать сдачу в магазине и поджарить толком яичницу. Самыми горячими блюдами в моём арбатском салоне были кофе и разогретые под струёй воды болгарские голубцы в железной банке. Саша, как всякий мигрант, рванувший в столицу, соображал по части выживания в сто раз больше.

Семьи были похожи: отцы — военные специалисты в первой части жизни, матери — советские кастраторши. Моя — с медицинским образованием, Сашина — с педагогическим. Разница семейных сценариев была в том, что, колеся по стране как жена военного, моя матушка отказалась от карьеры, а Сашина — целиком вложилась в неё и обошла мужа на социальном поле.

Нас пекли в похожих печках, и технология нарушения родительских запретов у нас совпадала. Кроме влюблённости и понимания творческих запросов друг друга (Сашу метили в гениальные певцы, меня — в гениальные поэтессы), манила возможность стать взрослыми, самостоятельными и послать

подальше давящих родственников.

У Верки была навязчивая идея: «Не делай этого, он слишком красивый, он женится на московской прописке!». Я хохотала, потому что за километр было видно, что Саша — персонаж трепетный, отягощенный имиджем героя-любовника и суперменскими комплексами. «Он же с нами не советовался, когда женился», — припоминала свекровь в самые горячие минуты разборок: «Он нам только дал телеграмму про то, что у тебя такие глаза, такие волосы и что свадьба в конце августа!».

В Саше почти не было русской крови, украинская, греческая и татарская определяли его внешность и менталитет. Правильный хохол, который всё тащит в дом, всё умеет делать руками, с диким гонором, недолгими вспышками агрессивности и не разгульно-русской, а витиевато-европейской придурью. Ему не повезло, его угораздило родиться в провинциально-номенклатурной семье «с душой и талантом». Кроме того, наличествовал роскошный голос огромного диапазона и уникальная для певца внешняя фактура и пластичность.

Моя свекровь была «заслуженной учительницей», директором детского дома и всяческим депутатом. Красавица и сильный управленец, она из пепла возродила детский дом, которым руководила, но в домашней педагогике ей с самого начала медведь наступил на ухо. Она изо всех сил ломала сыну самооценку, искренне предполагая, что именно в этом заключается воспитание. Мальчика с редкими музыкальными способностями насильно отправили поступать в Новосибирский строительный институт. Проучившись курс, он тайно уехал в Горький и был принят посреди года на вокальное отделение музыкального училища.

Мечта сбылась, но он попал в плохие руки. Явный баритон, не мог доказать это педагогу по вокалу. Его учили и грузили как бас, и какое-то время он справлялся и даже пел Мефистофеля. Потом полетели связки, и с возможностью петь можно было попрощаться. Вообще, нравы в Горьковском музучилище были простые, например, для получения новых роялей директор училища дала распоряжение порубить старые рояли во дворе, чтобы честно списать.

В депрессии по поводу перегруженных связок Саша уехал в Якутию работать на стройке… И, о, чудо! Голосовой диапазон восстановился. Окрылённый, приехал в Москву, пошёл по вузам, но уже была середина учебного года. Уговорил, чтоб прослушали в Гнесинском училище, на отделении музкомедии. Прослушали, тут же взяли на третий курс, точнее на два курса одновременно. Учась на третьем курсе, должен был параллельно учиться на

втором, гася академические задолженности. А это и танец, и вокал, и мастерство по шесть часов в день. Тут-то мы и увиделись в кафе «Аромат».

Сашин отец тоже не относился всерьёз к сыновнему выбору профессии, то есть, конечно, когда собирались родственники, заставлял спеть там какую-нибудь «арию Каварадосси» или романс по-итальянски, но особо не гордился. Отец не реализовал собственные актёрские возможности и работал парторгом на закрытом заводе. Он тоже был красавец-мужчина с суперменскими амбициями, и каждый год в день рождения, почти до самой смерти, фотографировался, стоя на руках на заборе.

Мы подали заявление в конце апреля, регистрацию нам назначили на 28 августа. Именно в этот день я сдавала последний вступительный экзамен в Литературный институт, а Саша лихорадочно заканчивал ремонт.

В день свадьбы, пока я сдавала немецкий язык, Саша покупал недостающее в свадебном комплекте. Туфли, не зная моего размера, взял, на всякий случай, на три размера больше. Кольцо, совсем другого цвета и другой пробы, чем у него. Мамы и подруги суетились вокруг стола, заказанного Веркиной матерью в ресторане «Прага». Примчавшись с экзамена с высунутым языком, я напялила джерсовый белый комбинезон, изысканный алый жилет и туфли, в которых можно было передвигаться, только не отрывая ног от земли. Саша надел роскошный французский костюм, гипюровую рубашку и лакированные концертные туфли на огромной платформе. Благодаря деньгам его родственников вместо хипповской свадьбы мы упаковались по высшему разряду своего времени и даже побежали ловить не заказанную заранее машину.

На шикарном черном «ЗИМе» подкатили к загсу и обнаружили, что там обеденный перерыв, а регистрация закончена. Вернуться домой неженатыми было неудобно, люди сидели за столами и ждали законного брака. Стали ждать и мы. В загсе никого, кроме нас, не было, «все ушли на фронт», и можно было вынести всю обстановку.

Ограничились кражей маленького кактуса в горшочке, который впоследствии мистическим образом сопровождал брак, размножаясь и цветя в соответствии с сюжетом. Когда он, отмучившись, сдох, кончился и брак. Я вынесла армию кактусовых потомков в горшках на лестницу, и какой-то наивный человек утащил их себе вместе со всеми нашими эмоциями, нанизанными на иголки и спрессованными в толщах зелёной мякоти. Ведь кактус — растение, питающееся разлитой в воздухе агрессией.

Наконец появились сытые после обеда тётки и соблюли формальности. Мужем и женой мы гордо вышли на Кутузовский, увидели, что «ЗИМ» подло не дождался, несмотря на предоплату, и поехали домой на 39 троллейбусе, ещё ходившем по Арбату.

На свадьбе кто-то из подружек, прилично выпив, хвастался моей свекрови о своих и моих сексуальных подвигах, народ веселился, а потом падал и засыпал в складках местности. Первую брачную ночь мы провели в кладовке, где, сидя на стиральной машине, играли до рассвета в шахматы по причине свежего аборта и отсутствия спальных мест.

Я ещё не знала, как тяжело будет Саше жить среди птичьего щебета моих друзей, как он будет воевать с ними за свою территорию в семье. Учась и работая среди актёрского братства, он не захочет войти в мою высоколобую богемную компанию и, будучи несветским человеком, останется технарём от пения.

В сентябре началась учёба в Литературном институте. Давным-давно выживший из ума ректор Пименов взял меня в свой творческий семинар. О его вкладе в отечественную культуру была известна только одна история. В 37-м году, заведуя театрами, он пришёл в Большой, и хорошенькая балеринка сделала ему глазки: «Вы у нас будете служить?». Пименов вытащил наган из кожаного пальто, весомо положил на стол и сказал: «Нет, это вы все будете у меня служить!».

Кроме меня, в семинаре были какие-то заскорузлые взрослые провинциальные мужики. Рассевшись в ректорском кабинете, мы два часа слушали, как мэтр нудно пересказывет пьесу Афиногенова «Машенька». Второй семинар я прогуляла, но выяснила, что опять пересказывалась пьеса «Машенька». На третьем семинаре при первых тактах «Машеньки» я начала хихикать. Пименов строго посмотрел на меня и сказал без предисловий: «Если ты к концу первого семестра не напишешь пьесу о рабочем классе, выгоню к Розову, там все такие!». Не дожидаясь конца семестра, я заявилась к Розову, сообщила, что меня прислал ректор и навеки поселилась.

Сначала понравилось, что никто не называл фамилии Афиногенова. Вместе с Виктором Сергеевичем Розовым семинар вела блистательная Инна Люциановна Вишневская, по кличке Инна Люциферовна. Ничему научить оба не могли и не силились, поскольку представления о профессии у обоих были туманны. Розов обслуживал советский строй на отметку «кич с плюсом», Вишневская писала хвалебные статьи о монстрах соцреализма. Как въедливая зануда, я сразу прочитала пьесы Розова, увидела, что с драматургической архитектурой он справляется плохо, и

перестала ждать от него обучения. Статьи Вишневской казались просто написанными другим человеком, это была совковая конда, без всякого изюма, из которого целиком состояла Вишневская в эстрадном жанре. Когда она начинала рассказывать, то Ираклий Андроников казался косноязычным провинциальным подростком.

У мужа начались проблемы с учёбой. Его откровенно травил режиссёр по мастерству. Какие-то разборки по поводу этюдов: «Я так вижу, а я так не вижу!», обычная история в театральных вузах, вырастающая из свинства педагога и негибкости студента.

К концу года режиссёр, будучи уважаемым в училище, но вполне незаметным старичком на фоне театральной Москвы, выставил Саше два по актёрскому мастерству и добился двойки по вокалу, за выдающиеся возможности в котором муж был зачислен среди года без экзаменов. История была поучительна своей бесстыдностью, но застой изобиловал подобными историями, они мало кого удивляли. Это было ужасно ещё и потому, что жуткое слово «армия», мгновенно материализовалось в виде повесток из военкомата. На счастье, я оказалась беременной, точнее, дважды беременной, но мы ещё не знали о близнецах и, несмотря на сильный токсикоз, принялись путешествовать, чтобы расширить ребёнку картину мира.

Сначала, естественно, полетели к Заре в Ереван. Город был изысканный, люди жутко красивые, ритм жизни непонятный — все всё время бежали к кому-то на встречу, состоящую из питья кофе и перемывания костей. Казалось, что никто никогда не работает, а экономика как-то сама раскладывается славным пасьянсом. Художники говорили про деньги, а ремесленники — про искусство. И главное, все с придыханием говорили об Армении, меня это потрясло. В России ведь было хорошим тоном ругать всё своё. Я бы совсем влюбилась в Ереван, если бы меня всё время насильно не кормили блюдами, от запаха которых начиналась неукротимая токсикозная рвота.

Закормленные и обласканные, поехали на Украину поездом, который тащился чуть не трое суток. Украинская родня созерцала меня с некоторым разочарованием. Я не вписывалась ни в один из естественных вариантов девятнадцатилетней невестки: умничала, хамила, откровенничала, обо всём судила. Я жила на другом языке, Саша пытался меня переводить, но ему не верили, считалось, что я кручу им как хочу. Будущая моя профессия вызывала такое же опасение, как и настоящие истрёпанные джинсы.

— Ты, Маша, не обижайся, — искренне говорила номенклатурная свекровь, — Но я не могу идти рядом с тобой по городу, когда ты в джинсах, меня же все знают.

Меня здесь не ждали. Точнее, в суровой пьесе провинциальной жизни не ждали никого, жили по ритуально-климатическому циклу: летом — загорать, купаться, рыбачить и варить варенье; осенью — по грибы и опять крутить банки; зимой — смотреть телевизор; весной — ждать лета. А всё остальное время работать. Собственно, и себя-то не ждали, существовали малорефлексивно.

Недоумевая, я вернулась в Москву, мой статус у Сашиной родни совершенно не совпадал со статусом в московской жизни. На приведение одного статуса к другому я безуспешно потратила кучу сил и семнадцать лет первого брака и никому не советую сливать в эту чёрную дыру столько крови.

Я вернулась в Москву изрядно беременной, измывающиеся надо мной гинекологи определили ультразвуком двойню. Измывались они потому, что при советской власти гинекология тоже была областью карательной медицины, и, видя существо, готовящееся стать матерью, люди в белых халатах оживлялись на предмет реализации собственной агрессии. Об этом мой отчёт под названием «Меня зовут женщина», который считают рассказом, хотя это политический памфлет.

Я взяла справку о наличии двойни в животе и потащилась в военкомат, чтобы защитить мужа от армии. Мудрый военный посоветовал залечь на дно до родов, и мы переселились к маме и брату, где лежал парализованный дед Илья, а жизнь была наполнена садомазохистскими радостями.

Саша плохо монтировался в тело семьи. Штатную единицы «главного мужчины» занимал брат. Он представлял эту единицу как хождение с Гегелем под мышкой и умничанья по поводу прочитанных книг. Мы с мужем могли лежать в постели, а брат, проходя мимо, в идиотизме хрущёвских смежных комнат, затевал со мной дискуссию об умном. В семье не существовало понятия чужого частного пространства, и, когда я вышла замуж, маме и брату не пришло в голову, что теперь мы как пара обведены неким меловым кругом. Понятно, что в результате между братом и мужем «пошёл процесс».

И вот я родила чудесных мальчиков, выданных из Института акушерства и гинекологии с клеёнчатыми бирочками на руках и ногах.

Всю беременность читала книжки про вынашивание и воспитание, но при материализации Петра и Павла оказалась довольно беспомощной. Это произошло через два месяца и один день после того, как мне самой исполнилось двадцать. При том, что дети при рождении вместе весили шесть триста, а я, в одиночку, сорок шесть килограммов, у меня ещё началась

дистрофия. Молока было слишком много, организм не справлялся, и за три дня я теряла по пять килограммов веса. Это был стандартный послеродовой психоз от пережитых страхов и унижений, но в стране ещё не было психологов, задумывающихся над этим. А двухкомнатная смежная квартира, вмещающая капризного парализованного деда, давящую маму, проблемного брата, растерявшегося мужа, орущих крошек и невменяемую меня, сама по себе была идеальным местом для свихивания. На Арбат не переезжали, поскольку мама не могла бросить ни парализованного отца, ни меня с детьми. Картина напоминала загадку про козла, капусту и лодочника.

Муж был человеком сколь творческим, столь же и несобранным. В школе он доказал по-новому теорему Ферма, изобрёл плот из пустых баночек из-под кофе, на котором собирался переплыть Чёрное море, печатную машинку, печатающую ноты, и многое другое. Он мог построить дом, сшить бальное платье, а также «взять си-бемоль одной природой», о чём с придыханием говорили мне его однокурсники, но одолеть подлеца режиссёра и мою семейку, конечно, не мог и пошёл работать, дожидаясь новых вступительных экзаменов.

Всё, что со мной сделали гинекологи, организм выдержал, и дети получились дивные. Перелопатив написанное о близнецах, я выяснила, что если отдать их на волю детской дедовщины, то один забьёт другого, и получится ведущий и ведомый. И я решила, строго защищая их права друг от друга, дать обоим возможность стать лидерами. Видимо, я была неплохой матерью, и на провокационное анкетирование обоих: «Как думаешь, кого мама больше любит?», каждый ни секунды не задумываясь отвечал: «Конечно, меня!». Это было очень важно мне, всегда ощущавшей себя нелюбимым ребёнком у мамы.

Сначала малыши вдвоём лежали в детской кроватке, и для удобного уклона под голову Петра был подложен толстый том Гёте, под голову Павла — толстый том Бальзака. Надо сказать, характеры авторов определили и характеры детей. Я, конечно, была безумной мамашей, и в год читала засыпающим сыновьям Пушкина, в три — Мандельштама и Цветаеву. В доме валяется плёнка, на которой один трёхлетний ребёнок читает «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», а второй «Это было у моря, где ажурная пена…», без намёков на выговаривание буквы «р».

Зёрна упали в хорошую почву, уже в год дети обнаружили нездоровый интерес к книгам и, проснувшись, орали «Кыки!», что означало требование моего сидения рядом и листания книжек с картинками. Книги они не рвали никогда, читали запойно, и со временем я получила в лице сыновей образованных блестящих

собеседников.

В июне дети поехали на Украину, где первые шаги сделали на бабушкином и дедушкином ковре. Сашина младшая сестра выходила замуж за однокурсника по фотографическому техникуму. Мальчик был из народной гущи, и свадьбу играли сначала по-городски с помпезным Дворцом бракосочетания, а потом в селе с традиционными ритуалами. Сегодня я уже большой специалист по сельской украинской свадьбе, но тогда это было культурным шоком.

За неделю до свадьбы печётся большое количество хлебушков по имени «шишка», напоминающих по форме кулич. Девушки в национальных костюмах — а брать их напрокат самым крутым дискотечным дивам считается дурным тоном — скликают на свадьбу, разнося шишки по приглашённым. Приглашённых случается полсела. Шишка вручается только в хате, с ритуальным текстом и поклонами в пояс. На дворе строится шатёр с лавками, столами, крышей и проведённым электричеством. Ритуал начинается задолго до поездки жениха и невесты в церковь и сельсовет. В двух разных избах старухи жениха и старухи невесты пекут хлебы. Плотно затворяются ставни, зажигается немыслимое количество свечей, и целая толпа старух торжественно колдует полдня над тестом с молитвами, песнями, байками и сказками. Однажды меня пустили молча поприсутствовать, но я не могу вербализовать увиденное, это какой-то балет с пением, главную партию которого исполняет тесто, превращающееся в хлебный замок. Хлебопечение в Украине и Польше причисляется к виду искусства.

Потом компании немолодых представителей жениха и невесты встречаются в условленном месте «биться и матюкаться». То есть угать и унижать другую сторону, «что за фуфло она подсовывает». Дело доходит до первой крови. Приехавших на празднество жениха и невесту ждут новые испытания. Шафер должен «утянуть из-под жопы невесты кожух», на который её сажают. Жених должен залезть на шест. Мать невесты должна быть провезена в тачке на грязных овощах и выброшена в озеро. Гости должны быть одарены подарками и одновременно с этим вывернуть карманы на попрошайничанья молодых, шафера и дружки. Все это длится три дня. Стол менее двадцати перемен блюд считается «для нищих». Горилка льётся рекой, все поют и пляшут, «как орденоносный украинский хор», но при этом обязательно заказывают дорогих лабухов из ресторана, которые не столько играют, сколько пьют, едят, демонстрируя своим присутствием состоятельность семей брачующихся. То есть на украинских свадьбах раблезианят в полном масштабе. Первый раз

я, конечно, присутствовала открыв рот. Второй пыталась вписываться. На третий была своей, в отличие от городских хохлов, для которых отказ от ритуалов является знаком отличия выбившихся в люди.

Семьи свёкра и свекрови достойны отдельных романов. Сашина бабка по отцу, колоритная гречанка весом в сто килограмм, вечно сидела в саду своего черкасского домика в шляпе и окружении двух пожилых болонок и чистила фрукты для компота, не вынимая изо рта беломорины.

Её муж, Сашин дед, Дмитрий Андреевич, ушёл на фронт, оставив её беременной с двумя детьми. Вскоре на него пришла ошибочная похоронка. Отплакав мужа, беременная Ольга Андреевна поехала с детьми десяти и одиннадцати лет в эвакуацию. Она курила с гимназистской юности, и десятилетний Сашин отец стрелял в поезде папироски для беременной мамы. Поезд бомбили. Схватки начались возле какой-то деревни, и семью ссадили. Родилась девочка, но от пережитого матерью она была совершенно слепой.

Состав, на котором они ехали, целиком разбомбили, и вернувшийся после ранения Дмитрий Андреевич получил информацию, что вся семья погибла, и пошёл воевать снова. А они тихонечко жили в Сибири и, естественно, не искали его, оплаканного и похороненного. Жизнь в эвакуации была ужасна. От насильно подселяемой в дом женщины с тремя детьми пытались избавиться всеми способами, однажды даже пытались отравить угарным газом, спасла случайно зашедшая соседка. Однако там же, в Сибири, нашлась старуха-целительница, которая вылечила младшей девочке глаза багульником. Сейчас это Сашина тётя — директор химического комбината.

Самое страшное в моем материнстве — это детские больницы, меня до сих пор трясёт при воспоминании. В год и три месяца Петя попал в больницу с приступом астмы, возвратился разучившийся ходить, говорить, был всё время голодный и заплакал, когда после еды я убрала продукты со стола. Несколько месяцев, пока он не пришёл в себя, я всё время держала еду на виду.

Лето в жизни детей означало Украину. Сашины родители, жившие в городе Черкассы, с самой весны начинали присылать вёдра фруктов, а с июня мы отправлялись пасти сыновей на Днепре. Конечно, летнему эдему сопутствовали крутые разборки, поскольку я видела мир не так, как свёкор и свекровь.

В год восемь месяцев дети поехали в Черкассы с бабушкой и

дедушкой, а мы должны были догнать через неделю. Конечно, бабушка и дедушка пренебрегли нашими рекомендациями, которыми Саша подробно испещрил записную книжечку с заголовком «Руководство по обращению с детками», поскольку они, как им казалось, «лучше знали», что делают с малышами. Через три дня позвонили, что Петя в реанимации с астматическим приступом. Выехав ночным поездом, я сменила бабушку в палате. Петька уже сносно дышал, хотя ещё был на уколах. Палата считалась отдельной и приходилась на двух блатных ребёнков с мамами. Ни в какую другую палату мою свекровь положить не могли.

Петька повеселел и приосанился. В обед я вышла в столовую и увидела странного вида кошку, пожирающую еду из собственной миски, стоящей около детского стола.

— Странно, что в отделении с тяжёлыми астматиками держат кошку, — сказала я соседке по палате. — А вдруг у кого-то аллергия на кошачью шерсть?

— Да це ж не китик, це ж криса, — зевая ответила соседка. Я решила, что у неё белая горячка, и на всякий случай вернулась в столовую. Это действительно была крыса, которая, доев содержимое миски, вальяжно бродила под столом, подбирая бросаемое детьми печенье.

— Шо вам, жиночка, крыса мешает? Никому не мешает, вам мешает! А шо у вас у Москве крыс немае? — возмутилась моему недоумению старшая сестра. Я, конечно, знала украинский фольклор типа «хохол вымоется в блюдечке воды», «больше грязи — толще морда», но мне этого было недостаточно, чтобы смириться с крысой именно в больнице. Я долго исследовала палату на предмет крысиных ходов, плотно закрывала дверь на ночь и крепко прижимала к груди ребёнка.

На следующий день начала антикрысиную компанию, высказав всё дежурному врачу. Врач посмотрел на меня с неодобрением и посоветовал больше думать о том, что хожу по больнице с распущенными волосами во фривольном халате, и велел старшей сестре надеть на меня белую косынку и ублюдочный больничный халат. Таких финтов я объелась в госпитале, пока была ребенком, и теперь, став двадцатидвухлетней матерью двоих детей, хавать это не собиралась. Сказала, что косынку и халат надену во имя комфорта собственного сына, но по поводу крысы пойду к главврачу. На следующий же день, мотивируя улучшившимся состоянием Петьки, меня перевели в обычную палату.

Кровать стояла у окна, и первое, что я увидела, была дыра между кроватью и подоконником, по которой местная палатная

крыса, видимо, менее светская, чем крыса столовская, приходила по ночам. Толстые тётки «годували» своих младенцев, дети постарше мирно кидались кубиками, а я как загипнотизированная смотрела на дыру и думала, как буду всю ночь с тапочком в руках охранять болезное дитятко от страшного зверя. Тётки немедленно объяснили, что их крыса детей не кусает, а ест из своей миски. Что суп не любит, но кашу и колбасу с удовольствием. И что если я такая нервная, то нечего было ребёнка рожать так рано. А если я всем этим хочу показать, что из Москвы приехала, то им на это глубоко насрать, потому что они тут тоже как люди живут, и каждая дом имеет, а к нему машину, лодку и мотоцикл.

На мотоцикле я сломалась и пошла к дежурным сёстрам. Сестры были молоденькие, сказали, что крыс боятся, и потому ночевать уходят на второй этаж.

— А как же дети на капельницах? — бестактно спросила я.

— А шо им сделается? Мы сами городские с медучилища, мы крыс лякаемся! — ответили девушки. Я впала в уныние и находилась в нём до вечера, потом позвонила Саше, сказала, чтоб шёл забирать нас и нёс что-нибудь тёплое завернуть Петьку. Сёстры были изумлены мои решением и сказали, что открыть дверь мне не имеют права, им попадёт за моё бегство, а вот из окна вылезти помогут, благо первый этаж.

Когда меня спрашивают, почему как драматург я никогда не баловалась абсурдизмом, я объясняю, что в любой советской истории болезни и уголовном деле абсурда больше, чем во всех Ионесках, помноженных на всех Мрожеков. Одним словом, я спасалась незаконным бегством с больным ребёнком от легитимной крысы через окно, а медсёстры передавали моему мужу пакеты с вещами, завёрнутого в шерстяную кофту Петьку с хрипами в лёгких, и страшно боялись, что их лишат премии за недонесение дежурному врачу.

Я вылечила ребёнка, вернулась в Москву и наваляла злобную бумагу о крысах в Министерство здравоохранения. Ровно через полгода пришёл неконструктивный ответ на бланке: «Изложенные вами факты подтвердились». Не прошло и пяти лет, как руководство города приняло меры, и помещение детской больницы было передано… детской поликлинике.

В день, когда Петру и Павлу исполнилось два года, и мы радостно накрыли столы в квартире у мамы и брата, дети умудрились сбить со шкафа мячом трубочку с таблетками и наглотаться финлепсина. Таблетки были красивые и

обезгорченные, у Петьки одну удалось вытащить изо рта, а Пашка провёл операцию шустрее. Приехала «скорая», наорала на нас, мол дети играют, весёлые, нечего вызывать. Реакция на финлепсин идёт волнами: через три часа, через шесть, через двенадцать и через сорок восемь. Когда через три часа я везла детей на «скорой», Пашка был в глубокой коме и, как я ни трясла и ни обнимала его, не слышал меня. Я только помню, как за приоткрытой дверью молодой крупный реаниматолог сдирал с детской ноги сапог, экономя время, резал скальпелем носки и колготки, втыкал в ногу капельницу и орал «Уберите мамашу!».

— Звоните, — сказала врач в приёмном покое. — Мы ничего не можем обещать, у нас в отделении пятидесятипроцентная смертность.

Как безумная я бродила кругами возле Филатовской больницы, и никто, никто не мог мне помочь. И не было ничего страшнее, чем приходить на встречу с лечащим врачом, бояться, что сейчас он начнёт отводить глаза, и смотреть на родителей, при виде которых он отводит глаза. Моих детей спасли, и вот уже восемнадцать лет, когда я еду мимо Филатовской больницы, сердце моё сжимается от нежности к врачам токсикологического отделения и ужаса за тех, кто сейчас лежит у них на капельницах.

Я не помню никаких деталей, это было слишком страшно. Только помню, что когда сыновей выписали, у меня начали отниматься ноги. Башкой я понимала, что это нервное, но сделать ничего не могла. Обнаружился семейный невропатолог, давно положивший на меня глаз, и дозами таблеток и ухаживаний вернул контроль над собственным телом. Из общения с ним помню одну фразу: «Когда женщины обращаются ко мне с жалобами на вегетативно-сосудистую дистонию, я объясняю, что при качественном сексе у человека не бывает вегетативно-сосудистой дистонии». У меня секс был качественный, но отравление надолго сделало меня идиоткой.

Детский больничный декамерон оказался длинным. Летом в Черкассах четырёхлетние Петька и Пашка в саду у прабабушки тайно на жаре обливали друг другу голову холодной водой из бочки. Утром Пашка выдал признаки менингита, его госпитализировали вместе со мной. У мужа кончался отпуск, и через неделю мы должны были возвращаться в Москву. Шестым чувством я понимала, что это не менингит, не желала оставаться в чужом городе со свекровью без мужа и не могла доверить ей Петьку.

До появления детей я была интеллигентной дурочкой и сносила тяготы социализма, протестуя громко, но не

конструктивно. Когда гнусность медицинских и воспитательных щупальцев системы потянулась к моим детям, я озверела и превратилась в бульдога, вцепляющегося в глотку. Инстинкт материнства в своей стране я понимала как защиту потомства от системы, чего никогда, ни одной секунды не понимала моя матушка, сдавая меня и брата на заклание мерзкому Молоху.

Я помахала ручкой всем своим «неудобно», в короткие сроки научилась давать взятки и дарить подарки врачам и воспитателям и прорываться сквозь кордоны медперсонала к больному дитятку, которое охранялось от матери жёстче, чем рецидивисты в петанциарных учреждениях. Выглядела я неприлично молодо, и сперва ко мне не относились всерьёз. Однако цинизм и несгибаемость, с которыми я реализовывала своё конституционное право на материнство, рано или поздно побеждали.

Короче, оказавшись в украинской больнице уже без крыс, но с сонным ленивым персоналом, я ворвалась к дежурному врачу, необъятному «щирому чоловику» лет пятидесяти, уставившемуся в телевизор, и холодно сказала:

— Вы должны сделать моему ребёнку капельницу с физиологическим раствором.

— Шо вы, жиночка, хочете? Так мы ж вашего хлопчика тики положили, нехай лежит. Зробим пункцию, побачим. У нас лишних капельниц нимае.

— Нет, вы должны сейчас сделать моему ребёнку капельницу. Что вы хотите за это? Деньги? Дефицит из Москвы? Меня на этом столе? — без тени кокетства спросила я.

Дежурный врач вскочил, подбежал к двери, плотно закрыл её, сел обратно и уставился как на инопланетянку.

— Вы уже выбрали? — жёстко спросила я, чтобы вернуть его в переговорное состояние. Мне было двадцать четыре года, я была хорошенькая по московским стандартам и совершенно дистрофичная по черкасским. («Шо ты така худа? Болеешь? Як с тобой муж спит? За шо ж ему подержаться, бэдняжке?» — срамили меня украинские сверстницы пятидесятого размера на пляже.)

— Трыдцать годын в больнице роблю. Якой мамаши ни разу не бачив! — сказал дежурный врач несколько потрясённо и пошёл ставить капельницу с физиологическим раствором. До выписки он шарахался от меня как от прокажённой, видимо, предполагая, что я начну расплачиваться с ним натурой прямо в больничном коридоре. Пункция подтвердила — не менингит; а грипп с менингитными явлениями был начисто вымыт из ребёнка физраствором за неделю, и мы благополучно уехали.

Однако это слово повторилось осенью в Москве. Пашка как-то вывернул шею, и лежал, плача в странной позе.

— Поза, характерная для менингита, — убеждённо сказала врач «скорой помощи».

— Но у ребёнка нет температуры! — взмолилась я, выучившая к этому моменту медицинскую энциклопедию и справочник практикующего врача как таблицу умножения.

— Будет! — гаркнула врач и повезла здорового ребёнка в Морозовскую больницу с сиреной.

— Менингита, конечно, нет, но мы обязаны мальчика пролечить, раз он попал к нам! — ответственно сказала завотделением на следующий день.

— От чего? — спросила я.

— Пока будем колоть витамины, а там посмотрим.

— Я хочу забрать его домой, — заорала я.

— Обсудим через неделю, — захлопнула передо мной дверь собеседница.

На следующий день, подкупив вахтёршу, я прокралась поближе и обнаружила ребёнка совершенно неприсмотренного, голодного, грязного, исколотого витаминами и несчастного. Я воровато переодела, подкормила его на лестнице, вступила в безрезультатную очередную схватку с завотделением, и мы с мужем начали разрабатывать коварный план.

Именно в Морозовской больнице была хвалёная невропатологическая поликлиника, в которую мы никак не могли, но очень хотели показать детей после отравления. Всё сошлось.

Муж, как крупный разведчик, изучил все складки местности и режима и выяснил, что детей водили гулять тоже практически без присмотра. Сначала я пробралась в отделение и переодела Пашку в зелёный костюм в белый горох. Потом надела на Петьку такой же коричневый костюм в белый горох, а Саша подогнал такси ко входу в больницу. Я начала прогуливаться перед самостийно гуляющими детьми и отошедшими от них покурить и посплетничать медсёстрами. Вид меня, гуляющей с ребёнком, отвлекал и расслаблял. Саша в это время прополз в кусты и начал тихонько подзывать Пашку. Увидев папу, Пашка со всех ног бросился к нему; тихо, как индейцы на охоте, они отползли за корпус, и побежали в машину. Меж тем прогулка кончилась, медсестра забычарила сигарету, согнала циплятник и сказала:

— Мамаша, прощайтесь с ребёнком.

— Это его брат. У меня мальчики-близнецы. А Паша уже прошёл в корпус. Разве вы не помните, на нём точно такой же костюм, только зелёный, — заулыбалась я.

— Ах, да, действительно, — сказала медсестра и отстала. Костюмы были очень запоминающиеся.

Саша повёз счастливых детей домой; а я пошла к начальству, представленному замглавврачом.

— Здравствуйте, — сказала я, покрутив у него перед носом корочкой с гербом Советского Союза и надписью «Союз писателей СССР», прекрасно понимая, что у него не хватит мужества заглянуть внутрь и обнаружить, что там написано про завканцелярией. — Я из «Литературной газеты». У нас есть сведения, что из вверенной вам больницы некоторое время тому назад был похищен ребёнок.

— Этого не может быть, — надменно ответил собеседник.

— Нам бы тоже хотелось так думать. Отделение такое-то, палата такая-то, фамилия такая-то.

— Завотделением мне! — гавкнул он в телефонную трубку. — Ребёнок такой-то у вас лежит? И что вы можете мне о нём сказать? Да, мне уже известно! Только почему я узнаю это не от вас, а от журналиста! — и швырнув трубку, замурлыкал со мной. — Вы ещё не сообщали в милицию? Не надо! У нас с милицией хороший контакт, их дети у нас лежат. Нам его найдут, только давайте сделаем без шума!

— Скажите, пожалуйста, а как так могло получиться, ребёнок поступил по ошибочному диагнозу, его зачем-то кололи, не отдавали родителям, а теперь неизвестно где он?

— Родители. Это точно родители выкрали! Сейчас позвоню в милицию, они выедут по домашнему адресу и такое им устроят!

— Не трудитесь, я мать ребёнка.

Он несколько ошалел, потом собрался.

— Милочка, да я всё для вас сделаю. Хотите детей в закрытый санаторий? Всё что хотите, лекарства дефицитные, и вообще. Только не раздувайте, ради бога.

— Мне нужно направление в вашу невропатологическую поликлинику и уверенность в том, что с остальными детьми в больнице будут менее свински обращаться.

— Клянусь мамой! — застонал замглавврача, лишил медсестру премиальных и тем закончил реформирование.

А ещё была больница, в которую Пашку повезли с подозрением на аппендицит, потом подозрение отмели, но перепутали с мальчиком Пашей с похожей фамилией и начали готовить к операции. Я таскала вкусности, ими кормили мальчика, которого надо было резать, а Пашку готовили к операции и не давали есть и пить. Через день четырёхлетний Пашка сломался и, поразив всех интеллектом и сообразительностью, вспомнил телефон бабушки и уговорил

какую-то взрослую женщину позвонить бабушке, чтоб она принесла ему попить. Звонок потряс нас. Прибежав в больницу, я размела всё по кочкам и практически в последний момент спасла ребёнка от операционного стола.

И если меня спросят, за что я больше всего ненавижу социализм, я отвечу: за то, что он разлучает больного ребёнка с матерью.

У меня был приятель, молодой режиссёр-документалист Саша Иванкин. Он был старше меня и до зубов вооружён вгиковским понтом. Вообще, люди литинститутские вгиковских презирали, считая малообразованными, малопрофессиональными, провинциальными, пустыми и самовлюблёнными. На плохой текст в прозе или драматургии было принято, поморщившись, говорить: «Помилуйте, голубчик, это же чистый вгик!» Учёба в Литинституте, правда, тоже не идеализировалась, и про неё говорилось: «Настоящий талант не испортит даже Литинститут!».

Но Сашу Иванкина я выделяла из вгиковцев, он был из прелестной кинематографической семьи, читал иногда книжки и даже снял какое-то милое кино. Однажды Саша позвонил мне в творческом возбуждении и сказал, что его мучает, почему Юрий Олеша в течение тридцати лет не написал ни строчки, и мы с ним должны сделать про это великое кино. Честно говоря, меня, мать годовалых близнецов, мало занимали тридцать лет творческого молчания даже такого дивного писателя, как Олеша, но Иванкин приехал, прыгал вокруг меня, много говорил, махал руками, я согласилась и засела за Олешинские тексты.

Хождение вокруг идеи началось с визита Иванкина к Виктору Шкловскому.

— Вы слишком молоды, чтобы делать о нём кино! — грубо сказал Шкловский. Ходили слухи, что именно он, составлявший книгу «Ни дня без строчки», уничтожил львиную долю Олешинских рукописей. Иванкин пошёл к вдове писателя Ольге Густавовне Суок жаловаться на Шкловского.

— Почему он так говорит? — удивилась она. — Ведь Юрочке было именно двадцать пять, когда он написал свои лучшие вещи.

Последнее слово почему-то всё-таки осталось за Шкловским, и он перекрыл нам кислород. Иванкин быстро заболел новой идеей и забыл об Олеше, а меня уже повело. Я шифровала строчки, сверяла даты, искала живых свидетелей, даже взяла письмо из Литинститута в ЦГАЛИ и сидела, перебирая и переписывая документы из Олешинского архива. Я решила писать пьесу про всё это.

Все взрослые писатели понтились в Доме литераторов. Они поглаживали большие животы и голосами с жирными нотками говорили друг другу: «Я сейчас уехал на месяц в Дом творчества работать над романом или пьесой». То, что потом они публиковали, было стыдно не только читать, но просто держать в руках. Как всякая семейная баба, я писала, создавая окно в домашнем хозяйстве. В основном делая это лёжа в холле на ковре, пока у детей был дневной сон. Это меньше всего было похоже на «работу». Я клала сыновей в разные комнаты, но не садилась в комнате за письменный стол, а ложилась посередине в холле, чтобы успеть допрыгнуть к тому, что заплачет первым, быстрей, чем он разбудит второго. Я писала много и быстро, считая «муки творчества» позой бездельников. Какие там муки, если у тебя близнецовый конвейер. И, вообще, если для тебя это мучительно, зачем писать.

Поскольку я очень прогуливала творческий семинар из-за болезней детей, я писала по пьесе каждый семестр.

— Вот моя новая пьеса, — подходила я к Розову, чтобы получить зачёт по творчеству.

— Я её и читать не буду, мне некогда. И зачёт вам не поставлю, потому что вы прогуливаете мои семинары, — с отвращением говорил Розов. Он меня терпеть не мог, я никогда не шестерила и на обсуждениях пьес сладострастно рубила правду-матку, а не пыталась попасть в ногу с мнением руководителя. Однажды на обсуждении пьесы Нины Садур про какую-то девочку, свихнувшуюся от картинки про ужасы войны во Вьетнаме, я вякнула про то, что это липа, и что нам Вьетнам, когда у нас у самих вчера был тридцать седьмой и сорок первый год. Розов посмотрел на меня как на буйную сумасшедшую и чуть ли не поискал глазами санитаров. Я не собиралась его эпатировать, мне казалось, что если мы тут все интеллигентные люди и говорим о литературе, то это нормальный язык. Я же не представляла, что известный писатель может быть таким физиологическим трусом.

Короче, зачётов по творчеству он мне не ставил, пьес моих не читал. Выручала Вишневская, которой всё равно кому было подписывать зачётную книжку, хоть слону.

Наступало олимпийское лето, я отправила детей с Сашей и мамой на Украину и решила устроить себе «дом творчества», в котором «буду работать над пьесой про Олешу». И вот я одна в своей огромной квартире. Точнее с подругой, назовём её Дашей Волковой. Даша Волкова была красивая вульгарная девушка из подмосковной семьи. Она писала никакие стихи, спала с самыми уценёнными персонажами литературной тусовки, не понимала,

почему никак не устраивается личная жизнь, и изо всех сил пыталась осесть в Москве.

Даша Волкова была девушка в стиле «Тётенька, дайте попить, а то так есть хочется, что ночевать негде». Конечно, у меня было жуткое чувство вины перед однокурсницами — в двадцать с небольшим лет у меня было двое дивных детей, роскошная по тем временам квартира и любящий, обеспечивающий муж. А Даша психологически уже не могла жить в Подмосковье. Плела истории про подлеца бывшего мужа, известного хоккеиста, которому оставила квартиру и бриллианты, про известного поэта — фронтовика, обещавшего подарить однокомнатную квартиру, про именитых обижающих любовников, хотя реально никого, кроме пьяни из нижнего буфета Дома литераторов, в её объятиях не бывало.

Даша жила в полуподвальной комнате с подружкой — поэтессой, работающей за эту комнату дворничихой, и больной собакой колли. На этой колли я и сломалась. Даша звонила моей маме, консультируясь по поводу здоровья собаки, а когда колли умерла, я оставила Дашу ночевать, и она постепенно ввинтилась в нас таким штопором, что практически получила свою комнату и свои ключи. Работать Даша не могла и не хотела, ссылаясь на слабое здоровье, хотя девушка была кровь с молоком. Питалась у нас или в подобных местах, деньги брала у мамы, воспитательницы детского сада, писала стихи и тусовалась.

Иногда она оставалась посидеть с детьми, но на просьбу, например, помыть посуду реагировала недоумением. Опёка зашла так далеко, что однажды, когда на лишние деньги муж предложил купить мне сапоги в филармонии (артисты ездили за границу чаще остальных и устраивали внутренний рынок), я жёстко сказала: «Неужели ты не помнишь, что у Даши нет туфель на осень, поищи лучше туфли для неё».

Собственно, на Дашу я перенесла чувство вины перед матерью и братом. Однажды, в студёную зимнюю пору, когда в новой квартире мы жили некоторое время вместе с мамой и братом, я с Дашей уехала в центр по делам. Муж и брат болели гриппом. Поездка оказалась сложнее, чем предполагалось, у Даши был очередной любовный конфликт, мы выбились из времени и не успели в аптеку за лекарством для брата. Лекарство было не срочное, и мы не поехали в дежурную аптеку, решив купить его рано утром. Брат, который лажал всех всю жизнь, устроил отвратительную разборку, час читал мораль, а потом сильно оскорбил меня.

Я привыкла к любым выходкам матери и брата, но тут почему-то сдали нервы, я вышла в кухню и заревела. Муж

спросил, что случилось, я наябедничала. Муж зашёл в комнату к брату и сказал совершенно нетипичную для себя фразу. Он был из тех, кто даже в школе никогда не самоутверждался в драках, а демонстрировал силу, кладя всем руку. Отец Саши был мастер спорта по гимнастике, а сибирский дядя, Геннадий Ащеулов, входил в сборную СССР по штанге. Отличная спортивная форма считалась в семье хорошим тоном, и Саша вечно бегал, прыгал, боролся и поднимал вес на студенческих олимпиадах во всех своих учебных заведениях. Брат же, наоборот, вечно поднимал гири и растил мускулы с целью набить морду гипотетическому обидчику.

— Если ещё когда-нибудь в жизни ты оскорбишь мою жену, — сказал Саша, — ты получишь по морде так, как никогда не получал.

Брат мгновенно вскочил с постели и затеял драку. Зрелище двух гриппозных накачанных мужиков, выясняющих отношения вручную на глазах у малышей, наблюдающих этот боевик через стеклянные двери из холла, привело меня в такой ужас, что пружина лопнула.

— Хватит, — сказала я матери, потому что не понимала, почему она требует, чтобы брат как амулет сопровождал меня всю жизнь. — Сейчас я ловлю такси, он уезжает в свою квартиру и больше не переступит этого порога.

— Ты предала брата ради мужа, — резюмировала она. — Я уезжаю с ним, и ты больше никогда меня не увидишь. У тебя дети, и у меня — ребёнок!

После зачистки местности от родственников Даша легко заняла их должности профессионально больных и профессионально несчастных, но у нас с ней была ещё и общая светская литературная жизнь. Мы могли болтать ночи напролёт, планируя новые похождения и обсуждая старые. Правда, после этого она спала до обеда, а я вставала с утра с детьми и впрягалась в бурлацкую лямку близнецовой мамаши, в которой всё, что касается ухода за одним ребёнком, умножается не на два, а на четыре. Но я была молодая, могла свернуть горы.

Итак, оставшись вдвоём, мы с Дашей взяли листок бумаги и с весёлым цинизмом написали список запланированных на месяц романов. Конечно, жизнь подкорректировала его, но многое успелось. Не то чтобы сексуальная разнузданность не давала мне покоя, но, просидев почти два года с детьми в спальном районе без своей среды с редкими вылазками в Дом литераторов, я понимала, что если не устрою римские каникулы, то свихнусь или заболею.

Я обожала детей и мужа, была перфекционисткой в

домашнем хозяйстве, успевала писать пьесы и сдавать зачёты, но физиологически не могла превратиться в кухонно-педагогический компьютер, на экране которого ежесекундно мелькает список сделанного и не сделанного, купленного и не купленного, вымытого и не вымытого, вылеченного и не вылеченного. Соседки, мамаши сверстников моих детей, пренебрегая подобной логикой, постепенно превращались в клинические существа с тяжёлым взором скота, идущего на бойню. Они целый день стояли в очереди, у плиты, у стиральной машины, у гладильной доски, бегали по дому с тряпкой и пылесосом. Уже почти ненавидели собственных детей и всё время дёргали их, орали, запрещали землю, лужи, возню и лазанье на деревья. К вечеру они дожидались «сверхчеловека»-мужа с работы, снова орали на детей, потому что «папа устал», метались у стола с тарелками, смотрели кино «про любовь» по телевизору и ложились с мужем в постель, о чём потом отзывались с большим омерзением.

Однажды я наблюдала свою интеллигентнейшую соседку в универсамовском бою за расфасованное мясо. Она крошила толпу как десантник пехотинцев — с боевым визгом и таким лицом, которого я испугалась. Я знала, что это не последнее мясо в её жизни, холодильник соседка всегда набивала на три недели вперёд. Просто это было единственное место, где она позволяла себе не сдерживать накопившуюся агрессию. Она шла в универсам, как в тренажёрный зал. И всё это почему-то гордо называлось «я замужем, и муж меня обеспечивает».

Глава 12. ОТРЫВ

Наш брак был счастливым настолько, насколько может быть счастливым совковый брак. Я не верю в существование «второй половины», потому что ощущаю себя целым существом, а супружество считаю вопросом страсти, такта и партнёрства. Мы оба не знали, что такое семья, при том, что семьи наших родителей считались удачными браками своего времени. В их моделях женщина доминировала, хотя и в разных сценариях, но родительские супружества существовали в логике выживания и выстаивания вместе со всей социалистической горячкой. Вопрос, «реализуюсь ли я как личность подле этого человека», там не вставал в принципе. А я планировала «реализоваться». По психотипу я могла построить в шеренгу кого угодно, но Саша был упрям как баран; греческая и украинская кровь образовали в нём монолитный хребет. Низкая самооценка, устроенная родителями, и высокие творческие амбиции, не посаженные на умение работать, делали его не простым партнёром.

Конечно, у списка запланированных адюльтеров была предыстория. Лично у меня сначала и мысли об изменах в браке

не было, и я полагала, что это взаимно. Саша был красавчик, оживающий на большое чувство, но с трудом переносящий отсутствие внимания. Он как бы позволял дамам преследовать себя. Это раздражало, потому что в любой компании находилась невостребованная продавщица, парикмахерша и т. п., немедленно начинающая опекать его посудо-хозяйственным образом. Пришивать пуговицу, доставать продукты, стричь волосы. То есть именно то, чего я никогда не собиралась делать. В ответ на претензии «Ты уж блюди себя, блин!» он делал невинные глаза, обозначающие «это они сами». Будь я помоложе, решила бы, что попала в объятия такому красавцу, при виде которого женщины впадают в безумие. Но я и сама умела, если надо, посмотреть на мужчину так, что он начинал прямо в метро расстёгивать мой бюстгальтер. Так или иначе, мы оба были ревнивы и презирали законы среды, из которой пришёл другой.

После родов и академки я оказалась на другом, более интеллигентном курсе. Там уже были сбитые в тройку девочки, я пришлась четвёртой. Первая была поэтессой, из тех, кто хороши в молодости, но потом никем не становятся. Вторая была монументальной красавицей. Третья была томной, невзрачной фрейлиной монументальной красавицы. Две последние писали прозу «под Булгакова». Поэтесса была бездетна, безмужна и обручена с литературой. У красавицы был лимитный муж, добротный, преуспевающий, красивый и спокойный. У невзрачной был муж, скользкий комсомольский поэт.

Я запала на спокойного. Мы начали перезваниваться и философствовать. У меня были проблемы в браке, я рассчитывала на большую психологическую прочность мужа, чем было дано ему от природы и воспитания. У красавицы брак висел уже на волоске, тем более, что она была третьей женой. Планов на секс у меня, естественно, не было: во-первых, я ещё видела себя в верности, во-вторых, постели подруг не будили во мне охотничьего азарта, в-третьих, в этом ракурсе собственный муж выглядел интересней. Мы с мужем красавицы реализовывали потребность изливать душу. Кажется, и встречались вдвоём всего один раз, и говорили про свою работу. Я радовалась смене картинки — вместо вечно ищущего свою певческую интонацию невзрослеющего отца двоих детей возле меня был мужчина, от которого веяло покоем.

События преглупо закрутились. То ли я поделилась с поэтессой, что мне нравится муж красавицы, то ли она сняла эту информацию с какой-то сцены в компании, но её девственный рассудок замутился. Как все сексуально-необслуженные, она бросилась в пламя, которого не было, стала заламывать руки,

писать про это стихи (своего любовного материала не было) и клясться честью и жизнью, что тайна умрёт в ней. Вечно не высыпавшаяся мать близнецов, с немалым по возрасту опытом половых отношений, я плохо врубалась в её пафос, ведь «ничего же не было».

А тут ещё невзрачная, писавшая прозу, напечатала с помощью комсомольского мужа стишок в сборнике. Стишок выдавал её глубокую непригодность к выбранному делу, и я посоветовала больше никогда стихов не печатать, потому что проза у неё была не хуже, чем у всех на курсе. Она посмотрела на меня, как пациент на врача — убийцу, и резко охладела ко мне.

Как-то в день зачёта по творчеству Пушкина поэтесса позвонила, почти рыдая. Из сбивчивых фраз я поняла, что она «не смогла с этим жить» и поведала невзрачной о моём интересе к мужу красавицы. Что та возбудилась ещё больше и скорее всего настучит красавице, так что «будет разговор». Я прибалдела, но литинститут есть литинститут, там провинциальная половина предпочитает промискуитет, а московско-интеллигентская — пояс целомудрия, при том, что все стоят на одинаковых котурнах.

Я поехала сдавать зачёт по Пушкину. В коридоре три мрачные подружки многозначительными жестами показали дорогу в пустую аудиторию и устроили там православно-комсомольское собрание, в ходе которого красавица плакала и сморкалась, поэтесса кидала на меня молящие взоры, а невзрачная спрашивала: «Как ты могла?» Первым моим посылом было сказать: «Девки, вы чё, охренели?» — и пойти сдавать Пушкина. Потом я подумала, что вся половая жизнь троицы представлена браком красавицы и что я, хоть и в невинной форме, посягнула на их общее сексуальное достояние. «Ну признайся, что ты всё это выдумала?» — вскрикивала невзрачная, но я не знала, какое «это» они, самовозбуждаясь, за ночь выдумали, и на всякий случай отрицала вообще всё.

Когда я была отпущена под укоры невзрачной про поруганные узы дружбы, то, наплевав на зачет по Пушкину, побежала в ЦДЛ — бог знает, какую сцену эта компания могла устроить невиновному мужу красавицы. Я попросила одного писателя позвать потенциально пострадавшего к телефону и, поскольку аппарат в квартире был параллельный, на эзоповом языке объяснить, что, если будут спрашивать, ни в чём не сознаваться. И хотя сознаваться было не в чем, я понимала, что даже из факта наших телефонных разговоров компания пылких девственниц сошьёт дело. Телефонный номер был занят час.

— А сколько ему лет? — спросил писатель.

— Тридцать, — ответила я.

— Успокойся, — сказал писатель. — В этом возрасте мужик уже никогда ни в чём не сознаётся.

Объект внимания ни в чём не сознался и обиделся на меня, решив, что я крутила интригу на спор. А через пару месяцев ушёл от жены к девушке типа уборщицы.

Через много лет мы встретились и помирились, он приезжал ко мне в гости в Ясенево, вернувшись из Парижа с новомодным пистолетом для крепления холстов и дырявил новые стены для развешивания картинок. После инцидента я попросила ещё одну академку, чтобы не учиться с идиотками на одном курсе. Поэтесса со временем затерялась в переводчицких интригах и стала приживалкой при вдове известного национального поэта. Красавица поправилась, померкла и живёт в одиночестве. А невзрачная стала широко известна узкому кругу и живёт с пожилым человеком неважной репутации.

Но это была последняя платоника.

Детям не было двух, арбатское жильё ещё принадлежало нам, а Саша учился и охранял телеграф на Калининском по ночам. Детей пасла мама, а я оказалась в центре с целью что-то взять на Арбате и зайти за мужем на телеграф. Когда я открыла дверь ключом, Саша вылетел навстречу с испуганными глазами и заявлением: «Только ничего не подумай, ей просто негде ночевать!».

На его лице было написано: «Жена нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь…». Я оживилась: дети, пелёнки, ругань с мамой «чем лучше кормить малышей», а тут — события, измена. Я всё же была драматургом. За прадедовским дубовым столом сидела густо провинциальная девушка, онемевшая от испуга, в расшитой кофточке и дутых золотых серёжках. На столе стояла бутылка вина и сковородка с яичницей, поедаемой собеседниками без помощи тарелок. Девушка вышла из ступора и залопотала с сильным украинским говором про то, что у неё сегодня день рождения, что она проездом, что совершенно негде заночевать, что она честная девушка и ей бы никогда в голову не пришло.

В салонной манере я сказала, что брак не означает ошейника, что у каждого из нас могут быть самостоятельные желания и что ей не стоит напрягаться по поводу ночлега, конечно же, она останется здесь… В общем, я превзошла самоё себя в области изысканности и такта, из чего девушка поняла только то, что по роже я ей бить не буду.

— Я ещё понимаю, что если её долго мыть, с ней можно спать, — сказала я мужу, когда мы шли домой, оставив девушку

на белоснежной простыне, хотя было видно, что она не первый день мается по вокзалам и телеграфам. — Я только не понимаю, как можно с ней есть из одной сковороды?

— Ну, мы же разными вилками, — напомнил муж. Приступа ревности у меня не было. Я с детства чтила цитату: «Соперничают люди с себе равными, заботятся же о мнении мудрых». Но мне не понравилось, что подобные персонажи сидят за столом моего прадеда и едят яичницу из сковороды.

— Смотри, — сказала я мужу. — Ты первый начал.

— Неужели тебе не всё равно? — удивилась Верка.

— Симметрия придаёт браку устойчивость, — пояснила я.

— Тогда иди ищи мужичка погрязней на вокзале! — засмеялась она. Но вокзальные мужички не вызывали у меня эротических фантазий, я пошла в ЦДЛ, села за столик и высмотрела среди вздыхателей молодого перспективного поэта. В течение часа слушала его лирику, потом окутала его взором лётчика на город, который он сейчас будет бомбить, и сказала: «Мне тебя пригласить некуда, решай в течение двадцати минут, а то передумаю».

Такие вещи спокойно говоришь мужчине, с которым можно переспать, а можно сказать в самый последний момент: «Извини, я пошутила!» Поэт затрепетал, ведь до этого я его год в упор не видела. Взял за горло приятеля, служащего в Союзе писателей на Воровского, и вытряс из него ключи от кабинета в бывшем особняке дома семьи Ростовых. Моя первая измена была насквозь литературной. Поэт подозревал, что я внезапно осознала масштаб его дарования. На диван были постелены рукописи молодых писателей, думаю, это было самой активной работой с ними в казённом доме литературы. А я устало думала: «Дети уже дома уложены, ещё стирка, уборка, незаконченная курсовая. Ну, ладно. Главное, дело сделано».

С этой секунды я не скрывала своей жизни, просто муж боялся задавать прямые вопросы. Сам же раздувал из мухи слона, провоцируя меня на ревность.

Это не означало, что семейный климат был непоправимо испорчен. Семья казалась Саше показушной итальянской мелодрамой, и я охотно подыгрывала. Мы любили друг друга, мы просто не знали, как это должно выглядеть, ведь у наших родителей было сталинское детство и полный запрет на выражение эмоций. Как все люди моего поколения в первых браках, мы пользовались иностранными киноштампами, и когда он на восьмом году супружества залезал в доме отдыха в окно на второй этаж с цветами в зубах, и когда мы с трагическими

лицами отыгрывали «Всё! Это конец!». Как говорила Зарка: «Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, вы в очередной раз разводитесь и в очередной раз пытаетесь купить рояль!».

Итак, список составленный с Дашей, теребил душу и напоминал соцобязательства. Одновременно с написанием пьесы я впахалась в три интриги: с врачом, поэтом и прозаиком. Врач был боевит в постели, но скучен во всем остальном. Как всегда бывает с такими мужчинами, совершенно невозможно объяснить, почему больше не хочется встречаться. Он подозрительно спрашивает: «Что не так?». А ты по доброте душевной что-то врёшь, зная, что нельзя тратить время на встречи с человеком, с которым невозможна игра, а в ассортименте только добротный половой акт, честный, как анализ крови.

Поэт был упакованный господин лет сорока с выученной циничностью в манерах. Как все успешные, но не партийные деятели пера, он кормился на переводах, ползая ради этого на животе, а в среде молодняка строил из себя лишнего человека. Он хвалил и экспертировал мои стихи, хотя не шевельнулся, чтоб порекомендовать их для печати, и вяло ухаживал. Как-то остановил машину ночью у сада Эрмитаж и предложил романтическую прогулку. Мы взобрались на освещённую эстраду, он пышно прочитал свой стих, погладил меня по волосам. И сказал усталым голосом трагика в последнем акте:

— Вы не понимаете, деточка, с кем связались… Мы совершенно циничное поколение. Вы даже не представляете, на что мы способны. Ведь я могу грязно овладеть вами прямо здесь, на этой эстраде, под светом луны и фонарей. Вы будете кричать, но вас никто не услышит.

Он был такой поношенный плюшевый медведь, играющий д'Артаньяна, и было страшно интересно, как в его исполнении выглядит «грязное овладение». Да и вообще уже было пора. Как драматурга меня всегда раздражало, когда партнёр не чувствует ритма спектакля. Я расслабленно приблизилась к нему, нежно расстегнула две пуговки на рубашке, молнию на его джинсах и нежно сказала: «Вперёд!».

Поэт нервно замер, засверкал глазами, застегнул ширинку и впал в педагогический пафос о том, что молодые поэтессы — это исчадие ада, которым всё равно, где и с кем. Но он не таков, потому что ещё есть люди, для которых свято божественное соитие мужчины с женщиной, которое должно происходить в квартире, в крайнем случае в подъезде или машине. После чего за руку повёл меня в машину.

Но стоило приступить к божественному соитию в машине,

как в стекло постучался милиционер, бодро козырнул и попросил права. Мы ещё не делали ничего такого, что могло бы нарушить общественный порядок, но пока молодец в форме изучал бумаги на машину, поэт трясся и заискивал так, как будто машина трижды в угоне, а в багажнике пять расчленённых трупов. Опыт подсказал мне, что божественное соитие не состоится, поскольку возвышенная нервная система не выдерживает таких перегрузок, и я отыграла обратно.

Мы продолжили отношения в тепличных условиях квартиры, и вся палитра сорокалетнего интеллигента восьмидесятых предстала передо мной. Поэт был лжив, пижонист, сентиментален, скуп, безответствен и ленив. Любимым его жестом было опрокинуть под финал рюмку водки и огорчённо сказать: «Как жаль, что я не могу тебя отвезти, я же выпил! Но я посажу тебя на такси!»

Я садилась в такси, вылезала у соседней остановки метро и добиралась на общественном транспорте. Денег на такси из центра в Ясенево у меня, естественно, не было, но сообщить об этом я не могла из ложной гордости.

Я не была влюблена, но он был забавен. Эдакий герой литературной элиты, с отличной фактурой, сквозь мусор из него иногда проглядывал вполне милый человек. Да и в двадцать два года невозможно видеть старших таким безжалостным зрением, как в сорок.

В прозаика я влюбилась как сумасшедшая. Он был некрасивый, отлично сложённый, талантливый писатель и страшно заводной эмоционально. Показателем внутреннего горения для меня были стихи. Когда я влюблялась, я писала стихи как сумасшедшая. Мы не столько с ним и встречались, сколько было внутренне прожито. Нас развели жёсткие обстоятельства, о которых умолчу, чтобы герой не просчитывался. До сих пор я помню прикосновения его рук. Собственно, остальные два были для статистики. Если я не собиралась увязать в мужике по уши, я придумывала дублёров, чтобы они эмоционально уравновешивали. Я была молодой, ещё не умела вынимать себя за волосы из ситуаций, в которых можно было погибнуть, и защищалась от одних мужиков другими.

Четвёртый сюжет был незапланированным. Мы с Дашей пили кофе в компании в Доме литераторов. Подсел красивый, немного хипповый малый из литературоведов, я мгновенно сделала стойку, но он оказался так мил и интересен, что через двадцать минут я забыла о стойке и слушала раскрыв рот. Я ведь всё это время говорила только об Олеше и его окружении, а литературовед занимался ими.

— Ну, хорошо, с Катаевым мне всё ясно, с Шкловским — тоже, но я ничего не понимаю про Юрия Карловича. На сто голов талантливей их обоих, с таким чувством формы, с таким жанровым разнообразием. Как он мог за тридцать лет не написать ни одной серьёзной вещи? — спросила я.

— Дважды боялся. Боялся написать и не попасть в ногу и боялся признаться себе в этом. Ненавидел советскую власть и надеялся получить от неё орден Дружбы народов за вклад в литературу, — ответил собеседник. — А вы читали книгу Белинкова?

— Нет. А кто это?

— Это очень серьёзный литературный критик, сосед Олеши по писательскому дому в Лаврушинском. Он эмигрировал и издал на Западе толстый том «Юрий Олеша. Гибель и сдача советского интеллигента».

У меня внутри всё задрожало. Я копалось в архивах, шифровала словосочетания, а где-то уже существовал килограмм книжных страниц с разгадками.

— Как можно достать эту книгу? — взмолилась я.

— Она мало у кого есть. Но у меня есть, — улыбнулся он. — Похоже, вы на многое готовы ради нее.

— На всё, — ответила я.

— Вот и отлично. Вы получаете книгу, после того, как я получаю вас, — улыбнулся он.

Я выронила чашку с кофе. Такие формулы без малейшего стеснения произносили малоаппетитные завотделами поэзии и редакторы журналов, но они торговали печатными площадями. А тут фанат Олеши предлагал другому фанату книгу за постель. Главное, что он был хорош собой, умён, высок, бородат, обаятелен. Представляю, что по этому поводу сказал бы сам Юрий Карлович.

— Зачем вы это говорите? — обиделась я. — У вас были большие шансы развить интригу без товарно-денежных отношений.

— Я понял, но так надёжней.

— Мы по своей воле устраиваем из постели гадость.

— Я не тороплю. Куски из этой книги были со скандалом напечатаны в журнале «Байкал». Можете взять их в библиотеке и понять, насколько вам нужна книжка, тогда позвоните. Только учтите, во многих библиотеках эти номера журнала изъяли.

Прямо из-за стола я побежала в библиотеку ЦДЛ. Там «Байкал» был «полуизъят». Мне его дали по блату. Я села в читальном зале и чуть не застонала от радости, здесь были все ключи к Олеше. Вечером позвонила красавцу литературоведу.

Конечно, никогда бы не позвонила, если б он не был так хорош собой.

— Мне нужен Белинков, вы мне действительно нравитесь, но меня пугает роль проститутки, — сказала я.

— Что же делать? — хихикнул он.

— Дайте мне книгу сначала.

— Вы продинамите.

— Почему вы настолько не уверены в себе при такой внешности?

— Есть опыт.

— Вы себя ведёте как мелкий Мефистофель.

— Как крупный, у меня рост метр восемьдесят семь.

Он приехал наглаженный и торжественный, с бутылкой водки. Мы долго не могли взять нужный тон, он рассказывал о диссертации, я даже подумала, что перешли к человеческим отношениям, и попросила книгу. Не дал.

— Ну тогда торопитесь, клиент, не рассиживайтесь, — рявкнула я.

— Подождите, мне для этого надо выпить бутылку водки, — жалобно ответил он.

Ещё немного, и я послала бы его вместе с книгой. Но к донышку бутылки глаз у него заиграл, он стал свободен, обходителен, ослепителен, и всё, что происходило в постели, было божественно.

— Ты что, идиот? — спросила я утром. — К тебе женщины должны в очереди стоять!

— Во-первых, я очень застенчив. Во-вторых, когда я был маленький, если я приходил из школы с пятёркой, мама меня целовала, если с четвёркой, целый день со мной не разговаривала. Я привык покупать женщин, но никто не хочет встречаться со мной во второй раз

— Я тоже не буду.

— Но ведь было хорошо.

— Пока я не вспоминала, что всё происходит за гонорар. Слушай, есть масса баб, мечтающих спать с мужиками за что-то, хоть за три копейки. Почему бы тебе не жить с ними?

— Они мне противны.

Так и разошлись. Я — с томом Белинкова, он — с комплексами. Случайно видеться нам было негде. Я встретила его через десять лет. Он был такой же красавец, только посеребрённый сединой, и совсем спивающийся. С ним была злобная страхолюдина, представленная женой.

Я написала первую серьёзную пьесу. Она называлась «Завистник». Все ахали, но никто не поставил. Ее репетировал в

бывшем помещении журнала «Театр» и даже прогонял на зрителе покойный Александр Демидов. Но в процессе постановки у него всё время менялись жёны и возлюбленные, которых он вводил на главную роль. Спектакль от этого трясло и будоражило, тем более, что в перерывах дамы ещё и выясняли отношения.

Пьеса очень понравилась Зиновию Гердту, он был другом Олеши, но от предложения сыграть главную роль отказался. Сказал: «Куда мне, я некрасивый, хромой, а Юра был красавец. В него были влюблены все официантки «Националя»».

Итак, я выполнила лирический список, написала пьесу и немного привела в порядок свою психику после двухлетнего сидения с детьми. Но когда сыновья вернулись с отдыха бледные худые и задёрганные, поскольку Саша, его родители и моя мама провели время в разборках о том, кто правильно воспитывает детей, поклялась больше ни разу до совершеннолетия не отпускать детей на лето.

В мае меня уволили из Союза писателей. Я была неудобна как работник, у меня болели сыновья, и не было покровителя. Они что-то мухлевали, перевели на другую должность и тут же эту должность ликвидировали. Я была слишком молода и неопытна, чтобы качать права. Я ещё не подозревала, что это дискриминация по половой принадлежности. Получив трудовую книжку на руки, я столкнулась с тем, что, несмотря на наличие маленьких детей, должна приносить в Литинститут два раза в год справки с работы или быть отчисленной. Справки были нужны, потому что я училась как заочница. (Москвичей без блата брали только на заочный.)

Устраиваться на новую работу, имея двухлетних близнецов было не реально, я никому не была нужна. Выходом было оформиться литературным секретарём к какому-нибудь писателю. Это было популярно, все жёны и дети писателей были оформлены у друзей литсекретарями. Точно так же прятались от обвинений в тунеядстве диссиденты.

Но у друзей и возлюбленных уже были липовые секретари, а знакомые, у которых имелась вакансия, либо немедленно предлагали переспать, либо, наоборот, боялись, что жёны примут меня за любовницу. Моих поэтических публикаций и рукописей пьес было бы достаточно для того, чтобы кто-нибудь благородно прикрыл меня от государства, будь я мужчиной или малопривлекательной женщиной. Но мой типаж в то время в той среде, несмотря на наличие мужа и двух детей, читался как десант за пожилым писательским телом с целью делания карьеры.

Дело было не в конкретной фактуре, а в том, что 90 %

девушек, пришедших не из писательских семей, вынуждены были прокладывать себе дорогу именно так, ибо определяющие рынок мужики интересовались не их текстами, а их гениталиями. У студенток Литинститута был даже такой рецепт: если хочешь вступить в Союз писателей, снимаешь комнату около Дома творчества в Юрмале или Коктебеле, надеваешь модную марлевую кофту и трусы от купальника, входишь в море, чтобы марлёвка облепила, и начинаешь задумчиво прохаживаться по писательскому пляжу. Около твоей сумки вместе с полотенцем небрежно бросаешь томик какого-нибудь безусловного Бальмонта или Брюсова. Через два дня приклеится какой-нибудь старый козёл, ты для него как кусок торта, только делай глаза покруглее и слушай его бред с восторгом. Предпочтение отдавай секретарям Союза и фронтовикам, у них больше власти. Осенью ты уже член Союза писателей.

Я нервничала, меня никто не брал в секретари, а приближалась осень, и нужна была справка с работы. Наконец, один неравнодушный поэт томно заявил: «Я вас к себе не оформлю, потому что неприлично же спать с собственной секретаршей, но порекомендую знакомому». Пришлось смолчать по поводу отсутствия у поэта перспектив на спальные отношения, и я позвонила по обещанному телефону. Страшно повезло, телефон принадлежал замечательному писателю Борису Золотарёву. Он выслушал про мою идиотскую ситуацию и согласился оформить меня секретарём. Борис Золотарёв был известный писатель, боксёр в прошлом, супермен в настоящем и просто нормальный человек, что в писательской среде было большой редкостью.

Итак, Борис Золотарёв похвалил мои пьесы и сделал мою жизнь легитимной. Раз в месяц я являлась в шарашкину контору, где в очереди сидели маргиналы вроде меня, а также натуральные домохозяйки, личные водители и дворники, платила взносы, заполняла бумаги и считалась советским трудящимся, имеющим право получать заочное образование.

Квартиру дали летом, я, дети, муж и мама были в Черкассах у Сашиных родителей, когда надо было определяться. Послали Сашу. То ли он был так неопытен, то ли так сильно хотел разлучить меня со старой компанией, мотивируя тем, что «нельзя растить детей в ЦДЛ…», короче, жильё, на которое он согласился, никак нельзя было назвать московским — оно было в Ясеневе. Когда я увидела глухой лес возле железобетонной башни, квартиру, которая по параметрам холла, огромной кухни, балкона и лоджии считалась престижной, но была совковой

конурой после арбатских четырёхметровых потолков и дубовых полов, я заплакала. Я прожила в Ясеневе двенадцать лет, всё время ощущая себя эмигранткой, которой вот-вот разрешат въезд на родину.

Связь с Большой землёй осуществлялась через автобус, находящийся в получасе ходьбы и столько же ехавший до метро. Там же был универсам. Телефонный автомат, обвитый агрессивной очередью, ютился у соседних домов. Батареи не топились, а квартира была в таком состоянии, что лишь за пять лет активных ремонтных работ Саша довёл её до потребительского стандарта.

Ветер, воющий в окна; мама, регулярно уезжающая к брату в момент моей сессии, Сашиных гастролей и детских болезней; круг друзей, который я потеряла, выпав из географии и телефонизации. Я стала пленницей. С одной стороны — могла растить детей на лоне природы, изображать из себя прекрасную хозяйку, не думать о заработке. С другой — не вылезала из депрессии, привыкнув к иному эмоциональному наполнению жизни.

Я стала безумно зависима от мужа. Конечно, не опускалась до стирки и глажки его рубашек, но семья центрировалась вокруг его режима, графика его гастролей, вокруг его проблем и капризов. А что такое вокалист, знают только жёны вокалистов. К этому моменту он закончил Мерзляковку и начал работать, что означало «всегда простужен, всегда не звучу, всегда обижен дирижёром, всегда недокормлен обожанием». Всеми правдами и неправдами я стремилась в Литинститут и Центральный Дом литераторов, где из домохозяйки ненадолго превращалась в пишущую единицу. Саша вёл партизанскую войну с этими двумя точками, вместе с общественностью намекая на то, что хорошая жена и мать не сидит в Доме литераторов с мужиками за столиками, обсуждая литературную жизнь.

Поскольку он был певцом не только классического репертуара, но и здорового образа жизни, то бесконечно доставал меня какими-то идиотскими диетами, раздельными питаниями по Шелтону, йоговской гимнастикой. Венцом мазохистских радостей были гипертермические ванны (с температурой 60 градусов, каждый раз после которых он изображал отдавание концов), бег зимой босиком (для чего гордо входил в трусах в утренний лифт, забитый людьми в шубах, и грациозно уносился перед ними по снегу в лес) и лечебное голодание.

С помощью лечебного голодания он изнурил всех. От чего ему надо было лечиться, никто не знал, он был здоров как бык, но каждое лето устраивал мистерию с тридцатидневным лечебным

голоданием, во время которой ощущал себя мессией, а окружающие получали инфаркты от психологического перенапряжения. Мой бывший муж был искусным манипулятором, и довольно долго я поддавалась на его детские методы привлечения внимания к себе.

Глава 13. СОСЕДКИ

Жизнь в Ясеневе, три года в которой у нас не было телефона, — особая история. Это история Робинзона Крузо, который безнадежно пытается построить на острове Большую землю. Домохозяйский ритм жизни с близнецами, помноженный на то, что добираться до мест «боевой славы» надо было больше часа, полностью изменил мою жизнь. Редкая птица долетала до середины Днепра, редкий друг добирался до ясеневских просторов. Дело было не в вероломстве друзей, а в невозможности созвониться и встроиться в режим семьи с двумя маленькими детьми. Подруги ещё не начали рожать, а вовсю бегали по крышам. Слушать про их любовные неудачи между плитой, посудой, детской прогулкой и простудой мне было некогда.

Подруги юности отошли на второй план, их место заняли подруги-соседки, коллеги по взращиванию детей в местных условиях. Никем не исследован российский феномен «института подруг», не подвластный индивидуалистскому пониманию Запада и неведомый Востоку, где женщина глубоко утоплена в патриархальной семье. В бытовых проблемах, образовавшихся от неспособности социалистического государства выполнять взятые обязательства, семья защищалась силой женских дружб. Мужчина в это пространство не ходил и не допускался. «Не царское это дело» — детские болезни, одежда, которая почему-то через неделю становилась мала, отсутствие продуктов и лекарств, конфликты с воспитательницами, врачами и учителями, а главное, постоянные перегрузки: и бытовые, и психологические.

Кстати, именно советская кухня — женское государство — стало символом нового гуманитарного стандарта, интеллектуального пространства и свободомыслия.

Совок чаще заставлял женщину нарабатывать коммуникационные навыки, начиная с поиска «где рожать, есть ли там знакомые, сколько это будет стоить» и продолжая ублажением детсадовских воспитателей и педиатров, учителей и руководителей кружков в диапазоне от шоколадки до мытья полов, от нежной дружбы до солидной взятки. Подняв детей, женщина переходила к конвейеру с внуками.

Как многие женщины, я бы ни за что не выжила без подруг-соседок. Самой любимой соседкой была Инна, прелестная крохотная еврейская женщина, математик по профессии, крутившая вокруг себя семью, состоящую из сложного мужа,

троих детей и капризной мамы. Она боготворила мужа, гиперопекала детей и назначила главным ребёнком маму, проживавшую в доме на положении вдовствующей императрицы. Инне можно было доверить всё и во всём на неё положиться. Каждый раз, приходя со свидания, я забегала к ней, отчитывалась и оставляла ей подаренные цветы. Мы были разными по возрасту, воспитанию, среде, степени раскрепощённости. До обид спорили о воспитании и лечении детей, потом мирились и заряжались терпимостью.

Вокруг Инниной семьи была тёплая атмосфера старомосковских разговоров и историй, а ее очень пожилая мама всё время выдавала перлы. Например, звонила приятельнице: «Маня, вы были на кладбище? Ну, что там хорошего?». Или давала характеристику собственному зятю: «Он такой медлительный, под ним же, наверное, умереть можно!».

Иннин муж был милейший геолог-теоретик, предсказывавший месторождения алмазов и золота, но жена сделала из него домашнего тирана. Когда он входил в дом, выключалась музыка и дети разгонялись по комнатам, все играли пьесу «Папа устал». При этом сама Инна успевала после работы обегать все магазины, разобраться в проблемах трёх детей и тридцати трёх соседей, накормить всех по очереди и каждого своим любимым блюдом.

Инна излучала свет и тепло, и не было человека, не подпадавшего под её обаяние. У неё был «комплекс президента» — она должна была обольстить каждого. Как-то рассказывала: «Подхожу к продавщице, прошу её: «Девушка, милая, выберите, пожалуйста, яблоки получше!». А она как гавкнет: «У меня всем всё одинаковое!», и положила одних плохих. Наверное, я как-то неправильно её попросила, ведь к каждому человеку можно найти ключик».

Второй любимой соседкой была Таня. Её младший сын родился в один день с моими. Таня была армянская красавица в теле, микропедиатр. Когда она видела маленького страшненького красненького младенца, у неё на лице появлялось выражение невероятного счастья. Таня происходила из московской династии врачей. Мама её, изумительная дама, была профессором-онкологом. Папа, горячий армянин — авторитетнейшим патологоанатомом. Если домашние подавали ему некачественный чай, он выбрасывал стакан в окно.

Таня лечила моих детей и успокаивала мои психозы по поводу их болезней. Она перенесла в Ясенево кусок старого московского центра, и сам воздух в её квартире убеждал в надёжности и незыблемости мира. И вдруг мир разбился. Умерла

Танина мама. Отец крепился на поминках, пытался рассуждать как патологоанатом, что со своим состоянием сердечной мышцы могла умереть гораздо раньше. Держал лицо, через полгода решил полететь в Ереван развеяться и не смог. Умер в аэропорту в телефонной будке.

Третьей подружкой-соседкой была Валя. Совсем простая женщина, дочка мелкого кагэбэшного служки, выросшая на Кутузовском. Жила с детьми, красивым мужем и давящей матерью. Работала, убирала, готовила и была совершенно несчастна по-женски и по-человечески. Она жила как плакала. Не то что была мазохисткой, а просто у неё была очень тонкая кожа. Никто из домашних этого не понимал, потому что в обиходе это было похоже на примитивную скандальность.

Она была внутренне усталой, ей ничем не хотелось радовать себя, и мне ни разу не удалось растормошить её. Она служила домашнему хозяйству как приговорённая, и ненавидела его при этом. Не могла справиться с неврозом чистоты и всё время что-то тёрла и прибирала, как будто это могло что-то изменить в жизни. Она старалась, чтоб «всё было как у людей», но была не как все, а тоньше и беззащитней. Она умерла вскоре после того, как я уехала из Ясенево, не дожив до пятидесяти. Я часто вижу в толпе похожих женщин, они обеспокоены тем, как похудеть и накрыть хороший стол одновременно, они не востребованы своими мужьями, но не ищут эмоциональной жизни на стороне, они трясутся над детьми и совершенно не понимают их, живут до старости лет по материнским подсказкам, зная, что те были несчастны. Хочется закричать им: «Остановитесь! Попробуйте быть счастливыми, хоть раз в неделю! Любым способом! Вы спасёте этим себя, своих детей, свои семьи и в конечном итоге весь мир, ведь вас так много». Но они не слышат. Они предпочитают рано стареть, озлобляться и умирать.

Последнюю соседку, подпущенную к нашей семье, весь дом называл Крыска. Это была молодая дама деревенского вида, невероятной активности и беспардонности. Если бы эта активность не уравновешивалась патологической глупостью, она была бы уже президентом страны. Но любую возведённую пирамиду она мгновенно рушила неаккуратным поворотом плеча или разговора.

Мы познакомились у подъезда. Я пасла детей, а она, стоя на четвереньках и засунув голову в подвальное окно, страстным голосом выманивала загулявшего кота. По повадкам и манере одеваться она напоминала бойкую домработницу, недавно приехавшую из провинции.

— Вы, наверное, ещё не поняли, кто я такая? Я закончила

философский факультет и написала философскую книгу о том, как женщина может быть счастлива, — быстро расставила она всё на места.

Посетив первый раз моё жильё и сунув нос во всё, констатировала:

— Отсутствие хрусталя и присутствие книг. Под интеллигентов косите? Муж почему такой красивый? Артист? Точно. Издалека вижу. У меня такой же был. Пьёт? Нет? Скоро начнёт! Гарантирую. Бьёт? Нет? Тоже скоро начнёт. Обещаю.

В центре крыскиной квартиры находились рояль и пожилой муж. На рояле они по очереди играли Шопена, как заяц на барабане.

— Я до этого жила в коммуналке. У меня вообще ничего не было, кроме рояля. Меня все соседи уважали. Всегда останавливались около моей двери, слушали музыку и говорили «Блядь, но с талантами!».

Пожилой муж, приехавший из глубокой провинции, был медицинской номенклатурой и одновременно исцелял нетрадиционным способом.

— Конечно, он меня на тридцать лег старше, но в нём есть своё обаяние. А потом, со мной все спали, а этот женился. Я сама обалдела.

В провинции у пожилого мужа остались жена и дети крыскиного возраста, предавшие его анафеме. Исцелив кого-то из распределяющих жильё, он и поселился в нашем доме. Крыска обожала салонные вечера. Она созывала пожилых сотрудников мужа и устраивала «встречу с прекрасным». Играла на рояле в немыслимом для здравого ума туалете и заставляла знакомых графоманов читать стихи и прозу. Всё это кончалось приёмом больших доз и исполнением какого-нибудь «танго смерти».

Крыска считала себя писательницей и пробовала практически все жанры. Это было столь чудовищно, что я никак не могла никуда её порекомендовать. На её фоне даже незатейливая Даша Волкова выглядела Ахматовой. (Впрочем, Даша написала в этой жизни одну хорошую строчку: «Всё на свете нам дано в день, когда уже не просим») Наша с Дашей жизнь будоражила Крыску. Она давала ключи от квартиры в обмен на рассказы о любовных интригах. Закончилось это в секунду, когда Крыска сказала: «Мне пора вступить в Союз писателей. Пусть твой А. меня примет».

У меня был роман с А., часть которого происходила в крыскиных интерьерах, но мысль о конвертации любовных историй в социальный капитал мне в голову никогда не приходила.

— Ну так пойди, отдай ему тексты. Если они ему понравятся,

он даст тебе рекомендацию.

— Так делают только дуры вроде тебя. Мы пойдём не таким путём. Я приду и скажу: «Вы, мил человек, занимались любовью с одной дамой на моей девичьей постели, и если вы не примете меня в Союз писателей, то это может дойти до вашей жены».

Однажды мы с ней зашли в ЦДЛ, сели за столик, и я поздоровалась со знакомым, сидящим на другом конце зала.

— Это же сам В.! Ты с ним знакома? — зашептала Крыска.

— Ну и что? — удивилась я.

— Да я с октябрятского возраста мечтаю с ним переспать! — застонала она. Меня это удивило, мне было столько не выпить, чтоб увидеть в В. мужчину, но о вкусах не спорят. — Познакомь меня.

Я помахала В. и сказала, что сейчас мы пересядем к нему. Он был не против и начал расспрашивать об общих знакомых.

— Хочу вам представить приятельницу, влюблённую в вас с октябрятского возраста, — смягчила я акценты. Он скользнул по Крыске вялым взором и продолжил обсуждение знакомых.

— Могла бы я вас где-нибудь увидеть? — сказала Крыска с такой требовательной интонацией, что человеку сразу хотелось сбежать, даже если бы она была Мерилин Монро.

— Право, не знаю. Я очень занят, — обронил он.

— А чем конкретно вы так заняты завтра? — интонация её всё больше и больше бронзовела.

— В одиннадцать утра я иду в бассейн… — попытался отмотаться В.

— Какой бассейн? Какой сектор? Я приду к вам, — предупредила Крыска совсем уже голосом каменного гостя, пришедшего за Дон Жуаном.

В. испуганно попрощался и убежал.

— Ты же плавать не умеешь, — вспомнила я.

— Зато у меня есть шикарный купальник.

Не знаю, что уж она делала с В. в воде, но на следующий день Инна, несущая мне хлеб, застала её вместе с ним у лифта.

Через час Крыска ворвалась ко мне с отчётом о проделанной работе.

— Ужасно. Он не потянул. Сначала всё было хорошо: я надела вечернее платье с блёстками, подала ему обед из четырёх блюд. Потом я играла на рояле. Потом я показала ему, как я могу стоять на голове. Потом я подарила ему свою книжку о женском счастье. Потом я читала ему свою новую повесть. Потом я стала ждать, что он кинется срывать с меня одежду, но он поблагодарил и ушёл. Он понял, что я для него слишком сложна и одарённа…

В следующий раз, когда ей удалось затащить в квартиру

приглянувшийся в ЦДЛ объект, я строго ее проинструктировала: никаких вечерних платьев и салонных радостей, а захочешь покормить, сделай это после. Но через некоторое время Крыска вбежала в истерике, называя меня сволочью.

— Я всё сделала, как ты сказала, я засмеялась русалочьим смехом и сообщила, что мне надо в ванную. Когда я вышла, он сбежал, забыв зонтик.

— А сколько ты была в ванной?

— Ну, не больше получаса. Надо же было толком вымыться.

Однако наш альянс прогорел именно тогда, когда у неё получилось. Я мирно кормила семью обедом, когда зазвонил телефон.

— Слушай сюда, — надрывно сказала Крыска. — Сейчас мой муж придёт бить тебе морду.

— В каком смысле? — удивилась я.

— В физическом. Только что он застукал меня под своим заместителем.

— А при чём тут я? — недоумевала я.

— Я сказала ему, что это ты оказываешь на меня такое плохое влияние.

Крыскин муж через минуту ворвался, но Саша принял удар на себя, и, произнеся шекспировский монолог, пожилой целитель пошёл менять квартиру. Ровно через неделю они выехали на противоположный конец Москвы, подальше от моего дурного влияния.

Так или иначе, мы жили в Ясеневе и выглядели завидно счастливой семьёй. Дети пропадали в лесу, без ограничений «это нельзя, туда не ходи, то не трогай». Они создали компанию «индейцев» своего возраста, сшили обмундирование из кожи и меха и, уносясь с собаками и улюлюканьем в лес, строили вигвамы и вели в них достойную жизнь.

Я очень боялась методов воспитания своей мамы, и делала всё наоборот. Мои принципы были: «Ты можешь брать всё, что тебе нужно для игры. Ты можешь делать всё, кроме опасного для жизни и здоровья. У тебя всё получится». Это шокировало окружающих родителей, дружба с моими сыновьями считалась опасной — «им всё разрешают». Единственная газета, которую я выписывала, называлась «Досуг в Москве». Два раза в неделю, под нытьё и сопротивление волокла сыновей в центр: на выставку, в кино или в театр. Ругали меня все — и дети, и муж, и знакомые. «Пятилетним детям нельзя показывать Феллини и Тарковского!» — говорили мне. Про всех пятилетних не скажу, моим было можно. Я понимала, что ребёнок — это сад, и он плодоносит в

зависимости от того, что посадишь и как ухаживаешь.

Дети писали стихи, гениальничали, получили разрешение разрисовать обои в детской диплодоками и игуанодонами и сделали это в совершенстве. Перед первым классом они переживали период страстного увлечения палеонтологией, собирали статьи, перерисовывали праящеров, заставляли меня искать литературу по библиотекам и букинистическим. Когда пришли в музей палеонтологии, экскурсоводша была потрясена: «Ваши маленькие мальчики провели меня по всему зданию и рассказали мне обо всех экспонатах с датами и географическими точками находок. Это странно, потому что музей только что открыли. Наверное, вы или муж палеонтологи? Не упустите детей, им прямая дорога в науку».

Частная учительница обучала Петра и Павла изобразительному искусству, я грузила литературой, Саша осуществлял спортивное воспитание и требовал, чтобы они отличали пение Плачидо Доминго от Лучано Паваротти.

К замужеству я внутренне освободилась от мерзостей социума, но, став дважды матерью, погрузилась в его пучину глубже прежнего. Каждую секунду я физически ощущала незащищённость детей от двора, от перехода через дорогу, от старшеклассников, от учителей, от врачей, от преступности. Мне хотелось привести их в мир, в котором все им рады, но дворовые дети из неблагополучных семей вступали в опасные игры, чтобы сбросить с себя агрессивность, накопленную дома. И я настаивала на том, чтобы мои могли физически защититься. В классе они всегда были лидерами, никого не обижали и вообще были такие увлечённые чем-нибудь трудяги.

У них были проблемы с логопедией, и, ненавидящая детские сады, я вынуждена была найти блатной дефектологический детский сад, в котором в группе было десять детей, воспитатели и психологи писали диссертации, а повара крали меньше обычного.

Там не было непременного атрибута советского детского сада — нянечки, открывающей зимой окно, когда крошки сидят на горшках, чтобы увеличить простуду и уменьшить посещаемость. Там час в день складывали язык в трубочку для произнесения нужных звуков, танцевали под «Детский альбом» Чайковского и расписывали маслом столовые доски.

Через много лет дети рассказали, что, когда кто-то не засыпал в тихий час, воспитательницы, пишущие диссертации, ставили нарушителя в угол с подушкой, а в отдельных случаях с матрасом в руках. Вес матраса почти соответствовал весу ребёнка, так что педагогический приём воздействовал. И в ответ на мой вопль: «Почему прежде молчали, я бы всех убила?» —

пожали плечами: «Мы думали, что так и должно быть».

Глава 14. В ЛИТЕРАТУРУ

Мой склад психики не годился для того, чтобы считать идеалом мужа слепоглухонемого капитана дальнего плавания. По природе своей я симбиотик, мужчина мне нужен здесь и сейчас, непременно любящий и непременно любимый.

А тут ещё дошла информация о Сашиной гастрольной малоинтеллигентной измене. На развод сюжет не тянул, но некую степень внутренней свободы я получила. К тому же я влюбилась так, что плохо себя контролировала. Дело доходило до того, что я могла тратить два часа на дорогу для того, чтобы провести двадцать минут в объятиях любимого.

Муж ничего не замечал, хотя только слепой не видел, что внутри у меня зажёгся свет. История длилась три года, и все три года у меня было ощущение, что живу на две семьи. А потом я запуталась. Возлюбленный не ездил на гастроли и оказывался более постоянной величиной. Несмотря на то, что общались мы набегами, регулярный эмоциональный допинг я получала от него. А муж приезжал отдохнувший, красивый, с подарками и выглядел как любовник.

В его гастрольной жизни тоже было много смешного. Все эти истории про то, как за границей раскололи кипятильником раковину, когда варили в ней суп. Про самый дешёвый обед советского артиста за рубежом, для которого у горничной берутся два утюга и между ними жарится собачий бифштекс. Про то, что кипятильник в гостинице надо вешать на люстру, чтоб горничная не нашла.

Потому что как только русский хор поселяется в импортной гостинице, там летит электричество, ведь все одновременно кипятят чай в номерах.

Была даже история про то, как в советской гостинице на диване в номере лежали два кипятильника, спутавшись проводами. В стакан сунули один, в розетку включили второй. Когда очнулись, диван вовсю горел. Принесли ножовку, распилили на кусочки, вынесли на помойку в дипломатах.

— Кажется, у вас тут был диван.

— Думаете, мы его съели?

— Но ведь был диван.

— Наверное, его вынесли, спросите у дежурной.

Летом 1982 года мы первый раз попали на турбазу. (Весь предыдущий отдых происходил в квартире Сашиных родителей.)

Приезжая на пряную, знойную, набитую красками и съедобными запахами Украину, дети обязательно заболевали

воспалением лёгких. Был застой, и никто из нас не знал, что город отравлен химической промышленностью. Позже, при Горбачёве появились «зелёные», и выстроилась цепочка: Сашина младшая тётя была директором одного из отравляющих комбинатов, Сашина мама возглавляла группу депутатов области, а Сашина старшая тётя лечила отравленных детей.

— Антонина Алексеевна, — взывала я к свекрови. — Почему вы не поднимете вопрос о состоянии экологии?

— Не будь смешной, Маша, — отвечала свекровь. — Ну, я пойду одна против областной администрации. И что? Меня тут же выпрут из депутатов, и ничего не изменится.

Итак, мы оказались в сосновом лесу на турбазе, Днепр плескался рядом, дети были здоровы и счастливы, а я тосковала по Москве и возлюбленному. В условиях города можно было перезваниваться, отсюда — нет. Жуткая публика портила своим видом пейзаж. Что же они постоянно делали со своими детьми! Бесконечное «Нельзя!», «Не смей!», «Не трожь!», «Не пачкайся!», «Не бегай!». Непременная часть провинциального украинского вида: мать, волокущая за руку нарядного рыдающего ребёнка. Крик собственного ребёнка не режет ей ухо, только когда в мизансцену включаются прохожие, ей становится неудобно. Но «неудобно» она понимает не как сигнал выяснить и разрешить причину плача, а как порчу внешнего вида. И тогда она начинает лупцевать его с целью заткнуть. Вмешиваться в этот процесс бессмысленно, разбудить в ней что-то человеческое нереально.

Основная проблема материнства — понимание женщины, что в лице ребёнка она имеет дело с суверенной личностью. Но это возможно только при осознании собственной суверенности, а любая советская баба несёт на себе такой груз цензуры родителей, двора, коллектива, что в неравном бою с ними находит силы только на то, чтобы, встав на цыпочки, сдавать ежедневный бессмысленный зачёт по имени «всё как у людей».

А ещё, перед тем как заселиться на турбазу, мы с мужем зашли на работу к его тёте, заведующей отделением отоларингологии в местной больнице. Обсудили дела, Саша показал тёте связки, а вокалиста хлебом не корми, дай полечить горло. И она попросила: «Кстати, подержи-ка мне девочку. Надо сделать одну процедуру, знакомые попросили, а то все медсёстры ушли».

Вошла девочка лет семи с мамой. Маму отправили за дверь. Девочка уселась на колени Саше, а тётя сказала сладким голосом:

— Сейчас я тебе, заинька, горлышко помажу. А ты, Саша, держи крепче.

Потом помыла руки, надела перчатки и полезла девочке в

горло витиеватой железякой. Я не концентрировалась на этом, но вдруг девочка выдала такое усилие, что они вместе с Сашей чуть не опрокинулись со стула, и ужасно закричала, а тётя выбросила в лоток что-то выдранное из горла. Вбежала мама девочки, суетясь, начала благодарить и утаскивать кричащую, белую от страха дочку. Мы с мужем были в шоке.

— Что это такое? — спросила я.

— Ничего особенного. Знакомые попросили девочке удалить аденоиды, — ответила тётя, моя руки.

— А почему без обезболивания?

— А это не больно. Она просто испугалась, — ответила тётя.

— Ей было очень больно, — сказал Саша. — Я еле удержал её.

— Тебе показалось. И вообще, у нас инструкция есть о том, что ей не больно. Нечего тут московские порядки наводить. Лучше своих приведите, а то они из простуд не вылезают, — напомнила тётя.

— Чтобы с ними была та же живодёрня? — спросила я.

— Ну, они же мне родственники. Им сделаем в лучшем виде, с обезболиванием и отдельной палатой.

История впечатлила. Мне всё время снилась кричащая девочка. Я тосковала и страдала среди ослепительных пейзажей и громогласных грубых соседей так сильно, что пьеса «Уравнение с двумя известными», которую я написала за этот месяц, оказалась чернее украинской ночи.

Я написала триллер. Но это был феминистский триллер, а этого слова тогда ни я, ни страна не употребляли. На пятом этаже ВТО сидели машинистки и держали чёрный рынок драматургии. Пьесы с цензурным разрешением распространял кондовый ВААП. Такие совковые кирпичи, рекомендованные министерством для постановки в театрах. Они оседали мёртвым грузом, их никто не читал. Разве что для «датских» спектаклей — спектаклей к датам — выуживалась какая-нибудь совковая мертвечина. Вся московская и командировочная театральная общественность бегала в крохотную комнатку машинисток за новеньким. Машинистки давали почитать, а за пять рублей продавали экземпляр новенького, поддерживая информационную непрерывность театральной жизни.

Кто-то привёл меня к машинисткам с пьесой «Уравнение с двумя известными». Мне было двадцать пять, и тётеньки посмотрели на меня с ужасом. Прочитали, распечатали и сказали, что не помнят, чтоб пьеса молодого автора так хорошо расходилась по театрам, тем более про аборты. Они-то, как женщины, сами знают, что всё в пьесе правда, но странно, что

режиссёры это почувствовали. Театры покупали текст, звонили, спрашивали, прошла ли пьеса цензуру, и тут же остывали.

После «Уравнения с двумя известными» я решила написать пьесу о милиции. Как раз украли детские велосипеды. Велосипеды были дорогие и легко опознаваемые, потому что Саша в них что-то переделывал. Написали заявление в милицию. Крепенький следователь расспросил о подробностях, а через пару месяцев накрыл на чердаке соседнего дома банду, которой хороводил взрослый, а дети крали для него велосипеды.

Мы были очень признательны, а я, представившись молодым писателем, попросила взять меня на дежурство. Следователь, положивший на меня глаз, согласился.

Шла антиалкогольная компания, и он взял меня на обыск по самогону. Всё было как в плохом кино, человек пять в форме с оружием и следователь в штатском, прикрывающий меня своим телом, ворвались в квартиру. Грязные пьяные мужики, накрашенные злобные бабы и худые, оборванные дети. Весь дом был перевёрнут. Самогонный аппарат оказался в огромном аквариуме под грудой нечищенных водорослей. На стол выложили паспорта присутствующих, пухлые от прописок, никогда не видала таких паспортов.

— Не трожь, гражданин начальник, мово Ванюшу! — заголосила толстая тётка в кримплене и золоте.

— Сделаю я тебе, птица, небо в мелкую клеточку, высоко не полетаешь, — ответил следователь.

Всё бы ничего, но Ванюша, находящийся в розыске, сделал неосторожное движение в мою сторону, точнее, в сторону двери, у которой я стояла. И вся опергруппа бросилась на него — не дай бог, зазнобу начальника поцарапает.

— Видите, тут опасно. Будете сидеть в машине, я не имею права рисковать, — сказал следователь. И больше ничего, кроме ночного Ясенева и подобранных на дороге пьяных, мне не обломилось. Малый он был неразговорчивый: «На флоте я был боцманом. На якоре стоим, скучно, ребята подзорку на женскую раздевалку наведут и сидят как телевизор смотрят, увеличение-то электронное. А бабы далеко, им и в голову не придёт. Милиция из меня человека сделала, мне, кроме как в милиции, больше нигде работать нельзя — загуляю. Хотите, я вас со старушкой познакомлю, помогает на общественных началах, баба Настя. Вооружённого рецидивиста берёт голыми руками. Человека насквозь видит, в нашем универсаме следит за порядком. За границей камеры, а у нас бабы Насти. Я с детства трус был страшный, первый раз когда пьяного забирал, я перед ним десять раз извинился. А эта, армию сомнёт — не почешется. Вы б хоть

дали почитать, чего пишете».

Сдуру я дала пьесу «Уравнение». На следующий день он привёз её обратно и был очень холоден.

— Пьеса ваша не понравилась, и вообще от вас подальше надо держаться. Вы если так про милицию всю правду напишете, не только вам голову сшибут, но и всем консультантам. Мы там все до кишок повязаны, выйти из игры можно только трупом. И прошу о том, что я вам показывал ночное дежурство, особенно не распространяться, у меня дети.

По статусу я была домохозяйка, пописывающая пьески.

Поэтическая карьера подходила к финалу. Сначала всё было красиво, я участвовала в поэтических вечерах и, видимо, мило смотрелась. Потом меня напечатали журналы «Москва» и «Новый мир». Это было к восьмому марта в женской подборке-резервации. Но там отделы возглавляли интеллигентные поэты Анатолий Парпара и Евгений Винокуров. Следующим этапом была публикация нескольких стихов в альманахе «Поэзия», где помощник главного редактора отчётливо заявил, что печатал не за стихи, а потому, что я ему нравлюсь, и чтоб со встречей не затягивала. У меня глаза на лоб полезли.

С капиталом публикаций я стала участницей Совещания молодых писателей, на котором услышала массу партийной галиматьи и получила рекомендацию на издание тоненькой книжки в издательстве «Молодая гвардия» в серии типа «Молодые голоса». Казалось, всё шло по нотам, опровергая общие правила: я не написала ни одной строчки про любимую родину, Байкало-Амурскую магистраль и не имела покровителя. Окрылённая, подошла в ЦДЛ к столику, за которым сидел главный редактор издательства «Молодая гвардия» господин Кузнецов в компании знакомого мне немолодого грузинского поэта-переводчика.

— Никак не удаётся застать вас в издательстве, у меня рекомендация Совещания молодых писателей. Когда бы я могла принести её вам вместе с рукописью? — извинившись, спросила я.

— Сядь, — сказал господин Кузнецов, краснорожее существо не юного, но комсомольского разлива. — Водки тебе заказать?

— Нет, спасибо. Я не пью.

— А ещё чего ты не делаешь? — спросил господин Кузнецов, подробно разглядывая меня.

— Я хотела бы получить ответ о том, когда вы меня примете.

— Издаться хочешь в моём издательстве? — осклабился он.

— Хочу.

— А знаешь, какое у меня в издательстве правило?

— Не знаю.

— Все девочки сначала проходят через мою постель. Не устраивает? Да ты сразу ответа не давай, сразу все ерепенятся, ты походи, подумай.

Грузин сидел бордовый как вишня. Я встала и вышла. Через неделю я встретила в ЦДЛ этого грузина.

— Ужасная история, — сказал он. — Он просто свинья. С каким бы удовольствием я дал ему по морде, но у меня сейчас у самого толстая книжка выходит в «Молодой гвардии», я её столько лет ждал.

Жаловаться было некому. Рекомендация совещания канула в небытие. Так что официальной поэтессой я тоже не стала.

В Литинституте у меня была замечательная подруга, назовём её Лариса. Она тоже была матерью двух детей и успевала ещё работать в двух местах. Дети росли кое-как, Лариса жила на постоянном военном положении. Она была из маленького городка, откуда привезла мать, шуструю старуху-садистку, самозабвенно доводящую очень выдержанную Ларису до истерик. Муж, не зарабатывая денег в принципе, сражался против Ларисы вместе со своим родственным кланом, в состав которого входили три сестры бульдожьей внешности. Что до него самого, то я убила бы такого через день общения и даже не считала бы обидным после этого тюремное заключение.

Лариса, изнемогая, тащила на себе эту семейку делово и финансово, писала рассказы, играла на фортепьяно, помогала друзьям и даже умудрялась хорошо выглядеть. Все мои попытки вмешаться в её жизнь и там подправить эффекта не давали. Я лезла со знанием человеческого материала, а там лязгали железные челюсти и крутились тупые шестерёнки. Жестокость, допустимая там в ежедневном быту, ошеломляла. Казалось, люди просто подписали социалистические обязательства уничтожать друг друга всеми способами. Лариса ненавидела тексты Петрушевской, говорила: «Какие там художественные открытия? Я это каждый день дома вижу».

Лариса была очень цельным, очень трогательным и незащищённым человеком. Из всех подруг, с которыми разошлись пути, я жалею только о ней. Мы вместе ходили по литературным конторам и собирались завоёвывать столицу. Вместе начали создавать компанию молодых драматургов, когда в маленький особнячок на Герцена созвали богемный молодняк и сказали: «Селитесь, размножайтесь!». Мы, дураки, поверили. Собрались представители всех муз, все, кто сегодня воюет и дружит, кто уехал и ушёл в бизнес. Территория была поделена на цеха: поэты и прозаики собирались для чтения стихов, художники — вешали

картины, а мы срочно запустили репетиции нескольких спектаклей. При этом, если не хватало актёров, драматурги играли друг у друга. Лариса имела актёрское образование и была очень хороша в моей пьесе.

Кайф длился не больше месяца. В один прекрасный день нас просто не пустили внутрь, молодой человек в костюме и галстуке вышел на улицу к недоумевающей толпе и сказал: «Наверху деятельность творческого центра признана нецелесообразной».

И мы остались на скамейке с традиционным «Что делать?» на лицах. Но уже сколотилась компания, и не верилось, что вышвырнутые пинком молодые деятели культуры заплачут и разойдутся по домам. Пошли в секцию драматургии Союза писателей и сказали: «Вот, мы студенты Литинститута, сплошные гении, у вас тут столько места пропадает, пустите нас репетировать пьесы».

Результат был примерно как в «Кошкином доме», когда котята просятся к тёте-кошке. Пошли в ВТО, там тоже была секция драматургии и нам даже дали один раз собраться, поставили галочку и передумали. Пошли в ЦДРИ, там встретили пожилые злобные крашеные тётки и объяснили, что в стенах, где великие поют романсы и читают поэмы, появление самоуверенной молодёжи неуместно.

Самое удивительное, что в прессе, как, впрочем, и сейчас, стоял крик о кризисе в современной драматургии и об отсутствии пьес молодых. Мы приносили стопку рукописей, никто даже не брал их в руки. Критика читала только те пьесы, которые попадали на внутренние рецензии в министерство — за это платили 15 рублей за пьесу. Наши пьесы попадали в министерство с улицы, шли в общем потоке, и их рецензировали жёны и любовницы министерских чиновников. Случайно познакомившись с одной рецензенткой, я узнала, что она учительница физкультуры.

Как-то я предложила прочитать пьесу влиятельной театроведке.

— Ты что, с ума сошла? Я буду бесплатно читать твою пьесу? Я за этот вечер лучше кофточку свяжу.

Мы висели в вакууме. Писали пьесы, обсуждали их, но между нами и театрами стояли министерство культуры и цензура. Казалось, что есть какая-то особая маленькая дверь, как в «Буратино», и надо только найти холст, на котором намалёван очаг. Все восхищались моим «Завистником», но отзывались о нём как о чистой антисоветчине. Все удивлялись профессиональному мастерству «Уравнения с двумя известными», но были шокированы гинекологической тематикой. Марк Розовский,

испытывавший перебор актрис в студии, попросил написать пьесу на одного героя и шесть героинь. И я написала «Алексеев и тени», современного Дон Жуана. Конечно, Розовский обманул. Но пьеса на шесть женщин и одного мужчину, казалось, должна была заинтересовать половину провинциальных театров. Машинистки тиражировали её, театры заказывали — никто не ставил.

Я не могла печатать стихи, я не могла ставить пьесы. Жизнь не позволяла ничего, кроме воспитания детей, домашнего хозяйства и романов. Из-за этого, как у всякого творческого человека, у меня были и депрессии, и суицидные настроения. Я особенно не делилась этим, поскольку терпеть не могла профессионально-сумасшедших, часами излагавших собственную психиатрию. Эдаких психов-эксгибиционистов, развешивающих нечистую душу клоками на окружающих. На мне была плотная маска человека, у которого всё классно, но если я себя кем и ощущала в это время в этой стране, несмотря на благополучную семью, то лишним человеком.

Со временем критики стали упрекать, что у меня что ни главная героиня, то обязательно Печорин в юбке. Но что я могла сделать? Со мной было именно так. Я не вписывалась в советскую жизнь, а энергетика у меня была о-го-го! Меня не устраивала жизнь, она не могла устраивать и моих героинь. Весь нереализованный социальный темперамент я конвертировала в душераздирающие романы. Растить близнецов было нелегко, но у меня была куча сил, я всё успевала. И не желала превратиться в медленно тупеющее приложение к собственным детям. В конце концов, Беатриче была матерью 11 детей. Мне говорили: «Что ты бесишься? У тебя всё есть: муж, дети, диплом, талант, успех у мужчин. Другие об этом только мечтают. Ты уже всё в жизни сделала, расслабляйся».

А мне казалось, что жизнь кончена, кончена, кончена… И я жила ею машинально, оживляясь только на собственных детей и романы. При этом мне не в чем было упрекнуть мужа. Он не мог дать мне то, что отнимало государство, он даже не понимал сути моей невостребованности. Мне было двадцать пять, и я отчётливо понимала, что прозябаю.

Возлюбленный, к которому я лезла с этим, однажды сказал, смеясь: «Твоя проблема в том, что тебе сразу нужна маленькая счастливая семья и большая несчастная любовь. У тебя два сценария столкнулись, как поезда, в лоб».

Почва моих депрессий ускользала даже от него.

Глава 15. ДЕД ИЛЬЯ, БАБУШКА ХАННА

Один возлюбленный хихикал надо мной, уверяя, что большая часть моих внутренних проблем — от половины еврейской крови,

что в местном климате мне скучно, потому что пока русская женщина что-то подумает, что-то скажет и что-то сделает, еврейская успеет прокрутить всё это десять раз. Не знаю, хорошо или плохо быть полукровкой, поскольку всегда была только ею.

В семье Айзенштадтов существует легенда, которую рассказывал моему дяде — мой прадед. Дальний предок Айзенштадт возглавлял делегацию евреев к Ивану Грозному, просившую дать возможность евреям жить на территории России. Сей Айзенштадт был настолько умён, воспитан и образован, так хорошо говорил на нескольких языках, что Иван Грозный, совершенно очаровавшись им, дал согласие. Как звали Айзенштадта, что это была за интрига и из каких земель просители пришли, осталось тайной. Не исключено, что за этим стоит какая-то историческая правда, потому что в семье Айзенштадтов никогда не было склонности к хвастовству, а всегда наблюдался высокий коэффициент прибедняемости, результат не одного столетия еврейских унижений.

Я нашла замызганный паспорт на тоненькой гербовой бумаге, документ от 1 января 1904 года. Он выдан моему прадеду, борисовскому мещанину Иосифу Яковлевичу Айзенштадту, 42 лет. Вероисповедание иудейское, род занятий — агент, рост — средний, цвет волос — темно-русый. Иосиф женат на Марии, матери его пятерых сыновей: Самуила, Исака, Боруха, Ильи и Абрама.

Род занятий прадеда, обозначенный в паспорте словом «агент», остался в тумане. Он якобы занимался комивояжёрством, но на деле был революционным литератором и сидел в тюрьме за социалистические идеи. Я узнала об этом от своей английской тёти, в российских частях семьи об этом не принято было говорить, все были слишком запуганы. Надеюсь, со временем удастся перевести его книгу прозы и публицистики, изданную в Израиле. А в арбатской квартире под толстым слоем пыли я обнаружила листы бумаги, исписанные любовными сценами из жизни Серебряного века прадедовским почерком с немыслимыми виньетками.

О жизни семьи Айзенштадтов в городе Борисове я не знаю ничего. Судя по тому, что сыновья учились в престижных университетах Европы, водились немалые деньги. Самуил получил юридическое образование в Швеции, Исаак закончил два технических факультета Сорбонны, Борух изучал медицину за рубежом. В России в высшие учебные заведения брали только 5 % евреев, и состоятельные семьи старались выучить детей за рубежом.

Мой дед Илья Айзенштадт окончил в Петербурге гимназию с золотой медалью, и в 1914 году вместе с младшим братом Абрамом поехал в Палестину, где окончил школу восточных языков. Разъезжал по Европе, содержа себя на даваемые уроки. Потом решил учиться в Тимирязевской академии, чтобы поднимать сельское хозяйство на исторической родине. Академию окончил, но ни в какую Палестину его больше не выпустили.

В 1919 году в Москву из Борисова приехали его родители и купили четырёхкомнатную квартиру на Арбате, в доме № 8 Плотникова переулка, возле знаменитого борделя, стены которого до сих пор украшены барельефами отцов российской словесности в окружении дам лёгкого поведения. В квартиру, среди прочего, приобрели буфет, шкаф и стол, до сих пор украшающие мою комнату.

Дети потихоньку разъезжались. Уехал младший сын Абрам, стал преуспевающим апельсиновым плантатором. В 1925 году уехал строить еврейское государство Самуил, стал видным юристом, занимался политикой, баллотировался в премьер-министры и был членом какого-то совета ООН. Исаак остался в России, редактировал технические словари и, много зарабатывая, содержал родителей. Борух работал школьным врачом, в 1937 году его расстреляли как польского шпиона.

Моя бабушка Ханна родилась в 1894 году в Люблине. В Царстве польском было только два еврея, получивших право быть на государственной службе, одним из них был мой прадед. Сдав экзамен, Иосиф Зильберберг начал преподавать в ремесленном училище № 5 русский язык и математику.

Видимо, отсюда у бабушки Ханны такая чистая русская речь, а ведь она приехала в Россию уже взрослой девушкой. Перед войной даже с кем-то в соавторстве написала учебник русского языка.

Прадед Иосиф получал в училище 700 рублей в год. Жалованье носили каждое двадцатое число домой, это было событием. Получать можно было золотом и ассигнациями, золото не любили за вес. Семья состояла из 10 человек, включая прислугу, а работал один прадед. Зарплаты не хватало, и он давал частные уроки.

Прабабка моя Нехама Каплан родилась в деревне Гродненской губернии и была из очень состоятельного рода. Её братья имели заводы в Замостье и в Грубетове. Однажды в город пришёл хиромант, взял руку прадеда и сказал, что самый старший его ребёнок — дочь — будет всю жизнь учиться. Так и случилось.

Бабушка Ханна получила диплом учительницы начальных классов в Люблине, утерянный, когда семья бежала от немцев в Россию. Потом бросила учёбу в Московском институте физкультуры из-за романа с дедом, потом бросила Тимирязевскую академию из-за рождения детей и, наконец, закончила Педагогический техникум и Педагогический институт к 55 годам, хотя сама уже была автором учебника.

Она выросла в семье потомственных учителей с культом гуманитарного образования. Младший брат бабушки Ханны — Гилея Зильберберг, — живущий в городе Скопине, в возрасте 80 лет начал изучать информатику, мотивируя тем, что его дед, скончавшийся в 1925 году в Люблине, в возрасте 90 лет заинтересовался органической химией.

Семья была настолько книжная, что популярнейшим совместным досугом были читки вслух и обсуждения. Юная библиоманка, бабушка Ханна, старшая из семи детей, за это жестоко поплатилась, предпочитая книжку помощи по хозяйству. У мальчика это бы приветствовали, у девочки — жестоко карали. Однажды она зачиталась так, что не открыла родителям запертую дверь. Предполагая самое ужасное, прадед выломал дверь и обнаружил погружённую в книжку Ханну, машинально качающую кроватку с орущим изо всех сил младшим братом.

Наказание было чудовищным. Торопившийся к ученикам прадед схватил дочь за руку, притащил в класс мальчиков и высек перед всеми, сняв с неё трусы. Сегодня благодаря психоанализу мы знаем, что такие истории дают неврозы, подобные последствиям группового изнасилования в детстве. Думаю, это сломало не только биографию самой бабушки, но и хорошо прошлось по моей матери и дяде. Мне, полагаю, тоже перепало.

Иосиф Зильберберг не был злодеем и любил старшую дочь, но был сыном своего времени. Моя мама описывает его нежнейшим, трогательным мужем, отцом и дедом. Он был красив и представителен, религиозен и образован, социально успешен и семейно удачлив.

Мне трудно представить быт этой семьи. Могу только вспомнить, что бабушка Ханна была эстеткой, знала толк в дорогих вещах, имела отличную осанку и некоторый снобизм. Она была сдержанна, манипулировала детьми, не была счастлива с мужем и создавала о нём миф как о существе второго сорта.

В четырнадцатом году семья Зильбербергов бежала из Люблина от немцев в Тамбов. Оттуда бабушка поехала учиться в Москву, но вышла замуж за деда Илью, забеременела и оставила учёбу. Родился мой дядя, а через год — мама. Дед работал и

учился, семья переехала в квартиру в Плотников переулок. Там было четыре комнаты, и бабушка Ханна попросила разрешения, чтобы семья её родителей приехала из Тамбова и временно поселилась здесь же. Мой прадед Иосиф Айзенштадт и прабабушка Мария разрешили. В квартиру нагрянули ещё 6 взрослых человек: прадед Иосиф Зильберберг, и прабабушка Нехама с двумя сыновьями и двумя дочками. Им отдали смежные комнаты, а мои дедушка и бабушка с малышами оказались в восьмиметровой каморке.

Чтобы не путаться в двух дедушках Иосифах, мама и Дядя называли Айзенштадта «дедушка с маленькой бородой», а Зильберберга «дедушка с большой бородой». Как вся компания из недавно состоятельных людей могла ужиться в четырёхкомнатной квартире, я не представляю. Впрочем, общими были внуки, еврейские проблемы и уровень образованности.

«Дедушка с маленькой бородой» был весельчаком, писал стихи, статьи, романы и не пропускал ни одной юбки. «Дедушка с большой бородой» был фанатично религиозен и ежедневно молился, облачаясь в иудейскую атрибутику. Он привязывал ко лбу кубик, в котором была «микротора», как объясняли детям, надевал на руки ремни, а на плечи полосатое чёрно-жёлтое покрывало. Для маленьких мамы и дяди это было любимое развлечение; стоя за спиной, они передразнивали своего деда часами.

Мама помнит дедушку Зильберберга либо молящимся, либо лежащим на диване. Работать не работал, жили на золото, привезённое из Польши. Видимо, не мог прийти в себя от пережитого и не хотел вписываться в жизнь новой страны. Прабабушка Нехама была красивая, элегантная, энергичная домохозяйка. Они с Иосифом смотрелись как Филемон и Бавкида. Во время войны, когда его парализовало, Нехама сидела возле постели и не спускалась в бомбоубежище. Она умерла, сидя возле Иосифа во время бомбёжки, от разрыва сердца. Его, парализованного, забрала дочь в эвакуацию в Казахстан, где он вскоре умер.

Удивительно, но её дочь, бабушка Ханна, через много лет умерла тоже от разрыва сердца, при том, что уже не было ни войны, не бомбёжки, а был обычный стресс. Все женщины по линии Зильбербергов были гипертревожны и изводили этим близких. Я не сильное исключение, хотя активно борюсь с собой.

Как сосуществовали две хозяйки — несчастная в браке, нетерпимая, скупая прабабушка Мария и милая, весёлая, щедрая прабабушка Нехама — в одной квартире арбатского переулка? Не представляю. У обеих было богатое европейское детство, трудная

жизнь в Москве, много детей, которых предстояло «вывести в люди», и полное непонимание происходящего за окнами. Мама говорит, что теснота была ужасная, но семья дружная и тёплая. Скорее, это была не семья, а мини-государство, организованное эмигрантами посреди чужого города.

Дядя помнит, как мой дед Илья, страшный антисоветчик, вынес его, трёхлетнего, на балкон, и раздался страшный грохот. «Это стреляют из пушки, потому что умер Ленин», — объяснил дед испуганному сыну. Он хотел развлечь ребёнка, потому что особого пиетета по отношению к вождю не испытывал, тем более, что к этому времени уже вышел из партии. Однако дядя навсегда стал верным ленинцем, до сих пор ходит на коммунистические митинги и держит в книжном шкафу бюстик Владимира Ильича.

Мама и дядя ходили в детский сад на Арбате, директором которого была бабушка Ханна. Ждали, когда временно гостящие родители бабушки Ханны найдут другое жильё. Но никто никуда не уехал, хотя денег для покупки жилья было достаточно. Бежав из Польши, Зильберберги потеряли все документы, но сохранили золото. Не исключено, что на эти деньги Зильберберги кормили Айзенштадтов, и потому никто не спешил расставаться. И молодая семья вынуждена была скитаться по агрономическим назначениям деда Ильи.

Там они безумно страдали. Дед изучал агрономию, собираясь возрождать историческую родину, а не земли страны победившего социализма. Ему некуда было девать двенадцать языков, которыми он владел. Бабушка тоже обучалась языкам и книксенам не для того, чтобы преподавать детям колхозников азбуку. Воспитанные с прислугой, они не умели без неё обходиться.

Инородность семьи никогда не обсуждалась открыто, не то было время. Хотя мама всю жизнь повторяла вслед за бабушкой: «Это совсем простые люди!», «Что ты хочешь, он простой мужик!», «Мне помогла простая русская женщина!».

В этой семье были не то что пуганы, а пуганы насмерть. Дед расстался с партией. Как агроном, он понимал, что голод организован, и понимал, зачем. Он был еврей, объездивший Европу, учившийся в Палестине, имеющий двух братьев за границей и одного расстрелянного. Каждого из этих компонентов было достаточно, чтоб загреметь по полной программе. До войны дед почти не приближался к Москве, а если и приближался, то писал книги совместно с инструктором ЦК по сельскому хозяйству.

Мои бабушка и дедушка изначально были противопоставлены «этим хамам, большевикам, гоям». Знали, что жизнь в России —

это ходьба по минному полю. Когда как шпиона расстреляли брата деда, Боруха, мир не рухнул в их сознании, они ничего другого и не ждали.

У мамы никогда не было романов с евреями, то ли бессознательно она рассчитывала на вписываемость в страну через мужчину, то ли еврейские родственники достали занудством и поучениями. До сих пор среди старых фотографий она выделяет ту, на которой её обнимает красавец грузин, пытавшийся увезти её в Сухуми. Но это даже не обсуждалось, он не был человеком её круга. Дядя по этому поводу называл маму любительницей экзотики и даже дразнил «Буателем» по имени героя рассказа Мопассана, влюбившегося в негритянку. Впрочем, за всеми мамиными ориентациями стояла бабушкина железная воля.

Мама любит рассказывать о том, что сексуальная жизнь бабушки на Арбате плохо складывалась из-за тонких перегородок. Но тогда вся страна не имела отдельных спален, однако выходила из положения. В тридцать шестом году в бабушку был влюблён директор института, с которым они вместе занимались избирательной кампанией. Бабушка была неравнодушна к нему, но соблюла себя из последних сил.

Ударом для неё был роман деда со своей секретаршей. Она ощущала это таким позором, что хотела покончить с собой. Особенным позором казалось, что секретарша стара и некрасива.

То, что бабушка ощущала роман мужа как позор, а не как беду, показательно. В семье, в принципе, плохо различались две эти вещи.

Глава 16. «АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Пришло время идти в школу. Сыновья унаследовали от Саши абсолютный слух, а я уже тогда, панически боясь армии, решила, что Паша и Петя должны окончить дирижёрско-хоровой класс, после которого пойдут служить военными дирижёрами, а не в обычные ряды советской армии. Сыновьям идея не нравилась, но я убедила пойти посмотреть. Нашли учебное заведение, я изо всех сил накрасила глаза, надела соблазнительную кофточку, вытащила директора прямо посреди занятий и заставила прослушать гениальных детей. По моему напору он понял: лучше капитулировать сразу, чтоб быстрей отделаться.

И начал играть известные мелодии, чтобы подпевали. Сыновья пели кто в лес, кто по дрова. Я стояла красная как свёкла.

— Может быть, вы знаете какие-нибудь песни со словами и можете их спеть? — жалостливо спросил директор.

— Нет, ни одной. Мы вообще музыку не любим, — сообщили дети.

— Совсем ни одной? Ну, хоть про Чебурашку, — взмолился директор.

— Ладно, про Чебурашку споём, — снизошли они и начали петь так, как будто все медведи Советского Союза одновременно наступили им на ухо.

— Скажите, а как вам пришла идея, что им необходимо учиться музыке? — изумлённо спросил директор.

— Понимаете, на самом деле у них абсолютный слух. Их папа певец, и они целый день слушают бельканто, — залепетала я.

— Я полагаю, вы что-то путаете, — сказал он тоном психиатра, беседующего с маньячкой.

Когда мы вышли, я мрачно молчала.

— Не обижайся, — сказали дети. — Мы просто очень не хотим быть музыкантами. (А в старших классах Паша самостоятельно освоил бас-гитару, а Петя — ударные, и они играют в группе.)

Близлежащие школы были заурядными, и я нашла не школу, а изумительную учительницу Ольгу Евгеньевну. Когда в четвёртом классе она прощалась с учениками, мамы плакали.

Перед первым классом мальчишки двора, поделившись на команды, бросались друг в друга камнями. Самое серьёзное увечье нанёс камень, брошенный Пашкой в Петькин глаз и повредивший роговицу. Что я пережила в глазной травматологии! Слава богу, обошлось.

Через неделю Петька отбил Пашке кусочек переднего зуба.

— Это за глаз, — сказал Петька.

— Дурак, теперь нас все начнут различать, — расстроился Пашка. Но ошибся, учителя их не различали до старших классов. Дети различали всегда, особенно маленькие. Секрет состоял в том, что взрослый идёт на картинку, а ребёнок чувствует поле.

В первом классе дети каждый день мерили сапогами лужу у школы. За ночь прорвало трубу, и горячая вода вымыла под лужей глубину в человеческий рост. Когда Пашка пошёл на примерку лужи, лёд провалился, и Пашка ушёл под воду. Вокруг была уйма народа, но это произошло так стремительно, что все застыли. Петька непонятным образом вытащил его, хотя вес Пашки был умножен на ледяную воду, набравшуюся в комбинезон, сапоги и ранец. С физической точки зрения это совершенно необъяснимо.

Все эти ужасы воспитания мальчишек, разбитые головы и

окна, фингалы и порезы, дворовые разборки и жалобы родителей… Кажется, всё их детство я стою с бинтом и йодом в руках, и сердце у меня едва не выскакивает из груди.

После отравления финлепсином детям были запрещены все лекарства. И пришлось заняться коллекционированием рецептов народной медицины, которые потом пригодились при переводе книги моего английского брата Питера Дедмана «Натуральное питание, натуральное лечение, натуральная косметика». На моём столе под стеклом лежал список семи условий здоровья ребёнка: любовь, простая пища в умеренном разнообразии и без принуждения, свежий воздух в любую погоду, движение, вода и температурная закалка, спокойствие (дети тревожных родителей болеют в 4 раза чаще) минус скука (скука, разрушающая дух, добирается до тела!).

Удивительно, какими усилиями приходилось доказывать право воспитывать ребёнка, опираясь на собственные представления. Всех детей вокруг кутали, кормили насильно, без надобности напихивали лекарствами и опутывали запретами бегать по лужам, драться, лазать по деревьям. Я считалась молодой придурковатой мамашей неопределённой профессии. На будущего писателя внешне не тянула, была слишком хорошенькой. Мне даже однажды в графе «профессия» больничного листа по уходу за ребёнком написали «драматолог».

Негодование вызывали и либеральные взгляды, все-таки было начало девяностых. Я всё объясняла детям честно. Во-первых, считала, что ходить в школу в младших классах каждый день — слишком большой подарок советской педагогике. Во-вторых, дети ходили с длинными волосами, потому что им это нравилось и шло. Все наезды школьной администрации я отбивала, объясняя, что это не находится в зоне их компетенции.

Я читала детям перед сном Плутарха и Пушкина, ставила пластинки Моцарта и Стравинского. Когда брала в руки их учебники, хотелось чиркнуть по ним зажигалкой.

— Мальчики, — говорила я. — Учебник писали и выпускали плохо образованные, неталантливые люди, которые к тому же не понимают и не любят детей.

— Кто им разрешил? — строго спрашивали сыновья.

— Все.

— И ты?

— И я.

— А ты можешь написать хороший?

— Могу, но его никто не напечатает.

— Почему?

— Потому, что если бы люди, которые печатают учебники,

были бы со мной согласны, они бы уже давно попросили меня написать его.

— Надо с ними поговорить, — советовали дети.

«Поговорить» я ни с кем не могла. Собственно, иногда мы с Сашей общались с бывшим учителем моей свекрови, пребывавшим в чине заместителя министра образования. Это был милейший провинциально-номенклатурный монстр, чудовищно образованный и чудовищно изъяснявшийся по-русски; его мало занимали мои взгляды на уровень школьных учебников.

Интрига, затеянная группой молодых изгойных драматургов, тихо тлела. Два неутомимых пожилых члена Профессионального комитета драматургов — Мирон Рейдель и Владимир Тихвинский — активно откликнулись на неё, им хотелось влить новое вино в старые меха своей литературной тусовки. Профессиональный комитет московских драматургов был первой писательской организацией на территории нашей страны, его организовывал ещё Погодин. Известно, что Булгакова сюда не приняли. Половина состава комитета при Сталине сидела по лагерям, а вторая — писала на неё доносы. В девяностые это было место легитимизации пишущего люда, более комфортное, чем профсоюз литературных секретарей и личных дворников, из которого я пришла.

Комитет давал человеку право называться писателем и не быть высланным милицией за тунеядство. Для вступления требовались справки о том, что в течение двух лет ты именно пером обеспечивал себе прожиточный минимум. Качество продукции не интересовало никого. Ты мог подписывать спичечные коробки перлами «Берегите спички от детей!» и «Лес — наше богатство», мог писать романы, куплеты, монологи, репризы, сценарии, переводить пьесы, исполнять авторские песни. В какой-то период Алла Пугачёва пыталась сделать здесь секцию поэтов-песенников, но старики встали горой, они не считали это литературными текстами.

Здесь оседали люди, которых коммунистическая цензура не могла пропустить в Союз писателей, например, Евгений Рейн, состоящий к секции сценаристов. Здесь была целая секция драматургов эстрады, в которую входили Юлий Ким, Вероника Долина, Григорий Гладков, Андрей Макаревич. Здесь доживала категория жён и любовниц покойных мэтров, например вдова Михаила Светлова, окружённая после его смерти бывшими соперницами, конвертированными в подруги. Здесь был сценарист Аркадий Блинцовский, попавший в Книгу рекордов Гиннесса за самую долгую ходьбу спиной, спортсмен Валерий

Брумель; балетовед Вадим Гаевский, книга которого о балете была запрещена усилиями Григоровича, здесь был отдавший полжизни лагерям великолепный Матвей Грин, воспитавший всех наших сатириков, Михаил Задорнов, Леонид Якубович, сюда вступил Омар Сохадзе, бездарный как драматург, но прославившийся скандалом с Сергеем Станкевичем. Одним словом, это был ноев ковчег, решивший спастись в советском потопе.

Профком ютился и до сих пор ютится, совершенно деградировав, в подвале писательского дома в Лаврушинском. Верные режиму писатели имели хоромы наверху, неверные — собирались в подполье. По вторникам кипел самовар, пился чай и велась светская жизнь. Переступив порог подвала, я поняла, что это тёплая коммуналка, в которой воюют, плюют друг другу в суп, и всё-таки вместе веселятся и выживают. Меня и моих друзей принять не могли по формальным признакам: не было справки даже об одном рубле, заработанном литературным трудом, поскольку пьесы не имели цензорского штампа, допускающего к исполнению.

— Не волнуйтесь, — сказали Мирон Рейдель и Владимир Тихвинский. — Лично вас примем за талант, создадим прецедент, а потом примем остальных.

Меня показали аксакалам — те пришли в ужас. Было объявлено, что я — любовница Мирона Рейделя. Мирон Данилович был шестидесятилетним обаятельнейшим, разносторонне талантливым господином, но амплуа героя — любовника подобной пигалицы ему совершенно не подходило.

— Не обращайте внимания, здесь всегда так, — успокоил он. — Вы должны им понравиться, надо будет выступить на обсуждении пьесы в ЦДРИ.

Я пришла в каминную ЦДРИ, накрасилась поменьше, выбрала джинсы поцелее. Пьесу читал покрытый мхом графоман, прославившийся пьесой о Марксе. Меня вытолкнули перед залом, полным лысин, седых пучков и неодобрительных глаз. Это было первое выступление не на институтском семинаре, не на подпольном объединении, а в «доме с колоннами» перед залом солидных людей. Я была мёртвая от страха и слышала, как голос, совершенно отдельно от меня, пишет в микрофон пируэты. Каждую секунду мне казалось, что я не смогу закончить предложение, потому что уже не помню, с чего начала его, но оно почему-то независимо от меня складывалось в узор. Говорила я, как всегда, всё, что думаю, размазывая автора пьесы до состояния жижи. Когда выдохлась, зал зааплодировал, здесь умели ценить даже вражеский блеск.

— Это было бесподобно, — с тоской сказал Мирон Данилович. — Но вы сделали всё, чтобы вас сюда никогда не приняли.

После вечера было заседание приёмной комиссии. Я вышла в курилку, спиной ко мне стояли пожилые члены бюро и громко обсуждали:

— Да не Рейделя она любовница, бери выше! Говорят, о ней уже Шатров звонил, требовал, чтоб мы приняли, она Шатрова любовница.

— Да не Шатров это был, а Сафронов!

— Что, неужели любовница Сафронова?

Я, конечно, знала, кто такие Шатров и Сафронов, но видела их только по телевизору и не понимала, что происходит; я ещё не знала, что профком — маленькое государство со своей мифологией. Казалось, что я в дурдоме.

— Если бы тут знали, чья я любовница на самом деле, меня бы давным-давно приняли в вашу организацию! — сморозила я. Старики оторопели. Через пять минут заседания меня приняли в профессиональный комитет московских драматургов.

Всё было в один год. И профком. И первый класс. И рекомендация Совещания молодых писателей. И первое свидание с Министерством культуры. И защита диплома. Перед тем, как мы должны были войти в зал для защиты дипломов, меня подозвала Инна Люциановна Вишневская.

— Значит так, у Литинститута год юбилейный, надо хоть одного гения изобразить, пресса приехала. А Ерёменко напился и не явился. Так что не выделывайся, сейчас я буду говорить, что ты — луч света в тёмном царстве. От тебя только одно требуется, заткнись, пока процедура не кончится, а то ты что-нибудь ляпнешь, как ты умеешь.

Да, и журналистам поменьше о своей гинекологической пьесе. Там, скажи, туда-сюда, трудная любовь советских людей. Не надо нам абортов на юбилей института.

Мой однокурсник и друг поэт Александр Ерёменко был единственным живым гением на курсе. Но, как всякий гений, он не утруждал себя социальной вписываемостью. Помню, приходит на госэкзамены в дым пьяный в какой-то рубашоночке. Я говорю: «Не ходи, ты же там рухнешь!».

Пошёл. Через пять минут выходит обратно. И, трудно ворочая языком, говорит, держась за косяк: «Сказали, без пиджака на госэкзамен неприлично!».

Кто-то на него надел свой пиджак на пять размеров больше. Он пошёл по стеночке в аудиторию и вернулся с пятёркой.

— Меня это не устраивает, — сказала я Вишневской.

— А тебя никто и не спрашивает, — ответила она. Так что в течение часа я, самая плохая, неудобная, скандальная, многодетная, прогуливающая и неуспевающая студентка, была в должности гордости института.

Однако история с Совещанием молодых писателей ещё не кончилась. Всю литинститутскую эпоху я жила на два фронта, и жизнь молодой поэтессы совершенно не пересекалась с жизнью молодой драматургессы. Разными были не только цеха, но и принципы жизни в них. И сколь омерзительна была история с поэтическим семинаром, столь же интеллигентным оказался семинар драматургии. Я попала к Афанасию Салынскому, от которого не ожидала ничего хорошего, поскольку Розов убил во мне веру в порядочность и опекающие жесты со стороны коммунистических классиков. Тем более, что на совещание я подала пьесу «Уравнение с двумя известными», после которой от меня все шарахались.

В день обсуждения я рассчитывала услышать о своей сексуальной разнузданности и гинекологической ориентации. Каково было потрясение, когда Салынский сказал, что сделает всё для того, чтобы увидеть её на подмостках театров. И добавил: «Деточка, никого не слушайте, ничего не исправляйте. Грядут новые времена. Боюсь, что я не доживу, но эта пьеса пройдёт по всему миру».

Сегодня мне сорок лет, пьеса экранизирована, поставлена в России, Германии и Америке, и я понимаю, что передо мной был просто нормальный честный человек, но тогда я долго искала объяснения происходящему. Ведь я привыкла к тому, что бескорыстно тексты не волнуют никого, и, если мной интересуются не как молодым телом, значит, я — пешка в сложной многоходовке. Афанасий Салынский позвонил в Министерство культуры и сказал, что настоятельно рекомендует пьесу. Её обсудили на коллегии.

«Пьеса не может быть рекомендована театрам. Много места в ней занимают разговоры об абортах, технике обезболивания и морального воздействия. Думается, что автору по плечу тема более общественно значимая, большая и серьёзная», — ответила коллегия письменно.

Первый раз открывая массивную дверь Министерства культуры СССР на Арбате, я чувствовала себя чуть ли не входящей в храм. Но диалог с заместительницей главного редактора коллегии вернул на землю. Поскольку пьеса казалась всем верхом непристойности, то разговор со мной поручили

женщине. Мария Яковлевна Медведева, очаровательная дама с седой замысловатой причёской, улыбалась мне, как воспитательница детского сада новенькой малышке,

— Послушайте, это просто ужас. Как же вы могли такое написать? Я сидела на коллегии вся красная от стыда. Вы, молодая женщина, как же можно писать про аборты? Вы способный человек, но над пьесой надо работать, и я помогу вам.

— Как работать? — я ещё была дура дурой.

— Для начала надо поменять профессию главной героини. Это же невозможно, чтобы главная героиня была гинеколог. Давайте сделаем её инженером, учительницей, космонавтом — и всё это без тени юмора.

— Как же она может быть космонавтом, если бывший возлюбленный везёт её принимать роды у своей дочери? У него что, дочь в космосе рожает? — спросила я.

— И никаких родов. Там такой ужас, там новорожденный умирает. Значит, гинекологии не надо, родов не надо и слово аборт везде убрать. А то что он её когда-то бросил и это сломало ей жизнь, это пусть будет. Такая лирическая пьеса на двоих. И министерство тут же подписывает с вами договор и рекомендует вас театрам. Вы человек молодой, вы меня слушайтесь, я плохого не посоветую.

— Но ведь у героини сломана жизнь не из-за того, что они расстались, а из-за аборта, после которого она стала бесплодна, чего не может простить ни ему, ни всему миру? Поэтому она стала гинекологом и делает аборты на дому в присутствии мужей, — напомнила я.

— Это тем более будет убрано!

— Если я учту ваши пожелания, то это будет другая пьеса, — сказала я.

— Вот именно, — согласилась Мария Яковлевна. — Вот ту, другую, мы и купим. А эту — никогда.

Я отказалась. Однако им что-то надо было со мной решать, они не могли просто так отмахнуться от Салынского. Через какое-то время позвонили из министерства и пригласили прийти. Меня принял молодой человек невнятной наружности.

— Вы не хотите с нами работать? Вы не хотите делать свою пьесу лучше? Это говорит о том, что вы не профессионал. Профессионал бы за одну ночь всё переделал, — сказал он с лёгким презрением.

— Я не стремлюсь в такие профессионалы.

— Напрасно. Драматург — это тот, кому аплодирует зал, а не тот, кто пишет в стол. Но мы решили дать вам ещё один шанс. Напишите творческую заявку на пьесу о советской школе, мы

рассмотрим её.

Что такое заявка, я не понимала, но знатоки объяснили мне, что надо изложить содержание будущей пьесы на двух страницах так, чтобы коллегии показалось, что из этого получится совершенно советская пьеса, а потом написать совершенно антисоветскую, но так, чтобы они не могли доказать, что в заявке вы обещали другое. Я написала обтекаемые кружева о выпускнике университета, пошедшем работать в первый класс. Заявка прошла, и мне назначил встречу главный редактор коллегии драматургии. Это был испитой мужичонка по фамилии Мирский, именуемый за глаза всей драматургической братией Мерзкий.

— Прочитал вашу заявку. Судя по ней и вашей гинекологической пьесе, вы, конечно, ничего никогда не напишете, — сказал он, меряя меня неприятнейшим взором. — Но мы всё-таки решили заключить с вами договор и выплатить аванс. Хочу поставить вас в известность: за пьесу молодого драматурга мы платим полторы тысячи рублей. Но если её поставит хоть один театр и о ней напишет хоть какая-нибудь пресса, мы платим две тысячи двести.

Обе эти суммы тогда означали примерно сто тысяч долларов сегодня. Он ждал какого-то ответа, но реплики казались мне риторическими. Я молчала как рыба.

— Отвлекаясь от нашего разговора, хочу отметить, что у вас красивая форма груди, — сказал он, помолчав. Я не вспыхнула. Мне было почти двадцать семь, за это время я услышала такое количество подобного, что реагировала без умильной стеснительности и кокетливого непонимания.

— Форма моей груди в условиях договора участвовать не будет, — злобно сообщила я.

— Ну что ж, тогда вы получите тысячу пятьсот, даже если вашу пьесу поставит сто театров и о ней напишут все газеты, — сказал он, усмехнувшись.

Я написала пьесу. Принесла её молодому человеку, назначенному редактором. Он прочитал и важно сказал:

— Ну это совершенно невозможно, это сыро, надо над этим серьёзно поработать. У вас середина рассыпается и финал никакой. По сути дела, у вас нет финала. И язык героев… Слушайте жизнь, учитесь писать у неё. Сократите первый акт и выведите второй на более высокую ноту. Жду новый вариант. С новым названием.,

Я вышла из его кабинета совершенно ошарашенной. Фразы совершенно ничего не означали. Ни на один конкретный вопрос он ответить не мог, да и не силился. Я решила, что он полный идиот. Но с текстом что-то надо было делать, а я точно знала, что

не исправлю ни запятой. Мучилась, мучилась, поменяла название, перепечатав титульный лист, а остальное оставила в том же виде. Редактор взял новый вариант, назначил встречу через неделю.

— Вот видите, какая конфетка получилась после того, как вы учли все мои замечания. Как приятно работать с талантливым автором, — сказал он, улыбаясь комсомольской улыбкой.

Пьесу поставили шесть театров, о ней было много написано. Я получила тысячу пятьсот. Больше ни одной моей пьесы союзное Министерство культуры не купило, каждый раз, когда коллегия голосовала «за», Мирский отменял решение собственной властью. Поэтому одной из самых больших радостей развала Советского Союза для меня была ликвидация Министерства культуры на Арбате.

Я продолжала жить по-прежнему, но на мою сберкнижку начали приходить большие по тем временам деньги со спектаклей. Сначала казалось, что это какая-то путаница, что скоро всё заставят вернуть обратно, но постепенно привыкла. Спектакли шли на Урале и в Сибири, я их никогда не видела. Только получала письма от учителей и родителей с просьбами дать советы по воспитанию. Когда через много лет приехала в один из театров, в котором шла пьеса «Анкета для родителей», труппа очень удивилась — они думали, что мне лет шестьдесят и я величественная старушка с клюкой.

Недавно я встретила редактора, ставшего респектабельным господином и изготовляющего литературную макулатуру любовно-детективно-исторического типа. Мы уже были на «ты».

— Слушай, а помнишь, ты был моим первым редактором и наговорил какую-то галиматью о том, что всё в пьесе надо переделать. Я ведь тогда только название и поменяла, — сказала я.

— А ты что думаешь, что я читал там ваши пьесы? Да мне на всё было положить. Я вот ещё мемуары напишу про то, как был первым редактором и у тебя, и у Саши Гафина, и у Лёни Якубовича. Но они-то, в отличие от тебя, всё, как я говорил, переделывали.

Глава 17. ПЛАТЬЕ АМАРАНТЫ

Когда дети пошли в первый класс, перестало хватать времени. Я ещё была перфекционисткой, мне было необходимо видеть, что и дети у меня самые лучшие, и дом самый уютный, и муж самый достойный, и подруги самые верные, и любовники самые нежные. Казалось, что, потратив бешеную энергию, я

сделаю гармоничным мир, хотя бы вокруг себя. Неотвязная Даша Волкова ещё жила у нас на голове, а мой роман продолжался. Собственно, это уже был и не роман. Нам было хорошо вместе, но отношения не подразумевали тотального контроля друг за другом, каждый имел своё пространство и дорожил общим. Персонаж не годился в мужья по обычной схеме, я не годилась в подруги по его схеме, но, сознавая несочетаемость, я все же была уверена, что придумаю форму, в которой мы сможем быть вместе. Бывают люди, возле которых мы глупеем и становимся неудачниками, бывают люди, рядом с которыми всё получается и всё не страшно. Подле этого персонажа я становилась сильной, спокойной и уверенной, что справлюсь со всем.

Это была страшная психофизическая зависимость, она даже могла бы стать унизительной, если б он, живущий в более свободном режиме, не зависел бы подобным же образом от меня. Персонажу было негде жить, он снимал квартиры. А профком драматургов объявил, что строит очередной кооперативный дом. И я недрогнувшей рукой написала заявление о том, что прошу предоставить мне однокомнатную квартиру, поскольку проживаю вместе с детьми и бывшим мужем. У меня не было ощущения, что мой брак умер, он был жив и розовощёк, Саша был замечательным отцом, но, когда на второй чашке весов появлялся персонаж, остальное казалось неважным.

Заявление отправилось в сейф, а я отправилась по-прежнему жить двумя жизнями. И всё бы ничего, но собралась комиссия, обсудила заявления на кооператив, вставила меня в первый список, и обожающая старушка позвонила обрадовать, налетев по телефону на мужа. Что уж она там ему говорила с поправкой на маразм, не знаю, но, видимо, мне хотелось побыстрей всё расставить по местам, и чего не договорила старушка, договорила я. Как всегда в подобных ситуациях, Саша сохранил ледяное молчание, а я отправилась звонить персонажу и Дашке.

— Ну ты даёшь, — сказал персонаж. — И что будет дальше?

— Не знаю, — ответила я честно.

Дашка пришла в неистовое волнение. Она была первой наперстницей моих любовных приключений, первой советчицей и первой помощницей.

И вот, через три дня после объявления мужу мы все встретились. Был литературный вечер, на котором выступали персонаж и Дашкин хахаль, фактурный режиссёр и обещающий поэт, закончивший художественную карьеру православным священником. На вечере я была в приметном туалете, персонаж провёл ладонью по изыскам кроя и сказал: «Платье Амаранты!».

Мне стало смешно, мы все тогда ходили обмотанные

цитатами из Маркеса и Борхеса. Какая из меня Амаранта? Амаранта, принявшая обет молчания, и я, прощающая всё и сажающая всех себе на шею. Я, Дашка, персонаж и Дашкин хахаль долго ловили такси, чтобы доехать до тёплого места, где можно посидеть.

— Давай отойдём на секунду, — внезапно сказала Дашка упавшим голосом. Мы отошли. — Я тебе должна кое о чём рассказать. Произошла накладка. Ты только ничего не подумай, у меня с ним ничего не было, могу поклясться чем хочешь.

Я ничего не поняла, кроме того, что случилось что-то серьёзное, подошла к персонажу, сказала, что мы с Дашкой уезжаем, что позвоню. Он посмотрел на меня и сказал:

— Пожалуйста, не принимай скоропалительных решений, как ты это любишь.

— Хорошо, — пообещала я.

Мы с Дашкой спустились в метро, сели на лавочку, и она, страшно нервничая, начала излагать.

— В тот день, когда ты всё объявила мужу, я так переживала, что у меня всю ночь болело сердце. А на следующий день надо было куда-то себя деть, чтоб погасить тревогу, и я поехала к твоему. Ты же сама мне разрешила у него иногда ночевать. Мы с ним пошли в гости, там сильно напились, еле добрались обратно. Приходим, а там хозяин квартиры, говорит, мол, у меня проблемы, мне надо переночевать здесь. Ну, в той комнате, где я обычно ночевала. И мне ничего не осталось делать, кроме как лечь с твоим в одной комнате. Мы ещё выпили, я постелила себе на полу, а он заснул на диване.

— А почему тебе не пришло в голову поехать ночевать в другое место? Например, к себе домой, или к своей маме, или, на худой конец, ко мне? — удивилась я.

— Я устала.

— До какого же состояния ты его напоила, что он лёг на кровати, а тебе предложил пол, а не наоборот? Это не в его характере, — недоумевала я.

— Сильно. Мы ведь так переживали за тебя, как всё сложится, весь день обсуждали. А потом так получилось, что он начал ко мне приставать. И даже говорил, что ты ему больше не нужна. Но я сказала, что подруга для меня главное.

— Подожди, подожди. Целый день вы обсуждали мою ситуацию, а ночью он сообщил, что я ему больше не нужна? — у меня концы не складывались с концами. Я видела, что Дашка врёт. — И ты, самая близкая подруга, три дня думала, рассказать мне об этом или нет?

— Я боялась, что ты мне не поверишь? — зашмыгала она

носом.

— Но тебе не кажется странным, что, когда я оказываюсь в экстремальной ситуации, когда я сообщаю мужу о том, что не собираюсь жить с ним дальше, ты, моя самая близкая подруга, прёшься к моему мужику, напиваешься с ним в гостях, стелешься с ним в одной комнате и что-то инсценируешь?

— Но во всём виновато стечение обстоятельств. Ты сама меня туда поселила, если б я хотела с ним трахнуться, я могла бы сделать это раньше.

— Всё, — сказала я. — До свидания. Я еду домой.

— А я? — спросила Дашка.

— Куда едешь ты, меня больше не волнует, — пояснила я.

— Но к маме мне уже поздно ехать, а к себе я не хочу, ты же знаешь, как опасно там возвращаться ночью, — возмутилась Дашка, всё ещё не понимающая, что я уволила её из любимых дочек-подружек.

— Твои проблемы, — сказала я и села в поезд. Мозги у меня перегрелись. Всю дорогу в них пульсировала фраза «платье Амаранты». У меня есть кондовый способ психологической защиты. Человек может долго доставать меня, долго мочиться мне на голову и при этом бить на жалость и чувство долга. Я долго терплю, а потом вдруг что-то лопается, я ухожу и плотно закрываю дверь. Вернуть меня нельзя в принципе. Это не гордыня, как у Амаранты, мне просто больше не интересно.

Я пришла домой и впала в жуткую депрессию. Было понятно, что если возлюбленный и виноват, то процентов на пять, но мне не интересно было считать проценты, потому что «жена Цезаря должна быть выше подозрений». Головой я понимала, что надо пить транквилизаторы, но решила, что справлюсь без этого. Я ходила как сомнамбула, почти ничего не ела, механически отправляла детей в школу, кормила обедом, проверяла уроки. Я не могла писать, читать и смотреть телевизор, при каждой удобной минутке я шла в спальню, сворачивалась калачиком и тупо смотрела в стену.

— В моей жизни кое-что изменилось, — сказала я мужу, но он и сам видел, и сам всё понимал. — Я никуда не ухожу от тебя. Хочешь, принимай это, хочешь, не принимай. Это уж твоё решение. Одна просьба, ни Дашке, ни ему, пожалуйста, не подзывай меня к телефону.

Он кивнул и сохранил ледяное молчание.

Дашка обрывала телефоны знакомых, жаловалась моей маме, требовала, чтоб на меня повлияли потому, что она без меня пропадёт. Короче, вела себя как брошенная жена, явившаяся ябедничать на бросившего мужа в местком. Она часами

проговаривала со всеми подробности безобидной мизансцены в ночной комнате, требовала у всех экспертной оценки своей невиновности, но было поздно. Мне всё стало до фонаря.

Виновник истории пытался разобраться, хотя и не пытался оправдываться, поскольку не понимал, в чём именно его обвиняют. Решил, что я взбрыкнула в браке, потом испугалась и решила открутить обратно. Дашка требовала, чтобы он вернул меня к ней. Я попросила его больше не звонить и пообещала сделать это сама, когда придёт время. Он понял, что я должна остынуть. И я остыла, но, увы, в принципе. Через год, совершенно придя в себя, из академического интереса оказалась в его объятиях. И в ужасе обнаружила, что мне больше не интересны его глаза, его слова, его руки, его тело. Я не понимала, куда всё делось. Я не думала, что мелкие предательские поступки оказывают такое сильное действие на эрогенные зоны.

— Как жалко, — сказала я ему. — Вроде всё то же самое, а отличается от прежнего, как роман от его экранизации.

Дашка долго страдала, потом прилепилась к кому-то другому. Впрочем, жизнь наказала её так жестоко, что мне даже больно об этом говорить. Возлюбленный тоже сильно деградировал, и мало кто из людей, увидевших его нынче, поверит, что из-за него рушились судьбы. Я часто спрашиваю: «А если бы?». Ведь я опустила занавес не из-за страха развода и начала новой жизни, не из-за ревности, не из-за исчерпанности любви. Я почему-то всё время представляла себе, как Дашка в течение трёх дней прокручивает в голове варианты истории, дожимая их до максимальной выгодности собственного образа, и меня охватывало чувство парализовывающей брезгливости.

Это чувство, сформированное в больницах и интернате под чтение русской классики, часто обламывало мне важные сюжеты, отправляло на разрыв с близкими людьми, лишало карьерных успехов. Меня обвиняли в максимализме и нетерпимости, но я видела, что происходит с людьми, лишёнными этого инстинкта самосохранения. Я точно знала, что тот человек был предназначен мне богом, но помойка, устроенная закомплексовавшей Дашкой именно в дни экстремала, и то, что он позволил себе краешком оказаться в этой помойке, делала из всей истории осетрину второй свежести.

Именно на вечере, куда я надела «платье Амаранты», я познакомилась с актрисой, назовём её Риткой. Она была красавица, искала пьесу, в которой бы хотела играть, жила по соседству. Пришла в гости, влюбилась в пьесу «Алексеев и тени» и начала её разминать с друзьями — артистами в качестве

самостоятельной работы. Такие спектакли в одном случае из ста всё-таки выходили потом на подмостки, но по Ритке сразу было видно, что её случай — один из девяноста девяти.

Ритка была женщина-ураган, жила с мужем и двумя детьми в необихоженной квартире (через год мы с Сашей не выдержали голой лампочки и насильно повесили в их кухне абажур), всё время спешила на репетиции, плохо соображала, почему в доме есть еда, а дети умыты, играла крохотные роли, везде была душой общества и вела чересчур много разговоров о сексе.

Я была в депрессии, и, выслушав мою печальную историю, Ритка поведала свою.

— Когда мы въехали в эту квартиру, оказалось, что у нас очаровательные соседи: симпатичная учительница — мама, красавец спортсмен — папа и маленькая дочка. Начали дружить, оставлять друг другу детей, вместе гулять в праздники. Однажды, так получилось, я зашла попросить что-то по хозяйству, спортсмен был один, мы разговорились… и оказались в постели. Это было так классно, что начали изредка повторять. Прошло полгода, и вдруг мой муж и учительница объявляют, что они любят друг друга, и не знают, что делать. Нам со спортсменом, конечно, это не понравилось, мы стали думать. Я, как самая прогрессивная, предложила создать шведскую семью. Первый раз, когда мы вчетвером занялись любовью, все стеснялись, а потом привыкли. Мне так понравилось. Опять-таки, я — на репетиции, а она — детей покормит, уроки у них проверит, обоим мужьям суп сварит. Полгода все были счастливы. Вдруг записка от спортсмена: «Я так больше не могу». Представляешь, ушёл к какой-то страшной пожилой бабе, которая у них спортзал подметала. А мы остались втроём. Конечно, сначала переживали, а потом привыкли. Живём втроём. Приходи. Тебе у нас очень понравится!

История произвела на меня впечатление. Я никогда не была пуританкой, но это было для меня слишком. Мы начали общаться домами. Риткин муж, такой милый винни-пух из научной среды, ощущал себя секс-символом.

Мне немедленно было предложено вместе с моим мужем поучаствовать в общих сексуальных утехах. Я деликатно отказалась, на меня слегка обиделись.

Ритка, как всякая новообращенка, уверяла, что лекарство от моей депрессии лежит именно в её спальне, где научный винни-пух сливается ночами в экстазе с артисткой и учительницей. Но, немного поанализировав, я поняла, что у воспитанной в пуританской провинциальной семье Ритки секс работает как прикладной механизм решения проблем, не имеющих отношения

непосредственно к сексу. Он был полезен, чтоб семья была крепкой, чтоб рождались дети, чтобы давали роли и было ощущение себя как желанной женщины, чтобы жизнь была интересной. А всё остальное было запрещёно на бессознательном уровне так мощно, что никакие шведские, таиландские и филиппинские семьи не пробивали эту кремлёвскую стену. Однажды Ритка должна была сыграть в исторической пьесе слепую нищенку, на которую снисходит благодать.

— Я у нашего главного режиссёра спрашиваю, мол, как играть снизошедшую благодать? А он человек пожилой, опытный, говорит: «Играй как оргазм, психофизиологический механизм у них одинаковый». Прямо не знаю, что делать… Мы когда за границей на гастролях были, там в гостинице по телевизору порнуху показывали, ну, видела я там оргазм. Просто не понимаю, что ж я на сцене во время благодати должна на полу извиваться и орать?

Ритка была весёлая щебетунья, порхала по жизни как теннисный мячик. Рядом с ней я казалась себе каменной бабой с острова Пасхи. Мне не давалось эдакое летанье, я была обвешана гирями комплексов, долгов и обязательств.

— Аня очень легко краснеет, её нельзя обижать, у неё сразу слёзы и левая рука отнимается, — объясняла Ритка о своей соседке-партнёрше по браку. — Она, конечно, больше меня нашего мужа любит. Она вчера говорит: «Я так его люблю, что всё время о нём думаю. За продуктами иду — это он любит, кино вижу — хорошо бы с ним сходить, в промтоварный — подарить ему бы что-нибудь. Я стараюсь его разлюбливать, но у меня не получается». Я сначала думала, отсохнет у него любовь к ней, отсохнет через год-полтора. А потом привыкла.

Наступило лето. Я пыталась заполнить зияющую дыру на месте возлюбленного. Не получалось. Я капризничала, все не нравились, все раздражали. Искала ту самую чистоту звука, которая, видимо, бывает только один раз в жизни, не потому, что других любишь меньше, а потому, что в разные периоды жизни душа звучит по-разному. Бывший возлюбленный говорил: «Ты просто рядом со мной из маленькой девочки стала взрослой женщиной». Это было правдой.

Я искала человека, хоть отдалённо напоминающего бывшего возлюбленного, и, как казалось, нашла. Он был намного старше, но совпадала тональность, я всё ему честно рассказала. Я никогда не пыталась мужиков охмурять запрещёнными приёмами, а излагала программу, с которой иду в отношения. Поэтому практически со всеми до сих пор в приятельских отношениях. После первых объятий с носителем похожей тональности

выяснилось, что попала пальцем в небо, и снова честно объявила ему, что с поиском замены не получилось. Он посочувствовал, мы посидели в ресторане ВТО и решили, что продуктивней быть хорошими приятелями, чем плохими любовниками.

Я познакомилась с богемным философом — полной противоположностью бывшего возлюбленного — и нашла в этом некую садомазохистскую усладу. Философ изо всех сил говорил гадости, пытался снизить самооценку, был невнятен в постели, активно и хамски вмешивался в мою жизнь, но я терпела его. Это была гипотетическая месть прошлому. Интересным был финал. Философ сказал мне в постели «Я тебя люблю!», и меня как ветром сдуло. Я поняла, что он хочет на мне эмоционально повиснуть.

Надо сказать, даже мне, драматургу, начать отношения с мужчиной всегда легче, чем закончить. После философа был сюжет с нудным литератором. Он был безупречен, но я подыхала со скуки в общении и постели. Прицепиться было не к чему, а намёков он не понимал. Однажды сидели за столиком Дома литераторов, и ко мне подошла пьющая поэтесса патриотического разлива. Я много лет знала её и была с ней любезна.

— Как ты общаешься с этим чучелом? — спросил мой спутник. — По-моему, она последний раз мыла голову в десятом классе.

Это было чистейшей правдой, но я встала, изобразила ярость и с криком:

— Никогда не думала, что ты можешь так говорить о женщине! Как я ошиблась! Я не смогу продолжать отношения с тобой после этого! — скрылась из виду.

Бедняга до сих пор считает, что всему виной немытая голова поэтессы, но я считаю, что это всё равно гуманней, чем говорить мужчине «Ты мне скучен, как понедельник».

Тем более, что он всё равно ничего не сможет сделать для исправления ситуации.

Я старалась не анализировать, что у меня с мужем. Игровой брак продолжался и весьма импозантно выглядел, однако было ясно, что история моего ухода-неухода не растает в воздухе. И точно. Саша поехал на гастроли к морю, обещая под финал снять жильё и вызвать меня с детьми, но потом начал крутить, финтить, посылать противоречивые открытки, невнятно объясняться по телефону и прислал посылку с дорогими зимними сапогами для меня. По цене сапог я поняла, что у него роман.

Вернулся раньше срока, совершенно взбудораженный и с

лёгкой травмой. Сказал, что потом объяснит, но ничего не объяснил, а всё больше запутывал. Дальше в кармане куртки, которую мы надевали оба, гуляя с собакой, обнаружился полнометражный слайдофильм его романа. Уж как прятать половую жизнь, в нашем возрасте знают, так что Саша оставлял улики демонстративно, как лозунги на заборе. Избранница была вполне хорошенькая, моего типа, но посветлее, судя по книжкам, которые начали у него появляться, малообразованная и с претензиями. А тут ещё звонки, на которые он отвечал, что, мол, не надо его пугать, что он ничего не боится. Звонящий добрался и до меня, оказавшись угрожающим мужем курортной спутницы.

Он косноязычно обещал моего мужа за свою Валю избить, пристрелить и замочить. Слово за слово, мы решили встретиться и обсудить ситуацию. Мой же муж давать разъяснения отказывался, а только убегал куда-то с тревожным лицом.

— Ты уходишь к другой женщине?

— Не знаю.

— Ты её любишь?

— Ещё не понял.

— Тебе что-то угрожает?

— Возможно.

— Когда ты мне всё объяснишь?

— Когда-нибудь.

— Может быть, вы поживёте вместе и поймёте, надо вам рушить семьи или нет?

— Это нереально.

Я встретилась с её мужем. Пришёл забитый малый типа заводского инженера в первом поколении и начал долдонить, какая у него Валя хорошая. Ему казалось, что я по совковой модели пришла ругать, что «жена от него гуляет», а мне хотелось отменить физические разборки и разобраться в ситуации. Разобраться не получилось, но выяснилось, что Валя была кассиршей, выдающей деньги в бухгалтерии Сашиного хора, и, по версии мужа, она решила пугнуть его курортным романом, чтоб он исправился и меньше гулял с дружками.

— Мне кажется всё серьёзней, и надо дать им попробовать пожить вместе, — предложила я.

— Вы что?! У нас отличная семья, дочка. Вы что такое придумали? — возразил муж.

— Тогда почему вы звоните нам домой с угрозами? — спросила я.

— У нас с ним драка была, когда он её после курорта провожал до дома, а я увидел.

Он меня, конечно, разочаровал серостью и страусиностью, но

уж какой был. По ощущению, надо было разводиться. Но мой учитель астрологии сказал, что это бесполезно, что мы никуда не денемся, что в доме зацветёт цветок и что если мы сейчас уедем на юг, то счастливо проживём ещё ровно столько же. Комизм ситуации состоял в том, что у нас уже были куплены билеты на Украину, а в доме зацвёл кактус, цветущий раз в сто лет.

Мы жили на турбазе, Днепр шелестел у домика, дети плескались в нём, Саша ловил рыбу, а я сидела на берегу и писала пьесу «Сны на берегу Днепра» про всю эту историю.

Прошло полгода в прежнем режиме. То есть мы продолжали быть семьёй, сексуальными партнёрами, но настороженно наблюдали за телодвижениями друг друга. Однажды я обнаружила в кармане всё той же куртки, которую мы надевали по очереди, гуляя с собакой, свежую записку, написанную тем же круглым детским почерком, который уже попадался на разбросанных у мужа конвертах. Потом, укладывая бельё после стирки в его ящик, нашла спрятанный там номер «Нового мира» этого месяца с пошлейшим романом, который сама недавно осмеивала. Следы вели к Вале. Я решила ставить точку.

Вместе с Ларисой поехали домой к этой самой Вале. Это было экзотическим способом решения проблемы, но, видимо, я решила воссоединить своего мужа с Валей любой ценой. Когда я сама почти три года жила на две семьи, обнаружить это было практически невозможно, потому что я не считала, что личная жизнь одного должна существовать для манипуляций другим. Заводить роман, чтоб демонстрировать его семье, казалось мне плебейством. И конечно, было интересно, что же там за кассирша, которой так долго интересуются. Я понимала, что вторгаюсь в частное пространство, и единственное, на что имею моральное право, — это развестись и разменяться, а там уж пусть сами. Но с другой стороны, Валя регулярно звонила и таким хамским тоном звала моего мужа к телефону, что развязала мне руки.

Мы с Ларисой позвонили, открыл Валин муж, лицо у него вытянулось. Валя была на работе. Квартира вылизанная и совершенно плебейская. Муж растерялся и вёл себя с нами как с комиссией, показывал, как он оклеил туалет клеёнкой и выложил ванную плиткой. На кухонном столе лежала школьная тетрадка, в которой знакомым почерком был написан список продуктов, цены и общая сумма внизу. На тетрадке лежала эта самая сумма, копейка в копейку. Не похоже было, чтоб парень пил, чтоб так его жучить, это просто был советский стиль.

Обсудив квартиру, ремонт и выпив чаю, мы отправились в комнату, назначенную гостиной, с крохотным количеством книг и иконой, висевшей возле фотографии Аллы Пугачёвой. Там

посреди белого линолеума лежал светлый палас, и, нервничая, Валин муж маршировал по комнате, каждый раз выходя из тапочек при шаге на палас и входя в них, возвращаясь с паласа. В этом был такой автоматизм, что мы с Лариской даже не прыснули, а сжалились.

— Я, как понимаете, по старому поводу, — сказала я. — Мне кажется, мы с вами мешаем их счастью и желанию быть вместе.

— У нас всё хорошо. Моя Валя с ним давно не встречается, она его имя уже забыла. Вы хотите от него избавиться, но мы тут ни при чём, — возмутился Валин муж.

Я протянула журнал и записку. Он позеленел, съёжился. Журнал был его родителей, с номером и квартирой на обложке. Он позвонил Вале на работу, что-то вякнул высоким голосом, но, видимо, там была абсолютная монархия, потому что через две минуты он уже оправдывался, а через три боязливо протягивал трубку мне.

— Вы непорядочная женщина! — заорала Валя из ДЕЗа, в котором теперь трудилась и из которого звонила утром, подзывая моего мужа к телефону. — Немедленно вон из моего дома, иначе я вызову милицию! Что вы не даёте людям жить спокойно?

— Не надо орать, — попросила я. — Я не желаю вам ничего плохого, верю в то, что вы любите моего мужа, и всеми силами способствую вашему счастью. Я тут какое-то время провела с вашим мужем и могу сравнивать. Я бы на вашем месте торопилась, а то вдруг я передумаю. Вам такой мужик, как мой, в жизни обломится! — честно сказала я. Но Валя поливала меня уже почти матом.

Я покинула дом, и мне снова стало не интересно.

— Была сегодня дома у твоей музы, — сказала я мужу. — Это произвело на меня неизгладимое впечатление.

Муж понял, что сражение проиграно, что в тандеме с Валей он вызывает у меня презрительную зевоту, и тут же внёс ясность.

— Я остаюсь здесь. Но, имей в виду, только ради детей.

Хоть на нём и было написано большими буквами, что сказано для красного словца, но сказано было. А я не тот персонаж, который оставляет эдакое без внимания.

Глава 18. ДЕБЮТ

Я поехала на первый в своей жизни творческий семинар в Юрмалу. Набор был полный: море, солнце, роман, взрыв Чернобыля и накрывшее Прибалтику радиоактивное облако. В информационной блокаде участники семинара потихоньку сходили с ума. Одну даму совершенно реально отправили оттуда в московскую психушку. Об этой поездке моя пьеса «Семинар у моря». Чернобыль был колоссальной психологической встряской для интеллигенции.

Буквально после него разверзлись хляби небесные, и на страницах печати началась ломовая перестройка — реабилитировали и напечатали Николая Гумилёва, Бродского, Некрасова, Галича, Солженицына. Появились эстрадные экономисты Шмелёв, Попов, Селюнин, Клямкин и начали глумиться над экономикой, потеснив Жванецкого. По телевидению начали выходить «Взгляд», «Пятое колесо», «До и после полуночи».

Михаил Шатров, став секретарём Союза театральных деятелей, провернул лихую интригу вместе с Марком Захаровым. Из части помещения нынешнего Театра Ленинского комсомола выехал в новое здание Дом политпросвещения. Шатров и Захаров написали в министерство бумагу, что при Ленкоме под их руководством создаётся театр «Дебют», где молодые режиссёры, которым не дают ставить, будут ставить молодых драматургов, которых не дают ставить. Под это всё министерство выделило огромные деньги и тот самый кусок дома. Молодняк собрали, объявили приход новой эры и пообещали возможность творчески реализоваться. Все потащили в «Дебют» пьесы.

Я отнесла пьесу «Уравнение с двумя известными», и некий помощник Шатрова, когда речь доходила до меня, объяснял режиссёрам: «Даже не открывайте, это сплошная гинекология». А параллельно звонил завлит театра Ленинского комсомола по поводу пьесы «Виктория Васильева глазами посторонних». В этот момент Татьяна Догилева уходила от Марка Захарова к Валерию Фокину, и её безуспешно пытались удержать, предлагая бенефисную «Викторию». Позвонили из «Дебюта», что моя пьеса — одна из трёх, отобранных для первой постановки, и есть ли режиссёр, который будет ставить.

— Конечно, — ответила я, желая облагодетельствовать любимую подругу Ритку, имеющую режиссёрский диплом. Ритка

надела самую короткую юбку, самую декольтированную кофту, самые высокие шпильки и пошла на смотрины. В «Дебюте» от неё пришли в ужас, тем более, что, когда спросили о режиссёрской разработке пьесы, она говорила о пьесе «Уравнение с двумя известными». Мы обе не знали, что в «Дебюте», не согласовав со мной, утвердили к репетициям «Викторию Васильеву глазами посторонних», уже не нужную Марку Захарову по причине ухода Догилевой.

— Вы кого к нам прислали? — позвонили на следующий день из «Дебюта». — Мы до сих пор не можем прийти в себя после её лепета. Вас будет ставить один из лучших наших режиссёров, он вам позвонит.

— Пусть даже не звонит, — разозлилась я. — Мало того, что «Дебют» не сообщает мне, какую пьесу ставит, он ещё мне и режиссёров назначает.

Тем не менее режиссёр позвонил.

— Для меня это очень важно. Мне необходим спектакль в Москве. Я физик по первому образованию, потом окончил режиссуру в Ленинграде, был по распределению главным в провинциальном ТЮЗе. Потом дал по морде местному начальнику, и меня спасли, отправив на высшие режиссёрские курсы. Сегодня я здесь, и у меня никаких перспектив. Знаю, что вы предлагали подругу, но даже если вы откажетесь от меня, ей всё равно не дадут постановку, — сказал он.

— С последним я согласна. Давайте договоримся так: мы встречаемся вместе с ней, и вы берёте её на главную роль, — у меня был патологический инстинкт опекания подруг.

Встретились. Режиссёр был красавец и умница, звали его, скажем, Витя. Ритка сделала на него немедленную стойку, но он инстинктивно подался назад, как всякий опытный режиссёр, у которого актриса хочет получить роль. Я сидела оторопев, потому что это был абсолютно мой тип мужчины. Он изложил концепцию постановки, было ясно, что профессионал, я согласилась сотрудничать. Ритка убежала на репетицию, он тоже собрался идти, потому что был приглашён на день рождения. Но всё не уходил и не уходил… Всё рассказывал и рассказывал о себе, о своих трёх прошлых браках, о том, что сейчас вступает в фиктивный для московской прописки. О том, как, борясь с провинциальной тоской, выиграл в конкурсе в своём театре, кто больше девушек уложит в постель в течение года, доведя цифру до ста пятидесяти. Потом достал бутылку водки, приготовленную на день рождения, мы её выпили, потом с места в карьер начался душераздирающий роман.

Это было ужасно не кстати. Во-первых, только наладились

отношения с мужем, уехавшим на гастроли, а Витя сразу включился в большой серьёз. Во-вторых, уже было не до репетиций. В «Дебюте» мгновенно прознали про это, на нас это было написано большими буквами; и мы стали основным материалом для обсуждения. Витя был богемный малый, баловень судьбы, ему всегда было где жить, у него всегда были деньги, карьера ложилась под ноги, а бабы дрались из-за него. Он заключил фиктивный брак и пребывал в напряжённом ожидании результатов нашего романа. Как всякий весёлый бабник, он на мне сломался, увидев зеркальное отражение собственной философии в любимой женщине, он озверел, стал раздражителен и подозрителен.

В «Дебюте» всё складывалось, как в анекдоте «во имя человека и на благо человека», и имя этого человека было Марк Захаров. Сначала он запретил репетировать с любыми артистами, кроме своих, ленкомовских. Как только ленкомовских брали молодые режиссёры, Захаров назначал им в то же самое время собственные репетиции. «Дебюту» отдали три репетиционных помещения, потом объявили, что одно помещение имеет историческую ценность, потому что в нём вальсировали Герцен с Огарёвым. Второе помещение Захаров завалил собственными декорациями. Осталось одно, неотапливаемое, а зима была жуткая. Эти все жульнические финты знает наизусть любой молодой режиссёр, конкуренции которого боится главный и старый.

Три комплекта молодых артистов и режиссёров работали в шубах, шапках и варежках. Выпуск близился. Ритку Витя не взял, мотивируя тем, что она нулевая артистка, но на главную роль Шатров навязал нам не менее бездарную и амбициозную актрису с Таганки.

Однажды раздался звонок в дверь. Я была с детьми и ждала прихода в гости Ларисы с приятелем, поэтому широко распахнула дверь. На пороге стоял совершенно лысый немолодой мужчина во всём чёрном, с безумными глазами.

— Здравствуйте, — сказал он, отстраняя меня и входя в квартиру. — Я режиссёр Николаев. Мы с вами будем делать двухсерийный фильм, возьмём всех «Оскаров» и купим себе остров.

Маньяк, пронеслось у меня в голове.

— Вы одна дома? — спросил он, деловито осматривая холл.

— Да. То есть, нет. Ещё дети, но я немедленно отправлю их гулять, — сказала я дрожащим голосом.

— Отправьте побыстрей. И поставьте чайник, — скомандовал он.

Я мгновенно выпихнула детей на улицу.

— Что это за Фантомас? — спросили они, увидев его в стеклянную дверь кухни.

— Потом, потом, — сказала я, целуя их перед лифтом. Конечно, могла уехать с ними, но один шанс из тысячи, что это не маньяк, у меня всё же был. Входную дверь я оставила полуприкрытой.

— Берите бумагу и ручку, сейчас всё будете записывать! Чайник я уже поставил сам, — гаркнул он, я приготовилась записывать.

— Значит, так, — он уже пил чай и курил вонючие папиросы. — Угроза ядерной войны… Понимаете? Гонка вооружения… Ловите?

— Нет, — призналась я.

— О, господи. А мне так вас хвалили, говорили, всё с лёту ловит! — расстроился он.

— Кто хвалил?

— Кто-кто, дед Пихто… Так вот, два физика, русский и американский. Крупные учёные, почти нобелианты, друзья, — он говорил совершенно бессвязно, вращая безумными глазами. — Они ведь вполне могут быть друзьями, они часто встречаются на симпозиумах. И в их руках практически планета. Они плывут на огромном корабле. И только они знают, как спасти этот шарик. Вы записывайте, записывайте, я не люблю повторять.

Я начала записывать эту галиматью. Незнакомого психа надо получше выслушать, чтобы собрать информацию о степени его опасности.

— И женщина… такая штучка на шпильках с ловкой походкой. Пусть её зовут Джейн. Она ассистентка американца. Конечно, она ложится под русского, вы бабы все таковы… Впрочем, пусть лучше она будет шпионкой. Их. Или нашей? И море на закате… Побольше моря на закате. А музыку мне есть кому заказать.

Тут в приоткрытую дверь позвонили.

— Кто ещё? — недовольно спросил Фантомас.

— Это подруга с приятелем. Приятель, кстати, каратист, — вякнула я.

— Хорошо, встретьте, но пусть уйдут в другую комнату. Пусть не мешают. Мы работаем, — распорядился он.

Я вышла к Ларисе и приятелю.

— Ребята, ворвался какой-то псих. Я его боюсь смертельно. Бредит какой-то ядерной катастрофой и каким-то кино. Не знаю, как быть, — зашептала я.

Гости ввалились в кухню и оторопели от его вида.,

— Добрый день! В чём дело? У меня очень мало времени! Мы будем работать? — отрывисто гаркнул он. В присутствии друзей я осмелела.

— Вы кто? — спросила я.

— Вы что, глухая? — удивился он. — Я режиссёр Николаев. Я вам уже сказал.

— Зачем вы пришли? — продолжала я.

— Вы что, не в себе? Я же вам сказал, я пришёл к вам делать двухсерийный фильм.

— В каком смысле?

— Вы пишете сценарий, я снимаю. Вы Арбатова или нет? Или у вас с головой плохо? — разъярился он.

— Откуда вы узнали мой адрес?

— Пришёл в «Дебют», спрашиваю, кто лучше всех пишет диалоги. Мне дали ваши пьесы. Я попёрся в этот медвежий край, чтоб вы мне задавали вопросы. Садитесь и пишите. За двухсерийный фильм вам заплатят столько, что вы будете вспоминать жизнь в этой дыре, как страшный сон. Что вы на меня пялите свои накрашенные глаза? Я известный режиссёр, я сделал шесть фильмов, я классик. А вы никто, вы должны мне ноги мыть и воду пить за то, что я вам предлагаю работу! И вообще, дайте водки. Меня не предупредили, что вы сумасшедшая, и вам всё надо объяснять по сто раз. Садитесь и пишите! — орал он.

У меня отлегло от сердца. Он был не маньяк, точнее, не социально опасный маньяк. Он был режиссёр режиссёрыч и так заигрался, что уже не читался свежим глазом. К тому же я не представляла себе, что кто-то может приехать в Ясенево, чтоб предлагать мне делать двухсерийный фильм. Гонорар представлялся нереальным.

Я быстро написала заявку, включив в неё всех знакомых артистов. Ритка, конечно, должна была играть Джейн, а мой муж — русского кагэбэшника. Фантомас потащил заявку куда надо. Она прошла «на ура». И вдруг во мне что-то остановилось. Ведь я не видала ни одного его фильма. Это не театр, где всё же остаётся твой текст. Я встала на уши, нашла ход в Госкино, меня тайком посадили в зал Ермаша и показали все фильмы Фантомаса. Когда я шла домой, я чуть не плакала. Это была такая фанера, такая липа, такой ужас. Я ещё оплакивала несостоявшиеся гонорары, но уже знала чёткое «нет».

Конечно, Фантомас еще несколько раз орал на меня, но я его уже не боялась. Конечно, на меня обиделись все, кого я пообещала снять в этой вампуке. Конечно, все драматурги сказали, что я полная дура. Но я страшно благодарна судьбе, что хватило сил отказаться. Как говорила Раневская: «Деньги я проем,

а стыд останется!» Я вернулась в свою жизнь, и до сих пор ни секунды об этом не жалею. Я видела, во что превращаются люди, хоть однажды взявшиеся за халтуру. Как гласит испанская пословица, которую часто повторяет моя однокурсница по Литературному институту Лена Эрнандес: «Дорога в ад отклоняется от дороги в рай сначала всего на один миллиметр».

Дети росли, Саша гастролировал, Витя репетировал. Я готовила еду, проверяла уроки, водила детей в театры и на выставки и совсем не понимала, что происходит. То ли я остаюсь в браке, то ли создаю новый. С Сашей у нас была общая семья и любовь, с Витей — общая работа и любовь.

И тут предложили поехать на кинематографический семинар в Репино. Саша всю жизнь приучал меня к тому, что без него я пропаду. И, действительно, для меня были совершенно непостижимы некоторые вещи: я, например, не могла сама заплатить за квартиру — не хватало мозгов заполнить дурацкий бланк, я делала ошибку, тётка в сберкассе орала на меня, я уходила почти в слезах. Я не умела складывать вещи в чемодан так, чтобы всё уместилось. У меня был топографический кретинизм, могла заблудиться и погибнуть в трёх соснах. И ещё какие-то мелкие диагнозы, короче, в путешествиях я умела только выглядывать из-за мужнего плеча. А тут надо было доехать до Ленинграда и на электричке добраться до Репино.

Саша был на гастролях. Провожал Витя. Он нарисовал подробные планы и схемы, написал номера и время электричек, но я взирала на шпаргалку, как Мария-Антуанетта на гильотину. В конце концов он зашёл в купе, где, кроме меня, ехали трое мужчин, и сказал: «Мужики, доверяю вам свою любимую женщину. Ей надо в Репино, но она полная идиотка и, скорее всего, заблудится уже на вокзале, где её ограбят, изнасилуют и убьют».

— Нет проблем, старик, — отозвался мужик с верхней полки. — У меня машина на стоянке у вокзала. Довезу её до Репино.

В принципе, я из тех, кого немедленно начинают опекать. Амплуа «женщина-дитя» хорошо работает в одноразовой опёке с незнакомыми, но ежедневный спаситель делает человека беспомощным дебилом. У меня ушли годы на то, чтобы научиться полностью ни от кого не зависеть. Пожалуй, только к сорока я добилась этого.

В Репино собрался киношный бомонд. Группа известных сценаристов изнывала от скуки. Кроме меня, на семинаре были три женщины: с одной все уже спали двадцать лет назад, другая

была женой своего, а третья — моя бывшая соседка Крыска. Так что волна интереса обрушилась на меня. Как говорил главный режиссёр известного театра, беря на работу молодую актрису: «Здравствуй, тело, младое, незнакомое!». Человек пять сытых успешных кинематографистов ходили за мной по пятам и домогались. После того, как один пригласил в номер обсудить мою пьесу и сломал мне молнию на джинсах, я озверела.

— Так ты не хочешь? — удивился он, вытирая кровь со своей расцарапанной в ходе драки щеки. — Ты бы так и сказала!

Я была в истерике и пошла ябедничать руководителю семинара, мудрому и справедливому Валентину Черныху.

— Скучно ребятам, вот и хамят, — объяснил он.

— Ну если невтерпёж, то через дорогу интуристовская гостиница, пусть пойдут и снимут девочек, — сказала я.

— Какая ты наивная. Девочек они через день забудут, а ты уже никуда из этого круга не денешься. Им ведь важно не затащить бабу в постель, а потом годами об этом трепаться и пальцем на неё показывать.

Черных возился со мной, как с родной. Я знала, что он с женой ведет во ВГИКе курс и, в отличие от Розова, занимается своими студентами и ставит всех на ноги. Я поведала ему ситуацию своего треугольника, а он предложил мне работать с ним над кино об узбекской женской милиции. Но я и тут отказалась, хотя предложение было солидное. В сотрудничестве с ним опасность была иная, чем с Фантомасом. Фантомас делал то, в чём было стыдно участвовать, а Черных брал в подмастерья. Не то, чтобы мне нечему было учиться у опытного кинематографиста, а просто я уже поняла, что меня для меня самой слишком много, что мне некуда поселить соавтора.

Я гуляла вдоль залива, набрасывала новую пьесу и звонила в Москву. Дети были с мамой, Саша на гастролях, а Витя бесился.

— Почему у тебя такой весёлый голос? — допрашивал он.

И я сдуру рассказывала о семинарском быте, о том, как за мной ухаживают, и какой чудный залив вечером, и как легко дышится.

— Отлично, — резюмировал он. — Оказывается, тебя нельзя отпускать одну. Я приеду, проверю, чем ты там занимаешься.

— Ни в коем случае, — отозвалась я. — Ты должен репетировать, через две недели сдача.

— Раз ты не хочешь, чтоб я приехал, значит, тебе есть, что скрывать, — предположил он.

— Я просто боюсь за спектакль, — ответила я.

— Ты хочешь сказать, что спектакль тебе важнее, чем я, — подвёл итоги Витя. Я в такой манере разговаривать не умела. В

браке у нас была сексуал-демократия — в том смысле, что никто не устраивал подобных допросов и проверок. Но я отнесла это за счёт его экзальтированности.

На следующий день после обеда, когда я сидела в номере Черныха, в дверь раздался ломовой стук. Потом дверь открылась, влепилась в стену со страшным грохотом, и на пороге нарисовался высокий красивый патлатый и бородатый Витя в драной кожаной куртке и со зверским выражением лица. Я почувствовала, что его поведение может быть непредсказуемым — однажды из ревности он пытался без всякого повода набить физиономию моему приятелю прямо в буфете ВТО, — вспорхнула со стула и с воплем счастья бросилась ему на шею.

— Ты что, рехнулась? — спросил меня Черных за ужином. — Как можно уходить к такому смазливому коту? И вообще у него вид бандита с большой дороги. Выкинь его из головы и садись за фильм.

Но я ничего не соображала, потому что была влюблена. Мы ходили с Витей по питерским кабакам, по питерским друзьям, которым меня представляли новой женой, и казалось, что жизнь сама сложится в дивный узор. А когда вернулись в Москву накануне сдачи, Вите позвонили из «Дебюта».

— Завтра ваш спектакль смотрит сам Марк Анатольевич Захаров. Имейте в виду, что у него очень мало времени, поэтому покажите первые двадцать минут, потом быстро расскажите, о чём середина, и покажите последние двадцать минут.

— Но это невозможно, актёры не роботы, мы готовили полноценный спектакль, — возмутился Витя. В таких чудовищных условиях сам Захаров, изображавший притесняемого, не сдавал спектакли даже в самый гнусный застой.

— Не нравится, можете совсем не показывать, — ответили ему.

Послать было нельзя, и Витя что-то перекраивал с артистами всю ночь. В пьесе был ребёнок, которого, естественно, по очереди играли мои сыновья. Это была не первая их работа на сцене. Сначала попросили, чтоб они заменили заболевшего ребёнка в спектакле «В списках не значился». Сияя, я сказала: «Дети, у вас появится возможность по очереди поиграть в настоящем театре».

Они ответили, что такая ерунда им совершенно не интересна, потому что они строят лодку, на которой летом по Днепру будут спускаться к морю. Потом вспомнили, что их знакомой девочке Кате платили четыре рубля, это может пригодиться для лодки, и вяло согласились. Справедливости ради в первом акте выходил один, во втором — второй. Потом их увидел в буфете режиссёр Глеб Панфилов, репетирующий «Гамлета», и решил сделать на

них сцену, в которой маленький Гамлет играет в футбол с маленьким Лаэртом. Меня начали уговаривать, но в этот момент Петя и Паша узнали, что в спектакле по Петрушевской фигурирует кошка, и ей платят восемь рублей за спектакль, смертельно обиделись на театральную администрацию и больше за деньги на сцену не выходили.

От моего спектакля они, естественно, не отказались, тем более, что ребёнок там был написан именно с них и всё время что-то мастерил на сцене из грязных палок и железок. Короче, на ночную перекройку спектакля я детей не дала, мать во мне, как всегда, пересилила драматурга.

Аура торжественного ужаса стояла вокруг показа. Молодняку не верилось, что разгуливающий в амплуа обиженного цензурой главреж Ленкома будет вести себя с начинающими во сто раз подлее власти. Люди расселись в холодном зале, а актёры дрожали в обледенелой пристроечке. Захаров вошёл, опоздав на сорок минут, в окружении трепещущей свиты. Выражение лица у него было такое, как будто только что съел дохлую крысу. По мере продолжения показа, когда все смотрели не на сцену, а на физиономию Захарова, поскольку от этой малосимпатичной физиономии зависели судьбы всей творческой молодёжи, становилось понятно, крыса была не просто дохлой, а давно разложилась.

Обсуждение происходило в узком кругу. Как зеку хочется примерить себе форму начальника тюрьмы, так и обижаемый минкультом Захаров с неприличной точностью копировал заседание закрытой коллегии в собственном кабинете. Сам Захаров был скуп на текст, сказал, что обсуждать тут нечего, что всех актёров, кроме ребёнка, советует заменить, и тогда, в новом варианте, готов обсуждать. Конечно, было лестно по поводу ребёнка, но шестым чувством я понимала, что он никогда не даст сделать второй показ, и оказалась права.

Точно таким же образом Захаров закрыл остальные двадцать один спектакль, объявил во всеуслышание, что эксперимент показал, что в стране нет молодой режиссуры и молодой драматургии, присвоил себе часть здания и поставил в ней… ха-ха-ха… «Диктатуру совести» Михаила Шатрова. Все онемели от цинизма. Театральная критика была трусовата, чтобы внятно писать об этом. А уж после того, как член президентского совета Захаров убедил Ельцина стрелять по Белому дому и был произведён в главные носители нравственности, о «Дебюте» вовсе постарались забыть. Хотя именно эта интрига отбросила целое театральное поколение на десять лет.

Витя был в шоке. Он не был начинающим, он был хотя и

молодым, но опытным главным режиссёром. Ему предложили поставить спектакль в Пушкинском театре. Что-то детское. Как любитель изысков, Витя заказал сценографам надувной дворец величиной во всю сцену, репетировал как сумасшедший. Когда к премьере привезли дворец, выяснилось, что завод при изготовлении допустил брак — дворец не надувался и не сдувался. Деньги были истрачены, дворец не поддавался переделке — спектакль слетел. Витя был единственный мужчина, у которого во время романа со мной прошла везуха, у остальных она как раз появлялась.

Все вокруг отговаривали нас соединяться. Ближайшие приятели-режиссёры объясняли ему: «Она баба сильная. Она тебя сломает. Твой режиссёрский гонорар за спектакль в десять раз меньше, чем ей министерство будет платить за пьесу. Она будет раз в год писать пьесу, а ты — ехать в провинцию и ставить её, пока не превратишься в полную мочалку, ставя только собственную жену. Она за этим и рвётся за тебя замуж». Подруги-драматургессы объясняли мне: «Он мужик жёсткий. Ты ему нужна сейчас как трамплин. У него уже три было. Как женится, сразу ставить тебя перестанет и начнёт ставить Островского. Это мы все проходили. Будет спать с артистками и мотать тебе нервы». Мы с Витей только смеялись.

Пора уже было что-то решать. За время романа Витя заключил фиктивный брак, а потом расторг, собираясь в нормальный со мной. Сакральное заявление мужа о том, что «он здесь только ради детей», лежало на дне шкатулки. Однако что-то всё время останавливало меня. Жизнь с Витей обещала быть интересней жизни с Сашей, хотя бы потому, что мы оба работали на театр, возились в одном кругу. Конечно, он был малоталантлив по части семейного быта, но с усердием стоял у плиты, потрясая изобретательностью и заботой. Ситуация начала выпирать из всех швов, а я всё не объявляла и не объявляла мужу. А Витя всё чаще и чаще мелькал в доме на правах репетирующего режиссёра.

— Что-то у нас стали часто появляться в доме цветы, — мягко заметил вдруг муж за ужином, глядя на свежие розы.

— Да вот Витя всё ходит, всё замуж зовёт, — мягко ответила я.

— А ты? — ещё мягче спросил муж, продолжая есть.

— Я, как полагается, ломаюсь, — ещё мягче объяснила я, тоже продолжая есть.

— Смотри, хороший человек, упустишь, — посоветовал муж.

— Да вот, всё никак не решусь, — откликнулась я. У нас был такой стёбный стиль обсуждения наболевшего. Ужин

продолжался как ни в чём не бывало.

Через две недели муж должен был ехать на гастроли. Я предложила ему, возвратившись, переселиться в снятую квартиру, пока мы с Витей разберёмся с разменами. Муж кивнул. Шли школьные каникулы. Дети были хорошо знакомы с Витей, но, когда я объявила о переменах, перестали его воспринимать. Саша уходил на репетиции утром, и приходил Витя, пытаясь задружиться с ними. У него был сын такого же возраста в Питере, но с моими ничего не получалось. Они даже не называли его по имени, никак не обращаясь во время диалога, а за глаза презрительно именовали его «этот».

Мы с Витей проживали кайф жениховства, не стеснённого юной сексуальной зажатостью, накупали всякую дрянь в подарки друг другу и строили самые невероятные планы. Саша мягко отстранился и как бы сделал свой выбор. До его отъезда на гастроли осталась неделя.

Однажды мы пришли из ЦДЛ в квартиру Витиного приятеля. Витя выпил в писательской компании и был разнуздан больше обычного, а он в принципе был эпатажником.

— Послушай, — злобно сказал он. — Что происходит в вашем Центральном Доме литераторов? Почему, пока мы шли через фойе, десять мужиков обняло и поцеловало тебя? Ты что, с ними со всеми спала?

— Нет, — честно ответила я. — Просто там такой стилёк, и их невозможно переделать.

— Я не выношу, когда кто-то касается моей женщины. А ты специально их провоцируешь! Всё, теперь ты выходишь за меня замуж, и с этим будет покончено! — он почему-то перешёл на ор.

— Совсем одурел? — спросила я. У меня не было практики подобных разборок. Я стояла около дверного косяка, и тут он решил дать мне затрещину. Я отпрянула назад, затрещина смазалась, но я ужасно врезалась головой и спиной в косяк. Вслед за ударом внутри меня раздался совершенно однозначный щелчок, включилось какое-то устройство, работающее в области инстинкта самосохранения. Это история закончена, означал щелчок. Витя, конечно, ничего не понял. Он до сих пор считает, что я крутила с ним любовь, чтобы раззадорить собственного мужа. Это было не так. Я действительно собиралась менять жизнь, но на человека, способного на насилие, мои эрогенные зоны отмирали разом. Я всегда считала, что если человек бьёт тебя один раз по лицу — ты пацифистка. Если он бьёт тебя по лицу второй раз — ты извращенка.

Неделя подходила к концу, и всю её я истратила на отползание от ситуации. Я ни слова не сказала мужу, не

изменила ни одной интонации. Ничего не сформулировала Вите, а только виртуозно уходила от постели. День отъезда мужа протекал, как в здоровом латиноамериканском сериале. Он наконец осознал серьёзность моих намерений, собирался на самолёт, как на смертную казнь, и внешне страдал, как сорок тысяч братьев. Витя звонил каждые пять минут, разведывая обстановку и подозревая подвох. Я, как буриданова ослица, металась меж двух стогов. Муж хлопнул дверью со страдающим каменным лицом. Стоя у окна, я смотрела, как он садится в автобус, и слёзы текли по моему редко плачущему лицу.

Однако что-то заставило оттянуть звонок Вите с объявлением перехода на легальное положение. В течение часа я бродила по комнатам, машинально расставляла вещи, вытирала пыль и обдумывала, каким образом теперь интеллигентно избавиться от Вити. В этот момент дверь открылась, ворвался муж, упал на колени, произнёс какой-то сакральный текст, сделал соответствующее лицо, и… всё-таки образование у него было оперное.

— А как же Витя? — спросила я в ужасе.

— Не знаю. Витя мне симпатичен. Но, кажется, у тебя уже прошла эйфория от романа, — сказал муж.

— Я не знаю, как ему сказать… Он же псих.

— Скажи ему постепенно, — посоветовал муж.

— Это я, — сказала я Вите по телефону.

— Уехал? — спросил Витя.

— Уехал, — ответила я, сидя напротив мужа.

— Я еду, — сказал Витя.

— Давай притормозим, — попросила я. — Для детей слишком много впечатлений сегодня. Положу их спать, и встретимся в одиннадцать на Беляево.

— А с кем они останутся? — подозрительно спросил Витя.

— С мамой, — соврала я.

В одиннадцать мы встретились.

— Видишь ли… — начала я. Он посмотрел на меня и всё понял.

— У меня было ощущение, что я статист в чужом спектакле! — орал Витя. У меня до сих пор чувство вины, но я совершенно точно знаю, что вступать в матримониальные отношения с мужчиной, который способен поднять руку, бессмысленно. Я никогда не обсуждала это с ним. Десятки моих знакомых женщин играли с мужьями подобные этюды, с извинениями, что «больше никогда», валянием в ногах, клятвами и дорогими подарками после набитой морды. Для меня этот вариант был исключён начисто. Как говорила одна моя соседка:

«Я себя не на помойке нашла».

После объяснения с Витей я поехала к Ритке. К кому ещё я могла ввалиться в три часа ночи с подобными проблемами? А там всё это время игралась своя пьеса. Как только треугольник стал стабильным и добропорядочным, Ритке стало скучно, и она завела шашни с музыкантом по имени Влад. Ближайшая подруга и коллега по половой жизни учительница Аня была, конечно, в курсе. Они тайно от общего мужа обсуждали Риткину половую жизнь, и Аня честно покрывала Ритку, когда та задерживалась на свиданках. Музыкант Влад, узнав о структуре семьи возлюбленной, сначала впал в ступор, а потом пришёл как гость, посмотрел и как-то свыкся. Он уже и передавал Ане, где ждёт Ритку, и вообще всё устаканилось.

И вот однажды ночью после коллективных утех Аня ушла к себе, где спал ребёнок, а Ритка ворочалась, ворочалась, ворочалась возле мужа… И вдруг со всей очевидностью увидела на белой стене, как на экране, что Влад входит в соседнюю квартиру, обнимает Аню, снимает одежду, и… Ритка увидела это так отчётливо, что побежала прямо в ночной рубашке барабанить в соседскую дверь. По лицу открывшей Ани стало понятно, что она не ошиблась.

Что тут началось! Общий муж ворвался вслед за ней, и несколько часов четыре почти голых человека качали друг другу права. Поскольку правила игры были смещены уже до абсурда, то риторическое: «Как ты могла? Как ты мог?» не работало. У каждого была своя правда, и он отстаивал её в честном бою.

— Подонок! — кричала Ритка Владу. — Ты говорил, что любишь меня!

— Люблю, — отвечал Влад. — И Аню тоже люблю. Только чем я подонок? Я ничем не хуже вашего мужа!

— Сука! — кричала Ритка на учительницу. — Ты мне была как сестра, я тебе доверяла все свои тайны!

— Так я тебя и не закладывала нашему мужу. Просто я тоже Влада люблю! — оправдывалась Аня.

— Так вы вместе меня обманывали! — кричал общий муж. — Я этого не перенесу!

Объяснения не кончились ничем, и пары разошлись по квартирам, отказавшись общаться дальше. На следующий день Ритке стало известно от общих знакомых, что Аня выходит замуж за музыканта. Ритка была близка к безумию. Каждое утро она выбегала пораньше, чтобы успеть проколоть шины в автомобиле подлеца Влада. После этого подкарауливала его в метро и устраивала публичный мордобой с дикими воплями. Для неё это

была актёрская разминка, а Влад умирал со стыда.

— Так нельзя продолжать, вы должны поменяться, — убеждала я.

— Никогда! Уедут они! Но по отдельности! Жизнь положу, чтоб всё им сломать, — шипела Ритка и каждый день придумывала соседям новую гадость.

Вот на этой фазе я и ввалилась к Ритке, полная противоречивых мыслей. Они вылезли из постели и бросились обсуждать.

— А что тебе не жить с ними по очереди? — удивилась Ритка

— Что ты городишь? Семья — это святое! У нас была замечательная семья, вот Аня развалила её из-за какого-то прохвоста! — сказал Риткин муж, имея в виду под замечательной семьёй тройственный союз.

— Из-за прохвоста? — закричала Ритка и бросила в него вазу. — Да твоя Аня — сучка, только и зарится на то, что плохо лежит!

Муж увернулся, и ваза рассыпалась в мелкие кусочки.

— Моя Аня не сучка! Моя Аня весь дом на себе держала, пока ты с этим ублюдком занималась любовью! — ответил Риткин муж и бросил в неё чашкой.

— Ребята, я пойду, — сказала я. — А то у вас и так посуды не много.

— Я иду с тобой, — сказала Ритка холодно. — Поживу у тебя до размена. Я больше не могу оставаться с этим козлом.

— Рита, успокойся, — тормозила я.

— Это даже не обсуждается, — ответила она, сунула ноги в сапоги и надела на ночную рубашку дублёнку.

— Ну тогда хоть возьми вещи, тебе завтра на репетицию, — посоветовала я.

— Я так и приду на репетицию, чтоб все видели, какой у меня муж подлец!

Мы вышли. Риткин муж молчаливо шёл за нами, бубня: «Идиотка противная, сейчас же иди домой!». Мой дом был в трёх автобусных остановках. Снег скрипел под ногами, Ритка пела на всё Ясенево матерные частушки, её муж бубнил своё. У подъезда я решила серьёзно попросить её вернуться домой, но не успела. Чмокнув меня в щёку, Ритка сказала «Ну, всё, мы пошли. Молодец, что навестила!», взяла мужа под руку и чинно с ним удалилась. Я подумала, как хорошо, что я не актриса, и пошла к своему мужу.

Витя запил. А через неделю его подобрала активная девушка. Она в течение недели развелась с собственным мужем, в течение

второй недели обменялась в противоположный конец Москвы и в течение полугода вывезла Витю в Австралию. Наверное, это было правильное решение, потому что такие, как Марк Захаров, до сих пор не дают ставить таким, как Витя, и за последние десять лет ничего не изменилось. А так он, хотя уже и развёлся с девушкой, преподаёт театральное мастерство в Австралии и много ставит в англоязычном мире. Из всей тогдашней молодой режиссуры, ангажированной «Дебютом», по которой танком проехали Шатров и Захаров, делая собственные дела, только Гриша Гурвич смог сделать свой театр. И то, через сколько лет и какой кровью! По остальным статистика печальная: эмигрировал, спился, умер.

Глава 19. СЕМИНАРЫ

Кончился четвёртый класс. Я поднатужилась и устроила детей в лучшую школу нашего района, тесно общающуюся с американским престижным лицеем. Ещё был период придыхания перед Америкой, и всё американское, в том числе и образование, казалось лучшим. Однако близкое рассмотрение убеждало, что за двадцать лет, прошедших с моих школьных лет, мало что изменилось. Я уже могла защитить сыновей от учительского хамства, но не могла наладить ситуацию, в которой за интеллект ставили «3», а за кондовый ответ по учебнику «5».

Став матерью, я отстранилась от бунтующей среды, мне стало некогда. Не то чтобы я стала социально инфантильной. У меня просто изменились приоритеты. Человек, которому надо каждый день в условиях дефицита урвать в магазине сумку продуктов, четыре раза в день накормить детей, отправить и встретить из школы, купать, лечить, читать вслух и целовать в нос, не может распространять самиздат. То есть, конечно, может, но тогда всё вышеперечисленное он будет делать некачественно. Растя Петра и Павла, я делала всё наперекор советской власти, но с ужасом понимала, что какое бы эльдорадо не устраивала дома, за стенами лежала несчастная, надрывающаяся злобная страна. И я несу ответственность за то, что поселила их здесь, в этой стране.

Зимой нам принесли Поля. Это был крохотный щенок дворняги, с активными овчарочьими вкраплениями. Поль был моей первой собакой, всё детство мне не разрешалось иметь зверей, по которым я сходила с ума. Поль прожил с нами семь лет, и это был самый интеллигентный член нашей семьи. Мы даже думали, что он в принципе не умеет кусаться. Но однажды во дворе взрослый мужик замахнулся на кого-то из детей палкой, Поль подпрыгнул, вцепился зубами и повис на его руке.

Полностью, по собачьему паспорту, с которым Поль ездил на Украину, его звали Наполеон. Дети насаждали историзм в именах животных: у нас был кот Маркиз, уж Цезарь, черепаха Эллада и ворон Маркс.

А в стране всё менялось и двигалось, Горбачёв осуществлял новую кадровую политику, заменял членов политбюро, секретарей и членов ЦК. Январский пленум заявил новую идеологию, вручил её Александру Яковлеву, началась гласность. Было бы странно, если бы тогда мы не преувеличивали масштаба реформ и не летели как доверчивые мотыльки на лампу. Ветер перемен реально ещё мало проникал в идеологические структуры, но работал как панацея против психологических запретов.

В профкоме текла прежняя жизнь, но дискуссии за чаем становились жарче. Читались и обсуждались пьесы: плохие пьесы старшего поколения под водку, хорошие пьесы молодняка — под чай. Они презирали нас за трезвость, мы их — за бездарность. Это была не возрастная дифференциация, просто все талантливые драматурги старшего поколения уже были в Союзе писателей.

Газеты демонстрировали достижения гласности, но в технологии выхода молодого писателя к читателю не менялось ничего. Союзное Министерство культуры было закрыто для меня из-за Мирского, а российское — не любило возиться с авторами, уже приписанными к союзному. Нести пьесу прямо в театр было слишком унизительно.

— Вы кто? Драматург? — отвечала пренебрежительная завлитка по телефону. — Принесли пьесу? О, боже! Ну, оставьте её вахтёру, я посмотрю.

Помню толстую пожилую завлитку, назначившую мне встречу. Я позвонила с проходной, она проворковала: «Сейчас спущусь!».

Ровно сорок минут я как стойкий оловянный солдатик прижимала к груди рукопись. Потом решила, что она на инвалидной коляске, раз столько времени ей нужно, чтобы спуститься вниз по лестнице. На исходе сорока минут дама влетела почему-то из уличной двери, запорошённая снегом, с двумя сумками, набитыми едой.

— Ой, деточка, прости, я забыла. Там продуктовые заказы давали, я и отвлеклась. Дошла до метро, думаю, про девочку-то забыла, пришлось возвращаться, — и она протянула ко мне одну из сумок. — Вот сюда суй рукопись осторожненько, вот тут местечко между колбасой и печеньем.

— Вы меня с кем-то перепутали, — холодно сказала я.

— Извини, дочка. А тут девушка молодая с пьесой не

стояла? — спросила она удивлённо.

— Стояла, но ушла, — грустно ответила я.

— Ну, и слава богу, — ответила завлитка и убежала совершенно счастливая. При этом вся театральная критика надрывалась о том, что современных пьес нет, что драматургия умерла, а режиссёры ставили тридцать пятую «Чайку» в сезон и двадцать восьмого «Дядю Ваню».

И вдруг пьесу «Виктория Васильева глазами посторонних» решил напечатать альманах «Современная драматургия». Это был прорыв. К ней необходимо было предисловие, а у меня не было ни одного именитого человека, которому охота была бы читать и рекомендовать. Шёл кинофестиваль, из газет я узнала, что приехала гениальная Кира Муратова и что все участники живут в гостинице «Россия». Я узнала по справочной её телефон, набралась наглости и позвонила. Видимо, просила проникновенно, и она велела занести пьесу в офис фестиваля. Когда я позвонила второй раз, она была нежна, назвала талантливой девочкой и сказала:

— Я написала вам подробно всё, что думаю о пьесе, но отдам при условии, что вы пообещаете никогда это не публиковать. Мне кажется, предисловия — это не мой жанр.

Я пообещала. Она сказала:

— Приходите за этим письмом завтра в восемь в гостиницу. Я в это время завтракаю с Маркесом. Хотите познакомиться с Маркесом?

— В восемь? — ужаснулась я. — Я так рано не встаю.

— Даже ради Маркеса? — удивилась она.

— Зачем мне с ним завтракать? Я его и так всё время читаю, — ответила я.

— В таком случае я пришлю вам свой отзыв письмом, — сказала она. — Хотя вы меня удивили.

Меня много раз спрашивали, насколько я жалела потом, что не познакомилась с Маркесом. Но я не верила, что он может оказаться лучше своих текстов. Кстати, на фестивале показывали фильм по сценарию моей подруги Тани Александровой, но в этот период жизни мы мало общались — она ещё была амазонкой, а я уже многодетной матерью, и если мы болтали, то про мужиков, а не про творчество. Так что о наличии её фильма я узнала из интервью Маркеса «Огоньку», в котором он сказал, что фильм «Онежская быль» — лучшее, что увидел на Московском кинофестивале. Я благодарна ему за это, потому что Танька патологически скромна.

Однако предисловия не было, а сроки гнали. Я звонила по

всему справочнику Союза писателей, но стояло лето — все отдыхали. Тогда вспомнила, что есть человек, который мне не откажет, однокурсник Александр Ерёменко. И плевать на то, что театральная общественность не знает имени лучшего современного поэта. Я принесла пьесу, и он наваял текст, от которого тошнило всю редакцию альманаха. Текст начинался словами: «Мне не нравятся пьесы Марии Арбатовой. Мне нравятся её стихи». Вслед за этим следовал изысканный разнос стихов. И если хватало сил дочитать до конца, то становилось ясно, что перед вами стёбный панегирик, а в альманахе было принято печатать предисловия типа некрологов. Однако, времени было в обрез, напечатали.

Это был поворот, потому что альманах читали все, и десятки незнакомых театральных деятелей стали звонить по телефону, пророчить будущее и приезжать домой читать новые рукописи.

Позвонили из российского Министерства культуры, пригласили на традиционный драматургический семинар в Рузу. Один из участников мог приехать только на полсрока, и раз я уже была опубликованный автор, министерство сочло меня доросшей. Семинары тогда решали всё и были кузницей кадров. Не имея родителей-писателей, покровителей-писателей и прокоммунистических пьес, можно было попасть в тусовку через семинар. Семинаром в Рузе руководила редакторша министерства Татьяна Агапова, дочь писателя Бориса Агапова, активно обслуживавшего сталинский режим. Когда я приехала, всё было в разгаре. Дама вызвала меня к себе в номер и, закурив сигарету, сказала:

— Говорят, у тебя характер гнусный, так что держись поскромнее. Я баб на семинаре не выношу.

— Кто будет моим руководителем? — наивно спросила я.

— Кто понравится, того и бери, кроме одного. Здесь все спят, с кем хотят.

Я всё ещё не могла попасть в тон диалога, тут в дверь постучали, и немолодой интеллигентнейший питерский драматург, появившись на пороге, обратился к ней: — Извините, я принёс пьесу.

— Пьесу? — хохотнула она, как блатная Мурка. — Ну, ложись, поговорим.

Это был любимый слоган редакторши. Так разговаривали со мной хозяева отделов поэзии, а здесь модель была перевёрнута — отвязанная покупательница пьес отсматривала мужские тела.

— Когда будет обсуждение моей пьесы? — спросила я наивно. Технология семинара состояла в читке и обсуждении

рукописей; пьесы, получившие высокую оценку, покупались министерством и распространялись по всем театрам страны.

— Никогда, — ответила хозяйка номера.

— Почему? — поинтересовалась я.

— Не нравишься ты мне, вот почему.

Я пошла к приятелям драматургам выяснять, что за спектакль тут играется. Объяснили, что это нормальная творческая обстановка и что права качать бессмысленно, потому что Таня всё равно сделает, как хочет её левая нога. Но что можно ей понравиться, тогда есть шанс. А главное, не поднимать глаз на её любимую игрушку, бездарнейшего амбала из провинции, которого она уже засунула репетировать в трёх центральных театрах. Амбал годился ей в сыновья, острил, как прапорщик, и всенародно хлопал её по заднице. Прошло время, и фамилию этого парня забыли даже те, кто играл в его пьесе.

Агапова ежегодно устраивала семинар как двухнедельный салон вокруг себя на государственные деньги, заканчивая коллективным празднованием своего дня рождения с церемонией вручения подарков. Пара девушек в чадре могла украшать этот пейзаж, но меня одной ей было слишком много.

Однажды, часов в двенадцать, я услышала хриплый хохот редакторши в холле под нашим этажом и выглянула из номера. Агапова в модном стёганом фиолетовом халате с чашкой кофе сидела в кресле, окружённая острящим мужским драматургическим населением. Эти халаты только начали завозить, и они означали «жизнь удалась». Я по всем статьям не принадлежала к классу женщин, у которых могут быть такие халаты, но совершенно случайно он у меня был. Невыразимо лимонного цвета и всё время кокетливо расстёгивался на груди, которая на несколько номеров больше, чем подразумевает покрой. Я решила умыть наглую тётку. Брызнула духов на молодое тело, спустилась по лестнице и присоединилась к компании. Праздник был испорчен, хохот кончился… мужское население переключилось на меня.

— Зачем ты напялила свой дурацкий халат? Она никогда не простит тебе! Что, некому было его показать? Теперь и это министерство не купит ни одной твоей пьесы! — ругал меня приятель. И действительно, даже после эмиграции Агаповой министерство оплачивало мне только пьесы, уже поставленные каким-нибудь театром, регулярно покупая бог знает какую макулатуру бог знает у кого.

Был ещё один семинар, на который меня не хотели. Хозяйкой его была дама, которую звали, скажем, Нона Оликова. Я почему-

то вызывала у неё стойкую неприязнь. После того, как был объявлен официальный конкурс пьес на этот семинар, я отдала пьесу «Семинар у моря» и получила две отрицательные рецензии. А в Щёлыково поехали графоманы графомановичи. На следующий год я подала на этот же конкурс пьесу «Алексеев и тени». А когда позвонила по поводу результатов, Нона Оликова объявила, что на меня снова две отрицательные рецензии, поскольку и эта пьеса ниже уровня, обсуждаемого на семинаре. Я спросила фамилии рецензентов, Нона Оликова назвала Римму Кречетову и Вячеслава Долгачёва. Римма Кречетова была её подружкой и, понятно, могла написать любую рецензию, но с Долгачёвым она накололась, просто не могла знать, что года три назад Долгачёв хотел ставить именно эту пьесу.

— Я не верю, что Долгачёв написал отрицательную рецензию! — сказала я. — Я завтра приду, и вы мне её покажете.

— Мы не показываем рецензии авторам, — нервно сказала Нона Оликова.

— Тогда я устрою вам очную ставку с Долгачёвым, — не унималась я. Мне уже было наплевать на семинар, я пошла на принцип.

— Хорошо, я покажу вам рецензию, — сказала Нона Оликова утробным голосом.

На следующий день я нарисовалась на пороге её кабинета. Она подчёркнуто холодно поздоровалась, достала папку с рецензиями, начала листать, потом художественно заахала.

— Я, право, не знаю, такого никогда не было, но рецензия вырвана с корнём, — и она показала ошмётки бумажного листа, оставшиеся в скоросшивателе.

Тут уж я психанула по полной программе, позвонила Александру Галину, который был председателем совета этого конкурса и потребовала независимой экспертизы. Галин удивился звонку, мы были не знакомы.

— Это Арбатова, которая написала «Викторию Васильеву»? — спросил он.

— Да. Но мои следующие пьесы объявляются не достойными вашего вшивого семинара, — настаивала я.

— Вы, наверное, очень молодая, раз воюете с Ноной Оликовой. Вся наша российская культура — это дряблый забор, как Нона Оликова, с ней нельзя воевать, её надо перешагивать и идти дальше. Послушайтесь меня, ничего не выясняйте. Если вы действительно сами написали «Викторию Васильеву», то пройдёт несколько лет, вы станете известны, и вам станет смешно, что когда-то чувствовали себя обиженной Ноной Оликовой.

И оказался прав. Потом мы встретились в ЦДЛ, он прочитал

мои новые пьесы и сказал:

— У вас есть очень большой недостаток, в пьесах видно, как много книг вы прочитали. А живёте вы в хамской стране, и театр надо делать для хама. Хотите, я вычеркну всё лишнее, и завтра вы станете самым кассовым автором? — хихикнул он.

— А хотите, я сделаю ваши пьесы интеллектуальными? — хихикнула я.

— И на что я тогда буду жить? — спросил самый ставящийся драматург.

Драматурга от остальных писателей отличает избыточное умение структурировать действительность. Я чётко строила пьесы, но в целом сознание было субъективно-идеалистическим, и я совершенно не понимала, как это в ту секунду, когда я жарю детям оладьи, кто-то может кого-то убивать, награждать, целовать, хоронить, рожать и т. д. в других точках пространства. Нормального человека это не волнует, но, поскольку я ощущаю мир как хорошо поставленный спектакль, мне не хватает зрения для охвата всей сцены. В молодости у меня на стенке висела историческая хронология из ротапринтного Льва Гумилева в четырёх столбиках: Европа, Ближний Восток, Средний Восток, Китай. Созерцание её доставляло мне почти физиологическое наслаждение. Это был такой синопсис пьесы для одновременной игры на четырёх площадках. Например, конец первого акта: одновременно играется упадок Рима, победа персов над парфянами, установление в Иране зороастризма, великая засуха в степях Евразии, объединение Китая династией Цзинь и распространение буддизма. Это казалось мне невероятно сценичным, но залавливало мозги объёмом и масштабом.

За поиском универсальной структуры я, видимо, и потащилась на философский факультет, но он не помог. И вот, шаг за шагом от гумилёвской теории пассионарности к буддизму, от него к тантрическому сексу, а от него к астрологии, я нарыла себе, наконец, способ структурирования. Я обучалась астрологии у нескольких экзотических персонажей и двух серьёзных.

Первый из серьёзных, художник-буддолог Игорь Антонов, открывший астрологический код Москвы, помог мне структурировать собственный город, в котором я при своей топографической дебильности ориентировалась, как пловец без компаса в Атлантическом океане. Я патологически не могла нанизать на память схемы метро и кровеносную систему улиц до того, как Антонов нарисовал код. До сих пор я иногда пугаю водителей, автоматически отвечая на вопрос «Как поедем?»: «Пересечём Весы, Скорпиона и Стрельца по кольцу, и мы в Козероге».

Половине делового и социального успеха я, несомненно, обязана астрологической грамотности. И автоматически дифференцирую людей, дни недели и сектора Москвы по давно заученным таблицам. Влюбившись с первого взгляда в своего второго мужа, я в первую же встречу вытащила из него точную дату рождения и расслабилась, поняв, что мы идеальная пара.

Второй мой учитель, эмигрировавший Александр Вайсберг, проводил ещё в застой подпольный семинар на Веркиной квартире. Он давал слишком много цифр и математических технологий, но то, что плавало сверху, составляло объём знаний, с которым можно было работать на интуитивном уровне. Так что я хорошо ориентируюсь в пропорциях влияния планет на внешность и поведение человека, на совместимость и болезни.

К психоанализу я тоже подступалась осторожно и медленно. Конспектировала книги, разбирала чужие судьбы. Мне было хорошо понятно фрейдовское: «В случае, когда требования цивилизации превышают по своей силе способность индивида к сублимации, появляются преступники или невротики».

По своей драматургической специальности я вижу дырки в человеческой голове и биографии до того, как сталкиваюсь с результатами тестов, снами и оговорками. Жизнь заставляет всё время давать психологические консультации, и самое трудное в этой работе — чувствовать уровень, на который можно отпускать руку, чтобы пациент, падая и спотыкаясь, учился идти самостоятельно. Для этого нужен какой-то абсолютный слух, мне не всегда хватает его, мешают опекающие качества. И, зная за собой эту сторону профнепригодности, я стараюсь чисто режиссёрски воткнуть человека в его драматический сюжет, что всё-таки больше напоминает арт-терапию, чем психоанализ.

Психоанализ не обещает счастья, он обещает свободу. Он не решает проблемы, а распутывает их, подталкивая к решению. А далеко не все пациенты считают ясность и свободу сверхценностями. Работа аналитика подобна деятельности правозащитника — он кропотливо вынимает человека из рабства. А поскольку близкие человека с проблемами часто бывают не готовы принимать его новую степень свободности, работа аналитика становится войной с близкими пациента.

Впрочем, в психоанализе важно не слишком драматизировать проблемы пациента. Мой любимый анекдот о психоанализе такой: «На международном съезде психоаналитиков один мэтр подходит к другому и ни с того, ни с сего бьёт ему по морде. Пострадавший поднимает с пола свои очки, вытирает платком кровь с лица и участливо говорит: «Кто бы мог подумать, что у него такие проблемы».

Глава 20. БРИЛЛИАНТЫ

Хор, в котором пел мой муж, получил в качестве базы Богоявленский собор на Никольской улице. Это было на бумаге, поскольку из собора только что выселились авторемонтные мастерские, оставив его в растерзанном виде. Для дополнительных заработков Саша устроился охранять собор, где мог петь вечерами. У вокалиста всегда есть проблема помещения, в котором он может орать в своё удовольствие, а меня он уже довёл до белого каления распевками, если в начале брака я хихикала над соседями, писавшими жалобы на громкое пение, то теперь уже сама была готова писать кому-нибудь жалобы.

Наоравшись всласть, он возвращался домой ночевать, поскольку, вряд ли кто решился бы лезть с целью ограбления в такую мрачную махину, да и воровать там было нечего. Однако оформлено это было на мою трудовую книжку, без толку пылящуюся дома, и получать деньги ездили в тьмутараканьскую воинскую часть на электричке. Но мы были молодые, денег не хватало, брали термос с чаем, бутерброды, книги и пилили на вокзал. Как утверждает классика, «мы все — поколение дворников и сторожей». Когда трудовую книжку отдали назад, в ней оказалась печать МВД и надпись о том, что я работала сторожем-пожарным на отдельном военно-строительном участке.

А отношения МВД с собором начались не сразу. Начали ремонтировать для хора, копнули и выяснили, что собор стоит на останках собора ещё более раннего времени, под которым свои захоронения. Пришли археологи, запретили хору петь, начали копать и поставили свою охрану. Копали, копали, попали в тоннель подземелья, идущего из Кремля. Пришли кагэбэшники, запретили копать, начали закапывать и поставили свою охрану. Пока закапывали и откапывали, началась перестройка, пришли православные и начали восстанавливать храм. Так что в результате частой смены хозяина напеться вдоволь под высокими сводами успел только мой муж. Однажды нам вдвоём довелось ночевать в соборе. Скажу честно, для этого нужны нервы покрепче, чем у меня. Там всю ночь происходил какой-то акустический сюр: слышались пение и крики, топали люди и цокали лошадиные копыта. Я не особенно мистична, но больше меня нельзя было заманить туда вечером.

С собором связано много историй из жизни семьи, но самая длинная была про бриллианты. Дети, заведённые Сашиными рассказами, очень хотели побывать на раскопках, и мы привели их туда. На мой взгляд, смотреть там было нечего: разобранные каменные полы и могилы с фанатами, копающимися в останках

древней знати, обёрнутых в парчовые лохмотья. Я слышала от археологов о количестве заразы, вплоть до чумы, которую можно было хватануть с костей, и так громко орала на детей «не подходи, не трогай, не лезь!», что просто испортила всю экскурсию.

Однако когда уходили, Пашка, носящий среди «индейцев» кличку Зоркий Глаз, сообщил: «Я нашёл в куче мусора пряжку с бриллиантами!»

— В куче мусора? — заорала я. Речь шла о холмах, в которые археологи сбрасывали всё не пригодившееся. — Немедленно выброси! Где она?

— Я отдал её папе, — сказал Паша. Я орала как резаная, заставила их долго мыть руки, а идиотскую пряжку, если они собираются сделать её игрушкой, немедленно положить в водку для дезинфекции. Сашу и детей будоражило, что это бриллианты, меня — что они могли подцепить какую-нибудь бубонную чуму. Дурацкая пряжка немедленно стала центральным событием жизни семьи. Приехала Верка, занимавшаяся тогда продажей драгоценных камней в художественном салоне и всегда развлекавшая меня в свете тем, что объясняла, сколько настоящих бриллиантов на знаменитых дамах и сколько поддельных. Пряжка выглядела задрипанно с точки зрения нашего времени, но Верка взяла её в руки и заволновалась.

— Это потрясающе! — сказала она. — Я видела такие бриллианты только в музеях.

— А почему археологи выбросили их в мусор? И почему они так хило блестят? — спросила я подозрительно.

— Дура, это ручная огранка! Им цены нет! Вы миллионеры! — сказала Верка. Мы испуганно переглянулись.

— Что же теперь делать? — растерялась я.

— Во-первых, важно, чтоб дети не разболтали во дворе. Во-вторых, я буду искать людей, которые купят и не заложат вас. Надеюсь, вы не собираетесь делиться кладом с советской родиной, чтобы умножать её боеспособность в Афганистане? — спросила Верка.

— Нет! — закричали мы.

— В-третьих, надо подумать, как грамотно истратить эти деньги. Ты ведь всё размотаешь! Надо будет купить приличную машину, гараж. Дачу. Нанять домработницу, — Верка всегда обращалась со мной как с младшей придурковатой сестрой.

— Но зачем нам так много денег? — ужасалась я.

— Много не мало. Главное, не как их истратить, а как их истратить так, чтобы окружающие этого не увидели. — В смысле денег я была полным совком и представляла их как зарплату,

которой хватает или не хватает. В нашей семье никогда не было сбережений. А Верка росла в семье, где люди были более продвинуты, не боялись больших сумм и умели их делать. Однажды я зашла к ней в подсобку художественного салона. Верка стояла ко мне спиной и ссыпала в целлофановый пакет горсти драгоценных камней, переругиваясь с красавцем кавказского вида.

— Что это ты делала? — спросила я.

— Не загружай себе мозги, всё равно никогда не поймёшь, — ласково ответила она и оказалась права на долгие годы вперёд.

Мы начали искать покупателей. Конечно, не столько искали, сколько играли в это, а главное, фантазировали себе будущее. Надо сказать, в совке того времени у таких, как я, пространство для фантазий было бедненькое и слабо поднималось выше того, чтобы съездить с детьми на море, всё время кататься на такси, купить новую шубу и дефицитные книги, стоившие у спекулянтов немыслимые деньги. Но, приходя в магазин с последней пятёркой, на которую предстояло, встав на уши, вкусно кормить семью два дня, я гордо осознавала временность своих финансовых проблем.

Количество людей, знающих о гипотетическом богатстве, увеличивалось, а покупатели всё не появлялись. Время шло, но мы не волновались, поскольку от вида такого количества денег просто сошли бы с ума, а к пряжечке как-то уже привыкли. Саша раздраконил её и поселил в укромном месте в железной коробочке от валидола.

— Вот настанет лето, мы купим яхту и поплывём вокруг света, — мягко намекали десятилетние сыновья друзьям, а те презрительно фыркали в ответ врунам.

Горизонты мои к этому моменту чуточку расширились, поскольку у меня начался невнятный роман с человеком, торговавшим живописью. Он ездил на дорогой (по тем временам) машине, имел невероятную (по тем временам) дачу, бывал за границей. Не так, как мой муж на гастролях, где их разбивали на пятёрки, чтоб приглядывали друг за другом, а самостоятельно. Он, конечно, предлагал помощь по продаже камней, но не хотелось путать лирику с делами.

Саша тоже не скучал, и как-то придя в монастырь в условленное время, я обнаружила пьющую чай красивую девушку типа швеи. Я сказала им, что трахаться в соборе неприлично. А мужу, что если имеешь личную жизнь, пора научиться вести её менее демонстративно. Бедная девушка была немедленно выдворена. Но ровно на следующий день позвонила жена моего возлюбленного. Сказала, что всё знает, что подслушала его

телефонный разговор и близка к суициду.

Я так испугалась, что предложила немедленно к ней приехать и объясниться. Приехала, обнаружила немолодую симпатичную женщину и долго разъясняла степень мимолётности отношений. Она, конечно, не верила. Пришлось дождаться виновника и повторить всё это при нём. Были слёзы, были клятвы, было недоверие, но я действительно больше не встречалась с ним как с сексуальным партнёром и с обоими сохранила отличные приятельские отношения. Жена даже потом звонила советоваться и жаловаться на него. У меня по жизни домохозяйский принцип — я убеждена, что мир функционирует гармонично, если каждая вещь лежит на своём месте; что если мужчина или карьерный успех нужен кому-то в данный момент больше, чем мне, значит, небесный диспетчер распределил моё в другую ячейку.

Это не говорит о том, что я малосоревновательна и не азартна: когда стопроцентно чую «моё», могу снести Кремлёвскую стену. Просто обо всём всегда можно договариваться; в мире есть только одна ситуация, по которой нельзя договориться, чтобы всем было комфортно, это смерть.

Однако история отправила меня в депрессию, и я даже видела ужасный сон. Некая сила сверху пообещала страшную катастрофу, если ещё раз изменю мужу. Я впала в мистический ужас и дала обет верности. Довольно долго пребывая в этой самой верности и этом самом ужасе, я начала болеть, не просыхая. Кончалась одна ангина, начиналась другая. Отоларингологи разводили руками. Башкой я понимала, что здесь нечисто, но справиться с организмом не могла.

Сломавшись под тяжестью ангин, я пошла к психоаналитичке. Практикующий психоаналитик — маргинальное понятие для нашей страны, до сих пор у нас нет ни одного специалиста, сертифицированного по международным стандартам, но это не означает, что их работа малоэффективна. Психоанализ — работа вдвоём, и если у пациента есть воля к победе, то личность аналитика не имеет решающего значения, поскольку работает метод.

Зная всё это по ротапринтным изданиям отцов психоанализа, я зажала пять рублей в кулачке и явилась на сеанс. Аналитичка оказалась красавицей с филфака, звали её Елена Знаменская, и она была дама, приятная во всех отношениях. Кушетка у меня ассоциировалась с карательной медициной типа операции и аборта, и я исповедовалась сидя. Дело быстро пошло на лад, выяснили, что ангины устраивает всепоглощающее чувство вины, которое при изменах делилось на два рукава (один перед матерью и братом, другой — перед мужем) и обеспечивало

психологическую устойчивость. А теперь целиком перенеслось на родственников, которые ежедневно и технологично лезли в душу.

— Что же делать? — недоумевала я.

— Любым способом дистанцироваться от людей, ежедневно снижающих самооценку, — советовала аналитичка.

— Навсегда?

— Пока это не перестанет генерировать в вас болезни. Подумайте о своих детях! Вы считаете, что им полезна больная мать, которую дёргают за ниточки, как марионетку? Это были святые слова.

С красавицей Леной Знаменской я вела себя как хрестоматийный псих. Старалась заболеть, забыть и опоздать на сеанс. Каждый раз не могла попасть в правильный подъезд, и жильцы квартиры, в которую я всё время ломилась по ошибке, постепенно привыкли, что у меня что-то с головой, и не злились.

Однажды, после очередного препирательства с мамой, я пришла к аналитичке с температурой тридцать девять и завязанным горлом, но с ощущением прорыва. В конце сеанса Лена спросила: «Как вы подпитываетесь энергетически?»

— Брожу по арбатским переулкам.

— Мне кажется, вам сейчас стоит это сделать.

Был вечер, градусов восемнадцать мороза.

— Вы хотите моей смерти? У меня не хватит сил даже доехать до Арбата! — вскричала я.

— И всё-таки попробуйте. Но это рецепт только для сегодняшнего дня.

В тяжёлой лохматой шубе и шапке до бровей, в каких ходят с детьми кататься на горку, неповоротливая, как раненая медведица, я потащилась в центр. И там от попадания в любимые места что-то во мне щёлкнуло, и я начала не ходить, а летать. Вернулась на последнем поезде метро в Ясенево с безумным выражением лица, но без проблем и температуры. Больше я не болела, и аналитичка сказала, что дальше справлюсь сама. Это было не чудесным исцелением, а завоеванием некоторого собственного внутреннего пространства, став на которое я могла позволить себе жить в новом качестве. Это было бессознательное разрешение поставить стекло между собой и теми, кто, может быть, не совсем понимал, какому разрушению подвергает меня. Бесконечно борясь против насилия в окружающим мире, я вдруг поняла, что живу по двойному стандарту: не принимая насилия в масштабах человечества, но допуская по отношению к себе.

Я пишу об этом так подробно, потому что большинство женщин, обращающихся ко мне за психологической консультацией, одеты в те же самые проблемы и мучимы

внутрисемейным советским аналогом гамлетовского «Кто я, тварь дрожащая или право имею?».

Ах, как славно сразу раскрасился мир, сколько в нём появилось дополнительных объёмов и ступеней. А ещё начиналась весна. А ещё из Еревана приехала Зара, и мы начали носится и тусоваться, как будто всё ещё были студентками. После Москвы она не могла вписаться в правила армянской жизни, многое запрещающие женщинам, и, только приехав ко мне, могла отрываться на всю катушку. Она нанизывала на себя людей и события, как веретено шерсть. Её нельзя было оставить на пять минут, она обрастала знакомыми и находила приключения.

— Когда же ты заведёшь роман? — смеялась она надо мной, хотя хорошо относилась к моему мужу. — Никогда не видела, чтоб у тебя так долго не было романа.

Но мне никто не нравился. У меня высокая планка в выборе любовных партнёров, но я знаю: когда женщина декларирует, что на горизонте нет достойных мужчин, это проблема не их отсутствия, а её психологии. Достойных мужчин всегда значительно больше, чем можно успеть любить за одну жизнь, и женщина преуменьшает это количество из-за страха романа. Я отлично понимала, какого происхождения мой страх, но управиться с ним ещё не могла.

Начали выводить войска из Афганистана. И все, у кого были силы радоваться, радовались. Потому что, несмотря на потери, это выглядело как торжество справедливости. И если б мне тогда сказали, что в такую же игру наши военные будут скоро играть в Чечне, я плюнула бы в лицо этому человеку и решила, что он просто не приветствует перемены.

Вовсю шли армянские митинги, и мы с Зарой, конечно, ходили на них. Она привезла кучу свежих фотографий из Еревана, а поскольку пресса всё время несла ахинею про армяно-азербайджанский конфликт, заваливаясь то в одну, то в другую сторону; любая фотография являлась документом. Однажды в скверике на Тверском бульваре, напротив магазина «Армения», мы тусовались в уличном сборище, состоящем из проармянски настроенных людей, солдатских матерей, сумасшедших и любопытных, и в очередной раз показывали фотографии с разъяснениями. И тут в толпе я увидела молодого человека, который… короче, который мне был нужен именно в том момент. Он был высокий, красивый, породистый, интеллигентный, но закомплексованный. На лице его было написано, что он будет час стоять и откликаться на меня глазами, но никогда не подойдёт.

Обычно для меня нет проблем подойти и завязать светскую

беседу, но здесь мы так смотрели друг на друга, что это выглядело неприлично. Это была не застенчивая симпатия, а желание побыстрей раздеть друг друга, даже не представившись. В силовом поле такого интереса было неудобно подойти и спросить: «А что вы думаете про комитет «Карабах»?».

Это было бы кощунством. Мы так бы и стояли как соляные столбы. А Зарка уже начала дёргать меня за рукав и спрашивать: «Куда уставилась?» И тут к нему подошёл другой молодой армянин, они заговорили, избранник показал на меня глазами. Подошедший повернулся ко мне, подпрыгнул, вскрикнул «вах!» на весь Тверской бульвар и помчался на меня с распростёртыми объятиями. Я не успела сообразить, что это значит, хотя ход по спасению товарища показался мне интересным. Но тот, другой, промчавшись мимо меня, бросился как тигр на Зару, поднял и закружил её в объятиях, и они начали целоваться и орать по-армянски, будто не виделись пятьдесят лет.

— Машка, послушай, — визжала Зара. — Это мой троюродный брат Арам, физик-аспирант, помнишь, я тебе говорила, которому я должна была позвонить, как только приехала, но потеряла телефон!

— Здорово, — сказала я прагматично. — А вон тот красавчик случайно тебе не брат? Потому, что меня он интересует больше.

— Он мой друг, — сказал Арам. — Ашот, иди сюда, я тебя познакомлю.

Ашот был историк. Интеллектуал, спокойный как тюлень. Он был невероятен в постели, поэтому тратить время на эстетские конструкции не хотелось и не моглось.

Первая встреча произошла в Веркиной квартире днём. Я уже почти не помнила зловещий сон о запрете на измены и могла окунуться в пир плоти. У него тоже были какие-то психосексуальные проблемы, о чём он, будучи нормальным человеком, предварительно предупредил. Но мы так отчётливо были сделаны друг для друга, что пыль комплексов была сметена. Потом он посмотрел на часы и сказал: «Я запомню этот день и час!»

Вечером мне позвонила Верка.

— Слушай, ты на постели моего отца яблоко грызла?

— Что-то такое было… — припомнила я.

— А куда дела огрызок?

— Не знаю…

— Пришёл отец домой, прилёг на покрывало. А там огрызок!

— О, боже! Прости меня, пожалуйста. Я была невменяема…

— А бедный папаша решил, что у него начинается маразм. Если он утром съел на постели яблоко, а вечером этого не

помнит. Даже позвонил знакомому невропатологу. А твой новый мальчик, он ведь армянин?

— Да.

— Ты знаешь, что в Армении жуткое землетрясение?

— Нет. Я телевизор не включала. Когда?

И она назвала тот самый час, который Ашот обещал запомнить. У меня внутри всё похолодело. Я тут же набрала телефонный номер:

— Ашот, ты знаешь про землетрясение?

— Да. Мне из дома звонили, у нас погибли дальние родственники.

— Ашот, именно во время начала землетрясения ты посмотрел на часы. Я виновата перед тобой, ты мне рассказал о своих проблемах, а я тебе нет. Понимаешь, мне снился сон, что если я снова изменю мужу, то случится какая-нибудь катастрофа.

— Я завтра днём улетаю на похороны. Но утром мы должны встретиться.

— Ты не боишься? — спросила я уже как полная идиотка.

— Я не думал, что у тебя такая мощная мания величия, — ответил он, немного помолчав.

Мы дивно общались, хотя, конечно, это нельзя было назвать романом, это был голый секс. Как только начинали разговаривать, понимали, что пришли из совершенно разных миров. И в том мире, в котором он вырос, уважалась только одна женщина — мать. Перевоспитывать его не было смысла, у меня не было на него долгосрочных видов, поскольку я знала, как быстро исчезает страсть, завязанная на одном телесном уровне.

Зара хихикала:

— Что ты в нём нашла? Совсем обычный мальчик. Не думала, что ты остановишься на нём так надолго.

— Невероятно сексуальный, — объясняла я.

— Армяне все такие, — напоминала Зара. Она вообще вела себя как главный разрушитель иллюзий. Однажды взяла наши знаменитые бриллианты в руки и стала смеяться. — Столько шуму вокруг жалких стекляшек!

— Сама ты стекляшка! — надулась я.

Тогда Зара взяла один из камней и начала царапать им стекло. Стекло не царапалось. Воцарила мёртвая тишина.

— А что, за это время никто не пытался проверить, бриллиант это или нет? — удивилась она.

Так в одну секунду рухнуло наше бриллиантовое богатство. Утешились мы быстро, а горный хрусталь из пряжки знатного древнерусского персонажа хранится у меня до сих пор в железной коробочке от валидола. Интересно, знал ли хозяин, что с

камешками его накололи?

Глава 21. «МНЕ НЕ ЗАБЫТЬ, НЕ ПРОСТИТЬ»

В пятом классе на родительском собрании произошла разборка: сыновья расклеивали по школе самодельные листовки с текстом «Убей коммуниста!» и отказались носить пионерские галстуки. Шёл 1988 год.

Я объяснила, что поговорю с детьми по поводу первого слова в воззвании, сориентировав их на терпимость, но что, безусловно, в семье особой любви к коммунистам нет. Тем более, что Саша регулярно оказывался за бортом престижных зарубежных гастролей, поскольку пластинки здесь записывали те, у кого были голоса, а на запад ехали стукачи и партийные, и это обсуждалось при детях. А по поводу выхода из пионеров, что уважаю самостоятельные решения детей и сама никогда не была в комсомоле.

И пошло, и поехало. Шестой класс начался открытым противостоянием, на детей наезжали, я держала удар. А вокруг уже кипела и бурлила перестройка, экологические митинги, первые выборы…

«История с географией» подкрадывалась постепенно. Дети рассказывали, что географию ведёт пожилая злобная армянка, очень плохо говорящая по-русски. Потом начались охотничьи рассказы про то, как она кинула в лицо девочке из старшего класса учебник и разбила губы. Потом история про то, что друга моих детей, «индейца» по кличке Рубилака, в приступе ярости она таскала за волосы. Наконец, она разбила голову «индейцу» Манко об угол школьной колонны, когда трясла его за шиворот.

Как всякой взрослой, мне казалось, что дети сгущают краски, иначе не могут же родители на это не реагировать. Отец Рубилаки был доверенным лицом Станкевича и воевал на переднем крае демократии, мать была научным работником. Отец Манко работал в посольстве Ирака, мама преподавала на филфаке. Не верилось, что люди моего круга готовы позволять такое по отношению к своим детям.

Однажды Пётр и Павел пришли посреди уроков и заявили, что больше не пойдут в школу никогда. На прошлой географии Пашка чуток нахулиганил, и учительница велела пересесть ему на первую парту, чтоб был перед глазами. А сегодня влетела в класс агрессивная, не разглядев сидящего на первом ряду Пашку, увидела сидящего на последнем ряду Петьку, вцепилась ему в плечо и протащила на первую парту.

Я была очень горда, что после этой сцены сыновья собрали портфели и ушли домой, потому что девять из десяти детей того поколения считали, что не произошло ничего особенного. Я отлично помнила, как родители отдавали меня на растерзание врачебной и учительской недоразвитости и не собиралась идти по их стопам. Поблагодарила Петьку за то, что он не дал сдачи, всё-таки ребята были крепкими шестиклассниками, и наваляла на пишущей машинке бумагу.

Работа в Союзе писателей обучила меня писать конструктивные бумаги и знать, куда их посылают. Пафос увеличивало то, что пьеса о школе «Анкета для родителей» успешно шла, и провинциальные учителя писали мне витиеватые письма про новый взгляд на педагогику. Короче, я жёстко изложила историю о хватании за волосы, о пробитой голове и перетаскивании за плечо через весь класс и попросила администрацию школы, рассмотрев вышеизложенные факты, решить вопрос о профессиональной пригодности географички, пометив, что копии письма отправляются в РОНО, Детский фонд и «Учительскую газету».

Я понимала, что будет война, и до сих пор не жалею, что отдала ей столько сил. При виде бумаги секретарша директорши школы схватилась за сердце, она не знала, что бывают такие бумаги. Начала умолять забрать эпистолу, объясняя, что географичка — золотая женщина, что она просто погорячилась и, кроме того, она председатель месткома и распределяет путёвки, поэтому все педагоги очень любят её.

Детей я попросила ходить на все уроки, кроме географии, до восстановления справедливости. Но все уроки начинались песнями «Несправедливая мама Паши и Пети хочет выгнать из школы пожилую уважаемую учительницу!». Потом взялась директриса: она вошла в класс во время урока и сообщила: «В этом классе учатся близнецы, которые баламутят всю школу. Учителя отказываются работать с классом, если мальчики не уйдут из нашей школы. Я прошу вас, дети, проголосовать за то, что вы сами не желаете учиться с ними в одном классе».

Директриса была давящая тётка, она стояла пол-урока и считала поднятые руки, хотя ни одно РОНО никогда не считало бы подобное голосование доводом в пользу чего-либо — это было психической атакой. Ведь Пётр и Павел хорошо учились, были лидерами класса и хулиганили в разумных пределах. Результаты голосования потрясли нас. Руки подняло полкласса, но совсем не те, которые, по нашим расчётам, могли сломаться. Ближайший друг Миша, ходивший к нам каждый день обедать, поднял руку. Собственно, он и дал первую информацию о голосовании, придя к

нам после уроков обедать как обычно.

— Миша, как ты мог? — спросила я, похолодев.

— Понимаете, тётя Маша, — сказал Миша, старательно копаясь вилкой в жарком. — Я бы никогда не поднял руку, но директриса встала рядом и сказала: «Я буду стоять около тебя, пока ты не проголосуешь».

Сейчас Миша красивый молодой человек, но я до сих пор не могу видеть его без брезгливости.

Я пришла к директрисе и спросила, скоро ли получу официальный ответ на свою бумагу. Она затряслась, потому что понимала: что-то надо отвечать. И вежливо сообщила, что в пятницу собирает педсовет по этому вопросу, а в понедельник родительское собрание, на котором я получу официальный ответ.

Родительское собрание напоминало китайскую оперу. Вся школа, не дыша, готовилась к нему. Дети заранее облепили объекты подслушивания: окна и двери. Невиданное количество родителей расселось в классе, а за педагогическим столом — учителя. Директор скорбно сообщила, что в классе огромные неприятности, что очень жаль расформировывать такой благополучный класс, который с самого начала учится вместе, из-за близнецов, которые пришли всего полтора года назад. После чего предоставила слово веренице учителей. Это были случайные персонажи — учительница труда для девочек, дежурный по школе педагог, вступивший в прошлом году с близнецами в конфликт, физкультурник со скромным словарным багажом, месткомовские тётки, никогда не соприкасавшиеся с классом, председатель родительского комитета школы, в глаза не видавшая Пашу с Петей… Ни один нормальный учитель в грязь не полез.

Нанятые ораторы злостно клеймили моих сыновей и угрожали расформированием класса, к которому не имели никакого отношения. Кликушеский надрыв подействовал, и некоторые мамаши из класса тоже заголосили про спасение школы от скверны. Всё же шла перестройка, и даже ничего не понявшие в драматургии собрания люди потребовали всей полноты информации, которую я и предоставила, переорав директрису и зачитав зловещее письмо о профессиональной пригодности географички. Сейчас легко рассказывать, но тогда мы с мужем оба были почти в предынфарктном состоянии.

Ночью я писала огромную душераздирающую статью о пережитом, а на следующий день пошла в «Комсомольскую правду». Заведующий отделом воспитания журналист Борис Минаев прочитал статью и сказал: «Неужели вы думаете, что статья что-то изменит? У нас целые мешки писем о том, как педагоги ломают ученикам руки, ноги, головы, но ничего не

меняется».

Частично он оказался прав. Через неделю утром Саша разбудил меня и дал газету. Не вполне проснувшись, я увидела огромные буквы «Я, Мария Арбатова, мать Петра и Павла…». Мои сыновья и все прогрессивные силы ликовали, дети из других классов подходили к нам на улице и благодарили. РОНО и администрация школы были высечены. Но гора родила мышь — географичку просто убрали из нашего класса и лишили премии. Её не уволили, потому что родители мальчика, которому разбили голову, так и не подали в суд.

С одной стороны, Паша и Петя стали национальными героями, с другой — их продолжали травить. В течение четверти все четвёрки и пятёрки были снижены по всем предметам до «еле-еле троек». Мы решили дать им немного прийти в себя и поехали зимой в Англию не без тайной мысли оставить их там учиться. Англия нас не убедила, вернулись к четвёртой четверти, готовые не столько к труду, сколько к обороне.

Сдать предметы за третью четверть детям не дали, поставили прочерки. Но в конфликтных ситуациях предметы за четвёртую мы контролировали, учили учебник, садились в классе рядом с училкой и, как только она начинала наезжать на ребёнка, показывали пальцем в учебнике, что она врёт. Даже в нашем присутствии люди не могли сдерживаться от низостей по отношению к детям — бунтовщикам. Было ясно, седьмой класс мы ищем в другом месте.

Война со школой заняла почти все силы, но были и другие истории. Как-то после публичного чтения и обсуждения моей пьесы «Сны на берегу Днепра» ко мне подошла красавица в белой шапке, белом пальто, белых сапогах, с белыми волосами, сильно напоминающая глянцевую обложку женского журнала. И сказала:

— Здравствуйте, я актриса Надежда Репина. Репетирую сейчас в спектакле в Театре киноактёра. Кроме того, я заканчиваю второй раз ВГИК в мастерской Сергея Герасимова, теперь уже как режиссёр, и ищу материал для дипломного фильма. Вы мне подходите как автор.

«Ага, — каюсь, подумала я, — представляю себе, что ты с такой внешностью можешь снять». Видно, это было написано на моей физиономии — она улыбнулась голливудской улыбкой и сказала:

— Чтобы у вас не было сомнений в моей профессиональности, я хотела бы показать вам свои работы.

Когда я увидела два короткометражных игровых фильма «Собака» и «Коррида», то сказала:

— Извини, я думала, ты просто красавица, а ты, оказывается, режиссёр. А она только смеялась.

Прошёл год, и Надя снова позвонила.

— Привет, — сказала она. — Если у тебя есть пьеса на двух героев, то второго ноября мы можем подписывать договор.

— Сначала прочитай, вдруг она тебе не подходит.

— Подходит. Я знаю, как ты пишешь.

Второго ноября мы действительно заключили договор с загадочной алма-атинской студией «Катарсис», которая потом стала печально известна как чистая кидала, но мы были её первым пушечным мясом.

Надежда была и есть роковая женщина, в её объятиях сходили с ума западные бизнесмены, известнейшие режиссёры и президенты республик. С неё был написан сценарий фильма «Зимняя вишня», она снялась в тридцати фильмах, из них в пяти играла главные роли. Оставила богатого и знаменитого мужа и вырастила одна дивного сына, сыгравшего в «Обломове» маленького Илюшу.

Первый раз я попала в руки женщины-режиссёра и поняла, какой это кайф. Во-первых, она понимала всё, что написано. Во-вторых, ей незачем было вешать мне лапшу на уши, чем занимались 100 % мужчин-режиссёров. Она в принципе не была понтярщицей и к деланию кино относилась без придыхания, а как к нормальной работе.

— Значит, так, — говорила она, — Ритку твою я на главную роль не возьму. Потому, что бездарность. Вот есть одна гениальная актриса, не знаю, как её фамилия, я её видела однажды. У неё сломан нос, и такой голос, что мороз по коже, мы должны её найти и уговорить.

И мы действительно нашли, это была Женя Попкова из театра «Сфера». Женя прочитала пьесу, посмотрела на меня глазами, полными слёз, и сказала: «Откуда ты всё это знаешь, это всё про меня».

Речь шла о пьесе «Уравнение с двумя известными», и всякая советская женщина, столкнувшаяся с отечественной гинекологией, могла подписаться под Жениными словами.

Вторым исполнителем был замечательный артист Алексей Сафонов.

— Слушай, почему у тебя всю пьесу идёт дождь? Это ж никаких денег не хватит! — спрашивала Надя.

— Потому, что это по атмосфере точно, — объясняла я.

— Извини, мы с тобой не в Голливуде. Это мне придётся поливальную машину нанимать на все съёмки или сверху из клизмы поливать, половина бюджета уйдёт. А больше ничего в

нашей стране не придумано. И вообще, натура уходит, придётся траву поверх снега класть, а сколько я её могу положить за эти деньги?

Надя была виртуозом. Она делала полнометражный фильм за деньги, полагающиеся во ВГИКе для дипломного короткометражного. Она снимала в бесплатной кухне друзей, в ремонтируемом отделении роддома, на ночной улице. Морозы грянули раньше времени. Женя должна была полфильма брести в белом плаще, повиливая бёдрами. На ногах у неё в это время были валенки, а она замерзала так, что перед каждым дублем требовала водки. Надя стояла у камеры, держа полный штофик. Но, во-первых, Женя была пьющая артистка, и мы всё время боялись, что она уйдёт в запой, а во-вторых, на плёнке получалось то, что у киношников называется «пьяный глаз».

Посмотрев готовый материал, хозяева казахской студии решили, что в нём маловато секса, и потребовали, чтоб Надя досняла воспоминания героини о юношеских ужасах. По договору они имели на это право и ещё сунули туда местных актёров. Но кино все равно получилось хорошее, и монтажницы засмотрели копию до дыр, приглашая всех знакомых. После нескольких премьер картина, к сожалению, легла на полку, поскольку у нас не было на неё прав, а хозяева студии уже занимались другим бизнесом.

Ужасное случилось потом. В конце пьесы героиня сжигала деньги, и из-за этого в театре при постановке всегда были проблемы с пожарными, которые не разрешали разводить огонь даже в пепельнице. Надя этого и не снимала, закончив историю чуть раньше. И вдруг ей позвонили, что сгорело то самое отделение роддома, в котором снимался фильм. А через неделю сгорела Женя Попкова, не слишком трезвая прикуривая от газовой колонки. От неё остался только наш фильм «Мне не забыть, не простить».

Глава 22. ПАСТЫРСКОЕ

За фильм я получила неожиданно большие деньги. Месяц пировали, купили отличный телевизор, обновки, но деньги всё не кончались. А тут лето. Сашины родители, устав от экологически грязного города, приобрели под дачу дом в украинском селе, и мы поехали на него любоваться. Там действительно была лепота, пейзажи, колодец, печки, грядки.

Когда Саша поехал покупать обратные билеты в Москву, женщина в очереди рассказала «така гарна хата у том селе продается», посадила его на мотоцикл и довезла. Вернувшись, муж так нахваливал увиденное, что на следующий день мы добрались до села Пастырского и нашли продавца, тощего лысого цыганистого Мыколу. Мыкола разлился соловьём, показал дом, сад и погреб, назначил цену и предложил «сразу не куплять, а пока так себэ пожить».

Дом был огромный, двухкомнатный, мазанный, сырой внутри и с неоткрывающимися окнами. Вид и сад были сумасшедшей красоты; в центре двора шелестела огромная как дуб пятисотлетняя груша, посаженная ещё польскими монахами. Увидев всё это в малиновых отблесках заката, мы решили, что теперь это наш дом. Саша с детьми соорудили ложе из снятой комнатной двери на кирпичах и устелили его сеном с чердака. Когда мы проснулись, в саду на скамейке стояли ведро картошки и десяток яиц. Старухи-соседки, услыхав что приехали «молодые городские с дитями», занялись благотворительностью.

Мне было двадцать девять, но сельскую жизнь я видела только в кино. Я не могла растопить печку, замазать осыпающийся угол, достать из колодца ведро воды, нарубить дров и т. д. Меня считали идиоткой, а Сашу — промахнувшимся с бабой, поскольку старухи представляли себе московскую жизнь сельским домашним хозяйством, перенесённым в многоэтажную башню. Попадались экземпляры, которые просто за всю жизнь ни разу не выезжали из села, например покойная баба Оксана, делившая весь мир на своих и цыган. По причине сложносочинённых серёг и длинного сарафана я навсегда попала для неё в «цыганки», и она каждый раз просила привезти ковёр, поскольку лет тридцать назад купила у цыганки «ловкий ковёр с зайчиками».

Всё лето мыли, чистили, прибивали и украшали жилище, которое с каждой секундой становилось всё роднее и трогательнее, и потихоньку вплетались в сложное тело села,

состоящего из живописнейших хуторов. Улицу нашу звали Паланка, она считалась улицей стариков. Из молодых на всю улицу были председатель колхоза с женой, дотянувшие асфальтовую дорогу ровно до собственного дома, горбатый Ванька, отсидевший за убийство и гоняющий пьяным на тракторе, сшибая столбы и заборы, да семья учителей по кличке Молодые Колбасы.

В начале нашего куска улицы жили Иван с Келиной. Иван считался местным интеллигентом. Он был угнан мальчишкой немцами и батрачил в Европе. Приехал в страну после победы, отсидел как шпион двадцать пять лет, потерял полжелудка и вернулся в родное село. Иван пил чай и кофе, как городской, имел в хате портрет Хемингуэя, выписывал газеты и в белой рубашке уходил на ночь сторожить колхозную контору.

Хозяйство у Ивана было огромное, и его бедная, до старости красивая жена, ходившая на двух палках, этим хозяйством занималась. Черкасская область считается самой плодородной землёй на Украине — колья заборов прорастают здесь листочками; а вода в колодцах практически минеральная, порезы и ранки заживают здесь, как на героине фильма «Солярис». Но отложение солей мучает аборигенов, перешедших тридцатилетний рубеж. Поскольку работа на огороде состоит из перманентного пропалывания сорняков, прущих на глазах из земли, женщины проводят в согнутом состоянии по десять часов в день, и к старости их сгибает пополам. Вот Келина и поддерживала палками свою наклонившуюся почти под прямым углом когда-то роскошную плоть.

За Иваном с Келиной жила певунья Ганна. Весёлая беззубая старуха, прижившая невесть от кого двух красавцев сыновей и сочинявшая любовно-срамные песни. Под стакан горилки она могла напеть их целую кучу и рассказать такую же кучу баек. Она была как древний символ плодородия: у неё в саду росло лучше, чем у других, и даже комнатные цветы весь год цвели от её присутствия.

Дальше ютилась неопрятная пьянчужка Фроська, она не вела хозяйства, а шаталась по крестинам, свадьбам да похоронам в надежде, что угостят. Брат, полковник, начинал когда-то строить ей кирпичный дом, поставил основу, потом то ли помер, то ли раздумал. Кирпичная коробка без крыши заросла лопухом, в ней тусовались куры и кошки. А Фроська бедовала в оползшей задрипанной мазанке.

За Лизкой жила больная на голову Танька — баба-яга в развалюхе с дырами в крыше. По ночам она носилась по тропинкам, грязно ругалась низким голосом и приворовывала по

погребам.

За ней стоял крепкий богатый дом Молодых Колбас. Это были симпатичные ребята, получившие кликуху по наследству — жена была дочерью Старых Колбас, прозванных так за жадность. Она была милая женщина килограммов на сто, а муж был маленький, круглоголовый, весёлый и очень величественно сидел за баранкой ушастого «Запорожца». Яростно похожие на него четверо конопатых мальчишек носились вдоль яра на велосипедах.

Далее жила Мархвина, рано овдовевшая с тремя детьми. Чтобы поднять их, Мархвина всю жизнь ткала из ветоши узорные дорожки на всё село, и ноги её засолились и деформировались в позе, в которой целыми днями нажимали на педаль. Мархвина еле доходила до калитки.

За ней Настя-колдунья, с тем самым сыном Ванькой, что сидел за убийство. Настя глазила коз и коров — от одного мрачного зырка животина переставала доиться и хозяйки всячески заискивали перед ней при встрече. Ещё Настя матюгала свою корову. В селе ругаться матом считалось последнее дело, ругались наезжающие городские дети, и старики вправляли им за это мозги.

За Настей жил главный жених Паланки — Христофорыч. Он, по собственному определению, прошёл «и Крым, и Рим», что означало прошёл войну до Берлина. Больше всего за границей его потряс способ откармливания свиней: сантиметр сала, сантиметр мяса. При каждом удобном случае он вспоминал это, закатывая глаза от удовольствия. Христофорыч был очень политизирован, часами дискутировал о том, что Украина всю жизнь кормит Россию, и всякий раз, проходя мимо нашего забора, на всякий случай напоминал: «Крым наш!» Мы пользовались его колодцем, ходили по его груши, угощали его московской снедью и считали главным своим покровителем. Тем более, что он был страшно обаятельный врун и мог сочинять поэмы о собственном героизме и успехе у женщин.

От жены с дочкой он утёк в молодости на другой хутор, к «жиночке гарной як артистка». Артистка родила от него сына, потом обобрала его дочиста и вернула первой жене. На старости лет, когда обе померли, дочка первой жены посылала ему деньги и посылки, а сын от второй приходил эти деньги забирать.

За Христофорычем стоял уютный кирпичный дом Василя Собачки, похоронившего жену-ревнивицу и ушедшего после, в чём был, в соседнее село жениться. Но об этом доме потом. Напротив нас жила тихая скорбная Наталья, вдова Фёдора. Фёдор был связан с органами и на всех стучал, а выйдя на пенсию, и

вовсе свихнулся, начал за всеми следить. Часами лежал в кукурузных полях, прятался за сортирами, сидел на деревьях, чтоб только кого с кем выследить. Половая жизнь в селе, по рассказам старух, была бурная, половина взрослых детей казались точными копиями соседских мужиков, а Фёдор копил информацию и шантажировал.

За нами жили две Марии. Для дифференциации первую звали Маша, а вторую Мария. Для меня вариантов не осталось, и старухи обозначили меня Машкой. Маша была высокая седая голубоглазая иконописная старуха. Муж её помер, не прожив с ней и года. И с тех пор ни-ни. Маша работала как вол на племянников, которым был завещан дом. Она была строга, благочестива, немногословна; и регулярно ходила в только что отстроенную церковь.

Дом Марии прилегал к дому Маши. Мария была шустрая, носатая, болтливая и артистичная, дневала и ночевала у нас. Она вырастила своих троих детей, принимала кучу внуков и успевала всё в селе разузнать и во всё встрять. Марии прожили бок о бок всю жизнь, имели общий колодец, ссорились до драки примерно каждые два года. Бегали к председателю сельсовета, обвиняя друг друга то в краже курки, то в залезании на чужую межу. По полгода не разговаривали, желали друг другу собачьей смерти, а потом оттаивали. Нашу семью страшно ревновали друг к другу; а мы были им вместо кино, радио и телевизора.

Я овладела элементарными навыками отношений с печкой, когда взялась за пироги. И вдруг чердак наполнился дымом, запахло пожаром, мы начали с воплями и ведрами воды носиться вокруг дома, сбежались чуткие до событий старухи. Экспертиза чердака показала, что дымоход имел дырищу, которую сообразительный цыган Мыкола прикрыл фанеркой. От мощной растопки фанерка начала тлеть, а вокруг неё хранилось сено, из которого уходили деревянные столбы под шифер крыши. Так что в жару с ветерком пожар мог состояться такой, что мало бы не показалось.

Собранием двух Марий и Христофорыча было постановлено, что Мыкола дом потому не спешил продавать, что рассчитал: москали пожар устроят, сами сгорят, а он страховку получит и при доме останется. «Така его цыганская бисова кровь!»

— На шо ж ты, гад, цу фанерцу зробил? — страстно выкрикивал Христофорыч, хлопая себя по выгоревшим порткам заскорузлыми морщинистыми ручищами.

История всем не понравилась, я стала качать права Мыколе, но он только ухмылялся, косил цыганским глазом и приговаривал.

— Шо ж ты за баба така, коли сама дымохода не проверила? — прекрасно понимая, что я разбираюсь в дымоходе примерно, как он в компьютере.

Но время шло, а Мыкола под разными предлогами отказывался оформлять сделку. В селе выяснили, что мы «страшно богаты», потому что каждый день покупаем в магазине еду, и Мыкола, видимо, рассчитывал подтянуть цену повыше. Недалеко стоял пустующий дом москвичей, уже года три не пишущих и не приезжающих. Поскольку все живущие в Москве представлялись селянам родственниками, то, понятное дело, «москвичам с москвичами столковаться ловчее». Изнурённые неопределённостью, в один прекрасный день, для убедительности одевшись попраздничнее, мы пошли осматривать пустующий дом москвичей. Их избушка на курьих ножках против нашего дворца с эстетским видом на поля, горы, леса и закаты ни секунды не была конкурентоспособна.

До домика москвичей можно было дойти короткой дорожкой через поле и длинной, через несколько улиц. Естественно, мы неторопливо пошли длинной. За околицей каждого дома сидел старичок или старушка, они немедленно бросали все дела, вытирали руки о штаны или фартук, упирали руки в боки и вопрошали: «Куды пишли?». Село имело уникальную геометрию просматриваемости, несмотря на пышные сады и мощные заборы, все отовсюду всех видели, и информация загадочным образом распространялась быстрее, чем в Интернете.

Когда подошли к дому москвичей, Мыкола уже поджидал нас с мефистофельской усмешкой, сидя на ржавом велосипеде и надев для важности дырявую кепку. Мы твёрдо пошли осматривать дом и сад. Мыкола тащился за нами, вяло ругая то кривую дверь, то полуживую грушу, то крохотные комнатки, а утомившись, свалился в траву и задремал. Довольные успешной акцией, мы побрели домой, перемигиваясь и громко обсуждая достоинства осмотренного. Мыкола медленно ехал за нами, скрипя пожилым велосипедом, и, доехав до нашего двора, снял кепку, громко поскрёб лысину и объявил:

— Завтра утром пийдете в сельсовет мою хату куплять!

Став полноправными владельцами, мы услышали от всех аборигенов, что больно много цыгану дали. Он, естественно, от тех же экспертов, что слишком мало. Глубины народные были для меня экзотикой, и поначалу я просто шалела от экзистенциальности подобного сознания. Понятие «держать слово и иметь принципы» относилось исключительно к системе мер и весов. Если ты взял полмешка картошки, то отдашь ровно полмешка картошки. Если одолжил грузовик сена, вернёшь

грузовик сена. Про это они понимали идеально, как выразилась одна старушка: «Шо ты съив, шо ты выпив, то твое, а усё другое коммунисты отымут». Я честно сообщила ей, что коммунистов теперь нету. «А хто есть?» — заинтересовалась старушка. Я сказала туманное «демократы». Старушку слово вполне удовлетворило: «Значит, теперь эти усё отымут».

Понятие элементарной этики внутри человеческих отношений выглядело здесь совершенно абстрактно, реальны были только материальные ценности. Старики и старухи беззастенчиво поливали и закладывали друг друга, не утруждаясь рефлексией, и были невероятно трусливы перед властями предержащими в лице продавца и почтальона. Они были красивы и статны. Когда приехала моя подруга Лена Эрнандес, специалист по пластике, она долго недоумевала, почему у людей в селе такой гордый и размашистый рисунок движений в сравнении с российскими селянами. Потом сообразила: «Конечно, чего мельчить жест, когда они на такой земле по три урожая в год снимают?». Непонятно, как можно было устроить здесь в своё время голод. Старики помнили, как варили лебеду и суп из кожаной лошадиной упряжи, как ехала каждое утро вдоль Пастырского телега и еле живые выносили из хат умерших от дистрофии. Намекали на людоедство, но говорить вслух боялись, только крестились. Защищённые плодородием земли и трудовыми навыками, они были не сильно озабочены чувством собственного достоинства и прочими интеллигентскими кружевами. Сельский социализм выбил из них всё, кроме понимания, что детей нельзя обрекать на то же самое. И они выталкивали и вытолкнули-таки потомство в город.

Все наши соседи и соседки строили дома сорок-пятьдесят лет тому назад, таская на себе брёвна и укладывая кирпичи. Конечно, и тогда можно было заплатить на лапу колхозной машине, но ценность этой платы была в их сознании несопоставимо выше ценности собственного здоровья. Колхоз ежегодно, помимо основной работы, вешал на каждого, состоящего в своих рядах, гектар прополки сахарной свёклы. И люди на сорокаградусной жаре, согнувшись, стояли на поле, выдирая сорняки вокруг «бурячка». Простирающиеся до края глаз поля сахарной свёклы не гарантировали наличия сахара в магазине, он доставался по талонам и великому блату.

Когда мы приехали, из колхоза уже сбежало почти всё дееспособное население. На тракторах носились четырнадцатилетние пацаны и сильно пьющие уголовники. Буряки уже никто «не сапал», а на колхозном поле все, во главе с председателем, любовно выгуливали собственных коров. Это

было странное ежелетнее зрелище: поля активно пахались, активно засевались, потом вытаптывались и скармливались скоту, разворовывались в частные хозяйства, остатки небрежно убирались и небрежно (с потерей половины в пути) увозились в пункты переработки. Всё это совершалось с оханьем, скрежетом, одновременным чувством глубокого удовлетворения и конца света.

Старики прожили жизнь в полном вранье государству, которое ненавидели, считали вором и сами обкрадывали как могли. В полном вранье по отношению к вере: разрушили церковь и пустили её куски на подправление собственных домов. Потом построили новую и, так и не поняв, православная она или униатская, ходили в неё тусовки ради. Давали взятки натурой по всей управленческой лестнице от председателя колхоза до фельдшера и библиотекарши. Чтили семью, но ограниченное пространство села, в сочетании с украинским темпераментом, делало местную сексуальную жизнь почти промискуитетной. Короче, они не были лживыми злодеями. Они были старыми лживыми детьми и сочиняли друг о друге такое, за что в более цивилизованном обществе давно поубивали бы.

Как только дом был куплен, меня попробовали на вшивость: настоящая баба или так себе. Однажды утром мы обнаружили Фроську, косящую траву на дальнем куске нашей земли. Саша, как человек интеллигентный, не понимал, что надо делать, дети неистово желали сломать ей косу, и мне пришлось прямо с постели, в длинном английском халате пилить через все двадцать пять соток сада и нарисовываться перед Фроськой в позе «руки изо всех сил в боки».

— Ну, шо, вже проснулась? — сладко заулыбалась Фроська. Мой обычный подъём в двенадцать был одним из самых крутых поводов для насмешек старух, вставáвших с петухами.

— Что вы здесь делаете? — заорала я, активно понижая тембр голоса.

— Ничого… — улыбнулась Фроська. — Травку косю на корову. У тэбэ ж у Москви коровы нимае. На шо ж тэбэ травка?

У Фроськи коровы тоже не было. Кто-то подослал пьянчужку, чтоб разведать, какое у новой хозяйки чувство своей земли, поскольку я с постоянными «извините» и «будьте любезны», казалась хорошо сгибаемым персонажем.

— Вот что, Фрося, — прорычала я нижними регистрами глотки, припоминая брань из советского кино. — Если ещё раз на мою землю ногой наступите, будете всю оставшуюся жизнь на лекарства работать. Ясно? У нас в Москве так принято, если кто на чью землю полез, то прямо той косой бьют по голове! И ни

один сельсовет не заступается!

Я сузила глаза до гнусных щёлочек и грудью пошла на Фроську, как это делали в разборках местные бабы. Конечно, если бы Фроська меня толкнула, я бы летела до соседнего села, но она испугалась напора и пятилась, пока не оказалась на дороге, причитая про жадность москалей на травку для коровы. Улица Паланка одобрила моё поведение, яростно обругав «Фроську-пьяничку». При моём проигрыше, естественно, было бы наоборот, поскольку паланчане беззаветно присягали на верность сильному.

В первое же лето я объелась украинской экзотики, захотела праздности интеллигентских дач и вернулась в Москву с агитационной пропагандой о том, что необходимо создать в Пастырском новое Переделкино. Хотя на самом деле мне хотелось не Переделкина, где классики бродят по аллейкам, изображая творческий кризис, и обсуждают, как вчера пили и трахали официанток или жён других классиков.

Глава 23. АУРОВИЛЬ ПО-ПАСТЫРСКИ

Как у всякой романтической идиотки, у меня была мечта-идея о городе солнца. Давным-давно я узнала об индийском городе, находящемся недалеко от Бенгальского залива, по имени Ауровиль. Я была поклонницей Шри Ауробиндо, утверждающего, что совершенное общество не может быть создано или состоять из людей, которые сами несовершенны. Я знала, что Ауробиндо и его ближайшая соратница, француженка Мира Ришар, построили совершенный город. Мира Ришар написала идеологический концепт; лучший ученик Корбюзье, Роже Анже, разработал архитектурный план города; и 28 февраля 1968 года собравшиеся из разных стран пятьсот людей начали жизнь в Ауровиле.

Городская архитектура сочетала в себе дерево, стекло, камень, металл и тростник. В городе не существовало фамилий, женщины рожали в своих домах, автомобили были запрещены, а их место занимали велосипеды. Жильё строилось на деньги общего фонда, новому жителю давался годовой испытательный срок на этические правила, принятые здесь, в жизни города использовались только экологически безопасные технологии, например газ добывался из закваски биомассы от отходов ферм.

Это не было академгородком, это не было сектой. Это просто было место, в котором приличные люди договорились жить по приличным правилам.

Короче, я решила устроить в Пастырском Ауровиль и с удовольствием расскажу, что из этого получилось.

Первым приехал кинодраматург Аркадий Сарлык, тот самый член профкома драматургов, что попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое хождение спиной вперёд. Он купил хату, половина крыши которой была шиферная, половина соломенная с дырками. Привёз симпатичную очередную жену, маленькую дочку, пишущую машинку, гитару и гирю. Себя, машинку, гитару и гирю он поселил под шифер, остальных под дырявую солому.

Мы были для селян парой непонятной. «Честные люди целое лето отдыхать не могут», — твердили они мне с укоризной. То, что Саша певец и на лето просто отказывается от гастролей, сомнению не подвергалось, поскольку он орал оперные арии на все окрестные поля. Со мной было сложнее: молодая, ничего не умеет, на работу не ходит. Ясное дело, спекулянтка. Но спекулянтов уважали только тогда, когда от них был толк в виде пёстрых клеёнок, календарей с котятами и конфет в ярких фантиках. Я выглядела как подлая спекулянтка, которая вместо того, чтобы думать о том, как чего хорошего привезти из Москвы соседям, расхаживала в длинном платье и широкополой шляпе по саду, писала что-то в тетрадку и врала, что работает писателем. Ежу было понятно, что писатели такими не бывают.

Вот Аркаша Сарлык в глазах села был настоящим писателем. Во-первых, мужик. Во-вторых, имел бороду. В-третьих, пил водку и травил байки. В-четвёртых, с комплексом стареющего супермена, например, в светской беседе с Сашей вдруг делал рекламную паузу.

— Спорим, больше меня на одной руке не подтянешься?

И они, как два малолетних идиота, забыв об обсуждаемом предмете, шли искать дерево и соревновались до полного изнеможения. Аркаша был из тех, кто до глубокой старости ищет себя то в искусстве, то в браках, то в спорте, то в путешествиях, то в бизнесе, то в приколах. Он всё время рвался к «настоящей жизни», но совершенно не представлял себе, что это такое. В финале обитания в селе Аркаша взял байдарку, посадил в неё малолетнюю дочку и поплыл по Днепру в Чёрное море. Доплыл он до моря или только доехал до станции, мне неизвестно; но на следующий год отдыхать не приехал, и старики на Паланке приняли решение, что «сам утоп, да и дытинку утопил, окаянный», и долго плакали. Поскольку мир за пределами села не существовал, то мне было довольно трудно убедить стариков, что все живы, а Аркаша охотится в данный момент на кенгуру в Австралии. Старики обиделись.

— На шо ж ему те кенгуры, прости господи? — сокрушался

Христофорыч. — Зайцев у Пастырском як грязи пид ногтями! На шо ж он у ту Америцу поихал?

— Не в Америку, а в Австралию, — уточняла я.

— Я ж и казал в Америцу. Шо я не знаю, где та Встралия? Я у самом Берлине ще на войне був! — прояснял Христофорыч.

Вторым приехал поэт-песенник Володя Шилёнский. Он изколесил всё Пастырское и купил за триста рублей развалюху в хуторе Свинолуповка, очаровавшись названием. Его хватило на один сезон, и свинолуповская фазенда, видимо, пала под натиском дождей и лопухов. Потом появилась художница Оля, когда-то частно обучавшая моих сыновей изобразительным искусствам. Она привезла хахаля, литератора полупатриотического разлива, и купила на свои деньги, но на его имя дом. Потом бросила хахаля. А потом бросила дом. Инициированная мной русская экспансия в Пастырское продолжалась.

Долго приглядывала дом моя подруга Лариса. Её логика была непонятна, она моталась в соседнее село, шастала по придорожным улицам, а возле моего стоял весёленький пустующий кирпичный дом Василя Собачки. Лариса то поселялась в огромном неотремонтированном доме у шоссе, варила варенье из хозяйских фруктов, потом передумывала и уходила. То вела переписку с москвичами, хозяевами конурки на Паланке, то селила у меня дочерей. То приезжала с придурочным мужем утренним поездом, он стирал носки, вешал их в саду, потом устраивал Ларисе скандал и уезжал без носков в Москву. То вела беседу с Христофорычем, что будет у него каждое лето снимать, а потом получит его дом по завещанию. Когда дом Василя Собачки приехали смотреть покупатели и их всё устроило, Лариса наконец приняла решение, и мы всей Паланкой бросились умолять Василя продать дом Ларисе. Василь согласился, несостоявшиеся покупатели специально приезжали, чтоб нас обматерить, а Лариса стала соседкой. Однако планы о том, как мы снесём общий забор, а вместо него посадим аллею роз, по которой будем ходить друг к другу в гости, начали потихоньку таять. Поселившись рядом, мы вдруг увидели, что живём совершенно по разным законам в совершенно разных мирах. Первым делом Лариса поселила в доме мать, чтобы на какое-то время освободиться от неё. Более злобного существа, чем эта маленькая полуслепая старушка, я не видела никогда в жизни.

Долгое время я считала её беспомощным существом и пыталась вовлечь в семейные приёмы пищи. Мы часами зазывали

её за замечательно сервированный под грушей стол, считая неудобным начать трапезу без брошенной старушки. Она появлялась, с критикой и отвращением съедала предложенное и доставала всех за едой так, что пища уже ни у кого, кроме неё, не усваивалась. Вспомнив, что я отдыхаю со своей семьёй, а не работаю в богадельне, я отменила совместные трапезы.

Вскоре Лариса привезла матери младшую дочь, четырнадцатилетнюю куклу, ходившую в сельпо за хлебом в короткой юбке, огромном декольте и чёрных ажурных чулках. И понеслось. Несмотря на визуальный ряд, подтверждавший полную готовность к употреблению всем мужским населением села, это был ребёнок, которого сдали охранять злобному провокатору, формально являвшемуся бабушкой. Мы терпели, пока из соседнего сада несся их мат-перемат; но когда девочка прибежала, рыдая и жалуясь, что старуха запустила в неё молотком, я посадила её в доме и объявила, что отдам только Ларисе. Старуха в ярости носилась по нашему саду, обещая поджечь дом, побить окошки, и голосила, что со своей внучкой что хочет, то и делает. К ночи девочка сказала низким голосом:

— Тёть Маш, я пойду. А то она правда подожжёт, я её, суку, знаю.

— А если она опять в тебя чем-нибудь бросит, она же психически не здорова? — спросила я.

— Да я тогда её ногой в живот, в окно выпрыгну, и к вам, — ответила девочка.

Всю ночь прислушивались, не происходит ли чего опасного у соседей, а утром проснулись от старухиных воплей.

— Девчонку убили! Скажите хоть, где закопали, где поплакать старухе, что девчонку не уберегла!

В холодном поту мы выскочили на двор, где старуха билась в истерике. Она пыталась бросаться на нас: девочка с утра исчезла, а мы и есть подозреваемые в убийстве и закапывании. Пришлось дать обыскать дом и чердак. Через час ребёнок появился с прогулки всё в тех же ажурных чулках на тридцатиградусной жаре и в той же символической юбке, и необходимо было снова охранять его от бабкиного членовредительства.

А к вечеру был новый спектакль. Гипотетически я понимала, что жизнь в семье может быть и такой, но близко никогда этого не видела. Мне казалось, что старуха внезапно свихнулась, что возле неё девочка в опасности и что обеим должна быть оказана немедленная помощь. Мы пошли к местному врачу, он диагностировал синильный психоз и сказал, что заверит телеграмму дочери. Лариса примчалась на следующий день. Была очень обижена, заявила, что я цепляюсь к её матери, что вообще

жизни не знаю и ничего такого тут нет. Забрала девочку и уехала. И только тут со стыдом и ужасом я поняла, почему она искала дом подальше. Потому, что они всегда, каждый день жили так.

А тут приехала некая Галя с дочкой. Галя была едва знакомой мне светской дамой. Но на безрыбье сельского отдыха мы назначили её близкой подругой и носились с ней как дурак с писаной торбой. Галя была мила, остроумна и непропорционально много говорила о своём дворянском происхождении. Она искала себе дом, планировала, как проведёт в него водопровод, поставит самовар и посадит вокруг цвет российской интеллигенции. Это была нежнейшая маниловщина, поскольку битва с бытом составляла половину сельского отдыха. Но Галя не задерживала на этом взор. Как-то она варила абрикосовое варенье в тазу на уличной печке, томно помешивая его веточкой. На двор вошла Мария. Вид Гали с маникюром в белой блузке шокировал её так сильно, что она не сразу глянула на абрикосы, а потом завопила:

— Шо ж ты, девка, глядишь? Вин же ж горыть! — столкнула таз в траву, мгновенно унеслась и прибежала с пригоршнями чего-то тёмного, чем намазала дно таза. — Треба мазать, кады абрикосу томишь!

— А чем это вы намазали? Это какой-то местный секрет? — умилилась Галя.

— Нимае секрету. Козячим гивном, — объяснила Мария. Галя глубоко побледнела.

Всё было славно. Галя присмотрела участок себе и дом сестре. Загорела, выпасла прелестную дочку, которая, бедная, по жизни назначена была играть мамину королевскую свиту, из-за чего сильно запаздывала с собственной биографией. Всё шло как надо, но Галя не умела вести себя около моего мужа. Конечно, понятно: солнце, фрукты, организм вырабатывает много витамина Е, а рядом ходит красивый мужик в одних шортах, тогда как все остальные мужики — пейзане. Я относилась к этому без эмоций, поскольку ни по типажу, ни по возрасту, ни по внешним данным Галя не входила в «группу риска» моего мужа. Она не была рекламно красива, не была хватающим за горло бульдогом и не была полной сироткой. Эти три амплуа действовали на него безотказно, а Галя строила архитектурно безжизненный флирт и была очень неуверенна в себе как женщина. Короче, всё, что она делала, «для цирка было тонко».

За Галей появилась лицейская преподавательница наших детей, назовём её Жанна, с двумя совершенно невоспитанными

отпрысками. Конечно, я сама была виновата, позвонила перед отъездом, что сыновья начнут учиться не с первого, а с двадцатого сентября, а она пожаловалась, что сорвались летние планы, и её дети на всё лето в Москве. У меня было чувство вины за своё украинское имение, и я пригласила всю компанию. Старший отпрыск ежедневно и сладострастно доводил маму до публичной истерики: запершись в деревянном туалете, по ночам с фонариком читал Тору и всё время обещал уехать в Москву. Младшая днём сидела под кустом ягод, сметая их, по-моему, вместе с листьями и ветками, а вечером мучилась животом и пила таблетки. Всё, что я готовила, заранее вызывало у неё отвращение. Жанна намекала, что у девочки строжайшая диета, но вставать к плите не рвалась, словно наняла меня в кухарки.

Жанна была филфаковка второго сорта, из тех, что преподают детям не потому, что любят их или умеют с ними общаться, а потому, что не состоялись как учёные. Она бесконечно ныла, жаловалась, была всем недовольна, генерировала у окружающих чувство тоски и требовала ежесекундного утешения за то, что у неё такие чудовищные дети. Вечером, когда гости ложились, мы собирались в своей комнате на семейный совет, обсуждая, как спасти золотые дни отдыха. Выход был найден, когда заметили, что у Жанны трепетные отношения с самогоном. Выпив рюмку, она обязательно громко сообщала, что это лучшее лечение для её язвы и переставала ныть. Боже, как стало хорошо. За завтраком мы говорили о лечении язвы и наливали ей самогона… Они достали нас так, что, когда мы сажали их в машину ехать на вокзал, не могли скрыть радости и устроили на следующий день праздник освобождения.

Истории дачных визитов я рассказываю так подробно потому, что за Пастырским закрепилась дурная слава: пожив там, люди прекращали московские отношения. Считалось, что во всем виноват пастырский климат, и многие боялись приезжать в гости.

И вот, наконец, соблаговолила приехать моя литинститутская подруга испанка Лена Эрнандес. У нас был промежуточный близкий персонаж — поэт Рафаэль Левчин. Я являлась ему боевой подругой по поэтическому цеху, а в Эрнандес он был влюблён. Рафаэль принадлежал к поэтам моего поколения, лидерами которых стали Александр Ерёменко, Иван Жданов и Алексей Парщиков. Стихи писал дивные, но не имел везухи.

Мы не успевали общаться с Эрнандес в институте, хотя мне она была очень интересна. Серьёзная, возвышенная, отлично образованная литературоведка с очень пружинистой походкой.

Потом я увидела её в спектакле Александра Демидова «Ромео и Джульетта», где она была занята как пластическая актриса. Потом узнала, что она работает в театре Мицкявичуса. В моём сознании это плохо совмещалось, потому что я ещё не знала, что Эрнандес универсалистка.

В перестройку на канале «2х2» крутили популярный клип с цыганским танцем. Опознав в солистке однокурсницу из Литературного института, работающую в Центральном государственном литературном архиве, я не знала, что и подумать.

— Тут по телевизору ты вроде чего-то пляшешь? — спросила я её по телефону.

— Работаю цыганкой в ансамбле «Джанг», — пояснила она.

Биография Эрнандес была тяжёлой и таинственной. Она родилась в Толедо, училась в школе при католическом монастыре, трагически потеряла отца и брата, попала в Россию с мамой в четырнадцать лет, жила в академгородках по рабочим назначениям отчима, говорила на всех европейских языках, занималась карате, всё время выходила замуж за кого-то непонятного и рожала дома.

Когда она десять лет тому назад сообщила мне, что будет рожать в ванной, я орала как резаная. Сроки подходили, я бесновалась, а она твёрдила: «В советский роддом — только под дулом пистолета».

— Слушай, у меня тут схватки начались так не ко времени, я как раз ванную оклеиваю новой плёнкой. К тому же воды как назло нет, — позвонила она. Квартира Лены была на двадцать первом этаже, и напора воды всё время не хватало.

— До меня успеешь доехать? — испуганно спросила я.

— Да ты что? Зачем я тогда ванную оклеивала?

Через несколько часов она родила замечательную девочку Варю и носилась по дому, а муж звонил дружкам по телефону, рассказывая, как «они рожали», пока не упал спать от усталости. Через два дня Лена уже ставила танцы в одном из московских театров.

Опыт ей понравился, года через два она скова забеременела и снова начала оклеивать ванную. Захожу как-то, Лена мечется между стиркой, уборкой, готовкой и телефоном и говорит: «Смотайся, пожалуйста, в загс, подай заявку с моим мужем».

— В каком смысле? — спрашиваю я.

— Я подумала, может, хватит детей вне брака рожать, выйду замуж на всякий случай. Самой мне некогда, хрена они поймут, ты или я. Волосики на щёки надвинешь побольше и скажешь, что сильно на морду поправилась. А мне тут достирать надо, ребёнок

и собака негуляные.

Я поехала подавать заявку с её мужем. В машине начала листать паспорт. В паспорте были три брака и три развода, он был залит красным вином и изжёван по краям то ли собакой, то ли ребёнком. Я поняла, что с таким паспортом непременно попаду в милицию.

— Юра, — может, повернём обратно? — пугливо попросила я.

— Лена сказала подать заявку, значит, надо подать заявку, — ответил её дрессированный муж.

Слава богу, загс оказался закрытым. А Эрнандес, второй ребёнок которой скоро пойдёт в школу, до сих пор некогда выйти замуж за отца своих детей.

Итак, Эрнандес озарила Пастырское своим приездом. Поскольку у неё в жизни всё происходило вверх ногами, то она отправила мужа в машине с прицепом, загрузив его буфетом, холодильником, швейной машинкой, посудой и прочими приметами отнюдь не пастырской жизни. А сама купила целое купе, засунув туда беременную себя, Варю, собаку и домашнюю утварь, не влезшую в машину с прицепом. Муж, конечно, опоздал к её приезду на двое суток, поскольку плохо усваивал пространственно-временные обязательства. Нам Эрнандес даже не дала телеграммы, материализовавшись на такси, выгребшем все деньги, с Варей на руках, у которой была температура сорок.

Мы давно не удивлялись происходящему с ней. Например, в Москве в лифте собственного дома её пытался изнасиловать крупный господин, невзирая на беременность и Варю в коляске. Лена долго увещевала господина отказаться от своих намерений, потом аккуратно дала ему ногой в причинное место (она какое-то время преподавала карате), спустилась вниз к консьержке, попросила, чтоб лежащему в лифте мужчине вызвали «скорую», и отправилась гулять с ребёнком.

— Я старалась бить не сильно, — сказала она потом. — Но детей после этого у него точно не будет. Я думаю, это справедливо.

Так что от Эрнандес в нашей семье ждали чего угодно, а дети называли её «ниндзя». Погасив Варину температуру без помощи лекарств — а у Лены всегда были свои колдовские приёмы оздоровления — она начала искать дом. Собственно, был договор с москвичами, что купит их задрипанный дом на Паланке, но осмотр оскорбил её эстетическое чувство. А тут насела Ларисина мамаша и начала всучивать их дом. Дом был красивый и начинался от моего забора, Лариса уже многократно объясняла, что жить в нём не будет, так что всё сходилось. Эрнандес переселилась в него и начала наводить марафет с целью в

октябре оформить сделку.

Прелестная хатка, превращённая старухой в грязный сарай, мгновенно засияла. Появились элегантные занавески, клетчатые скатерти, керамическая посуда, качели, гамак. Зацвёл палисадник, был вычищен колодец, в который вернулась вода, и т. д.

В доме запахло кофе и флоксами. Лена извращалась до того, что, везя Варю в коляске купаться в пруд, брала с собой плетёную соломенную корзинку с бутербродами в матерчатых салфетках и вычесанного болонистого Ноню с бантом. Учитывая стирку и мытьё посуды колодезной водой, это было не слабо. Я, не отличавшаяся отсутствием трудового темперамента, совершенно не понимала, как она успевает делать в десять раз больше меня. Просто палящее солнце, вынимающее из меня всю душу, было для неё витамином и родным естественным климатом.

Но жизнь в изысканном интерьере не ладилась. Пятилетняя Варька рыдала ночи напролёт, всё время от чего-то отмахивалась и что-то с себя стряхивала. В глазах был страх, причины которого она не могла объяснить. Старухи велели пойти к колдунье бабе Саньке на другой конец села; баба Санька налила банку воды, разбила в неё куриное яйцо, смотрела, плевала и бормотала. Потом объявила, что Варя в порядке, но дом порченый, что Лариска уже приходила к ней, жаловалась, что в доме спать невозможно, по ночам черти бегают. Мне показалось странным, что Лариса скрыла от всех поход к бабе Саньке. Я не особенно мистична, но что-то в этом было. Всегда было неприятно ходить мимо дома ночью. Эрнандес, будучи католичкой, немедленно крестила Варю в соседнем селе, взяв в крёстные певунью Ганну и Христофорыча.

Немного полегчало, но стало казаться, что находящиеся в доме потихоньку свихиваются, и, приходя к Лене на кофе, я нервно озиралась по углам. Когда однажды она ворвалась к нам в шесть утра с криком: «В Москве переворот! Вернулись коммунисты! Горбачёв убит!» — мы, естественно, решили, что жизнь в порченом доме дала обширные результаты. Глаза у неё были как у тяжёлого психиатрического пациента. Она трясла меня и требовала, чтоб я нашла в приёмнике радио «Свобода». Я с ужасом подумала, что история с Ларискиной мамашей повторяется, и кому же теперь давать телеграмму, заверенную врачом. Но тут Саша поймал радио «Свободу», мы превратились в точно таких же пациентов и начали носиться по селу. Билетов в Москву, естественно, не было. В конце августа по трассе Одесса—Москва нельзя было выехать ни с какой взяткой.

Аборигены относились к этому без всякого интереса:

— Так и надо Горбачёву-подлюке, вин нам крупу по талонам зробил! Нехай посидит, нехай сэбэ подумает!

Только когда низко над нами полетели военные вертолёты, старухи заплакали и заголосили: «До помоги!», что означало «до победы», хотя не силились понять, кого над кем. Три дня мы вжимались ушами в приёмники, тряслись, молились, спорили и ссорились. Ещё перед поездкой в Пастырское я обещала одной режиссёрше инсценировать «Капитанскую дочку» и лежала в саду под яблоней, излистывая Пушкина в клочья. А тут по киевскому радио некто Гринёв, пока ещё все украинские власти воды в рот набрали по поводу путча, вдруг говорит: я, мол, присягал президенту, ему и буду служить, а ваше, типа пугачёвское, ГКЧП в гробу видал. Просто сюр какой-то. Думаю, зачем инсценировать «Капитанскую дочку», когда она уже играется на такой сценище?

А ещё были грустные мысли. Садились, разливали горилку и обсуждали, что если гэкачеписты победят, и всех начнут сажать, как было обещано, то мы просто не вернёмся в Москву, а устроимся все в сельскую школу. Я буду преподавать литературу, Саша — музыку и пение, Эрнандес — танец и физкультуру, её муж — компьютерное дело. Вырастим новое поколение, и оно точно уже свергнет коммунистов.

Но прошло три этих ужасных дня, и мы начали праздновать победу. В селе на нас косо посматривали, поскольку не понимали, кто кому проиграл…

Едва зализали раны, нанесённые путчем, как в Пастырском случилось новое событие. Ровно через неделю Эрнандес снова влетела к нам в шесть утра с горящим взором:

— Лариса прислала в дом беременную бабу с четырьмя детьми, пьяным мужем и беременной овчаркой. Они требуют, чтоб я выметалась.

Я поняла, что соседский дом надо срочно освящать, а Эрнандес — лечить.

— Сядь, успокойся, — попросила я спросонья. — Я не поняла, кто беременный?

— Баба и овчарка. Не веришь, пойди посмотри!

Я подумала, что если разделить на три, то Лариса действительно могла прислать каких-то людей с детьми и болонкой. Но почему в дом, который уже практически отдан Лене? Пока я занималась подобной математикой, компания материализовалась во дворе именно в описанном Эрнандес составе и качестве.

Алкашного вида молодые — мужик и изо всех сил беременная баба, бледные плохо одетые недокормленные дети пионерского возраста и кривоногая, волочащая пузо по земле

овчарка. Просто обличительное полотно из жизни трущоб.

— Здравствуйте, — сказала гостья. — Вам Лариса записочку прислала.

В записке было о том, что она посылает семью, у которой сложности, и просит меня оказать всяческое содействие. Писала, что понимает, что дом занят Леной, и просит как-нибудь разместить гостей.

— Какие милые ребятишки, — сказала я сквозь зубы, заметив, что дети без разрешения ташат всё, что попадается под руку, а овчарка писает на мои любимые цветы.

— Да, — сказала гостья, поглаживая живот. — Мы с мужем решили, что у нас будет детей столько, сколько бог даст.

И муж, пьяно икая, кивнул лохматой головой.

Мы посовещались, и Лена отправила компанию в домик москвичей, в котором сама собиралась жить. Как испанская интеллигентка, отнесла туда все имеющиеся продукты. Даже бегала через всю улицу с кастрюлей каши для четырёх детей, что не помешало им в этот же день обокрасть соседские сады и подвалы, а беременной овчарке загрызть пару чужих кур. Это было шоком для местных: взрослых жестоко наказывали за воровство, прецедентов детских краж до этого никогда не было, а собаки, за исключением нашего умного Поля, сидели на цепи.

Муж Эрнандес посадил беременную гостью в машину, повёз звонить Ларисе в Москву, и вроде был достигнут компромисс: новички поживут в домике москвичей, а семья Лены останется в Ларисином. К вечеру гости напились и поведали, что Лариса крутит серьёзный обмен, в который включено их жильё. И ей надо семейку где-то передержать, чтоб потом подселить к одинокой старушке, которая быстро от этого соседства загнётся, и всем будет хорошо. Мы похолодели.

А потом, видно, порченый дом сам решил включиться в игру. Утром я снова проснулась от диких криков. И, выбежав на двор, увидела двух своих ближайших подруг, выпускниц Литературного института Лену и Ларису, бьющими друг другу морды по всем правилам пастырского женского боя. Их пытался разнять муж Лены, а со своих земель уже неслись старухи, и в этой кашемале воплей и обвинений ничего нельзя было понять.

В таком кино я ещё не снималась: Лариса кричала, что Лена вышвырнула её из собственного дома и избила, а Лена кричала, что Лариса предварительно ворвалась в дом с криками «Вон!» и начала сбрасывать спящую Варьку с кровати. Зная обеих, я безусловно приняла сторону Эрнандес. Лариса последнее время занималась квартирным бизнесом, и психика её, надорванная матерью-садисткой, мужем-придурком, тяжёлым переходным

возрастом дочек и сложной работой, не выдерживала. С ней происходил стандартный для новых русских адаптационный психоз, когда сил на выживание не хватает, человек перестаёт «фильтровать базар» и ему начинает казаться, что «всё можно». Такие вещи обычно проходят через несколько лет успешной работы в бизнесе, но ни Лена, ни её дочка Варя не обязаны были это глотать и усваивать организмом. Я какое-то время пыталась прощать, но это был мой частный выбор, продиктованный любовью к Ларисе и пониманием её трудной жизни.

Услышав, что она приехала выселять Эрнандес из дому, потому что передумала, и в нём будут жить целый год те, кого она прислала, потому что её больше не интересует продажа дома, а интересует удачная сделка с их жильём, я поняла, что Лариса заигралась. Моя близкая подруга начала играть в людей и деньги, а от таких вещей у меня внутри всё покрывалось толстой коркой льда.

Вытерев кровь с лица, Лариса потребовала, чтобы в двухдневный срок дом был освобождён Леной, и уехала вечерним поездом. Эрнандес, месяц мывшая и чистящая авгиевы конюшни, начала собирать манатки и переселяться в домик москвичей, который буйные адвентисты — а они заявили, что они адвентисты — успели загадить с невероятной быстротой. Они били сырые яйца на скатерть, использовали в качестве салфеток занавески, а кастрюлю, в которой Лена носила им кашу, любовно накрытую белоснежным полотенцем, использовали как детский туалет. Их агрессивная нечистоплотность не была мотивированной, просто они так осваивали любое пространство.

Эрнандес начала искать другой дом. А адвентисты начали загаживать Ларисин. Дополнительный секрет их приезда состоял в том, что в селе была сильная адвентистская община, которой они собрались сесть на шею, поскольку в Москве кормились аналогичным образом. Но город большой, а в селе ничего не скроешь. В первую же неделю старушка-адвентистка, припёршая мешок еды к калитке ларисиного дома, услышала страшные вопли. Подкралась к окошку и узрела, как беременная мамаша избивает детей чем попало. На старушку это произвело такое впечатление, что она понесла мешок обратно и сообщила своим, что это никакие не адвентисты, а просто сволочи.

Приток еды кончился. Многодетный папаша, напившись, лежал в луже возле магазина. Беременная мамаша рвала и метала. Дети уже украли, что могли, а привязанная овчарка выла на луну и солнце. «Адвентисты» объявили всем, что Лариса их обманула, что в доме оказалось во много раз меньше комнат и постелей, чем было обещано в Москве, что хохлы злые, климат

ужасный, и вернулись в столицу. С Ларисой мы больше не встречались. Я очень люблю её, но боюсь, что та Лариса, которую я люблю, осталась в прошлом, потому что слишком дорого заплатила за свою финансовую успешность.

Короче, село уже давно перестало обсуждать латиноамериканские сериалы, поскольку московские дачники затмевали их сложностью интриг.

Глава 24. ПЕРЕСТРОЕЧНАЯ МОЗАИКА

Я активно участвовала в войнах молодых литераторов с Союзом писателей, и Владислав Листьев предложил дать интервью «Взгляду» о том, что молодые думают о мохнатых и махровых, всё захвативших в литературе. Я была чрезвычайно горда, привела друзей, и мы долго распинались перед камерами, поливая правление СП. В тот день, когда программа «Взгляд» с моими текстами должна была выйти в эфир, на улице подвалил псих с фотоаппаратом.

— Слушай, ты, девчонка. Я тебе предлагаю сняться. Я лучший фотограф страны, — и он зашуршал журналами со своими фотографиями.

Тон, которым он объяснялся, был чудовищным, и в сочетании с фактом, что меня снова клеят как лицо и тело, хоть и для фотосъёмки, привёл меня в бешенство. Я объяснила, что подобным образом уважающие себя люди не разговаривают. Что я не фотомодель, а мать двоих взрослых детей, маститая писательница, и если он ставит это под сомнение, пусть включит вечером «Взгляд». Но псих с фотоаппаратом был непробиваем, обещал гениальные фотографии и звал в студию. Фотографии были безумно нужны для публикаций, и я оставила ему телефон.

Вечером все мои знакомые приникли к телевизору, а когда «Взгляд» благополучно кончился без моего интервью, раздался телефон психа с фотоаппаратом.

— Ну, что, девчонка, хрена ты меня заставила эту фигню смотреть? Приходи завтра в мастерскую, я из тебя сделаю фотомодель, пока у тебя ещё морда работает. А то, писательница она, гляди-ка ты. Интервью с ней телевидение делает!

Крыть было нечем, я пришла в мастерскую. Какая-то забитая девочка сделала мне макияж, я села под лампы, псих с фотоаппаратом поставил свет и начал монолог:

— Что это ты так вырядилась? Что это за футболка? Что это за стиль? У тебя что, приличной блузочки что-ли нету? Такой романтической с оборками? И глаз у тебя какой-то замыленный… Ты смотри в объектив, как будто ты меня хочешь! А то получится диетический кефир! Что это у тебя за мешки под глазами? Может, тебе почки проверить? И запомни, ты теперь фотомодель, значит, обязана высыпаться. Твоя харя — твои заработки! — Это уже было слишком, я встала, чтобы уйти, в глазах у меня чуть не блестели слёзы. — Стоять! — заорал он и защёлкал затвором. — Вот такой ты мне и была нужна.

Я выкупила фотографии, они действительно были великолепны, и больше не встречалась с психом, хотя в течение года он звонил раз в месяц. Слышала, что он эмигрировал в Штаты и сделал карьеру. А к фотомоделям до сих пор отношусь с жалостью.

Общение с фотографом снова напомнило мне практику в Театре на Таганке, куда я была отправлена на четвёртом курсе Литинститута. Волновалась, переступая порог «святая святых», обожествляла каждый кирпич здания, пока не попала на репетицию. Любимов разминал «Самоубийцу» (это было перед его отъездом), унижая, довёл великолепную Марию Полицеймако до слёз, а когда она пыталась выбежать, тем же тоном остановил: «Вот такая ты мне и нужна в этом куске!».

Муж Ритки водил нас на закрытые экологические тусовки, где жонглировали цифрами, ругали коммунистов и диагностировали экологические катастрофы. А потом увидела душераздирающую передачу о детском доме и переместила пафос туда. Нашла детский дом на Нахимовском проспекте, с молодым интеллигентным директором, и предложила ему свои силы. Он к предложениям был открыт, и я начала таскать туда знакомых детских писателей, музыкантов, артистов. Когда никто не вытаскивался, просто читала вслух книжки. Боже, как эти дети слушали, какие у них были лица! Но как только я перестала кайфовать от собственного благородства, я поняла, какая я идиотка. Детский дом был чёрной дырой, ему бессмысленно было посвящать свою жизнь и оптом, и в розницу, потому что сама логика существования подобной структуры аморальна. Брошенные и сбежавшие дети должны немедленно раздаваться в семьи.

Если б вы слышали, как начал разговаривать с детьми персонал, попривыкнув ко мне! Содрогнулась даже я, прошедшая через специнтернат. Все эти видики в каждом классе и американские конфеты к каждой еде ничего не меняли, любого из этих детей должна была откачивать для нормальной жизни долгое время целая семья. Соединив вместе, совок лишь помножил их проблемы друг на друга.

С детства я твердила молитву про силы, чтобы делать то, что могу, мужество, чтобы не делать того, чего не могу, и мудрость всегда отличать одно от другого. По этой логике, мне всю молодость не хватало мужества и мудрости. Я бралась за неразумно большие дела и только к зрелости поняла, что сил у меня ровно на то, чтобы немного вычистить себя и решить проблемы близких. И что если это поймёт каждый, то

человечество цивилизуется гораздо быстрее, чем в пафосе глобалистских проблем. Как говорил Серафим Саровский: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи».

Но перестройка пьянила, и мы все носились с самыми странными идеями спасения человечества и его отдельных представителей. Например, сразу после землетрясения в Армении мы с мужем решили усыновить двух армянских девочек, мальчики же у нас были. Сыновья радостно согласились. По молодости это казалось естественным, квартира была большая, денег хватало. Сейчас я бы сильно задумалась, но тогда это не казалось проблемой. Я была обеспеченной, социально невостребованной, молодой, энергичной, с домохозяйско-педагогическими задатками. Подруги шутили, что мне, чтобы не изменять мужу, нужно иметь по крайней мере десять детей. Я начала звонить в штаб, нашла главного по гипотетическому усыновлению, втёрлась в доверие, объяснила, что мы певец и писательница, что у нас замечательные дети, значит, можно доверить ещё двоих. Он задавал вопросы и записывал подробности в журнал.

— Члены партии? — спросил он.

— Ни в коем случае, — сказала я.

— Жалко, — ответил он.

Но армяне отказались отдавать своих детей на усыновление в Россию, а я спустя какое-то время оказалась именно в этом штабе, в качестве журналиста. Взяв интервью у парня комсомольского разлива, я спросила, много ли народу просило детей.

— Да, я как раз этим занимался, — откликнулся парень. — Два журнала исписал, сейчас покажу, — и достал две толстенные амбарные книги.

Я начала листать. И даже увидела собственную фамилию, доход семьи, наши профессии, адрес, возраст детей, и… замерев, «члены КПСС».

— Как же так? — спросила я парня, ещё не понимая, горько это или смешно. — Я лично сюда звонила, я лично о себе сообщала данные, а здесь написано — члены КПСС?

— Я всё сам заполнял. Наверное, вы мне понравились, — улыбчиво сказал парень.

— Зачем же вы написали, что мы члены КПСС? — всё ещё не въезжала я в соцраспределительское сознание парня.

— Как зачем? — удивился он. — Членам КПСС подобрали бы что получше.

Социализм продолжал сползать и разлагаться, руководители

межрегиональной депутатской группы стали популярны, как группа «Квин», а заседания парламента шли по телевизору как детективный сериал. Я начала собирать рекомендации в Союз писателей. Мой вид всегда портил судьбу текстов, я не вписывалась в образ молодой писательницы: мало пила, не была профессионально несчастна, выглядела благополучно, имела достойную семью, вела активную сексуальную жизнь не с полезными людьми, держалась независимо.

Видя меня до моих текстов, люди либо раздражались, либо начинали тащить в постель, а я была нервная чистоплюйка и решила, что классики, у которых хочу взять рекомендацию, увидят меня только после прочтения рукописи. Опыт был удачный, я получила замечательные рекомендации от Андрея Битова, Михаила Рощина и Леонида Зорина.

И, сдав документы в Союз писателей, отправилась с семьёй на перекладных в Англию — провентилировать, не оставить ли детей учиться на Западе. Но до этого вместе с компанией молодых драматургов попала на девятое Всесоюзное совещание молодых писателей. Холст, на котором в каморке папы Карло был нарисован очаг, уже трещал по всем швам, но писательская номенклатура этого не видела и не слышала. Точнее, слышала, но ждала, когда дадут инструкции, как себя вести, а инструкций всё не было.

Наша компания быстро наваляла письмо типа «Мы, молодые литераторы, считаем деятельность «Союза писателей аморальной…»

Написав бумагу, начали собирать подписи, и, надо сказать, процентов пятьдесят участников с готовностью подписались под текстом. Мы планировали зачитать письмо на закрытии, при стечении перестроечной прессы.

Меня пригласил выпить кофе влиятельный литературный чиновник, спавший почти со всеми отечественными авторессами перед их приёмом в Союз писателей. Мы были с ним знакомы ещё с моей работы в Союзе писателей, он считал меня «своей», никогда не делал стандартных предложений и вообще неплохо ко мне относился.

— Послушай, — сказал он. — Мне обидно. У тебя всё только начинается. До меня дошло, что это ты крутишь всю эту компанию. Остановись, подумай, отойди от истории с этим письмом. Оно никому не навредит, кроме тебя. Твои документы сейчас лежат в приёмной комиссии, я в них глянул. У тебя отличные рекомендации. Битов, конечно, не фонтан, вокруг него всегда какие-то сомнительные истории, но Зорин — это ж наш человек. И Рощин — живой классик. Не путай себя со всей этой

голытьбой. Они с чем приехали, с тем и уедут с совещания. У тебя другие погоны — идёт спектакль, отличные рецензии прессы, ты вступаешь в союз, мы тебе делаем книжку в Совписе (издательстве «Советский писатель»). Ты — молодая девчонка и уже состоялась.

Выражение «состояться», аналогичное нынешнему «крутой», означало тогда ступеньку, на которой тебя подпускали к писательским благам, так сказать «к закромам Родины». И, надо сказать, сей чиновник отговаривал меня не из цеховой потребности замять письмо, это был не его участок работы. Он искренне хотел помочь заблудшей овечке как старший товарищ.

Совещание подходило к концу, начальство нервничало. Мы решили, что зачитывать текст должен не москвич, а провинциал. Им захотел быть замечательный парень из Одессы, фамилию которого, к сожалению, не могу вспомнить, позже переводивший Бодлера. Он махнул для храбрости стакан водки и вылетел на сцену так резво, что опрокинул пытающегося показать ему место у микрофона комсомольского босса.

Эффект был потрясающий, зал и пресса затрепетали от текста, а сидевший в красном углу главный писатель страны Карпов дико побледнел, начал глотать таблетки и махать руками в сторону оратора в логике «сгинь, нечистая». «Умопомрачительное это письмо, сотворенное группой из Московского профкома литераторов, почему-то зачитывал немолодой одессит, при появлении которого вдруг невесть откуда примчались репортёры с камерами и магнитофонами, очевидно, ожидавшие скандала и сенсации», — шестёрочно писала «Литературная газета». А «Комсомолка» в лице представителя нашего поколения Дмитрия Быкова, увы, обслужила писательский генералитет по ещё большей программе.

Самое смешное, что в результате почти всех, кого обещали за послушание взять списком в Союз писателей, обманули. А меня приняли без единого вздоха против, хотя молодых и не слишком молодых драматургов заворачивали пачками, намекая, что мы не вполне писатели, и предлагая вступать в Союз театральных деятелей.

Вступив в Союз, я не нашла там единомышленников. Средний возраст секции драматургов был как в застойном политбюро. На меня смотрели как на блатную, и я изо всех сил заставляла людей читать свои тексты, чтобы ощущать себя на равных. Потом нашла новую игрушку — странное объединение социализирующихся на глазах маргиналов по имени Гуманитарный фонд. Оказавшись в правлении всех трёх организаций (включая профком

драматургов), я, как обычно, решила всех объединять, потому что у меня лёгкая рука профессиональной свахи. Но в Союзе не жаждали молодых и новых, а андеграунд панически боялся расстаться со своим подвалом.

Один из персонажей Гуманитарного фонда, Руслан Элинин, талантливый мальчик, создающий собственное издательство, заключил со мной договор на издание книги пьес. Конечно, я не верила, что у него что-то получится, тем более занимаясь поэзией, он всё время общался с полууголовными компаньонами. На самом деле тогда было совершенно непонятно, что означают прежние вещи в новых условиях. Я давала интервью всем подряд, включалась во все инициативы, чтобы попробовать себя и время на прочность.

Например, когда мы подписывали обращение к Горбачёву от деятелей Новой культуры, требуя немедленно вывести войска из оккупированной Литвы, письменно выражали поддержку Ельцину и факсовали Ландсбергису, что Гуманитарный фонд готов оказать посильную помощь борющейся Литве, было совершенно не ясно, что за это будет.

Я не понимала происходящего вокруг до такой степени, что не написала ни одной пьесы с 1986 до 1991 года. А пьеса для меня всегда была как старая кожа для змеи, описав своё сегодня, я безболезненно выползала из него в завтра. Все вокруг уже учились зарабатывать деньги, а я ещё ощупывала руками стенки действительности.

Приехал престарелый немец, продавший что-то футбольное и купивший театральное издательство, я подписала первый в жизни договор с западниками, но пролетела как фанера над Парижем — это был период, когда мы ещё не знали, как выглядит нормальный договор, а они приезжали собирать сценические идеи, чтобы потом торговать ими у себя. Мы были бесплатным банком идей.

Тогда же я написала пьесу «Поздний экипаж», пьеса стала лауреатом конкурса радиодраматургии, и в постановке радио «Россия» в ней сыграла гениальная Любовь Соколова.

Итак, из школы надо было спасаться. На наше счастье открылся экспериментальный класс гуманитарно-эстетического лицея на базе Дворца пионеров, которым командовали тётеньки самодеятельного типа, закатывающие глаза при чтении стихов. Настал день конкурса. С замиранием сердца мы стояли в коридоре, пока дети проходили разнообразные собеседования.

Последним был тест, решающий всё, а его обсчёты делал компьютер, так что проблема блатных отпадала в принципе.

Дети отвечали на двадцать четыре вопроса. Четырнадцать ответов считалось нормой, двадцать — приметой гениальности. Психолог вышел с пачкой анкет, и родители бросились на него, как стая поклонниц на тенора.

— Данные будут через два часа, но могу сказать одно: в группе есть два гениальных ребёнка. Первый раз за существование теста они ответили на все двадцать четыре вопроса — все родители улыбнулись уголком рта, каждый знал, что один из гениальных — его ребёнок. Занервничала только я. Я понимала, что это мои, но вдруг какая-то накладка, и один не сумел до конца проявить гениальность, у него будет комплекс, тогда уж лучше пусть оба гения будут не мои.

Через некоторое время нам зачитали список принятых детей, и родители отчаянно завопили:

— Фамилии! Фамилии гениальных детей!

— Да они почему-то однофамильцы, — сказал психолог.

— Это не однофамильцы! Это близнецы! — неприлично громко заорала я, и родители неприязненно отодвинулись. Мы все были интеллигенцией, ещё ничего не успевшей сделать самостоятельно и способной кичиться друг перед другом только талантами детей. Ведь шёл девяностый.

Дети пошли в лицей и попали к своим. Больше никто не требовал школьной формы и короткой стрижки, университетские профессора читали античную литературу, преподавали латынь, философ вёл математику, началось счастье. Однако ездить за этим счастьем было больше часа. И я понимала, что угроблю либо любовь к учёбе, либо здоровье детей. И начала менять квартиру. В истерике обмена я прожила полгода и вышла победительницей.

Муж, естественно, считал, что у меня ничего не получится, что у нас шикарная квартира и от добра добра не ищут. Я висела на телефоне по восемь часов, строила цепочки, чертила схемы, знакомилась с тучей людей, втягивалась в их проблемы, худела, бледнела, дёргалась и кричала во сне. Чего только я не увидела за это время: разводы, постпохоронные синдромы, соседские разборки, жуткие коммуналки, якобы меняющихся общительных сумасшедших, богатых, бедных, святых, криминогенных…

Наконец, нашли, что надо. Огромную трёхкомнатную квартиру на улице Строителей, выходящую окнами на футбольное поле. До лицея можно было дойти пешком. И тут ещё вариант, так уж просто, машинально посмотреть, около «Спортивной». И квартира на десять метров меньше, и потолки ниже, и дом хуже, и никакого футбольного поля. Когда дверь

открылась, я отчётливо поняла, что хочу жить здесь и только здесь, чего бы это ни стоило. И что именно здесь меня ждут желаемые перемены.

— Вам не нравится? — огорчилась хозяйка при экскурсии по квартире, ей ужасно хотелось в нашу.

— Мне всё равно какие комнаты, потому что я в принципе хочу жить только здесь.

Переезжать было трудно. Дети возмущались: «Ты отнимаешь у нас нашу малую родину!». Имелись в виду лесные тропинки, деревья, пригорки, прелесть и тяжесть жизни в спальном районе.

Глава 25. ПЕРЕЕЗД

Любимая соседка Инна всё-таки уезжала в Израиль. Мы уже прошли многоступенчатые стадии споров и ругани о том, в какой стране надо жить и растить детей, и из дискуссионной зоны ситуация переходила в денежно-вещевую. В день отъезда в доме шла дикая пьеса. Иннин муж стоял посреди квартиры на стремянке и декламировал о погубленной карьере и смысле жизни, махал рукописями и геологическими картами и умолял меня сохранить их для последующей тайной переправки на землю обетованную с целью продолжения научной деятельности. Тонна геологических карт со штампом «совершенно секретно» и специализированных книг по добыче алмазов и золота долго хранилась в нашей квартире. За последние десять лет хозяин ни разу не вспомнил ни о них, ни о продолжении научной деятельности.

Иннина мать надменно сидела в позе сфинкса, сообщая, что она передумала ехать в Израиль, поскольку там нет её любимой краски для волос, и возмущалась невозможности взять с собой диван, ведь он такой удобный и она так к нему привыкла. В диване ей было бестактно отказано, и, видать, она в сердцах его сглазила. Бедное ложе купила Лена Эрнандес, отвезла на микроавтобусе на Украину и поставила на зиму в моём сельском доме, откуда он был цинично вынесен аборигенами вместе с остальным содержанием обиталища.

Инна сомнамбулически бродила по квартире и горстями ела таблетки. Вусмерть перепуганные бледные дети вопросительно глазели на взрослых в надежде получить от них хоть какие-то распоряжения. Я с кем-то из Инниных друзей бегала по квартире, тупо связывая, запихивая и засовывая всё, что связывалось, запихивалось и засовывалось, по коробкам и чемоданам. Всё это сладкое нажитое московской семьёй за несколько поколений, с вазочками, салфеточками, памятными сувенирчиками, заполнявшее восьмидесятиметровую квартиру.

— Машуня, зачем вы это делаете? Они ведь никогда этого не

пропустят, — отговаривала Инна, мерцая слезами. Сакральное «они» обозначало сразу обе таможенные службы, мифологически окрашенные чёрной краской. Конечно, ни одной былинки никто не тронул, и всё благополучно доехало до Хайфы. Выезжая, мои друзья чувствовали себя тремя поросятами, за которыми гонится серый волк, жизнь в совке согнула их так, что и уезжали-то униженно, всё время чего-то боясь, хотя ворота были открыты шире некуда.

Утром средней Инниной дочери, красавице Дине, мальчик принёс букет великолепных роз. Вечером, когда семья была отправлена, мы с мужем, убирая мусор, увидели, что розы скукожились и почернели. Никогда в жизни мне больше не приходилось видеть столь быстрого истощения цветов энергетикой человеческого напряжения.

Убедившись в том, что семья Гвинов благополучно приземлилась, я должна была раздать всю проданную мебель и разобраться с квартирой. Эта элементарная для нормальной страны процедура окрашивалась в моем отечестве шекспировскими страстями.

Собственно, в Москве у Инны оставался брат, но это был суетливый мерзавец, на судебном процессе против которого я даже проходила свидетелем. В приступе ярости он однажды отхлестал старую мать телефонным шнуром, после чего Инна забрала её к себе в предынсультном состоянии. Перед отъездом в Израиль старуха-мать, конечно, простила любимого сыночка, и он активно наведывался во вверенную мне квартиру с целью чем-нибудь поживиться. Однако я твёрдо выполняла Иннино распоряжение «не отдавать ни пяди земли».

Вторым видом штурмовиков были люди, требовавшие выкупленные шкафы и диваны, не дожидаясь приземления израильского самолёта. Третьи оказались самыми опасными, им надо было захватить опустевшую квартиру, забаррикадироваться в ней на время войны с Моссоветом и легитимизировать её с помощью судебной казуистики. Они всё-таки ещё были совки и боялись идти на взлом, но были готовы ко всем формам подкупа. Как держательницу ключей, меня настигали в метро, во дворе и по телефону, обольщали материально и сдержанно угрожали. Целых две недели я чувствовала себя золотой рыбкой, способной исполнить самое заветное. Умнее всех поступил мужик с шестнадцатого этажа, он привёл меня в свою аварийную квартиру, в которой в течение десяти лет по стене струилась вода, и показал маленькую дочку с астмой и толстую папку переписки с властями. Случайно попавшая на штатную должность феи, я, конечно, отдала ключи ему.

Судьбе было мало Иннииного отъезда. Уезжала и Ритка. В ней не было Инниной трагической глубины, она эмигрировала с громким птичьим щебетом и набором образных страшилок о том, как мы все здесь погибнем. Ближе к отъезду даже начали портиться отношения, они с мужем оказались из тех выезжающих, которые назначают врагами всех, кто не вступает в их партию. Рассказы о безукоризненной распахнутости Голландии ко всему русскому Ритка играла как пронзительные чеховские монологи. Если б я по этой самой Голландии только что не ездила в Англию, искушение непременно закралось бы в моё сердце.

Как всякая средняя артистка, недополученные в театре роли она отыгрывала в жизни. В своё время я сломалась на этюде, привезённом с похорон ее отца. Ритка, рыдая, рассказала как да что, потом выпрямилась, встала в центр комнаты, вытянула руку вперёд и сказала свистящим шёпотом: «И вот я бросаю в могилу ком земли…» — у меня мороз побежал по коже. Через неделю она уже забыла, кому что рассказывала, повторила на бис, выбежала в центр комнаты на тех же словах, свистящий шёпот про ком земли стал частью жёсткого эстрадного номера, я еле сдержалась, чтоб не зааплодировать.

В итоге Инна работает в Израиле бебиситором; а Ритка разошлась с мужем, не потянувшим эмигрантских невзгод, и работает в Голландии массажисткой. Верка вышла замуж за преуспевающего американца, родила дочку и за десять лет так и не нашла достойной себя работы. Из записной книжки ежемесячно выбывали новые и новые московские телефоны. Казалось, вот пришли перемены! Вот наше время! Но друзья, до этого вместе со мной ненавидящие советскую власть, боялись перемен больше советской власти. Как говаривал Мирабо: «Переход от плохого к хорошему часто бывает хуже, чем само плохое».

На пути в Англию мы поболтались в Варшаве. Там я сдуру купила, не успев померить, роскошные джинсовые сапоги. Они оказались на размер меньше, и я повесила на универсаме объявление «Меняю джинсовые сапоги 36 размера на что-нибудь полезное или забавное». Подобными воззваниями были завешаны все заборы — деньги в этот момент ничего не стоили, и люди ориентировались на натуральный обмен.

По сапоги пришла девушка, чуть моложе меня. Такая милая филфаковка в сильной истерике по поводу приближающегося отъезда с детьми в Америку. Муж, немолодой художник, оставался здесь, а она бежала спасаться не от трудностей переходного периода, а от сниженной в ходе брака самооценки.

Сапоги были точно на неё.

— Я готова предложить в обмен на них кофемолку, — сказала филфаковка.

— Но у нас никто не пьёт кофе, — пожала я плечами.

— Ну, пожалуйста, мне это так важно. Я прилечу в Америку и сойду по трапу в этих сапогах! И у меня начнётся новая жизнь! — канючила она.

— Кофемолка так кофемолка, — сдалась я, они все так сильно мучались по поводу отъезда, что генерировали чувство вины у остающихся.

Я отдала сапоги, а за кофемолкой мы с мужем собирались зайти к ней вечером, гуляя с собакой. Она жила в одной автобусной остановке от нас, в такой же башне, окна смотрели друг на друга, и, стоя на балконах, можно было перемахиваться флажками. В квартире была та самая аура, от которой чернеют и жухнут за день цветы. Коробки с детскими игрушками, стопка книг для разрешения на вывоз и т. д. Она металась от стены к стене, торопливо исповедуясь нам как свеженьким слушателям, смахивала слёзы и искала кофемолку в завалах одежды. Но дело было не в этом… Дело было в том, что я совершенно отчётливо понимала, что уже была здесь, хотя, клянусь, никогда в жизни не переступала порога не только этой квартиры, но и асфальта этого квартала. Я понимала, что почему-то уже знаю эти вещи, этот воздух. Эти картины на стенах, этот порядок книг на полках.

Когда наш переезд на улицу Усачёва перешёл в стадию паковки вещей и связывания книг в пачки, в Доме литераторов ко мне подошёл знакомый романист и подарил только что вышедшую книгу. На титульном листе была указана фамилия художника, моего первого возлюбленного.

— Я с ним когда-то давно общалась. Как он? — спросила я.

— Богат и знаменит. Музеи покупают его картины. Но он сейчас в депрессии, его бросила жена. Вот телефон, позвони ему, развей тоску, — и он продиктовал номер телефона, находящийся совсем рядом с моим домом.

— И давно он там живёт? — изумилась я.

— Лет десять.

— Надо же, а я именно сейчас оттуда переезжаю.

Любопытство раздирало пополам. Но как могло получиться, что, живя бок о бок, за десять лет мы ни разу не увиделись? Жалко, могли бы по-соседски дружить семьями… Значит, его бросила старая жена, на которую я по юношеской невоздержанности ополчилась почти двадцать лет назад!

В этот момент я собиралась издавать переведённую на русский и адаптированную к российским реалиям книгу своего

английского троюродного брата, профессора-натуропата Питера Дедмана. Уже нашла двух пожилых пираток, организовавших издательство «Культура и традиции» (впоследствии они нагло обокрали меня и Питера на издании книжки). Но с иллюстрациями ещё было неясно. Я позвонила художнику и стала официальным тоном склонять его к сотрудничеству.

— Я живописец, — злобно сказал он. — Я оформил всего одну книгу в жизни своему другу. Мне это неинтересно. Особенно в данный период жизни. Больше не звоните, это бесполезно.

— Я бы хотела встретиться с вами, мне кажется, это может повлиять на ваше решение, — промурлыкала я.

— Ошибаетесь. Как бы вы не были неотразимы, меня это не заинтересует. У меня другой период жизни. Приходите завтра в пять, у меня будет на вас двадцать минут. Записывайте адрес.

Собиралась, как Наташа Ростова на первый бал. Мне были нужны судьбинные разъяснения. Хотелось взрослыми женскими мозгами понять, что же было двадцать лет назад. Я подошла к дому. Это был дом… в который я ходила за кофемолкой. Доехала до соответствующего этажа и похолодела, поняв, что иду в ту самую квартиру. Открыл солидный, но ещё товарный господин, в котором едва угадывался патлатый художник. Вся возвышенная рассеянность конвертировалась в брезгливую раздражённость. Скользнув по мне машинально раздевающим взглядом, пригласил в комнату и подал чаю.

Я ошалела и начала нести что-то про район и погоду. Он мрачно курил. Боже, как он стал стар. Не физически. Старость была не в том, как он сидел, а в том, как он слушал. Я сделала паузу, он посмотрел с обидой и сказал:

— Моя жена уехала в Америку и увезла детей.

— Я знаю, — тактичным голосом ответила я, полагая, что узнал и сокращает дистанцию для обсуждения наболевшего.

— Откуда вы знаете? — напрягся он. Не узнал.

— Случайно познакомились. Ей было очень тяжело уезжать, — попыталась утешить я. — Но ведь здесь дети от первого брака.

— И от первого, и от второго. Дело не в этом! Дело в том, что я взял девочку, студентку, и дал ей всё. Я работал как вол!

— Что же такое надо ежедневно делать с женщиной, чтобы она убежала с двумя маленькими детьми в неведомое от достатка, а главное, от любимого мужа? — спросила я в наглую.

— Она кричала, что я задавил её как личность, что я сделал из неё кухарку, что она хотела заниматься наукой. Какая наука, если у тебя двое детей и муж обеспечивает?

— Двое детей было не только у неё, но и у её мужа. Значит,

оба должны были вносить посильный вклад в домашнее хозяйство.

— Но я был состоявшийся художник, а она была никто. Просто красивая девочка!

— Если бы она была «никто», она бы никуда не уехала. Вопрос в том, что она не захотела быть «никем» и даже сумела вырваться из-под давления такого взрослого и опытного деспота.

— Это она вам говорила? — вздрогнул он.

— Нет. Я это сама вижу. Неужели ты меня до сих пор не узнал?

Он уставился изо всех сил, прищурился, потом выдохнул:

— О, господи… Маша! Но у тебя же было совсем другое лицо… И потом, столько лет. Тогда ты была девочка, а теперь — взрослая женщина…

— Да, у меня была сильная травма лица.

— Прости, я плохо помню, но тогда ты куда-то делась. Как хорошо, что пришла, — он взял меня за руку. — Я в жуткой депрессии. Не могу работать, не могу пить, меня не волнуют бабы, мне не хочется жить. Всё время рисую её и детей. Это удивительно. Я ведь и не любил её особенно.

— Ты всё сделал своими руками. Как говорит поэт Вишневский, «живой-то бабой надо заниматься!»

— Знаешь, у меня есть идея одной работы, пойдём, покажу тебе эскизы… — сказал он прошлым голосом. Голосом, которым тогда бесконечно излагал свои творческие проблемы, никогда не спрашивая о моих. А я по желторотости думала, что так и должно быть.

— Подожди, подожди, — притормозила я в недоумении. — Я пришла по поводу иллюстраций к книжке.

— Даже не разворачивай. Мне это неинтересно.

— А зачем ты согласился на мой приход?

— Голос приятный, а мне тоскливо.

— Подожди, подожди. Мы не виделись двадцать лет, неужели у тебя нет ко мне ни одного вопроса?

— Нет.

— Я должна тебе признаться. Я никогда не была студенткой факультета журналистики. А тогда я была школьницей. Мне было пятнадцать лет.

— Ну и что?

— Но я была несовершеннолетней!

— И что?

— И тебе ни секунды не интересно узнать, что было потом. Ведь ты даже не предохранялся, я ведь могла уйти беременной.

— Но это был бы твой выбор.

— Я была ребёнком, а ты был тридцатилетним дядькой!

— Но я же тебя не насиловал.

— И тебе даже не интересно, как у меня сложилась жизнь? Замужем ли я? Есть ли у меня дети?

— Если честно, то нет. Я вообще не любопытный человек, меня интересует только моя живопись. Идём, я покажу тебе эскизы.

Я поняла, что передо мной глухая стена. Молодец жена, что сбежала. В общем, было наплевать, первый возлюбленный мог оказаться и ещё хуже. В юности же мы все без глаз. Я даже была ему благодарна, потому что то, что пугало меня во многих мужчинах, было доведено в нём до осязаемой разрушительной силы. То есть ты мужиком пользуешься как человеком, а он тобой — как телом. Возмущаешься, а тебе гонят что-то про женскую логику и женскую истерику. Уходишь и даже не можешь мотивировать. Я благодарна ему за помощь в мотивировке.

У меня была ещё одна литинститутская подруга, звали её, скажем, Ляля. Мы не общались в институте, хотя были в одном творческом семинаре; то, что она писала тогда, мне не нравилось. Ляля была писательская дочка, не проявляла социальной активности, поскольку большинство проблем в её жизни решалось кланово. Училась на дневном как писательская дочь, вступала в профком драматургов по гонорарным справкам, сделанным родственниками, жила в писательском доме и отдыхала на писательской даче.

Она была человеком способным, обаятельным, глубоко несчастным в браке, задавленным родителями и демонстрировала все признаки потребности стать самостоятельной. Мы подружились, задружили детей и образовали вокруг себя драматургическую компанию. Мне компания была нужна потому, что я в принципе люблю работу в команде. Ляле — потому что семейный клан держал её у плиты, отводя место в литературном лепрозории для детей писателей. Остальные комфортно обернулись вокруг нашей дружбы.

Это был странный тандем, мы дополняли друг друга. Я была нагла и откровенна, Ляля — вежлива и лжива, я была возвышенно непрактична, Ляля — изысканно прагматична. Меня сильно занимали мужчины, Ляля строила из себя викторианку, боялась мужчин, боялась собственной сексуальности, боялась признаться себе и в том, и в другом. Не решив проблемы с мамой, назначившей её ответственной за смысл собственной жизни и брак, Ляля давила собственного ребёнка и ходила по его частному пространству в сапогах. Я видела всё это, но долго

оставалась близка с ней по той странной причине, что Ляля была и внешне, и психологически, абсолютной копией моей матери; безусловно, я таким образом решала какие-то свои детские проблемы.

Положение молодой драматургической поросли в этот момент было причудливо. Ещё работали механизмы советской писательской последовательности: Совещание молодых писателей, столичная премьера, вступление в Союз писателей, богатство, слава, погоны классика и литфондовский соцраспределитель, гарантирующий всё, вплоть до могилы под переделкинской сосной.

Я уже прошла три первых ступеньки, попала в список столичных авторов, написала девять серьёзных пьес, но сезам театральной жизни не распахивался, все билеты в вагон были уже проданы. Я была изолирована от театра.

Кастрированная стариками, пришедшими ещё после войны главными в московские театры, молодая режиссура искренне не умела ставить драматургию своего поколения. Художник может говорить о современности, только став внутренне состоятельным, но старики-режиссёры прожившие длинную жизнь в совке, и целиком уже из неё состоящие, гнобили молодняк и искусственно создавали ему условия жестокой цензуры. Уже отменили главлит; уже министерские чиновники, страшно испугавшись, что разойдутся с новой «идеологической линией», начали пропагандировать пьесы, написанные чистым матом или про голубых. Но пожилая режиссура стояла насмерть, и свободный молодой режиссёр, свободно ставящий про свое поколение, оскорблял этическое чувство главных режиссёров, как оскорбляет старую деву вид пары, занимающейся любовью.

Вместо партийных и исторических пьес сцены страны наполнились Мрожеками, постановками Евангелия и мелодрамами с отчётливыми половыми актами. Герой любовник, прежде игравший секретаря парткома и молодого Ленина, переквалифицировался в Иисуса Христа в утреннем спектакле и отмороженного насильника в вечернем. Утренняя дева Мария бегала по сцене голой вечером, практически не меняя грима. Театры пустели, потому что зритель хотел смотреть о своих проблемах, но моё поколение не ставили, а драматурги постарше либо замолчали вовсе, либо начали писать неадекватную галиматью.

Собравшись в компанию из семи человек, мы решили пробиваться и начали вместе попадать на мероприятия, предполагающие приоткрытую к успеху дверь. Первым мероприятием был семинар драматургии в Любимовке,

организованный двумя пожилыми тётеньками. Одна — бывшая чиновница Министерства культуры, которая в своё время объясняла мне, что нельзя писать пьесу про аборты, а второй оказалась бывшая редакторша советского драматургического сборника, не напечатавшая именно эту пьесу.

Теперь, оставшись не у дел, они выбили деньги на семинар, дабы поддерживать ту самую драматургию, которую сами же и гнобили до 1991 года за государственную зарплату. Надо сказать, в театральных инстанциях до сих пор мало изменились кадры, и люди, прожившие жизнь, не имея ни малейших профессионально-эстетических критериев и дифференцируя тексты с точки зрения верности режиму, были отправлены в плавание по новой жизни. До сих пор они выглядят примерно как палачи, устроившиеся на работу пластическими хирургами в области головы и шеи.

Тётеньки были стандартными советскими монстрами, не хуже и не лучше других в своём ремесле, и писательское дарование занимало в их системе ценностей совершенно абстрактное место. Логичнее было бы тётенькам заниматься количеством номеров, автобусов и котлет на обед, но они изо всех сил имели собственное мнение и излагали его на обсуждениях, когда семинаристы услужливо кивали головами, сдерживаясь, чтобы не прыснуть со смеху.

На первый семинар тётеньки набрали всех подряд и так испугались провинциально-почвенных деклараций, что выделили лучшую ложу нашей компании, немедленно подмявшей на обсуждениях плохо образованных, плохо пишущих и плохо говорящих патриотов, вскоре наполнивших ряды черносотенно ориентированных писательских объединений. К тому же компания наша выглядела прежде несколько запрещённой, а тётеньки действовали по принципу «и он сжёг всё, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал».

Первый семинар проходил в огромном комсомольском доме отдыха близ деревни Свистуха, и старшее поколение вело там себя странновато. Людмила Петрушевская, получившая преподавательскую вольницу в ГИТИСе, перенесла оттуда свои малограмотные психодраматические опыты, в ходе которых заставляла присутствующих выходить на сцену и имитировать диалог «о самом главном, посмотрев внутрь себя». Бедные молодые драматурги, не смея отказать известной писательнице в таком странном удовольствии несли околесицу, выпяливались в центр зала, страшно комплексуя и густо краснея.

Госпожа Петрушевская объяснила, что мало понимает в психодраме и никогда не читала отцов психоанализа, но ей всегда интересно, как люди будут выходить из положения в такой

ситуации. Чем живо напомнила мне младшую Ларисину дочку, отрывающую мухам крылышки и пускающую их бродить по стеклу.

— Марина, — говорила я. — Так нельзя делать.

— Но мне же интересно, — отвечала юная натуралистка.

Кроме того, Людмила Стефановна публично клялась, что надвигается фашизм, не надо обольщаться реформами и вообще пора накрываться простынёй и ползти на кладбище. При этом была одета из дорогих европейских магазинов и приехала с дочкой, с дочкиной учительницей французского и дочкой учительницы французского.

Все они разместились в лучших номерах, а молодые драматурги, на которых, собственно, и были выданы деньги налогоплательщиков, ютились в номерах по двое.

Известный театровед, бывший главный редактор журнала «Театр» Юрий Сергеевич Рыбаков, снятый за то, что в застой напечатал пьесу Эрдмана, тоже обещал немедленный военный переворот. Не слишком спорил с ним и Михаил Михайлович Рощин, активно переживающий недавний публичный выход Окуджавы из партии: «Я ему говорю, Булат, мы можем выйти и партии, но партия из нас уже никогда не выйдет».

Экзотических фигур было полно и среди молодняка. Молодой врач, с чудовищной пьесой, обязательно находивший среди персонажей чужих обсуждаемых пьес закамуфлированного еврейского мальчика, который вырастет и сделает революцию. Девушка Лина из Сибири, вместо рецензии на прочитанный текст на всех обсуждениях читающая собственные запредельные стихи. После пьесы, в которой звучали слова «оргазм, импотент и половой акт», Лина со слезами на глазах прочитала стихи о нравственном облике советского человека. «Не надо строить из себя на букву «Ц»! — сказал на это Рощин, и обведя глазами присутствующих, меланхолически добавил: — Мы тут все уже давно не «Ц»!» После чего Лина с группой поддержки, состоящей из патриотически-почвенно настроенных девиц, оскорбленно выбежала из зала, хлопнув дверью.

Был и узбек, народный депутат, устраивающий ежедневные банкеты, дабы смягчить обсуждение достоинств собственной пьесы, в которой молодая женщина, родившая без мужа, защитила свою честь убийством новорожденного. Он приехал со свитой, накрывавшей столы. Несмотря на выпитое и съеденное, пьесу разнесли в пух и прах, и обиженный автор сказал: «У нас в Узбекистане очень плохой консервативный театр, и поэтому пьеса, которая кажется русским плохой, для нас очень хорошая. Кроме того, вы тут все пишете левой ногой, а я пишу сердцем». И

уехал, обиженный. На чёрной «Волге».

Был и претенциозный американский марксист, естественно, сын богатого, и он глубоко и громко переживал закат социализма в России, напирая на слепоту русских.

Я была со старой пьесой «Сны на берегу Днепра», которую ставил театр-студия под руководством замечательно талантливой Галины Дубовской. Пьесы никто не понял, на дворе стояла мода на произнесение ненормативных слов и изображение сексуальных поз, так что она явно не дотягивала. Ещё и госпожа Петрушевская изрекла на обсуждении то, что потом, хихикая, цитировали театральные критики: «Арбатова, конечно, человек талантливый, но она каждый раз пишет не пьесу, а бульварный роман. У неё всегда в центре женщина, у которой есть всё: и муж, и ребёнок, и карьера, и ещё толпа мужиков, а она всё несчастна. Так не бывает». В её поколении, может быть, так и не было, в моём уже началось.

Глава 26. ФЕМИНИСТКИ И АВАНГАРДИСТЫ

Кроме организации драматургической компании, мы с Лялей сделали вид, что организовали клуб «Гармония», который по уставу должен был что-то развивать и что-то пропагандировать. Под эту фенечку даже провели несколько мероприятий с иностранными деятельницами культуры. Но Ляля могла совершать телодвижения, только если в конце тоннеля лежала пачка денег. Это была не её вина, а беда, в результате которой она уничтожила своё дарование.

Но клуб был придуман, ему хотелось жить. И мы с Эрнандес, подключив позже Иру Фетисову, педагога по сценической речи, решили заняться психической реабилитацией женщин. Шёл 1990 год, и люди вокруг пачками сходили с ума. Мы с Эрнандес были в относительном порядке. Я ещё получала деньги от театров, муж активно ездил на гастроли, удовлетворяя западную моду на русское духовное пение, а сыновья замечательно учились в замечательном лицее. Несмотря на активную светскую жизнь, мне всё же чего-то не хватало. У меня всегда был комплекс спасательницы.

Эрнандес родила сына, муж как-то обеспечивал семью, но и ей не хватало общественных телодвижений. Мы собрали нуждающихся в психологической помощи приятельниц, а других тогда просто не существовало, и начали клубную жизнь. Тогда я ещё не знала, что всякое феминистское движение начинается с компании подруг, которые решили помочь друг другу.

Раз в неделю в подвале профкома драматургов собирались дамы, пили чай и обсуждали общие проблемы. Выглядело это как кондовый девичник, но на самом деле было самопальной

психодрамой. Мы с Леной Эрнандес заранее уточняли, у кого какие проблемы и что будем вытаскивать на коллективное проговаривание. Основными камнями преткновения были, естественно, боязнь собственной социальной успешности, собственного тела и собственной сексуальности. Эрнандес считала эти проблемы отечественными и заставляла всех танцевать фламенко, постепенно создав собственную методику психической реабилитации через пластическую.

Это была трудная дорога, потому что советские женщины моего поколения с колоссальным трудом вылезали из джинсов и свитеров, учились вертеть бёдрами и бить ногами дроби. Топнуть ногой чисто символически считалось формой выражения собственной агрессивности, и было так мощно табуировано воспитанием, что у многих тут же начинала болеть голова. Мужья и родственники считали занятия в клубе чем-то совершенно неприличным: то ли лесбийскими оргиями, то ли обучением для занятий проституцией. Некоторые самолично являлись проконтролировать. В девяносто первом году мысль о том, что у женщины может быть какое-то собственное пространство, кроме кухни и работы, выглядела совершенно кощунственной.

Никаких коммерческих целей мы с Эрнандес, естественно, не преследовали. Цену за её занятия назначили 3 рубля, и гонорара ей едва хватало на то, чтобы, возвращаясь домой, купить гостинец детям, гася чувство вины за свое отсутствие. Я же ощущала себя культуртрегером, и даже сласти к чаю пару лет покупала на свои деньги, пока не назначила старосту.

Мимо нас с Леной плыли судьбы, которые часто удавалось подправить, иногда улучшить, но всегда помочь.

В глубокий застой, лет за семь до того, как я увидела живых феминисток, я решила написать настольную, подпольную книгу для женщин. Что-то типа подробной инструкции по выживанию. Трудно сказать, что руководило мной, кроме желания поделиться опытом. Было ясно, что её никто никогда не издаст и что она бесперспективна в смысле славы и денег — вся антисоветская литература специализировалась на прямолинейном обличении, а не на сложносочинённой психологической помощи. Я собралась составить её из семи глав: мужчина-отец, мужчина-брат, мужчина-друг, мужчина-муж, мужчина-любовник, мужчина-сын, мужчина-начальник.

Начала писать, потом почему-то забросила. Я не считала себя феминисткой (потому что не понимала, что это значит), меня просто не устраивали ролевые ограничения мужчин и женщин, и я самопально конструировала, как это можно изменить. Я

собиралась писать чисто феминистскую книгу, но не знала этого, как господин Журден не знал, что говорит прозой.

Мы уже полгода гармонизировали сверстниц, когда я первый раз увидела живых феминисток. Это была встреча с западными писательницами, означавшая для них славный русский туризм, а для нас азы правового образования. Пообщавшись с некоторыми из них, я была совершенно потрясена тем, что всё наболевшее внутри меня давно отлито в форму правозащитного движения. Как все советские люди, я представляла себе феминистку немытой профессоршей в джинсах и растянутом свитере, не тронутую мужскими руками. А передо мной материализовались обаятельные сексуально обслуженные раскованные женщины, успешные семейно и социально.

Мои пьесы, подвергающиеся остракизму за привлеченный объём женских проблем, были тут же признаны феминистскими произведениями, дискриминируемыми мужской цензурой. Я обрадовалась и начала активно прочёсывать российское пространство в поисках идейно близких. Довольно скоро обнаружила питерскую феминистскую лидершу Ольгу Липовскую, издающую самиздатовский журнал «Женское чтение».

Ольга оказалась очаровательной молодой женщиной с лёгким демсоюзовским налётом, ей понравилась моя пьеса «Уравнение с двумя известными», и она напечатала её в «Женском чтении». Когда журнал наконец материализовался, некоторым шоком было обнаружение пролесбийской направленности номера. Не то, чтобы я плохо относилась к лесбиянкам, просто я не стала бы печатать эту пьесу в тематическом номере. Но в российском женском движении той поры был страшный винегрет, и немало феминисток косили под лесбиянок, чтобы прикинуться дискриминированными и получить деньги западных фондов, в правлении которых было много лесбиянок.

Потом я познакомилась с московскими феминистками, организовавшими Центр тендерных исследований, и, как руководитель женского клуба «Гармония», получила приглашение на Первую независимую женскую конференцию в Дубну.

Увы, в женском движении, как и среди прочей гуманитарно-научной интеллигенции существовал порядок: если ты «своя», значит, со всеми вместе играешь в игру, которая на афро-азиатских рынках называется «обмани белого». То есть раз нам, русским, экономически плохо, значит, мы должны пристроить к долларам всех своих хороших знакомых, уже научившихся выговаривать слова «феминизм» и «сексизм». Гранты начинали приплывать, и толпы девушек уровня ПТУ стали консультировать

людей с психологическими проблемами, толпы неудачниц в научной сфере были объявлены «спецнаукой», толпы бездарных писательниц введены в литературные антологии за правильную идеологию.

Феминизм превратился в философский камень, и, прикасаясь к нему, каждая недоучка и непрофессионалка быстро обращала свой нехитрый интеллектуальный багаж в золото. Те же, кто шарахался от феминистской межпухи, объявлялись носительницами неправильного феминизма.

В основу Первого Независимого Женского форума в Дубне в 1991 году была положена идея «смотра сил женских организаций». Ещё в электричке, идущей в академгородок, я познакомилась с главным редактором газеты «Новая женщина» Ириной Корчагиной. Мы проболтали и прохохотали всю дорогу, не замечая, что за нами пристально наблюдают. В конце пути к нам обратился интеллигентного вида господин:

— Извините, пожалуйста, вы не на форум?

— На форум, — ответили мы.

— Так вы что, феминистки? — вытянулось у него лицо.

— Да, — удивились мы такой реакции.

— А с виду нормальные женщины, — покачал он головой.

Оказалось, что в день открытия форума газета «Московский комсомолец» разразилась статьёй о том, что в Дубну со всего мира съезжаются воинственные лесбиянки, а муниципалитет ничего не делает, чтобы предотвратить эту аморальную акцию. Встревоженные дубнинские женщины готовились выйти на центральную площадь с плакатами «Нет лесбиянкам!» и «Дубна не готова к спиду!», хотя на весь форум было всего две лесбиянки, а остальные были жены шахтёров, матери детей-инвалидов, дамы-просветительницы и т. д.

Цель форума для организаторов заключалась в окучивании иностранок оргкомитетом и в вешание лапши на уши женщинам из регионов. Боясь конкуренции за гранты с женщинами из провинции, оргкомитет поселил иностранок отдельно и не подпустил к ним ни одной интересующейся. До сих пор феминистская элита ведёт себя так с печатной продукцией, на которую получает западные деньги. Информация о возможностях сотрудничества с Западом подаётся с грамотным опозданием — в сентябре вы узнаете, что до мая могли подать заявку на грант, поддерживающий работу вашей организации.

Однако это не уникальное российское свинство, все страны третьего мира именно таким способом осваивали новую экономическую ситуацию.

На форуме тётенек сажали в зале и читали им доклады. С

наукой у докладчиков было хило, но иностранные слова все уже выучили. Так что испуганные женщины с периферии стыдливо спрашивали друг у друга в перерывах: «Гендер» — это кто? «Социальная видимость» — это как? «Стеклянный потолок» — это где?».

Мне предложили сделать научный доклад о том, как в клубе «Гармония» происходит психическая реабилитация, всё равно же я буду потом просить на это денег. Я возразила, что наукой не занимаюсь, профессия моя писатель, липу делать мне незачем, а денег мне ни от кого не надо, потому что верю только в те инициативы, которые сами себя кормят. Меня не поняли, спросили, что могу сделать для конференции, я предложила устроить культурную программу: уговорить пару студий бесплатно сыграть симпатичные спектакли, показать свой фильм, устроить вечер женской поэзии и прозы.

Тут произошло странное. Одна из влиятельных дам в оргкомитете объявила, что не уверена в том, что я привезу на конференцию правильное искусство, и что она предварительно должна посмотреть, достаточно ли это феминистские явления культуры. Вспомнилась пожилая тётенька из минкульта, такая не шибко образованная, битая жизнью с кукишем волос на затылке и авоськой с продуктами. В советское время она ходила принимать спектакли в московских театрах. Сидит такое чучело, и все затаив дыхание смотрят, дрогнет у неё бровь или нет, закроет или не закроет годовую работу огромного коллектива, найдя в её гриве идеологическую вошь.

От заявления о феминистской цензуре я озверела, хлопнула дверью и похоронила идею культурной программы. Под финал конференции оргкомитет попытался учредить единую женскую организацию. Съехавшиеся из регионов тётеньки не понимали, кто тут кому Вася, что такое феминизм и во что идёт игра. Им не дали выступить, их не пожелали выслушать, им не пообещали помощи. Каждая из них была делегирована совершенно конкретной бедой совершенно конкретного географического места и совершенно не понимала, какое отношение к ней имеют слова «Декларация прав человека», ЮНЕСКО и прочие по тем временам «слова-паразиты», которыми жонглировал оргкомитет перед западницами.

Становилось ясно, что, проведя форум, оргкомитет поедет тусоваться за границу, а тётеньки, представленные как его электорат, уедут в свою тяжёлую жизнь с чем и приехали. Недовольство рядовых участниц росло, но они были слишком забиты, чтобы выразить его вслух. Масло в огонь подлила культурная программа-авангардистская кинуха, в которой

декадансно выглядевшие лесбиянки читали стихи и занимались любовью на кладбище. Тут тёток прорвало, они заскандалили, а я выступила с обличительной речью.

А на следующий день было закрытие, и большинство не проголосовало за дочерей лейтенанта Шмидта. Оргкомитет змеино улыбался мне, а самая горячая возмущённо заорала: «Я бы ещё поняла, если бы ты сама хотела возглавить эту организацию, но тебе ведь она не нужна!».

Именно так они понимали корпоративную этику. Вернувшись в Москву я написала в газету «Гуманитарный фонд» разгромную статью «Феминистский утренник в Дубне». На второй форум, меня, естественно, не пригласили, и началась холодная война, которая не слишком меня занимала. Со временем получилось, что средства массовой информации назначали меня без спросу главной феминисткой страны, и феминистская общественность, естественно, бесилась и опровергала, называя меня неправильной феминисткой.

Я действительно первой назвала себя феминисткой в прессе. Почему-то тогда все боялись, существовал стереотип, что феминистка — это женщина, у которой не ладится с мужиками. У меня ладилось, я могла себе это позволить. Конечно, сначала меня воспринимали как монстра, и я такого наслушалась, что можно было разочароваться в человечестве.

На одной из университетских феминистских конференций я познакомилась с Ирой Юрной. Это был первый случай дружбы, сложившийся из одинакового понимания большинства вещей. Ира выросла в Таллине, и понятия, до которых мы тут долго доходили, стукаясь лбом в стену, впитала в европейском воздухе. Она была журналистом, не делала профессии из феминизма, и так же как я, считала его набором убеждений. Ещё мне ужасно нравилось Ирино «чистоплюйство» — в мутной воде игрищ российских феминисток с западными фондами ловились большие деньги, а Ира не участвовала ни в одном сомнительном предприятии.

К сорока годам я поняла, что нельзя близко дружить с женщинами, истово озабоченными тем, что у тебя уже есть, а у них никогда не будет. При этом, совершенно не важно, социальная это успешность, сексуальная или семейная.

Судьба моей первой книги была непростой. Юный книгоиздатель, пишущий стихи, играющий на бирже и невероятно сильно пьющий Руслан Элинин, сначала относился к идее с придыханием. Ему льстило, что я, уже официально признанная писательница, подписала договор с издательством,

нарисованным в воздухе. Потом маятник качнулся, молодой поэт заболел новорусскими болезнями и начал объяснять с горящими глазами, что издательству это не выгодно, а настоящая поэзия — это если купить несколько рефрижераторов, которые будут возить сюда колбасу из стран соцлагеря.

Руслан впахался в одну из подобных афер, когда книжка была отпечатана и её надо было забирать из типографии, а издательские деньги оказались вложены в очередные машины с колбасой. Он позвонил и виновато соврал:

— Извини, пожалуйста. Я обанкротился, с книжкой кранты, достань где-нибудь шесть тысяч, а то они выкинут её на помойку.

Я обалдела. Таких денег у меня не было. Сзади на книжке было написано про то, что издаётся на деньги автора, но это была бухгалтерская игра, так было выгодней. Не хотелось, чтоб готовую книгу выбросили на помойку, и я пошла в Литфонд клянчить ссуду. Благодаря заступничеству директора Литфонда Людмилы Мережко даже получила ее.

Типография не выбросила книжку, а её редакторша, замечательная поэтесса Людмила Вязмитинова, вечно прикрывавшая Руслана в его необязательности, самолично грузила её для перевозки. Итак, три тысячи экземпляров были привезены в нашу квартиру, и до сих пор большая их часть там и живёт. Конечно, я могла отдать её распространителям, но решила, что три тысячи — это для подарков. Наверное, у меня к ней было неадекватное отношение, как к первой кукле, как к первой любви. Киплинг говорил: «Мужчина помнит трёх женщин: первую, последнюю и одну». Книга «Пьесы для чтения» была первой.

Видимо, опыта с Русланом мне показалось мало, и я вскоре взялась за издание книги своего троюродного английского брата — по линии деда Ильи — Питера Дедмана «Натуральная еда». Это было замечательное издание, бестселлер, покоривший Англию двадцать лет назад, написанный как советы по гармоничному образу жизни с сильнейшим буддистским влиянием и кучей рецептов. Питер был создателем первого магазина натуральной пищи в Лондоне, позже владельцем клиники иглотерапии, а сейчас — главный редактор журнала по иглотерапии и автор энциклопедии иглотерапии.

После того, как был сделан английский перевод, я практически переписала книгу и заменила все лечебные народные рецепты, потому что Питер использовал в них травы и водоросли, не имеющие местных аналогов. Книжка получилась милой. Издатели хватались за неё, потом начинали думать,

считать, а я нервничать, и тут появилась тётенька, из таких крепких коммунистических конъюнктурщиц, прежде писавшая статьи о советских национальных классиках, и предложила своё издательство «Культура и традиции». Звалась она Маргарита Ламунова. Была в отличие от Руслана членом Союза писателей, производила солидное впечатление, и у нас был некий общий круг. Я пришла подписывать договор и что-то вякнула, обнаружив в нём отсутствие строчки об инфляции.

— Что вы, Машенька, — удивилась тётенька. — Зачем это нам? Мы же интеллигентные люди!

Книжка была явно коммерческой, в договоре было написано о тираже 100 ООО экземпляров, и я, примерно как в истории с бриллиантами, стала ожидать богатства. Я ждала, тётенька тянула, а инфляция бежала. Мне пудрили мозги о сложности издательского дела, я верила. Мне рассказывали о трудности продажи, я соглашалась. Книжка вышла омерзительного жёлтого цвета, тиражом 50 ООО с изуродованными уменьшением иллюстрациями английской художницы, у которой издательница даже не спросила разрешения.

Когда дело дошло до выплаты гонорара мне и Питеру, тётка предложила мне один авторский экземпляр книжки и сумму без учёта инфляции. На момент заключения договора сумма означала пару приличных автомобилей. На момент выплаты — пару комнатных туфель. Я даже подумала, не поискать ли бандитов. Потом испугалась таких мыслей и решила, что бог накажет госпожу Ламунову покруче рэкета. Получать этот гонорар я отказалась, с тех пор тётеньку не видела; говорят, она продала издательство и торгует сигаретами. Думаю, что ничего хорошего у неё всё-таки не вышло.

Объяснить эту историю моим английским родственникам, естественно, невозможно. Они уверены, что я гнусно не поделилась с Питером, хотя при обсуждении истории вежливо кивают головами. Тем не менее я рада, что книга появилась в России, и меня часто за неё благодарят.

Как-то на правлении Гуманитарного фонда ко мне подошёл лидер смоленских авангардистов, поэт Саша Голубев, и предложил организовать фестиваль авангардистского искусства в Смоленске. До этого мы ограничивались попытками проникнуть в мероприятия хозяев жизни, чтобы установить там собственный порядок, здесь резко предлагалось стать большими самим. Саша Голубев был из комсомольских начальников города, он выбил местные деньги и задействовал инфраструктуру, остальное было отдано нам на откуп.

Поднимали это три человека: сам Голубев, председатель Гуманитарного фонда Миша Ромм и ваша покорная слуга. Со всей страны на пару недель были собраны представители нового искусства, расселены по гостиницам, накормлены по ресторанам и организованы в вечера, дискуссии и семинары. На мне была театральная мастерская, состоящая из застольных спектаклей новой драматургической компании и улаживания конфликтов. А конфликты росли как грибы.

Первый вечер в филармонии мы построили как парад звёзд. Покойная поэтесса Нина Искренко изображала хепенинг, читая стихи «к мужчине» и кидаясь в зал пустыми пивными банками. Потом перешла к иллюстрированию стихов расстёгиванием кофточки, доведя процесс до демонстрации живота и груди.

Вслед за ней Олег Хлебников читал жалобные стихи про то, как русские девки уезжают в Израиль. Авангардистка Ры Никонова с голыми плечами в цветастых колготках и нарукавниках диких цветов читала стихи из одних гласных и одних согласных, дудела в картонную воронку и извлекала из гортани прочие космические звуки.

Потом господин Пригов завопил стихи десятилетней давности, главный полиндромщик страны Бонифаций начал качаться на занавеске, уличный перфомансист Тиль запрыгал по залу с еловыми ветками в зубах. Сочувствующие визжали и свистели, шокированные краснели и хмурились, а филармонические уборщицы в ужасе крестились на столичных гостей, стоя в дверях.

Вечером участников фестиваля ждало помещение дансинга с накрытыми столами. Быстро набравшись на халяву, господа авангардисты бросались к микрофону с ненормативными текстами, русскими народными песнями и обличительными монологами к своим же андеграундным паханам. Тиль завис под потолком на металлических конструкциях, позируя телевидению. Началось битьё бутылок, и два авангардиста вынесли на эстраду на стуле спящего третьего. Тот не то чтобы проснулся, но начал обильно извергать из своего желудка выпитое и съеденное. Корешей это так возбудило, что они начали танцевать вокруг него на битых стёклах и извергнутом. Пожилые литературоведки тащили в номера наименее пьяных и наиболее пригодных поэтов, молодые трепетные авангардистки распевали матерные частушки и гимн Советского Союза.

Как организаторы, мы с Голубевым больше всего боялись начала битья стёкол, поскольку бюджет фестиваля не был на это рассчитан, и стали агитировать еще держащихся на ногах представителей творческой элиты возложить цветы к памятнику

Пушкина. Горстка их таки была доведена до «солнца русской поэзии», путь к которому усеялся нетрезвыми телами, как Куликово поле трупами. Возле Пушкина, несмотря на униженные просьбы телегруппы, авангардисты не сумели выдавить из себя ничего, кроме унылых тривиальностей, восторженного пьяного скотства и глубокой нежности к самим себе.

Как человек, выросший в атмосфере театрального стёба, я была глубоко разочарована. А как мать Петра и Павла, расстроена — я привезла сыновей на фестиваль за свой счёт, чтобы показать им праздник нового искусства.

Ворвавшаяся ко мне в номер администраторша долго орала, что они видели фарцовщиков, проституток, партработников, спортсменов, но такого… такого даже не предполагали.

В ночной оргии не было ни меры, ни вкуса. Какую-то служащую гостиницы поэты закатали в ковёр, какую-то пытались изнасиловать. Драк было не сосчитать. Крали и ломали всё, что плохо и хорошо лежало, одновременно с этим совершенно искренне представляясь персоналу национальным культурным достоянием.

На второй день персонажи очертились ещё ярче. Кроме возлияний их интересовало, в достаточно ли престижном месте прозвучат их бессмертные строки относительно собутыльников. Один, например, отказался читать свои стихи в музее, мотивируя тем, что музей — в здании церкви, стихи — похабные, а он человек глубоко религиозный. Второй, на четвереньках вползший в поезд ещё в Москве, ехал с докладом «Метафизика авангарда», но по пьяни потерял сумку с текстом, и видел свою роль на фестивале в попытках вломиться в гостиничный номер спортсменок, откуда неизменно вылетал с синяком и воплем «Суки, не дают русскому поэту!»

Третий сутками обучал американского поэта фразе «Поспособствуйте тремя рубчиками на опохмел!» Четвёртый в белой горячке твердил, что он подпольный миллионер, тайный брокер фирмы «Алиса» и скоро скупит всю поэзию. Четвёртый добыл трёхлитровую банку бормотухи и бегал по номерам, предлагая всем отхлёбывать, символизируя глубокое поэтическое братство. Пятый, разувшись, водил на верёвочке шестого, читавшего матерные стихи… Как мы шутили об этом к концу фестиваля, перефразируя тезис о некрасивых женщинах: не бывает плохой поэзии, бывает просто мало водки.

Когда всё это действо на финале погружалось в вагоны, билетов оказалось значительно больше, чем поэтов. Отчаявшись, Саша Голубев начал пересчитывать представителей нового искусства. В этот момент в вагон вносили глубоко

алкоголизированного представителя «Эха Москвы», завопившего: «Поэтов считать по головам не позволю!», и тут же заснувшего до Москвы.

Умом я понимала, что выздоровление от соцреализма лежит через операционный прорыв гнойников. Но именно в Смоленске резко поняла, что образ сестры милосердия в гнойной хирургии совсем не то, к чему я всю жизнь себя готовила.

Странный скандал произошёл после фестиваля. Моя близкая приятельница замечательный критик Алёна Злобина, иногда печатающаяся под псевдонимом Ангелевич, написала обо всём этом статью. Среди описаний карнавала был отмечен и номер Нины Искренко, о котором было сказано, что поэтесса показывала «вялый живот и не лучшую в мире грудь». Нина пришла в неистовство и потребовала, чтобы все авангардистские генералы, типа Ерёменко и Пригова, заклеймили позором критика, что и было сделано. И в газете «Московский комсомолец» появилось совершенно идиотское письмо про то, чтобы критик Ангелевич не смела нападать на талант поэтессы Нины Искренко. Большая часть подписантов не ездила на фестиваль, а поставила свои подписи «по телефону», что омерзительно сильно напоминало «Пастернака не читал, но осуждаю».

Мне позвонили из газеты и попросили написать, что думаю. Я написала, что одинаково уважаю творческую свободу Нины Искренко, желающую устраивать стриптиз во время чтения стихов, и творческую свободу Алёны Злобиной-Ангелевич, желающую это комментировать. И что я против создания зоны новых неприкасаемых для критики, и непонятно, нужно ли было завоёвывать гласность, чтобы затыкать неугодные рецензии коллективными письмами. И, как ведущая вечера в смоленской филармонии, заверила, что Нина демонстрировала не лучшие, но и не худшие, на мой взгляд, грудь и живот.

Когда статья уже была набрана, я случайно встретилась с Ниной Искренко в ресторане ЦДЛ. Сказала о завтрашней статье, и вдруг она заплакала и попросила, чтобы статья не выходила. Вид слёз сломал меня, я побежала звонить и как-то уговорила снять материал. А вскоре стало известно, что сразу после фестиваля у Нины обнаружили рак груди. Потом она умерла.

Это была печальная история о великолепной поэтессе и недолюбленной женщине, считавшейся в компании своим парнем, почти не умеющей строить отношения с женщинами; так и не успевшей толком пожить «в российской свободе». Стилистика стриптиза совершенно не соответствовала Нининому способу осваивать аудиторию. На фестивале она ещё не знала

диагноза. Это было предчувствие, вырвавшееся пластическим криком: «Ну, вы, кретины, я ведь красивая женщина! Хоть сейчас увидьте это!». Не увидели… Как всегда опоздали.

Глава 27. ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ

После августовского путча весь Союз писателей сошёл с ума и начал делиться. Как только Ельцин слез с броневика, писатели разбились на армии демократов и патриотов, чтобы бороться за деньги и помещения. Пафос этой драматургии не был мне близок. Демократическая писательская элита, настаивая на том, что она «ум, честь и совесть», в первую очередь приняла списком в свои ряды «не принятых прежде за антисоветскость». Каждая вторая фамилия в списке принадлежала детям, жёнам, друзьям и любовницам писателей-демократов.

Избранный лидером писателей-демократов Черниченко сначала изругал с трибуны съезда Лимонова, потом собрал правление секций, в которое я входила, и сказал две взаимоисключающие друг друга вещи: «Можно ли поставить в кабинет вертушку? И как сделать, чтобы в принципе не нужно было здесь бывать?» Старики вылизывали его во всех местах, поскольку он был депутатом. То есть, возмущаясь до путча приёмом в рады Союза писателей автора «Малой земли», после путча собственноручно пригласили на царство точно такого же графомана.

Я не была поклонницей политической деятельности Лимонова. Но когда Черниченко выступал против него с трибуны писательского съезда, я зверела: Лимонов писатель, а Черниченко — нет. Как говорил Бродский: «Если Евтушенко против колхозов, то я — за!» Нас опять пытались накормить партийной борьбой вместо творческих обсуждений. Я в Союз писателей вступала как в распределитель благ и не вижу особенной разницы в том, с кем вместе получать путёвки в Дом творчества. Тем более, что выше путёвок планка для меня не поднимется никогда, а там, где делятся литфондовские дачи, квартиры и прочие солидные пряники, коррумпированные «патриоты» и «демократы» отлично сливаются в экстазе.

Когда Петра и Павла забрали с классом на месяц на погружение в английский, я слонялась по квартире и плакала. И вдруг поняла, что без них мне не о чем говорить со своим мужем. Что он заботливый друг, замечательный любовник, красавец мужчина, но совершенно необязательно проводить с ним всю оставшуюся жизнь. Как говорила Ахматова, «жить можно только с тем, без кого не можешь жить».

А мир вокруг сильно менялся, и муж за этим перестал

поспевать. Растерялись все — привычные денежные ручейки начали таять, а потребности, в связи с наполнением рынка, расти. Люди начали менять профессии, чтобы догонять экономику. Это было не просто, и очень хотелось найти виноватого. Саша назначил виноватыми Ельцина и Гайдара и активно полемизировал с ними, вещающими с телевизионного экрана. Я мало анализировала тогда экономические модели, но понимала, что реформы — естественная плата за отмену социализма.

Российское народонаселение отчётливо поделилось на тех, кто круглосуточно возмущался, и тех, кто круглосуточно зарабатывал. Мои друзья по литературному цеху чётко сориентировались на западные рынки, остальные подруги начали своё дело в Москве. Вокруг практически не осталось людей, не поменявших или не видоизменивших профессию. А в нашей семье кто-то должен был отказаться от сибаритского социалистического амплуа. Ведь муж привык петь, не думая о том, будет ли у него зарплата; об этом думало государство, а я уже привыкла к жизни на театральные гонорары. Конечно, Саша мог пойти петь в кабак или церковь, но считал, что не царское это дело. Сидя в Ясеневе, я, видимо, тоже размазывала бы слёзы по лицу. Но я была уже в центре Москвы, ко мне вернулось забытое ощущение силы и свободы. И начала писать статьи о культуре, сначала за рубли, потом за доллары.

Конечно, это было обломом, но семью надо было кормить. Я думала, что скоро муж придёт в себя, найдёт нормальную работу, всё образуется, но… время шло. Постепенно я так погрузилась в гонку за деньгами, что стала с неудовольствием замечать, что Саша не берёт на себя полного объёма домашнего хозяйства.

Как всякий не реализующийся человек с амбициями, из лёгкого и остроумного он превратился в брюзжащего и поучающего. Уже потом я узнала, от психологов, что если один из супругов начинает хорошо вписываться в новую экономику, а другой — плохо, второй бессознательно тянет первого ко дну. Не из злого умысла, а из страха ощутить себя неудачником на фоне успешности близкого.

Брак был в кризисе, это видно из пьесы «Дранг нах вестен», которую я тогда написала о движении русских к западным моделям жизни. Это была первая моя пьеса, страшно не понравившаяся Саше. Обычной угрозой семье был персонаж треугольника, и мы научились отыгрывать это. Когда третьим оказался экономический шок, мы растерялись.

А тут приехал молодой немец, предложивший принять участие в организации каравана культуры; и крохи, которые он платил в течение года, в переводе на наши деньги гарантировали

семье стабильную жизнь. Конечно, мне тоже казалось, что несолидно действующему писателю бегать по организации даже такого благородного дела, но выхода не было. Многие люди моего круга в это время просто пошли мыть полы, возить шмотки из Турции и сидеть с детьми новых русских.

В это время альманах «Современная драматургия» напечатал мою пьесу «Алексеев и тени», прежде напечатанную в альманахе «Тёплый стан», а театр-студия «Дети райка» начал делать спектакль по «Виктории Васильевой глазами посторонних». Обаятельная главный режиссёр Неля Клеменко в головокружении от успеха по поводу того, что сумела выбить из муниципалитета собственный театр, решила сама ставить и сама играть главную роль.

Вид ничем, кроме критики правительства, не занятого мужа раздражал; и я убедила Нелю Клеменко дать ему небольшую роль в моей пьесе. А поскольку я ещё и планировала организацию фестиваля женского искусства, то предложила Сашу главной режиссёрше молодого оперного театра. Та прослушала, осталась довольна и взяла на Берендея в «Снегурочке». Пока я носилась и зарабатывала деньги, муж репетировал в моей пьесе героя-любовника и пел Берендея в золотых сапогах за символическую зарплату.

Всё и было бы стабильно, все и были бы при деле, но он комплексовал, а я стала ловить себя на том, что отношусь к собственному мужу как к одной из проблем. Побыстрей накормить, побыстрей выслушать, побыстрей дать задания и побыстрей убежать к главному в жизни.

Два автономных партнёра в семье должны создавать друг другу психологический и прочий комфорт, но при этом не паразитировать друг на друге эмоционально. А когда один целый день работает, а другой целый день готовится к его приходу, пара не может быть психически стабильной. Всё это я понимаю теперь, а тогда просто зверела. И то, что муж не только не может зарабатывать деньги, но ещё и изо всех сил мешает делать это мне, казалось садизмом. Он заявлял, что я слишком много трачу, бессознательно сопротивлялся реальным ценам, сравнивая их с застойными. И когда я сообщила, что у нас долгов на огромную сумму, произнёс сакраментальную фразу, в основном решившую судьбу брака: «Я этих долгов не делал!».

Теперь, когда ко мне обращаются за психологической консультацией, я объясняю, что существует «абберация ценового сознания в маргинальной ситуации». Но тогда я не была так подкована, восприняла это как партнёрское предательство и ответила, что мои эрогенные зоны после такого заявления отключились от розетки и спать я с ним больше не смогу никогда. Я никоим образом не связывала в жизни секс с финансами, но грубые подставы делали для меня мужчину сексуально непривлекательным в принципе. Вероятно, это такая форма защиты. Как говорят англичане, «если человек обманул меня однажды, значит, он плохой человек. Если человек обманул меня второй раз — значит, я глупый человек». В нашем союзе сексуальная компонента была определяющей. Я вообще долгое время была убеждена, что людям в принципе нечего делать вместе, если им неинтересно в постели.

Муж начал ответную войну. С поздним приходом, с запахом дешёвых цветочных духов. Помнится, я и разборки толковой не устраивала, поскольку интересен был его следующий ход. Он начал изображать сложные внутренние метания и делать многозначительные заявления, что некоторые думают только о деньгах, а вот другие — о духовности.

Дело было восьмого марта, после традиционных цветов и подарков. Позвонила расторможенная дама, настаивая на встрече с ним именно сегодня, я взяла другую трубку и предложила ей структурировать отношения. Дама приехала, оказавшись исполнительницей роли в моей пьесе во втором составе. Вела себя как дурно воспитанная артистка провинциального поза, кем, собственно, и являлась всю жизнь до этого. Была такой же профессионально невостребованной на данный момент, как и Саша. А главное, двадцать лет тому назад училась с ним вместе и, видимо, имела виды.

Они вели себя как идиоты, предлагая мне одновременно роль обманутой жены и заботливой мамы. То есть дама всхлипывала, что между ними ничего не было, но, что она, в отличие от меня, готова сделать его счастливым. Я предложила начать ей это немедленно и сразу же унести добычу в зубах, поскольку женщине с её данными только раз в жизни предоставляется возможность оторвать такого красивого мужика.

Она переходила на бытовые сложности, и я честно предупреждала её, что у нас для их счастья нет жилой площади, а на снятие квартиры он не заработает. Дама искренне спрашивала, не помогу ли я найти им жилье, ведь это так сложно. Как профессиональный паразит, она быстро углядела во мне опекающую мамку. По ходу дела она сообщила, что живёт в

огромной квартире, но там всё решает мамаша, которая просто зверь. В остальном даму не останавливало ничего, вплоть до того, что Саша не проводил её даже до метро, спокойно сев за праздничный семейный ужин.

Я намекнула, что для такого спектакля он мог найти что-нибудь получше некрасивой провинциальной дуры. Он что-то начал про её несчастную жизнь и свою роль спасителя. То есть совсем не врубился, что будет отвечать за её визит по полной программе, а, напротив, предлагал мне удочерить ещё и это чучело. Это легко пришло в голову. В последнее время я действительно обращалась с ним как мамашка с великовозрастным сыном-баловнем, и он считал, что мы продолжаем брачный пинг-понг в новом составе. А я совершенно твёрдо решила отправить его к новым горизонтам.

— Сегодня ты пойдёшь устраиваться на новую работу и искать квартиру, — жёстко сказала я утром и ушла из дому. Вечером никаких признаков поиска работы и квартиры не обнаружилось. И тогда, развив колоссальную энергию внушения и выталкивания, я умудрилась провести телефонные переговоры с дамой и её мужем.

Муж дамы недавно родил ребенка на стороне и потому вёл себя более чем покорно, он мало ощущал себя действующим лицом нашей пьесы, хотя и уходить в новую жизнь не собирался. Быстро удалось убедить его в необходимости жить в одной квартире с моим мужем.

— Я не против, — сказал муж дамы. — Но у нас всё решает мама.

Я потребовала, чтобы дама, как честный офицер, забирала Сашу. Она щебетала, что «конечно, конечно, но хорошо бы не сейчас, потому что мама к этому ещё не готова». Прелесть интриги состояла ещё и в том, что в моей пьесе она репетировала жену, приходящую к любовнице, а Саша репетировал её мужа. Но на сцену её, как второй состав, так и не выпустили, поскольку в первом составе работала известная артистка МХАТа. Так что, обидевшись на жизнь, она решила сыграть пьесу наоборот, да ещё и самим автором. Короче, нарвалась.

Я напомнила, что уже взяла на себя переговоры с её мужем, уж пусть хоть с мамой разберётся. Она попросила подождать у телефона, потом сообщила, что «мама согласна». Времени было около двенадцати. А мой муж при этом обиженно лежал в супружеской постели и никуда не собирался уходить.

Пришлось использовать запрещённый приём, снова звонить ей и говорить: «Ну, вот видите, я же предупреждала вас, что вы ему были нужны как статистка в наших разборках».

Отступать ей было некуда, и она, быстро пообещав ему по телефону покончить с собой сразу всеми известными способами, помогла географическому перемещению в свою квартиру. Как у меня всё это получилось, сама не знаю. Такая везуха бывает раз в сто лет. Видимо, я настолько не могла лечь к нему в постель, что готова была ради этого сдвинуть горы.

Подробно я описала эту оперетту в романе «Визит не старой дамы» и до сих пор, как драматург, восхищаюсь архитектурой этих двух дней. Итак, я стала свободна…

Говорят, на адаптацию после развода уходит два года. Мне хватило меньше. Через два года я уже была со вторым своим мужем. Хотя адаптационный период оказался не простым. У четырнадцатилетних сыновей был сильный стресс, но они безусловно приняли мою сторону. Первую неделю я просто летала. Как поёт Гребенщиков: «Как хорошо проснуться одному в своём уютном холостяцком флете, ни перед кем не будучи в ответе, и будучи не должным никому». Но через пару недель началась страшная ломка.

Как всегда, в разлуке, хорошие качества бывшего мужа начали расти в моей памяти в геометрической профессии, а плохие в той же профессии уменьшаться. Я впала в страшную депрессию и, чтобы пережить её, по совету мудрой Эрнандес, с вечера писала себе жёсткий график занятости на следующий день. В нём не должно было быть щелей для тоски. Я начала ходить в бессмысленные гости, делать бессмысленные вещи, занимать время бог знает чем.

Вскоре после того, как Саша нарисовался в квартире избранницы, то её «всё решающая мама», тоже провинциальная артистка, на старости лет взятая в столицу за простонародный выговор и все силы положившая на добычу огромной квартиры, выставила сладкую парочку на улицу, оставшись с зятем и внучкой. Бедолаги, совершенно не способные быть самостоятельными, впроголодь жили то у алкаша за бутылку, то у инвалида за уход. С Саши мгновенно слетел лоск, из декоративного красавца он в месяц превратился в тяжко борющегося за жизнь мужчину неопределённого возраста и амплуа.

Он ежедневно пробирался домой в отсутствие детей, поскольку долго не мог справиться с чувством вины перед ними. Мылся, чистился, переодевался. Я, как сердобольная мамка, кормила и жалела. Он замысловато описывал трудности новой жизни и ронял фразы о том, что ещё не принял решения по поводу дальнейшего, поскольку у дамы такая сложная ситуация, а я, во-первых, большая и сильная, а во-вторых, сама им всё это

хождение по мукам устроила. Вещи он, естественно, не забирал. И интереса к тому, насколько мне тяжело и бытово, и финансово вытаскивать двух подростков, не проявлял.

То есть, как полстраны, мы играли любимый советский фильм «Осенний марафон». В котором возвышенный страдалец ходит от одной бабы-мамки к другой, да ещё так, чтоб всем его было жалко. Вся отечественная мораль так сильно построена на дефиците мужиков, отстрелянных и посаженных в прошлых поколениях, что любой представитель сильного пола, попав меж двух баб, надувается как мыльный пузырь и проживает свои звёздные часы, при полном одобрении общества и начисто забывая о собственных детях.

Я сама полжизни разрывалась меж двух мужиков, но, как всякая нормальная баба, о том, что у меня есть дети, а у них есть проблемы, забывала только на время полового акта.

Подруги говорили: «Вот, допрыгалась со своим феминизмом, мужик ушёл к дурочке, рядом с которой он себя чувствует графом Монте-Кристо!».

Они ещё не знали тогда, как будут завидовать мне через несколько лет, напоровшись на точно такие же процессы в собственных семьях, годами волоча на спине не адаптирующихся к новой реальности мужей. И не имея такого королевского повода выгнать.

У меня не было распространённых женских страхов, что вот мужа увели, а другого не найду. Я отлично понимала, что никто никого не увёл, что это стопроцентно удачно поставленный спектакль.

Пётр и Павел вели себя как взрослые тактичнейшие люди. Очень переживали, но за всё время, боясь ранить, не задали мне ни одного вопроса. Вытаскивали меня гулять к Новодевичьему монастырю и ходили со мной на светские мероприятия, хотя им не всегда это было интересно.

С учёбой детей начались проблемы. Конечно, благотворительность с отдыхом преподавательницы на нашей даче не прошла безнаказанно. Пиететная часть отношения Петра и Павла к педагогам была необратимо разрушена. Они вступили в самую горячую часть переходного возраста, и проблемы в семье сделали их достаточно неуправляемыми. Для педагогов с навыками это не было бы неожиданностью, но в лицее работали сексуально не обслуженные климактерические тётьки, внутренний потенциал которых был рассчитан на девочек с косичками, пишущих круглым почерком стихи в тетрадку.

Пётр и Павел не то чтобы хамили, а просто не позволяли хамить себе, что обычно расценивалось советской педагогикой

как вызывающее поведение. Они хорошо учились, но много прогуливали. Писали замечательные литературоведческие работы, но имели собственное мнение. Курили, из чего я не делала трагедии — я ведь курила сама и считала аморальным, сидя на кухне с сигаретой, заставлять их прятаться по подъездам.

Ещё до разборки их резко потянуло в музыку. И, отказавшиеся в своё время учиться на военных дирижёров, они начали неистово осваивать инструменты. Павел всё лето терзал гитару и стал басистом школьного ансамбля, а Петр стучал на барабанах и просил денег на дорогую ударную установку. То есть в ту секунду, когда в доме смолкло Сашино пение, в нём начались репетиции лицейской рок-группы.

Дети отвязывались, неприятности копились. В июне весь класс поехал на практику в Ростов Великий на реставрационные работы. Там их компанию застукали за распитием бутылки вина. Казалось бы, делов-то, дети кончили девятый класс. Но вылилось в страшную драму: тётки собирали собрания, верещали, боролись за чистоту рядов. Особенно неистовствовала дама, которая круглосуточно цедила горилку на глазах моих сыновей в Пастырском.

Вопрос об исключении именно Петра и Павла выглядел совершенно нелогично — пили-то все мальчики. Когда меня вызвали на педсовет и объявили об аморальном поведении сыновей, я не стала дискутировать, угрожать и торговаться. За плечами была война в прошлой школе, я не могла подвергать сыновей новой обструкции профнепригодных дур. И я забрала документы детей.

Рухнула последняя зона семейной стабильности. Плюс к поискам себя в новой ситуации и к поискам заработков добавились поиски новой школы, которая бы отвечала нашим запросам. К счастью, на базе Дворца пионеров начали организовывать лингвистический лицей, и Петра и Павла пообещали взять туда при условии, что в сентябре они сдадут собеседование на английском.

Я осваивала перестроечную страну и незамужнюю жизнь одновременно. Крыша съезжала от количества внезапно разрешённого. Пошла полоса, в которой все проекты одобрялись и реализовывались. Никто не контролировал оценками и замечаниями.

Все вокруг бросились заниматься бизнесом, но, с одной стороны, деньги не заводили меня, с другой, я была чистоплюйкой и видела, что это связано с махинациями. Я понимала, что свобода — серьёзное испытание для советского человека, и старалась осторожно взбираться по её ступенькам;

много народу возле меня неслись наверх сломя голову и с криком падали вниз, поскользнувшись, ломая руки, ноги и позвоночники.

Все истерически быстро становились православными или иудеями, дворянами или дианетиками, депутатами или бомжами, меняли сексуальную ориентацию, образ жизни и образ самих себя.

Глава 28. ОБЖИВАНИЕ СВОБОДЫ

Женщина кормит младенца грудью, рядом другой ребёнок сидит на горшке, в углу третий — обкурился травкой, на диване — пьяный муж, вокруг горы грязной посуды и грязной одежды. Свободной рукой набирает телефонный номер одинокой подружки. Та лежит в ванной, в руке — мобильный телефон, на лице — маска. Многодетная мать: «Как представлю, что ты там одна-одинешенька, сердце кровью обливается…» (Анекдот).

По природе отношения с мужчиной я симбиотик. То есть, вступая в отношения, как на самый долгий, так и на самый короткий срок, эмоционально включаюсь на партнёра по самую макушку. Другой вопрос, что у меня получалось делать это сразу с несколькими — таково свойство психики: есть люди, которым одного человека трудно любить, а есть люди в пространство любви которых вмещаются многие. Кроме того, я умела относиться к любви как к механизму восстановления энергии.

Но половые радости, которые прежде, как философский камень у алхимика, обращали жизнь в золото, отвернулись от меня. Мужчины перестали мне нравиться, я стала фригидна, как надувная кукла из магазина «Интим», и общение со мной могло снизить самооценку любому сексуальному гиганту. Головой я понимала, что это чувство вины за разрушенную семью, понимала, что нужно время, — и отвлекалась на всякую белиберду.

В частности, одна из моих бывших приятельниц-литераторш занялась благотворительностью, точнее, подростками из неполных семей. И основала «Рога и копыта» в американском варианте. Внешне все выглядело пристойно, и я вошла в некий совет директоров; а мои дети, приобретя статус подростков из неполной семьи, стали опекаемыми. Вся интрига состояли в том, чтобы принять здесь подростков из неполных американских семей с их наставниками и отправить туда собственных.

Короче, ко мне заселились толстый десятилетний негритёнок по имени Ленин и его малахольный наставник Джон. Дедушка негритёнка был троцкистом, что не редкость: в бедных американских кварталах каждый второй Ленни, то бишь Ленин.

Ленин разговаривал так, что я, совсем плохо говорящая по-английски, не понимала ни слова. Это был самый хамский ребёнок, которого я видела в своём доме. У него не то что не было никаких навыков, он и не знал, что они бывают, хотя его папаша не кололся в притоне наркотиками, а владел магазинчиком. Правда, мама давным-давно исчезла в неведомом направлении.

Накормить Ленина было невозможно, гастрономический интерес у него был только к сникерсу и кока-коле. Меня заранее предупредили, что у Ленина больны все органы пищеварительного тракта. Малахольный Джон бесконечно гонялся за ним с очередной таблеткой и иногда одерживал победу. Негритёнок ничем не интересовался и ломал всё, что попадало под руку. Его главным развлечением было сидеть перед барабанами моего Пети и тупо бить в них часами. Через неделю нас трясло от Ленина, парень не умел даже спустить за собой воду в туалете.

Джон был из тех мужчин, на которых мне никогда не пришло бы в голову обратить внимание; я общалась с ним как с чемоданом, который попросили подержать дома. Он был фактурный спортивный блондин, вполне плейбойского вида, но какой-то совершенно опущенный. Однажды ночью мы смотрели телевизор на кухне, я собрала весь запас сил и, ежеминутно листая словарь, начала расспрашивать, на фига ему опекать подростка, от которого его тошнит. Ведь за версту было видно, что если кто и может хоть как-то социализировать Ленина, то не Джон, а какой-нибудь здоровый горластый, желательно афроамериканский наставник, который каждые полчаса будет давать ему в лоб.

— Я понимаю это, — сказал Джон. — Но каждый человек должен приносить пользу. Я мелкий чиновник, работаю всю неделю. Один выходной провожу с женой, а второй с Лениным, чтобы улучшить его жизнь.

— А почему бы вам с женой не родить собственного ребёнка? — спросила я.

— У нас слишком мало денег. Мы имеем квартиру с одной спальней, а для ребёнка необходим дом с тремя спальнями, — грустно ответил Джон.

— А сколько лет у вас уйдёт на зарабатывание такого дома?

— Лет десять.

— А сколько лет твоей жене?

— Она старше меня на пять лет, ей сорок.

— Значит Ленин не единственный подросток, которого ты будешь опекать.

— Конечно, — ответил Джон, не скрывая отвращения ни к себе, ни к подросткам.

А меня ещё потом спрашивали, почему я не соблазнила красивого американца, жившего со мной столько времени в одной квартире?

Как стало хорошо, когда они уехали. Правда, в Америку моим детям поехать в ответ не пришлось, вместо них подруга-благотворительница послала собственного малолетнего любовника, завербованного из подросших опекаемых, и дочку нужного человека. Организация до сих пор существует; за это время благотворительница пустила под её крышу торговцев мебелью из кавказской республики, перетрахавших опекаемых девочек; сто раз съездила в Штаты на чужие деньги и, устраивая показательные праздники, обзванивает знакомых с детьми, поскольку списки опекаемых похожи у нее на документы, которые оформлял на своих крестьян Чичиков.

В июне приехал американский режиссёр, снял офис в Театре Ермоловой, нанял за доллары театральную администрацию и начал от имени солидного чикагского театра проводить конкурс «Новые голоса из России». Драматурги начали резво писать заявки на пьесы: американские театры представлялись Клондайком. Я была из тех, кого пригласили побеседовать. Беседа была предельно бессмысленная, писать заявку я отказалась, но дала прочитать уже готовое. Новелла «Дети подземелья», в которой в голландской электричке встречаются русская девушка, едущая на заработки телом, и русский эмигрант, выдающий себя за американского профессора, показалась гостю многообещающим зачином. Он умолял написать пьесу про то, что с ними было дальше, уверяя, что это будет история почище «Кабаре» и её непременно снимут в Голливуде. С очень серьёзным лицом объяснял, что авансом может заплатить только сто долларов. То есть предлагал мне за полнометражную пьесу ту же самую сумму, которую герой «Детей подземелья» предлагал героине за один половой акт.

Я понимала, что меня и таких, как я, накалывают: аванс за пьесу не может быть сто долларов даже в племени мумба-юмба. Но доллары были реальные, и я, совсем как героиня всё тех же «Детей подземелья», думала о том, сколько фруктов куплю на них детям. Договор был заключён.

В сентябре, как было условлено, я сдала пьесу, которая называлась «По дороге к себе», и директор Театра Ермоловой самолично отправил пьесу американцу. А дальше — тишина.

К этому времени славистка из штата Огайо Мелисса Смит

уже перевела на английский мою пьесу «Уравнение с двумя известными», и её где-то в Америке поставили и прислали мне статьи из местной прессы, которая страшно умилялась тому, что у женщин в России тоже проблемы с абортами. Это напоминало, как одного нашего эмигранта спросили в Париже: «Сколько длится беременность у советских женщин?», и он шустро ответил: «Два года».

Наши с Мелиссой интересы по завоеванию англоговорящего театрального рынка совпадали, она перевела «По дороге к себе» и отправила в тот самый чикагский театр. Из театра ответили, что такой человек действительно раньше у них работал, но уволился, поскольку один из его сценариев приняли к работе в Голливуде, а о конкурсе «Новые голоса из России» в театре ничего не известно.

Толпы западных детей лейтенанта Шмидта приезжали тогда в Россию за идеями самого широкого, в том числе и драматургического, профиля. А потом ко мне пришёл парень из французского министерства культуры. И несколько часов объяснял, как Всероссийское агентство авторских прав нарушает мои права. На десерт я показала ему договор с американцем. Я никогда не видела, чтобы сухая деловая бумажка производила на человека такое впечатление.

Он читал её и падал от хохота на диван. Потом вставал, вытирал слёзы и спрашивал: «Вы это действительно подписали?». Получив подтверждение, снова падал от хохота. И так несколько раз подряд.

Кто-то дал мне заполнить очередную анкету, где я расписала всё как есть. Анкета оказалась из туманной организации «Кембриджский библиографический центр» и изыскивала публику для раздачи золотых медалей за «Вклад в культуру XX века». Конечно, я им подошла, как и некоторые другие, результатом чего было письмо о присуждении мне пресловутой «Золотой медали Кембриджского библиографического центра». Которую я при особом желании могу выкупить за солидную сумму в фунтах.

Нам тогда ещё не приходило в голову, что тиснёные бумаги с солидными печатями могут быть остроумным мошенничеством расторопных англичан. И птицы покрупнее давали телевидению интервью, помахивая золотистым бланком, а я повесила его в туалете, оформленном сыновьями подобными приметами времени — листовками с коммунистическими воззваниями, талонами на водку и объявлениями об интимных услугах.

Следующим пришло письмо из Франции, оно почему-то утверждало, что я попала в список «успешных женщин мира». Я читала его, сидя в квартире, выполненной в стиле «честная

бедность», в кошельке, сердце и списке перспектив было совершенно пусто. Семья кормилась на мои статьи и работу по организации каравана культуры. Театры не платили денег. Пётр и Павел вылетели из лицея за аморальное поведение. Брак был разрушен, а сексуальная жизнь не выстраивалась. Феминистки не любили и боялись, авангардисты презирали за то, что состою в Союзе писателей (куда, когда я стала членом приёмной комиссии, все через меня просовывались), солидные писатели избегали за дружбу с авангардистами и обижались за откровенные оценки в прессе, друзья из драматургической лаборатории потихоньку предавали. Так что я долго не могла взять в толк, что французы имели в виду.

Поэт Владимир Тучков, пребывая в должности журналиста солидной тогда газеты «Вечерний клуб», сделал со мной интервью, озаглавленное: «Сегодняшний шестидесятник — это гражданин начальник». Распалённая некорректным поведением старших товарищей, дорвавшихся до печатных площадей и перекрывших кислород нашему поколению почище коммунистов, я в очередной раз высказала всё, что думала.

Удивительное дело, я честно расставляла акценты, а вокруг твердили, что это эпатаж с целью грамотно построить карьеру. Я утверждала, что шестидесятники, не выдавившие из себя по капле раба (а я-то их видела не по телевизору, а на заседаниях и делёжках пирога), активно душат свою смену. А мне намекали, что я озвучиваю чью-то интригу. Я говорила, что матерный ширпотреб, завоевавший сценические площадки, пройдёт как пена, а меня обвиняли в зависти. Я намекала на кризис мужской цивилизации, а мне отвечали «Ты, наверное, хочешь в думу!», хотя тогда профессиональная политика казалась мне трудной и неинтересной. Особо дулись шестидесятники, назначившие себя моими учителями и первооткрывателями, хотя, кроме Афанасия Салынского, мне никто никогда реально не помогал.

После изгнания мужа в доме начали появляться мужчины. Это были приятели, поклонники, деловые партнеры. Их стало больше, потому что гости мужского пола ранили Сашино самолюбие. А тут двери распахнулись, мужики потекли бурными потоками. Новые ноты привносил и мой новый статус, и то, что, несмотря на депрессию, я словно сбросила груз семнадцати лет брака. Я превратилась в ту самую разгульную восемнадцатилетнюю хозяйку арбатского салона, которой вышла замуж, ощутила себя очень молодой, очень свободной, очень привлекательной и очень любящей жизнь.

Несмотря на сексуальные проблемы и неспособность

влюбиться, я понимала, что жизнь прекрасна и в каком-то смысле она только начинается. Разрыв, устроенный моими руками, переживался не легко. Но, даже если бы мы, не дай бог, помирились, я уже не была способна к прошлым отношениям. Я внутренне разжалась, как пружина, и начала занимать больше места в психологическом пространстве дома.

Я покрасилась в истошную блондинку (как в десятом классе), а это (кто пробовал — знает) совершенно перекроило образ. Мужчины, не смевшие прежде и подойти, начали через улицу кричать: «Дэвушка, пойдём покушаем в ресторане!»; а знающие не один год вдруг начали лепить фразочки типа: «Зачем тебе загружать умным свою хорошенькую головку?!». Я прониклась глубоким сочувствием к блондинкам, но нещадно эксплуатировала их образ, почему-то позволявший снять львиную долю ответственности и напряжения.

Сыновья долго воспринимали мужчин, появляющихся в доме, как существ, с которыми в моей жизни может быть связано что-то половое и матримониальное. Подсознательно они ждали, что мы помиримся. Налетая на подобное отношение, гости мужского пола, в том числе и те, что в мыслях не имели видов на меня, начинали к сыновьям подлизываться. Выглядело это запредельно. Взрослые дядьки являлись с бутылкой, подпаивали пятнадцатилетних Петра и Павла и изо всех сил вели с ними сальные разговоры. Поскольку бывший муж не пил в принципе, а на язык был благочестив как институтка (это я могла запустить в него десятиэтажным матом, он же за весь брак ни разу не назвал меня даже дурой), сыновья наблюдали за гостями как орнитологи за диковинными птицами, считали их полными идиотами и совершенно не врубались, что такими способами их принимают в мужское братство.

Пришёл июнь, а с ним и драматургический фестиваль, переселившийся из комсомольского дома отдыха в имение Станиславского по имени Любимовка. Имение пребывало в состоянии вороньей слободки, постройки, за исключением оборудованных под актёрский дом отдыха, ещё недавно работали барачными коммуналками. Люди были выселены, но разгромленные комнаты остатками скарба ещё рассказывали истории о них, будя к драматургическим изыскам.

Ещё царило общее опьянение свободой, ради него забывались прошлые обиды. Ещё казалось, что на смену идеологической конъюнктуре придут и воцарятся настоящие тексты. Ещё думалось, что тётеньки-хозяйки семинара глубоко раскаялись в службе коммунистическому режиму, что дяденьки мэтры

приехали сюда не для того, чтобы подправить собственное здоровье, а чтобы ставить на ноги молодых, что молодые режиссеры изнемогают от желания ставить пьесы своих сверстников, а не прогибаются под хозяевами, чтоб дали поставить хоть что-нибудь. Все разговаривали цитатами из фильма «Покаяние» и искренне поддерживали атмосферу праздника. Шёл 1992 год…

Тексты приехали разные. В основном исторические стилизации, потому что очень трудно было понять что-то про себя. А если понималось, то или с морем крови, или с крестом и кадилом клинической величины, или в национал-патриотической истерике, или с чёрной дырой чернухи. Я приехала с пьесой «Дранг нах вестен», её удачно отыграли, напечатали в альманахе «Драматург», и она побежала по городам и весям.

Пьеса в трёх новеллах была написана на двоих, и очень компактно ставилась в условиях филармонии и концертного зала. В первой новелле эмигрирующая в Америку жена художника-шестидесятника объясняла мужу, что, плача о своей загубленной совдепией жизни, он сознательно загубил ей жизнь. Во второй — она и он осваивали пространство дикой эмиграции. В третьей — русский герой на рандеву не выдерживал партнёрства с европеизировавшейся деловой женщиной. Всё это было про меня, про нас, про тех, кто уехал, кто собирался и кто не собирался.

Пока все устраивали дела и заглядывали в глаза мэтрам, я расслаблялась. Режиссёра взяла не «перспективного», а нравящегося моей новой подружке — чтобы дать ей возможность завалить его под любимовской берёзой. Это была первая передышка после разрыва с мужем. Я могла месяц не думать о зарабатывании денег и кухонном конвейере и даже нашла мальчика, от которого моё физиологическое естество стало быстро приходить в норму.

Мальчик был милый, молоденький, снобистски настроенный, экзотически воспитанный и прелестный в постели. Я долго не могла выучить, как его зовут, что ни капли не омрачило наши отношения, в которых моя психика сразу отменила блокаду организма на удовольствия.

Это был сезонный вариант, и чем-то мальчик напоминал мне бывшего мужа. Я понимала всё это, но ещё была не в состоянии контролировать себя, и терроризировала мальчика, как волк ягнёнка.

Моя компания тоже не принимала его — за молодость и принадлежность к другой тусовке. Если бы это был малотоварный вечно пьяный лысый пузатый писатель с амбициями вместо мускулатуры, меня бы поняли и простили, но я редко

возбуждаюсь на некрасивых мужчин, для этого в них должно быть сумасшедшее обаяние.

Короче, мальчик был обижаем и мной, и компанией, хотя честно исполнял свои физиологические и декоративные задачи, пока Любимовка не кончилась. А когда она кончилась, началась карусель Каравана культуры. Приехала из Еревана Зара с маленькой дочкой и немецкий художник-антропософ Йоханн из Бремена. Зарина Алиса была ребёнком, который все пять лет своей жизни провёл в воюющей стране. Горячая вода в её понимании могла жить только в чайнике. Алиса включала горячий кран в ванной, часами стояла, держа в нём пальчик и загадочно улыбалась. Выросшая при свечах, она не понимала, почему целый день работает телевизор и горит электричество.

Йоханн был иконописный красавец, не пахнущий мужскими гормонами, упёртый антропософ, благочестивый отец семейства, приехавший спасать пропадающих на корню без штайнеровского учения русских. Мы с Зарой относились к нему как к мебели. Он рассуждал о спасении человечества, но ни разу не принёс Зариной Алисе шоколадки. Решили, что он считает сласти вредными для человеческого организма, и были страшно удивлены, выметая из-под его постели горы сникерсных обёрток.

Всё, что происходило в Караване, я подробно описала в повести «Опыт социальной скульптуры». Проехав через восемьдесят лет почти по той же дороге, по которой ехал на Дальний Восток служить в царской армии мой дед Гаврил, я словно разорвала меловой круг. Приобрела незабываемый административный опыт по организации многонационального Ноева ковчега, попробовала себя на самостоятельность в условиях дикой природы и диких туземцев, подробно разглядела лица друзей в экстремале, выдержала тест на перелом руки и пневмонию в кочевых условиях и т. д. Это была инициация, которую я не прошла вовремя, слишком рано оказавшись под грузом ответственности за детей. После Каравана для меня не существовало стен, которые я не могла бы преодолеть. Попав в пространство сексуально расторможенного поезда, в котором девяносто процентов западников приехали на поиски русской пары, я была само пуританство. Мне нравился один американский рок-музыкант, но на нём большими буквами было написано слово «спид». От безделья я заинтересовалась одним русским, но он не годился мне ни по каким параметрам. Совершенно очаровалась романтичным немцем, но он путешествовал с подругой. Его звали Вильфрид, он рисовал расплывчатые многозначительные акварельные картинки и казался идеальным, потому что у нас оказалась общая самая

любимая книжка: «Назову себя Гантенбайном» Макса Фриша. Но подруга-антропософка так интенсивно ходила за ним по пятам, а я так плохо говорила по-немецки, что мы могли намекать друг другу на глобальность чувств, но не могли договориться о встрече в моём номере, даже оказавшись в отеле. Мы с помощью словаря рассуждали о любви и искусстве, но оба не понимали, как и с какой интонацией надо сказать: «Сейчас, через некоторое время после меня, ты идёшь к лифту и поднимаешься в такой-то номер».

А ещё был один плутоватый англичанин, за которым платонически охотилась бестолковая немка, потому что только он мог выносить её в больших количествах, матримониально охотилась юная монголка, родители которой наивно считали, что у него есть деньги, и я, дети которой должны были держать экзамен по английскому в лингвистический лицей. Немка звала его путешествовать по русскому Северу. Монголка умоляла остаться навсегда в степях, что означало «хочу жить в Лондоне на твои деньги». Я предлагала месяц в моём украинском доме, солидную оплату репетитора и намекала, «что это ещё не всё».

Парень рвался на три части, но в итоге остался в Улан-Баторе, где его, вряд ли окончившего даже среднюю школу, пообещали устроить профессором английской литературы.

Загорелая и измученная пневмонией, которая в монгольском стерильном воздухе переносится легко, но при вступлении на столичную землю косит под корень, я прилетела в Москву. Почти месяц мне было ничего не известно о детях, отправленных с мамой и братом на Украину, потому что информационные инфраструктуры в селе Пастырское развивались теми же темпами, что в монгольской степи. Я сходила с ума и чувствовала себя виноватой, несмотря на то, что все они там жили на зарабатываемые мной в Караване деньги.

Вечером я собрала монгольские подарки, заработанные доллары и поплелась в сторону Киевского вокзала. Шатало, в глазах было темно, но караванский опыт «я всё могу, у меня всё получится» толкал вперёд. Сама не знаю, как достала билет в плацкартный вагон и заснула сидя, а когда проснулась, напротив сидела хорошенькая белокурая птичка-челночница. Она везла неподъёмные тюки и щебетала о жизненных успехах.

— Раньше я на фабрике работала, пыль глотала. А теперь жизнь опасная, но интересная. Тюки на себе. Вены после родов болят. А что сделаешь? В Брест приезжаешь — таможеннику дай. В Варшаве — на рынке дай, в гостинице — дай. Ведь когда молодая, они деньгами-то не берут. Я спервоначалу так плакала, так плакала… У меня родители строгие, они на танцы ходить считали позором. А теперь я вот… А что делать, не везти же товар

назад? Двое детей. Муж на заводе числится: два раза в месяц туда ходит, зарплаты никакой. Вот с детьми и сидит.

— А ты ему не предлагала с собой поехать, тюки потаскать? — аккуратно спросила я.

— Предлагала. Не может он. Гордый он у меня. Самый красивый парень в своём цеху. Я второй год езжу, машину ему купила. Он у меня хоть куда.

— А на хрена такой муж? Он тебе в постели нравится?

— Чё это нравится? Я вообще не по этой части. Я не какая-нибудь! Я только ради семьи, ради детей. Чтоб сыты, обуты, одеты, чтоб дом — полная чаша.

Сколько я их таких видела. Самые толковые открыли потом свой бизнес и побросали своих альфонсов. Самые бестолковые надорвались под непосильным трудом, и альфонсы побросали их. Но совершенно однозначно, что поколение детей перестройки вытянули на своём горбу бабы. Они оказались более адаптивными и менее амбициозными. Жизнь давала им по морде, они утирались и шли дальше.

Дети в Пастырском были в порядке, но на Паланке царило недоумение. Информация о моём разводе с Сашей потрясла селян значительно больше, чем путч предыдущего, 1991 года. Мне не давали проходу с расспросами и сочувствиями. Каждая пресс-конференция такого рода сопровождалась историческими справками типа: «А вот Малашка со Свинолуповки выгнала своего Федьку пьяницу, а его Ганька рыжая подобрала. А Малашка локти теперь кусает. А Лизка, что в голубом доме у дороги, наоборот, Витька отправила. А теперь такого ладного себе мужика нашла по переписке. В тюрьму написала, мол, одна. А он — ей. Освободился, пришёл, дом поправил, живут хорошо. Кому ты теперь с двумя детьми нужна? Мужики-то все наперечет!».

Попытки объяснить, что в Москве мужиков будет побольше, не удавались. Тем более, что я приехала яркой блондинкой, а это в селе считалось последнее дело. Особенно лютовал Христофорыч.

— Ну, шо, Маша? Шо Сашко тебе дурного зробил? Нэ пив, не бив! Хто тебе визьмет с хлопчиками? На шо исти будэшь, хде гроши без Сашка?

— Яков Христофорович, я сама и зарабатываю, — объясняла я.

— Шо ты там зарабатываешь? В Москви по телевизору кажут, усё на доллары! — махнул он рукой, сидя в нашем саду под грушей.

— Я и доллары зарабатываю, — устало оправдывалась я. В

селе не существовало понятия частного пространства, все лезли во всё, и не участвовать в обсуждении своей личной жизни со всеми желающими считалось более масштабным грехом, чем воровать кур.

— На шо ты мени, Маша, брешешь? — обиделся Христофорыч. — Я Крим и Рим прошёл, а доллар не бачив.

— Хотите покажу? — предложила я, хихикая.

— Шо ты мне покажешь? Шо ты мене можешь показать? Патлы свои белые бесстыжие? — горячился старик. Я зашла в хату и вынесла пачку долларов.

Реакция была неожиданной. Почти восьмидесятилетний Яков Христофорыч, прошедший войну до Берлина, переживший обеих жён и тьму событий, встал и вытянулся во фрунт при виде присутствия доллара, как будто начали исполнять государственный гимн. Он потёр руки об штаны, долго мял, нюхал и смотрел на свет. Потом долго молчал и почтительно подытожил.

— Це, Маша, главное сэбе мисто найти. А шо головка бэлесенька, то ничого. Така тяжёла жизнь пишла, жмэт и жмэт. Бачу я, Маша, шо с такими грошами тэбе Сашко не нужон. А бабы казали, вона пропадэт без Сашка, вона по хозяйству робить не умеет, — видимо, Христофорыч решил, что я стала валютной проституткой. Потому как другим способом баба, не умеющая косить, сажать и рубить дрова, заработать не может. Отнёсся он к этому с уважением и успокоился за судьбу моих детей.

Слава богу, что мошенник-англичанин не приехал шлифовать язык моих сыновей, в селе бы его просто отравили. В сентябре Петр и Павел сами сдали английский, и их взяли в лингвистический лицей. А тётки-литературоведки бессильно злились — в гуманитарном классе на пятнадцать девочек осталось два мальчика, остальные в знак протеста ушли за моими.

Глава 29. МЕЖ БОГЕМОЙ И ГАЗЕТОЙ

Казалось, можно расслабиться. Дети пристроены, деньги заработаны. Психика восстановилась. Впереди фестиваль авангардистского искусства в Смоленске, на который приедет милый моему сердцу немецкий художник Вильфрид. Бывший муж волновал всё меньше и меньше, перейдя в ранг неудачливого родственника, опекаемого из чувства долга. Как говорила одна моя подруга, «бывший муж — это как разогретые вчерашние котлеты». Одним словом, жизнь удалась. Но приехал мальчик с любимовского фестиваля, успешно забытый в караванном мелькании лиц, и я пообещала взять его в Смоленск.

Гнусно попользовавшись им для восстановления «первой сигнальной системы», я не церемонилась — извечная проблема партнёра, приходящего сразу вслед за обидчиком и вынужденного все это расхлёбывать. Мальчик стал заложником моих разборок с мужем и получал в лицо такую правду-матку, от которой волосы становились дыбом.

То, что он занимает меня только в постели, я артикулировала без всякого жеманства, так же как и то, что на фестиваль поедет именно в этом качестве, а не по причине своих бессмертных произведений. Он был одарённый человек, но мне не хотелось слышать, что ввожу кого-то в литературу за постель. Я назначила его жигалом и предупредила, что главным героем будет немец, которому отправлено официальное приглашение. Враньё в браке достало меня так, что я стала честна, как кардиограмма.

Считать, что мальчик рассчитался за это, продумав детали, было бы неверным. Скорее бессознательно. Короче, я оказалась беременна при его стопроцентных уверениях, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Ужас, в который я опрокинулась, совершенно затмил проблемы бывшего брака. «Читать книги в юности — всё равно, что смотреть на луну в щёлочку», — говорил Чжан Чао. То же самое касается абортов.

Аборт в юности ощущаешь как чудовищное надругательство над собой. В аборте во взрослости к этому прибавляется тяжесть роли убийцы, потому что ты уже физически помнишь, что из первой растерянности, дискомфорта и токсикоза потом загадочным образом образуется самое дорогое тебе существо. И отправляя его в никуда волевым решением в угоду собственным планам, не только лишаешь его жизни, но и отказываешь себе в счастье растить и обожать его.

И всё это, идя на поводу у общества, которое ты презираешь, но которое погребёт тебя под ношей одинокого выживания с тремя детьми. Решение об аборте не обсуждалось, а выстрадывалось. Мнение соавтора беременности по этому поводу, впрочем, как и по остальным, меня не интересовало. Я опускала его как завуч двоечника, а он вёл себя как перепуганный подросток.

Я поехала на фестиваль с необратимой ясностью и токсикозом. Носилась по организации, потому что это был заработок; вела семинары и концерты с целлофановым пакетом в кармане, потому что меня перманентно тошнило; и в истерике звонила домой, где Паша решил бросить лингвистический лицей, потому что вдруг ощутил себя гениальным гитаристом.

В организации фестиваля были огромные накладки, и, когда выяснилось, что из-за них ни один из иностранцев не приедет, все

схватились за голову. Радовалась только я, потому что ещё и Вильфрида просто бы не потянула. Однако небесный диспетчер не дремал, и вместо немецкого художника прислал на фестиваль парижского писателя-эмигранта, в которого я немедленно от отчаяния влюбилась.

У меня про это есть подробный рассказ «Аборт от нелюбимого», хотя ужас моего тогдашнего состояния не переводится в прозу, и страшное чувство вины за то, что я лишила детей отца, помножилось на страх перед абортом.

Мальчик-жигало ходил за мной как цыплёнок за курицей и нудно выяснял отношения, которых, на мой взгляд, уже не было. Я ещё была в состоянии общаться с ним в постели (тем более, что это облегчало токсикоз), но когда он выговаривал какой-то текст, было ощущение, что кто-то скребёт железом по стеклу.

Парижский эмигрант на его фоне выглядел прекрасным принцем. Звали его, скажем, Лёва. И за несколько стоп-кадров недельного общения, наполненного для меня беготнёй и токсикозом, а для него скучающей позой, успел нарисоваться внятный образ. Семь лет в Париже, одинок и гениален. Благодарен жене-француженке за вывоз собственного тела из Советского Союза, но женатым на ней себя не ощущает. Страшно обаятелен и столь же раним. Развёрнут корпусом к активному роману, видит все приметы взаимности и не понимает, почему сопровождающий меня юноша ещё не отправлен в отставку.

Ощутив лёгкое капризничание с его стороны, я поняла, что Боливар не вынесет двоих, и спровоцировала объяснение, в котором Лёва, как всякий русский интеллигент, рассчитывал, что я всё за него проговорю и всё ему объясню.

— Я не вижу своего места здесь, поэтому я уезжаю в Москву, — томно говорил он, заловив меня в фойе.

— Мне очень жаль, но я предлагала обсудить ваши тексты на семинаре, — прикидывалась я дурочкой.

— Люди на семинаре не интересны мне, как и я им, — обиженно отвечал он, как будто я была в этом виновата. — Я иду брать билеты.

— Мне очень грустно это слышать. Вы для меня светлое пятно здесь, — сообщала я.

— Но вы всё равно не остаётесь одна. Это раздражает, — намекал он.

— Я вернусь в Москву совершенно одна. И там у меня будет уйма времени, — обещала я.

Не могла же я сказать: «Давай милый, я быстро поменяю вас местами, и ты вместо него будешь исполнять мои токсикозные капризы, выносить мои истерики, а на людях прикидываться

счастливым и обласканным». Не могла же я утянуть совершенно незнакомого человека, задолбанного эмигрантскими комплексами, в карусель переходного периода своей жизни. Он плохо понимал, что происходит в стране, а уж что происходит с отдельной бабой в отдельной семье этой страны, было ему совсем непосильно.

Я вернулась в Москву в сопровождении мальчика, нагруженного сумками, которые набила купленым вареньем для детей, и рассталась с ним навеки. Решила домашние проблемы. Вытащила из небытия парижского эмигранта и начала душещипательный забег по многоукладной абортной медицине.

Лёва был возвышен и загадочен, нежен и предупредителен. Моя беда подлила масла в огонь и сделала сюжет особенно литературным. Как говорил Хичкок: «Мелодрама, это когда двое целуются, лежа на кровати. А триллер, это когда те же двое целуются, а под кроватью бомба». Лёва вёл себя как заезжий Робин Гуд, но приближались сроки отъезда.

Меня мало занимало, что он приехал с женой, которую считал фиктивной (она имела на этот счет совершенно противоположное мнение). Я была в эйфории влюблённости, и всё, что бы он ни говорил, всё, чтобы он ни делал, подсвечивалось сиянием ситуации. Он вытащил меня из постабортной истерики и угрызений совести. Он фотографировал и рисовал мою астеничную страдальческую рожу. Это был даже не роман, а некое узнавание предназначенных друг для друга людей, которым каждую секунду на улице, в постели, по телефону изнурительно интересно друг с другом.

Ему не было равных в метафоре, мне — в структурировании. Я была заметна в литературной тусовке Москвы, он ненавидел парижскую среду и отшельничал. Мне был ни секунды не интересен Париж, его тошнило от Москвы. Но мы страшно нуждались друг в друге психологически.

Кроме того, надоели совковые мужики, обламывающиеся на моём феминизме. Он их не пугал, но казался экзотикой, и они изнуряли себя теоретизированием. Их напрягала моя манера называть всё своими именами, принимать решения и тут же их выполнять без вранья и манипуляций. Они соглашались, что с такой бабой комфортнее, но вели себя так, как будто я жираф в зоопарке. И не было случая, чтобы, знакомя меня, они не кричали: «Живая феминистка!».

Лёва был сильно отёсан в этом смысле французским женским движением, ему ничего не надо было объяснять. Ведь как говаривала Зинаида Гиппиус, «если надо объяснять, то не надо объяснять».

А часы тикали, предстояло прощание, и нам никак не удавалось найти правильную интонацию. Мы клялись писать и звонить, но не произносили ни «любовь до гроба, дураки оба», ни «спасибо, было хорошо». А тут влезала моя новая подружка Лина; её долго не было в Москве, и она ни разу не видела Лёву. Лина засучила рукава и полезла в отношения по локоть.

Она, искренне страдая, рассказала, как заботливо обсуждала «лафстори» с Лёвиной сестрой, и что та сообщила о перспективах, ссылаясь на цитаты из Лёвы. Я вылила на героя ушат холодной воды вместе с пересказом лининой истории. Лёва обиделся, во-первых, на сестру, которая вроде как лезет в отношения. Во-вторых, на меня, которая вместо того, чтобы задавать вопросы ему, собирает информацию экзотическим способом.

Лева оказался трепетной натурой, а потому, уехав, ушёл в депрессию и перестал выходить на связь как со мной, так и со своими родственниками, переведя телефон на автоответчик. Я писала душераздирающие письма, поскольку уже назначила его если не любимым мужчиной, то лирическим образом. Он отвечал или немотивированной истерикой, или столь же немотивированной нежностью. Потом снова исчезал. Я ещё не осознала всех подробностей Лёвиного менталитета и полагала, что нужна ему в том же душевном объёме, что и он мне. Но я была нужна ему в компактном варианте. У американцев есть популярный товар «бой-френд из коробочки». Поскольку бой-френда иметь престижно, то каждая девушка, не имеющая оного, может купить себе коробочку, в которой есть фотография, колечко и ещё несколько фенечек, и демонстрировать эту виртуальную любовь на работе, подружкам и т. д. Лёва держал меня в этом качестве, не отдавая себе в этом отчёта.

Он в принципе жил в сладком слове «когда-нибудь», и, поселённая в это слово, я была достаточно привлекательна. Он увёз все мои рукописи и, как истинный литературный гурман, расплетал их там, как ковёр, на ниточки. Я жила и двигалась во времени, Лёва остановил часы и плавал в Париже, как рыба подо льдом замёрзшего озера.

Каждый из нас мог сказать: «Приезжай, мне без тебя плохо!». Но приехать реально у обоих не было ни денег, ни особого желания. И потому оба общались не с произносимым текстом собеседника, а с его эластичным подтекстом, из которого мы выуживали много чего такого, чем можно было эмоционально кормить себя в разлуке.

Я перезимовала, приходя в себя, соображая, как меня теперь зовут, на что я буду кормить детей, каковы мои писательские и гражданские позы. Написала пьесу «Пробное интервью на тему

свободы», в котором молодая журналистка пробует на вкус свалившиеся формы свободы. С полным джентльменским набором: возлюбленный эмигрант, молодой любовник музыкант, приятель новый русский, пожилой крутой покровитель, завистливая подруга, бывший муж, мать-целительница и большая экспрессия. Однако министерство почему-то не спешило покупать пьесу. Я написала повесть «Опыт социальной скульптуры» о Караване культуры, но толстые журналы остались ко мне холодны. Деньги, заработанные летом, кончались, от литературной халтуры я отказывалась. Подруги уже вкалывали в многоукладной экономике, а я продолжала видеть себя писателем.

И тут пришла хорошенькая, как эльф, Яна Жиляева из «Московского комсомольца» и сделала со мной интервью в газетный разворот. Первой на него откликнулись два маниакальных мужика, которые хотели того, что в просторечье называется секс по телефону. Первый звонил вечерами, склонял меня в христианскую веру и мурлыкал про то, как чувствует через телефонный провод мои руки, глаза и всё остальное. Второй, представившийся морским волком, звонил по утрам, настаивал на том, что феминистка — это баба, которую никак не могут толком оттрахать, и предлагал свои услуги. Я просила не звонить, грозила, хамила. Не помогало.

Следующей на интервью откликнулась Юнна Мориц. Она напечатала в «Столице» разнузданную и агрессивную бодягу, почему-то обвиняя меня в планах занять президентское кресло. И прочитала тот же самый текст по радио «Свобода». Я написала ответ, принесла в «Столицу», но Андрей Мальгин даже не стал его обсуждать.

Я пошла на радио «Свобода», потребовала сатисфакции, но Марк Дейч объяснил, что Юнна Мориц — известная поэтесса, а я — никто. Разъяснения, что я — не никто, а человек, оскорблённый печатно и радийно, его не убедили. Я понимала, что гласность у нас для избранных, но не ожидала, что до такой степени.

Третьим на интервью откликнулся Егор Яковлев. В театральной среде приняты розыгрыши. Как и всем нашим, мне сто раз звонили скучающие студенты-актёры голосами Ефремова, Табакова и Брежнева, объявляя о начале репетиций моих спектаклей во МХАТе, Табакерке и Мавзолее. Звонили и голосами с иностранным акцентом, что в Гвинее-Бисау прямо под пальмами идёт пьеса «Уравнение с двумя известными» под названием «Кресло гинеколога» с Джульеттой Мазиной в главной роли, так что с премьеркой вас, Мария Ивановна!

Это была такая традиция актёрской пьянки — «кому мы сейчас позвоним и пообещаем «нобелёк за нетленку». Так что, когда я пришла домой и увидела записку «Звонил Егор Яковлев, хочет, чтоб ты работала в его новой газете, перезвони по такому-то телефону», я, естественно, порадовалась актёрскому остроумию в весеннем розыгрыше.

Я, конечно, знала, что Егор Яковлев — герой демократии, а его перестроечная газета «Московские новости» была лучом света в тёмном царстве. Но жизнь газет происходила не на моей планете, так что, когда раздался новый звонок от «Егора Яковлева», я отвечала в стилистике «хватит прикалываться, есть дела поважнее». Собеседник выдержал моё недоверие и объяснил, что прочитал интервью со мною в «МК» и убеждён, что я буду работать в его новой газете. Поняв, что скорее всего это не театральный студент, я ответила:

— Мне это не подходит. Я не умею подчиняться, веду войну с шестидесятниками, пишу только правду и не даю поправлять в своих текстах ни одной запятой.

— Отлично, — сказал собеседник. — Это как раз то, что нам надо, завтра я посылаю за вами машину.

— Но я никогда не буду у вас работать, — пояснила я.

— Понял, — вежливо сказал собеседник. — Обсудим это при личной встрече, уделите мне полчасика.

Конечно, я ехала, чтобы сказать всё, что думаю о шестидесятниках, и эффектно хлопнуть дверью. Как говорил мой любимый Юрий Олеша «Уходя, мы хлопнем дверью так, чтобы на морде истории осталась морщина». Но я не знала, что не родился ещё человек, которого Егор Яковлев не сумел бы обольстить и уболтать.

— Сейчас, весной девяносто третьего, я третий раз начинаю с нуля, — сказал Егор. — Меня предали сначала Горбачёв, потом Ельцин, но я сделаю новую газету для интеллигенции, у которой будет новый голос.

С одной стороны, буддист считает, что всякую работу небесный диспетчер посылает для чего-то, а не просто так. С другой, кончились деньги. С третьей, драматургическая компания уже деградировала до уровня, на котором хвастаются, кто где больше урвал. С четвёртой, после аборта и отъезда Лёвы в Париж было ощущение другого этапа и потребности в поиске новых жизненных стратегий. Всё сходилось, но, по-честному, я пошла в газету только потому, что масштаб личности Егора Яковлева завораживал. Конечно, не обошлось и без «образа отца» — ведь мой папа тоже много отдал газетам.

Но, да простит меня любимый муж и прочие судьбоносные

мужчины, но ни один из них не оказал такого мощного влияния на мою жизнь, как «производственно удочеривший» меня Егор Яковлев. Теперь я знаю точно, что любого выпускника Литературного института на практику надо в обязательном порядке отправлять в газету. «Наш брат писатель» живёт в совершенно герметичной среде, и ему кажется, что Дом литераторов такой большой, а мир такой маленький. А потом оказывается, что это Мир такой большой, а дома литераторов давно нет.

Газета — это не место работы, а образ жизни, тип темперамента. Еженедельная газета больше всего похожа на театр: в понедельник все экзистенциально расслаблены; во вторник подозрительно лукавы; в среду выясняется, что материалов нет или они таковы, что главный редактор предлагает авторам съесть их у него на глазах; в четверг номер загадочным образом складывается и отправляется в печать, в пятницу он кажется гениальным, и все выпивают на радостях; в понедельник все снова экзистенциально расслаблены, и дальше в том же порядке.

Газета — это наркотик, это идеальное место для вложения социального темперамента. А журналисты, по психофизике, родные братья артистов. Конечно, я не привыкла писать одноразовые тексты, и ощущение однонедельности пафоса разрушало меня, но зато я перестала жить в компании и начала жить в мире. «Общая газета» больше всего напоминала клуб, дискуссии в котором ещё и выходили в печатном варианте. Там почти не было придурков, и все были влюблены в Егора, именуемого или по имени или «папа».

Именно потому что это была семья, расставались кроваво.

Я пошла в «Общую газету» писать о женских проблемах и в первом номере даже сделала программный материал о нежном пламени феминизма, озаряющем век уходящий и ровно отапливающем век надвигающийся. Но я недооценила Егора Яковлева, пообещав огромное газетное феминистское поле, он аккуратно подсадил меня на политику. Во-первых, стол в редакции, за которым я иногда писала, стоял в отделе политики. Во-вторых, Егор периодически обсуждал со мной какие-то вещи, в которых я была как баран в апельсинах, вынуждая начать изо всех сил обучаться. В-третьих, всё население газеты было настолько политизировано, что, не врубившись в нюансы, я начинала ощущать себя вовсе не говорящей на языке.

Журналистика в принципе одна из самых феминизированных профессий, но галерея типажей, собранных под крышей «Общей

газеты», составляла салон самой высокой пробы. Когда спрашивали, в кого я влюблена в газете, то отвечала, что в Егора и в весь коллектив. Отъехавший Лёва продолжал занимать место в сердце, но я мало похожа на Ярославну и убеждена, что человек должен быть счастлив здесь и сейчас.

Вдруг почему-то вспомнилось, что дух Марины Цветаевой обещал мне в мужья «Андрея» — то ли через две недели, то ли через два брака. Появился коллекционный интерес. Не то чтобы я рвалась замуж, разобравшись наконец во всех прелестях женской свободы после тридцати, но устойчивый интерес к носителям имени сохранялся вплоть до второго брака.

Первый Андрей был славным номенклатурным малым, разбитным в застолье, унылым в постели и путающим рефлексию с душевной усталостью.

Второй Андрей был хорошо начавшим молодым артистом, выпустившим жар-птицу из рук, но ещё не понявшим это. Ему грезились лучшие театры, а мне уже было видно, как он играет четвёртую роль во втором составе в городе Мухосранске. Впрочем, он был нежен и придумчив.

Третий Андрей был молодым писателем, добрым, но совершенно закормленным тусовкой. И, проворачиваясь через её мясорубку, прямо на глазах становился частью безликой пёстро одетой толпы, хотя ещё и держал в руках книгу.

Четвёртый Андрей был когда-то возлюбленным и попал в этот список скорее для статистики, через десять лет наткнувшись на меня на улице. Он уже пережил все успехи и донашивал себя духовно и физически. Приходилось делать вид, будто это не бросается в глаза.

Шёл 1993 год. Мужики никли от реформ, как в поле рожь от грозы. Весь выводок неудачников клевал на мою активность и пытался оседлать её для перманентных душевных излияний. И кому-то одному непременно это бы удалось, если бы они не были так одинаковы, если бы не вступал в силу закон больших чисел.

Глава 30. КРИЗИС ЖАНРА

Однажды в редакционную комнату, где я сидела, влетел активный персонаж, страстно обсуждающий сразу и назначения в правительстве, и эмиграцию, и демократию. Это был не совсем мой герой, но пассионарии меня возбуждали. В пять минут он изложил биографию, в которой были диссидентские тюрьмы, психушки, высылка в Штаты, выживание в эмиграции, победоносное возвращение, знойные романы, любовь к литературе и депрессиям. Я попросила его об интервью и дала понять, что у него есть шансы.

Звали его не Андрей, а, предположим, Игорь, и он сломал

коллекционный порядок. Родив детей, я отдалилась от московской диссидентской тусовки и имела по этому поводу некоторое чувство вины. Ведь люди продолжали распространять антисоветскую литературу, устраивать квартирные выставки и вечера, садиться в тюрьму и писать туда письма, пока я стояла у плиты, читала вслух сказки и мазала зелёнкой детские коленки. Из-за этого диссидент представлялся мне персонажем, которому я должна по гроб жизни. Игорь увидел это за версту.

В принципе, он приехал в Россию писать книжку о собственной жизни, но увяз, погряз и занялся «демократическим бизнесом» — доходными статьями построения гражданского общества. Конечно, ни одной строчки книги он не написал, да и приехал из-за того, что болтался в Штатах, как цветок в проруби, и возлагал на демократизированную отчизну надежду найти смысл жизни, утерянный на чужбине.

Естественно, в финале интервью мы оказались в постели, но отношения начали развиваться как инфарктная кардиограмма. Будучи профессиональным драматургом и опытным «кукловодом», я совершенно потеряла управление сюжетом. Каждый раз Игорь впутывал меня в триллер. То картинно умирал от головной боли; то выяснял отношения и вопил, что выбросится из окна; то исподтишка напяливал на меня во время полового акта наручники; то рассыпал фотографии баб; то подводил; то упрекал; то бесстыдно врал. Уж я совсем не бедная овечка в отношениях с противоположным полом, но тут полностью села в лужу, а он доводил меня, как подросток доводит пожилую наивную классную руководительницу.

Как замечательно сказал потом об Игоре один шестидесятник: «По лагерям и психушкам он развил в себе психологическую гибкость, избыточную для нормального человека». Я этого долго не понимала, считая, что дело во мне и моём бестактном глумлении над героем, положившим психическое здоровье за демократию. Я начала копаться в информации, кто где и как сидел, почему одни садились, другие нет, кто как себя реализует теперь.

Совершенно случайно познакомилась с человеком, который шел по аналогичному делу и заложил товарищей. Звали его, положим, Афанасий, он был преуспевающим физиком из провинции, любимцем женщин и душой общества, хотя шлейф информации о предательстве тащился за ним из компании в компанию. Афанасий мне бы сто лет не снился, но, вступив с ним в жанр дружеского секса, я мгновенно нашла управу на Игоря.

— Как ты можешь общаться с ним? — орал Игорь. — Он же подонок, слизняк!

— Зато, в отличие от тебя, он не искалечил жизнь своей жене и своему ребёнку, — отвечала я. Это было правдой, за Игорем везде оставалась выжженная земля. В кителе народного героя Игорь был абсолютно циничен. А Афанасий, при всей своей напускной небрежности и легкомыслии, был романтичным провинциальным интеллигентом.

Не знаю почему, но на меня косяком пошли жёны и любовницы диссидентов, и то, что они рассказывали о жизни и судьбе, можно было записывать как заявки на фильмы ужасов. Гипотетически я понимала, что потребность бросаться и зубами рвать тело социализма так, чтобы тебя посадили, — такое же отклонение от нормы, как сотрудничество с органами, но то, что я узнавала, открывало новые горизонты. Практически все изученные персонажи приносили в жертву светлому будущему собственные семьи, не утруждая себя даже попыткой согласовать с ними свои поступки.

И опечалилась душа моя… Я ведь выросла на русской классике, в которой секс-символами были декабристы и декабристки. Всю предыдущую жизнь выводила диссидентов из зоны критики, ожидая увидеть в обычном диссиденте Сахарова; предполагая, что номер отсадочной статьи автоматически делает человека «умом, честью и совестью эпохи». Короче, сильно обломалась.

Надвигался июнь, а с ним новая Любимовка. Это был совершенно любовный фестиваль, удивительно, но все приехали с пьесами о любви. Ровно год понадобился молодой драматургии, чтобы ненадолго, но всё же вылезти из истерики, пародии и насилия. Римейки представляли собой пошитые к новому сезону «лавстори» Обломова, Екатерины Второй и Кассандры, остальное драматургическое любовное пространство было в равной пропорции занято авангардистами, православными и лесбиянками.

На этот раз в Любимовку приехал немецкий переводчик, по имени, скажем, Клаус. Он уже перевёл несколько пьес молодых драматургов и в данный момент переводил мою пьесу. Клаус был сорокалетний фактурный восточный немец с профсоюзным прошлым и бойкой попыткой занять переводчицкую нишу в русской драматургии. Он был романтичный, депрессивный, пьющий, тонко организованный господин, и я не увидела ни одной причины, которая помешала бы флиртовать с ним. Меня немедленно заклеймили за попытку в постели продвинуть пьесу на Запад, а ему бесконечно стучали на моё богатое сексуальное прошлое, наличие двоих детей и острое желание уехать за

границу.

— Скажи, Маша, ты действительно хочешь жить в Германии? — осторожно спрашивал Клаус.

— Только по приговору народного суда, — отвечала я.

— Суда? Многих диссидентов выслали в Германию после суда. Ты тоже так хочешь? — недоумевал он.

На этот раз играли мою пьесу «Пробное интервью на тему свободы». Посмотреть ее приехал Игорь, я их познакомила. Игорю не приходило в голову, что перед ним удачливый соперник, а Клаусу я чётко объяснила:

— Приедет любимый мужчина, чтоб ты при нём был ко мне холоднее льда! Он сумасшедший, ему ничего не стоит задушить из ревности, а в тюрьму его как борца за демократию за это не посадят!

Клаус был тише воды и ниже травы. Он хорошо говорил по-русски, но плохо понимал интонацию и боялся моих выходок. После спектакля я проводила Игоря и ушла ночевать к Клаусу. Утром он был очень напряжён и сосредоточен.

— Маша, там в пьесе есть фраза, когда героиня спрашивает подругу про мужчину: «А он клёвый? А ноги у него длинные?» — сказал Клаус.

— Ну? — спросонья промычала я.

— Что это значит? Я не понял…

— Оценивают внешние данные мужика, — объяснила я.

— А для русских женщин это так важно? — нахмурился Клаус.

— Для всех женщин, у которых в порядке зрение.

Повисла пауза, а потом плейбой Клаус с интонацией ребёнка, которого поставят в угол, спросил:

— А я клёвый? А ноги у меня длинные?

— А как ты думаешь? — спросила я ехидно.

— Ну для немецких женщин, да. Но здесь у вас всё как-то по-другому…

После Любимовки Клаус приехал ко мне в гости и нарвался на бывшего мужа. Поскольку Саша наведывался ежедневно, придумывая какой-нибудь дурацкий повод, то никто на это сильно не реагировал. На этот раз поводом была гениальная идея распилить наше супружеское ложе — не с целью завладеть его законной половиной, а с целью переделать в складной диван. Так что поставленная на попа арабская кровать типа «сексодром», хрипела и извивалась под безжалостной пилой. Я в этот период жизни была предельно гуманистична к бывшему мужу и не реагировала на его приколы и фокусы, лишь бы не лез в мою весёлую жизнь.

— Кто этот человек? — спросил Клаус.

— В какой-то мере муж, — ответила я.

— Что он там делает? — разнервничался гость.

— Пилит кровать. Переделывает её в диван, — честно ответила я.

— Он мастер по дереву?

— Нет, певец.

— А для чего ему это делать? — напрягся Клаус.

Я понимала, что мой постельный сюжет с Клаусом гораздо короче истории, которую можно рассказать в ответ, и решила не изнурять себя.

— Понимаешь, у нас у русских, когда люди разводятся, принято пилить кровать пополам, — сказала я.

— Но я никогда не читал об этом…

— Новая традиция. Постсоветская.

На Клауса это произвело глубокое впечатление.

Наступил день моего рождения. Он в июле, и всегда бывает море цветов. Он предъявляет значимость приглашаемых. Всю ночь накануне я дисциплинированно «итожу то, что прожил» и придумываю «планов громадьё» на следующий год. Пришла масса гостей, выпила уйму вина, прочитала кучу поздравительных стихов. Я веселилась изо всех сил, но… Лева не позвонил из Парижа, а Игорь не приехал из загорода.

Когда все разошлись, я зажгла свечи, налила шампанского, села к зеркалу и начала сортировать проблемы на причины и следствия. Мне тридцать пять, я не подла, умна, красива, успешна, свободна. Почему мужики, которых я выбираю последнее время, распускаются в общении до крайних пределов свинства? Поскольку они ведут себя одинаково, можно утверждать, что это не их проблемы, а мои проблемы. Как говорила одна журналистка: «Если четвёртый муж бьёт вас по морде, то дело не в муже, а в морде».

Не потому ли, что, расставшись с бывшим мужем, я не вышла из образа мамки и няньки и готова так подробно понять всякую мужскую душу, что эта душа, вместо того, чтобы начать самостоятельно работать со своими проблемами, вываливает мне их на голову в полном объёме. Ведь я же такая тонкая и умная, я же всё пойму.

— Ага, — сказала я самой себе. — Точка. С завтрашнего дня ты живёшь по-новому.

Через пару дней приехал Игорь, заехал за мной и мы куда-то поехали. Он начал канючить, что не появился на день рождения потому, что в доме отдыха смертельно заболел, у него опухли глаза, уши, нос, хвост и т. д. Видя, что я вообще никак на это не

реагирую, а вроде как должна демонстрировать обиду, он осторожно обронил, что секретарша, с которой он туда поехал, собираясь работать, практически работала при нём медсестрой. Это, видимо, должно было спровоцировать разборку, после которой я бы хлопнула дверцей его автомобиля, а он бы ехал за мной и оправдывался, как в итальянском кино. Он обожал такие вещи. Но я уже «жила по-новому» и не могла соответствовать. Я весело сказала:

— Ничего не имею против твоей секретарши, если, конечно, у вас при себе были презервативы. Какие у меня могут быть претензии, если ты так тактичен по отношению к тому, что Афанасий — мой любовник. Не может же быть, чтоб тебе ещё этого не донесли…

Игорь чуть не врезал машину в столб. Конечно, ему такое и в голову не приходило. Ведь он был национальный герой, а Афанасий — человек второго сорта.

— Но он же… Он же сломался в ходе следствия! Его же сломали следователи! — завопил Игорь.

— Да и они его ломали теми же приёмами, что ты меня.

После этого мы ещё какое-то время ходили куда-то вместе, а потом я уехала на Украину, собираясь писать там пьесу о диссидентах. И понимая, что, возвратившись, забуду об Игоре, как о страшном сне.

Сентябрь обрушился кучей проблем. Общество начало новый этап освоения феминизма, в газете «Мегаполис — экспресс», которая тогда ещё не была жёлтой, вышло интервью со мной. На обложке по этому поводу была помещена фотография женщин в военной форме, противогазах, а огромные буквы сообщали: «Женский путч. Феминистки России вступают в смертельную схватку с обществом мужских ценностей». Мой телефон раскалился, знакомые и незнакомые люди звонили, спрашивая, правда ли я организовала военизированную женскую партию, отстреливающую мужиков-подлецов, и как в неё вступить.

Многие, особенно пожилые писатели, требовали дискуссии. Кто-то объяснял, что, видимо, я стала лесбиянкой, но что не надо идеализировать жизнь, у лесбиянок свои проблемы. Когда я просила собеседников раскрыть газету и прочитать в ней само интервью, сделанное Светланой Бестужевой-Ладой, — «Феминистки, или о Праве женщин всходить на эшафот» — они отвечали, что такую гадость и читать не станут, что им достаточно обложки, потому что они представляют, какие там ужасы, если обложка такая.

Несмотря на то, что тогда же вышло ещё несколько

спокойных интервью в других крупных изданиях, я на какое-то время превратилась в образ «дамы в противогазе».

— Вы? Без противогаза и автомата Калашникова? Право, как это странно, — сказал, целуя мне руку, знакомый поэт в ЦДЛ.

— Я их сдала в гардероб, — вяло ответила я.

У детей начались проблемы уже в новом лицее. А Саша продолжал болтаться как цветок в проруби. Вернуться ему уже было некуда, мне он уже не был нужен ни одной секунды, хотя изо всех сил демонстрировал, что его семья здесь, и во всё лез с советами и участием. Я использовала его по хозяйству и сохраняла хрупкий мир. Конечно, у меня было чувство вины, что за время самостоятельной жизни я так развернула крылышки, а он так опустил. Постсоветская баба, выбившаяся в люди, содержащая детей, и ещё изнурительно виноватая перед бывшим мужем за его неудачи, по причине его же пассивности — одна из характернейших примет конца века.

А Пётр и Павел отвязывались изо всех сил. Как потом они рассказали мне через много лет, шли утром как два зайчика в лицей, встречали лицейских же дружков, покупали около университета водку и до вечера философствовали на Воробьёвых горах о смысле жизни. Любой человек должен пройти подобный период, и чем раньше это наступает, тем менее кроваво проходит. Многие матери становятся в подобных ситуациях сыщиками и полицейскими, в результате чего ломают отношения на всю оставшуюся жизнь. Я, конечно, понимала, что дети не учатся, но должна была дать им возможность выйти из ситуации самостоятельно. Это был предпоследний класс, и мальчикам нужны были авторитеты, а практически все тётки, преподававшие в лицее, были советскими давилками.

— Поколение, которому сейчас больше пятидесяти лет, вызывает у меня ужас, потому что они жили в такой стране, в которой нельзя было жить. Я никогда не считал нормальным то, что считают нормальным они, — сказал как-то Паша. И с этим было трудно спорить, ведь в девяносто третьем году всё, что составляет нашу сегодняшнюю бытовую, правовую и духовную жизнь, не было ещё легитимным для старшего поколения.

А ещё были бесконечные проблемы «прикида». Пётр и Павел одевались как «панки-интеллектуалы», стильные кожаные жилетки, сшитые Сашей, декорировались килограммом булавок, а чёрные косынки с черепами украшали головы. Футболки с эмблемой группы «Секс пистолс», значки со словом «Анархия» и ботинки-хакинги дополняли образ. Классический «дестрой» на голове, заключающийся в полном отсутствии причёски. Потом

Петя побрил на голове всё, кроме трёх косичек, а Паша выбрил полголовы и в таком виде сфотографировался на паспорт.

Это приводило многих в трепет. В число многих входили представители российской педагогики и гопники. Гопниками называлась молодёжь из простых неблагополучных семей. Экипированная в спортивные костюмы и «бритые под батон» головы. Эта сила самоутверждалась на том, чтобы уничтожать «инакомыслие». Они шныряли компаниями по городу, избивали и брили наголо панков с молчаливого согласия милиции — для милиции гопники были свои, социально близкие.

Панки вызывали у гопников ярость нарушением запретов, которые гопникам было слабо нарушить. Поскольку они слушали разную музыку, гопники поджидали панков перед концертами и зверски избивали. Когда на концерт в метро ехал вагон панков и вагон гопников, милиция обыскивала первых и не трогала вторых. Не считано панков, погибших в этой гражданской войне. Но защитой панков были «волки», двадцатилетние рокеры в кожаных куртках-косухах, на мотоциклах, волосатые и бородатые. Перед концертами они выстраивались в ряд с железными цепями и защищали панковское право слушать музыку, которую хотят, от тупых гопников.

Но волки не всегда поспевали, сыновья неоднократно приходили избитыми. Однажды Пашу привели с серьёзным сотрясением мозга. Он был без сознания после нападения гопоты, и компания друзей-мальчишек испугалась и привезла его домой. Они просто не знали, что в таком состоянии везут в больницу. Я видела, что дети ходят по краю, но не меньше понимала, что механизмы запретов работают здесь в обратную сторону. Любой человек, начинающий жизнь, должен иметь опыт молодёжного протеста, иначе материнская пуповина потянется за ним до старости. Я умирала от страха, но предлагала детям делать самостоятельный выбор, поэтому они со временем сделали его правильно.

Я решила навести порядок в своих паспортных данных и пошла подавать на развод. Саше это было не надо, он до сих пор юридически считается женатым на мне. Во-первых, ему психологически нелегко расстаться с нами, во-вторых, это облегчает его заграничное гастрольное оформление. Опять всё должна была делать я. Саша мне уже был никто, но, когда я вошла в здание суда, у меня чуть не подкосились ноги, подобный ужас я испытывала только перед операциями и абортами. Ведь в этот момент женщина разводится не с реальным персонажем, а со всей своей прошлой жизнью, и страх перед новой гирями виснет

на её ногах.

Однако, перешагнув порог кабинета судьи, я мгновенно успокоилась, и экзистенциальный развод уступил место реальному. Судья вяло поуговаривал меня помириться, зевнул и попросил прийти вместе через неделю. Мы пришли и ворковали как две гули, шокируя остальных разводящихся. Судья посмотрел на нас с большим интересом и назначил развод на четвёртое октября 1993 года.

Глава 31. ПЛОДЫ ПУТЧА

Я поняла, что грязная работа позади. У меня словно отрасли крылья и открылся смысл поговорки: «Ты почему так хорошо выглядишь? Отдохнула или развелась?». Я ударилась в сладостный загул, на мне неоновыми буквами загорелось, что я совершенно свободна и ни капельки не мазохистична, и, естественно, вокруг тут же возникли нормальные мужики. Но я была суеверна и сдержанна. Как считается плохой приметой стричься до окончания важного дела, так и я боялась неважным романом сглазить долгожданный развод.

Третьего октября начался второй путч. Я бы пошла на баррикады, но не могла пустить туда сыновей. Сыновья были дороже спасения демократии. Строки Ахматовой: «У своего ребёнка хлеб возьми, чтобы отдать его чужому», — всегда вызывали у меня глубочайшее отвращение.

Ночь я отговаривала Петра и Павла идти к Белому дому, переговаривалась с подругами по телефону, бегала от телевизора к приёмнику. И только под утро сообразила, что ни Лёва, находящийся в Париже, ни Игорь, поехавший в Нью-Йорк, ни Клаус, вернувшийся в Берлин, мне не позвонили. Все трое знали, что я живу в центре, что по набережной до меня десять минут от зоны событий и что завтра у меня развод.

Хорошо подумав, разводиться я не пошла. Здание суда находилось в горячей точке и не работало. Саша тоже не пошёл к десяти, как было назначено, но по своей экзистенциальной логике и возбуждённому состоянию (ночью он активно тусовался около Моссовета) пошёл к двум часам. Нарвавшись на закрытую дверь в суде, двинулся к Белому дому, а потом спонтанно оказался в немедленно рекрутированной на чьё-то спасение бригаде крепких мужиков. Кто рекрутировал и с какой целью, он не понял, поскольку в принципе воспринимал жизнь в оперном жанре. А тут развернулось такое массовое шоу, что мало кто фильтровал базар. Стреляли с обеих сторон, а человек, построивший их в команду, заламывая руки объяснял, что сейчас они разобьют ногами стеклянные двери, ворвутся и спасут женщин и детей.

Когда эта безоружная компания бросилась ко входу, — то обе стороны были так потрясены александроматросовщиной, что перестали стрелять. К тому же ни те, ни другие не могли просчитать, кто это и с какой целью. Не могли же они догадаться, что двадцать взрослых мудаков решили поиграть в войну. Итак,

«группа спасения» эффектно разбила стёкла ногами, ворвалась в холл первого этажа и поняла, что здесь нет совершенно никакой работы самолюбию. Побродив по закоулкам, наиболее аморальные взломали киоски и потащили оттуда пиво, а наиболее нравственно зрелые стали собирать с пола гильзы и прочие предметы своего мужественного участия в российской истории. Вечером Саша притащил детям горсть отстрелянных гильз.

— Как так могло получиться, что ты, взрослый мужик, побежал невесть куда, невесть за кем? Ну, жены у тебя нет, но дети у тебя есть и мать у тебя есть, с ними же ты не разводишься? — отчитывала я.

— Там была такая атмосфера, что ты бы тоже побежала, — ответил он.

— С тобой и развестись-то нельзя по-человечески, надеюсь, в день, на который нам перенесут развод, не случится конца света, — пожаловалась я.

Но это было вечером. А самое главное случилось днём, потому что во время путча я могла побежать только в одно место: в «Общую газету» под крыло к Егору Яковлеву. Я не спала всю ночь и ужасно выглядела, поэтому встала под душ, накрасилась изо всех сил и надела полувечерний чёрный с золотом наряд. Я понимала, что буду выглядеть как лошадь на витрине, но выпендрилась от страха. Слышала воспоминания одной политзаключённой, которая скребла пальцем известковую стену и этим пудрилась перед допросами, не потому, что хотела понравиться следователю, а потому, что так она чувствовала себя защищённей.

В кабинете Егора Яковлева было полно народу, с большинством я была знакома: газетчики, телевизионщики, политологи. Сидели на полу и на столах, глядя в телевизор, по которому Си-эн-эн показывала действо у Белого дома. На кресле Егора был эффектно брошен бронежилет. Я села на стол, за которым обычно шли совещания, и увидела профиль мужчины моей мечты. И, несмотря на гражданскую зрелость, мгновенно забыла о драматургии боя за демократию. Он был красивый, высокий, с ногами «от плеча», с пальцами, как у победителя конкурса Чайковского в номинации фортепиано. Контур бороды, джинсов, кроссовок и косыночки на шее выдавал случайно заблудшего представителя богемы, я решила, что он философ или художник. Впрочем, это я решила всё-таки после того, как поняла, что выхожу за него замуж.

Объект скользнул по мне глазами без всякого аппетита, показав не менее возвышенный фас. Во взоре был только вопрос:

«Откуда здесь эта вырядившаяся дура?» Тут меня отвлекли и отправили делать исправления в материале, идущем в номер. В принципе после нескольких моих истерик по поводу правки материалов Егор сказал на летучке: «Арбатову не сокращайте, её пьесы цензура десять лет не выпускала, она сумасшедшая, может час орать из-за одной запятой». Это распоряжение работало, но, конечно, не в путч.

В борьбе за материал я забыла о незнакомце, назначенном в мужья. Но, как гласит пословица, суженого на коне не объедешь. Он зашёл именно в нашу комнату, дискутируя о путче с заведующим отделом политики. Я уже понимала, что на видеоряд он не реагирует, и интеллектуально встряла в дискуссию в нужное время нужным текстом. Избранник начал подробно доказывать ложность моих доводов. Я сделала глазки. Мимо. Он не просекал и продолжал наезжать на мою позицию. Надо было проверить главное, я съехала на феминистский тезис о кризисе мужского политического стиля.

— У меня жена феминистка, — сказал он с гордостью. «Вторая твоя жена тоже будет феминистка», — подумала я.

На улице было темно, стрельба кончилась, и стало невероятно тихо.

— Застегните куртку, Олег, вы простудитесь, — скомандовала я.

— Видите ли, Маша, в данный момент я нахожусь в четвёртом браке и все мои жёны пытались меня переделать. Прошу вас, не начинайте с этого, — вежливо попросил он.

«Я ещё ничего не успела сказать, а он уже практически делает мне предложение», — недоумевала я.

Мы ехали в метро, обсуждая грядущие политические перестановки, и он рассказал: — Я экономист и политолог из Питера, вёл политические программы на местном телевидении, Егор увидел меня и предложил переезд в Москву. Потом Егора сняли с руководства телевидением, и я стал мелким правительственным чиновником.

«Неужели я похожа на женщину, которую можно клеить таким дешевым способом?» — удивилась я про себя. — «Он похож на правительственного чиновника не больше, чем я на китайского императора. Неужели этот богемный тип с беломором думает, что, работая в отделе политики, я не отличаю правительственного чиновника от тусовочного художника. И неужели он думает, что первого я предпочту второму?»

В этот момент Олег нежно улыбнулся, сообщил, что его станция, и вышел, даже не попросив моего телефона. Я была ошарашена.

Он исчез на неделю. А когда появился в редакции, я уже была влюблена по уши, да и он тоже. Я попросила объяснить экономическую схему, которую человек, давший мне интервью, выдал за открытие века. Олег рисовал для наглядности кубики, подписывал их и соединял стрелочками. В этом уроке экономики было столько страсти, что в кабинет всё время заходили люди, заглядывали в кубики, пожимали плечами, а потом выходили, махнув рукой.

Потом он провожал меня, и мы записывали телефоны друг друга на деньгах, потому что больше было не на чем Я шла на концерт бывшего мужа, а Олег на вокзал, встречать одну из своих тёщ. Я стала прикидывать, что в одно купе как раз входит четыре тёщи, и лучше бы они ездили в Москву одновременно, но Олег упрекнул меня в цинизме.

То, что мы созданы друг для друга, было ясно сразу, я даже не сразу стала выяснять, кто он по гороскопу, потом оказалось, что всё тютелька в тютельку. Мы въехали в роман одновременно, на одной скорости, одинаково честно и идеально подошли друг другу сценарно. У меня в десять лет рухнул мир после смерти отца, у него тоже в десять лет — после смерти матери. При несхожести общего контура он многим напоминал моего отца, я — его мать. Говоря языком семейных психологов: «Любовь как встреча двух неврозов». И совершенно непонятно, почему мы не встретились раньше, почти год сотрудничая с «Обшей газетой». Впрочем, видимо, раньше я была не готова к отношениям с нормальным мужиком, а умела только тетёшкать взрослых идиотов, ощущающих себя до пенсии трудными подростками.

Олег жил в гостиничном номере, который оплачивала правительственная организация, где он работал. Мы практически не вылезали из этого номера, я забегала домой, разбиралась с детьми, готовила обед и возвращалась. Неделя подходила к концу, и тут утром позвонила его жена, сообщая о приезде. По выходным один из них приезжал к другому, потому что она работала в Питере. Собственно, уже строились планы обмена и переезда в Москву, но они мало совпадали с моими. Поэтому, как только Олег положил трубку, я объяснила, что он должен принять решение до того, как жена отправится в Москву. В принципе я была равнодушна к штампам в паспорте, статус любовницы никогда не казался мне сложным. Но Олег был нужен мне в полном объёме. И поставив его перед проблемой выбора, я не шантажировала. Я, по-честному, была готова одеться и уйти навеки. И он это видел. Хотя, конечно, никогда не поставила бы ультиматума, если бы в браке были дети.

— Ты должна дать мне день на принятие решения. Мы

прожили с ней десять лет.

— Согласна, — сказала я и тактично ушла. Я не просчитывала своих шансов на победу, моя отравленная буддизмом душа подозревала, что небесный диспетчер в любой ситуации распорядится лучшим образом. А мой женский опыт подсказывал, что дурак он будет, если откажется, потому что этот отрезок жизни мы должны провести вместе. В полдень он позвонил и сказал, что соскучился.

Угрызения совести меня не мучили, тем более, что жена Олега была моложе меня. Эффектная, успешная женщина, и, кстати, по общему свидетельству, ещё больше расцвела после развода. Угрызения совести, на мой взгляд, в принципе не уместны, ведь люди уходят к новым партнёрам, потому что прошлые отношения не дают им больше реализоваться личностно. Это их отношения и их выбор.

Кто-то утверждал, что для питерца москвич — человек, впрыгивающий на заднюю площадку автобуса для того, чтобы, растолкав всех, пробежать через салон, назвать кондукторшу дурой и спрыгнуть с передней площадки. Олег потрясал и потрясает меня внутренним аристократизмом, сдержанностью и тактом. Глупо и нескромно писать о бесконечных достоинствах собственного мужа. Как говорил Марк Твен: «Мечтай осторожно. Ты можешь это получить».

С Олегом я никогда не понимала, что значит быть мужем и женой в ролевом кондовом советском смысле. Мы просто стали близкими, отвечающими друг за друга людьми, и я осознала, какое счастье быть с человеком, с которым тебя не связывают дети, деньги и насильственные обязательства. Какая прозрачная и прочная архитектура у альянсов, существующих исключительно на топливе взаимного желания.

Дети мои тоже влюбились в Олега и назначили его защитником от моего давления, в чём, на мой взгляд, он часто перебарщивал и перебарщивает. И тут, конечно, материализовался Саша. Сначала влетел фрак, потом чемодан, потом пачка нот. Потом начались передвижка мебели и утверждение, что он тоже будет жить в этой квартире. Увы, они вели себя не симметрично: Олег, уходя от жён, забирал любимые фотографии и книги, Саша настаивал на жилплощади. Как феминистка, я считаю, что люди имеют одинаковое право на обе позиции. Олегу удалось не поддержать это итальянское кино и постепенно построить цивилизованные отношения между всеми. Конечно, рассчитывали на то, что быстро получим квартиру от олеговской работы. Но муж мой аристократ, и каждый раз мы пролетаем с квартирным вопросом как фанера над Парижем. Так

что, благодаря взаимной терпимости и чувству юмора, вот уже около пяти лет живём дружной компанией, приводя в недоумение окружающих.

Олег считает Сашу кем-то вроде двоюродного брата, Саша считает Олега эталоном человека и гражданина. Сочувствие друг к другу по поводу моих истерик часто объединяет их против меня, хотя называют они друг на друга на «вы», даже, когда пьют вместе водку. Количество слухов и сплетен о нашей семье за эти годы исчерпало все границы отечественной фантазии, хотя, на мой взгляд, наша жизнь весьма тривиальна. За пять лет у меня уже в зубах навязли намёки на двоемужество Ахматовой, Гиппиус и Лили Брик, а Зоринская фраза: «Высокие отношения!» из «Покровских ворот» прозвучала вокруг меня несколько тысяч раз.

На самом деле ничего странного в этой конструкции нет. Просто мои человеческие отношения с Сашей оказались прочней супружеских. Я вообще считаю, что нельзя доживать в браке до омерзения друг к другу, надо расставаться, когда идут трещины, и сохраняться на оставшуюся жизнь друзьями.

Итак, в конце 1994-го мы хлебали полную чашу олеговского развода, сашиных разборок, адаптации к новым родственникам, включая детей Олега и бывших жён. Это была огромная глыба отношений, которую нашей любви предстояло вобрать в себя и переварить, не надорвавшись. Олег даже умудрился задружиться со всеми моими бывшими возлюбленными и легитимизировать их в нашем доме.

А потом вместе с детьми поехали в Питер, где друг Олега выговаривал мне: «Что вы его таскаете по театрам и тусовкам? Вы, наверное, не поняли, что ваш муж — гений. Он принадлежит человечеству и всё время должен сидеть за письменным столом». Эта мысль мне не понравилась, а уж как бы она мне не понравилась, если бы тогда я знала, что это правда.

Я вышла замуж за трудоголика. За маньяка, способного сутками сидеть за компьютером, и даже не сразу осознала это, поскольку до этого жила с мужчинами типа «птичка певчая». С ужасом я наблюдала первый раз, как любимый муж, создавая очередной экспертный документ, сидел за компьютером трое суток, делая каждые три часа пятнадцатиминутые перерывы для сна. Потом привыкла.

— Почему надо столько работать за такие маленькие деньги? — недоумевала я.

— Во-первых, мне интересно. А во-вторых, от этого что-то может реально измениться, — отвечал Олег.

Дела мои шли неплохо, крупнейшее немецкое издательство

«Ровольт» заключило договор на три пьесы. Рассказ «Аборт от нелюбимого» был напечатан газетой «Литературные новости», получил Премию года за прозу и оказался перепечатанным пяти изданиями. Новая пьеса о диссидентах и феминистках «Взятие Бастилии» вызывала резкое отвращение наших и резкий восторг западных деятелей театра. Умонастроения моих текстов в «Общей газете» из пафоса придыхания перед диссидентами смещались в сторону адаптации интеллигенции к рынку. Я по-прежнему воспринимала газету как клуб, а в газете недоумевали по поводу скоропалительности нашего брака.

Всё шло ничего, но страшно заболел наш пёс Поль. Как всегда в таких случаях, сначала неправильно лечили, а когда поставили диагноз, было уже поздно. И я бегала со шприцем и лежала на полу, обнявши собаку, и ничем не могла помочь. И Поль виновато смотрел в глаза, ему было неудобно, что из-за него столько хлопот. Вдруг утром стало лучше, обрадованные сыновья ушли в лицей, и он тут же умер — чтоб только не при них. И вот я реву, курю сигарету за сигаретой; а Олег укладывает тело собаки в картонный ящик. И ночью я, Олег и Саша, решив не брать сыновей, идём к Новодевичьему монастырю со страшным ящиком. Мороз. Я стою «на стрёме», а они долбят землю. И вдруг понимаю то, что потом подтвердят мне старые собачники. Поль не вынес новой модели семьи; собака, как бы ни любила хозяйку, всегда назначает хозяином мужчину; это закон стаи. У Поля сложились нежнейшие отношения с Олегом, но он не мог предать старого хозяина, и решил выйти из игры. Ему было только семь лет.

Собачники меня поймут, после смерти Поля у меня на какое-то время натурально съехала крыша. Я стала болеть примерно по сценарию его болезни и, отлично понимая, что это чисто нервная реакция, долго ничего не могла сделать со своей психикой. Похороны Поля были окончательными похоронами первого брака и сопутствующего ему образа жизни и образа себя. До сих пор на улицах я вздрагиваю на похожих собак.

Начался новый год. Я продолжала давать интервью одним и брать их у других. Жить с одним мужем и созерцать в той же квартире другого. Быть женой правительственного чиновника, но не иметь по этому поводу нормального жилья. Считаться драматургом и писать прозу. В глазах у меня было счастье, в голове — каша. Олег развёлся, и мы пошли подавать заявку. Девушка в загсе, принимающая заполненные анкеты, подняла на меня глаза полные ужаса и спросила: — А вы видели его паспорт?

— Видела, — на меня четыре уже имеющихся штампа не производили ни малейшего впечатления. Надо сказать, что до сих

пор каждый второй, ознакомившись с брачным послужным списком Олега, задаёт сакральный вопрос: — А ты не боишься, что он тебя бросит?

Приходится отвечать, что логичней опасаться того, что мне захочется ещё раз замуж, поскольку у меня в паспорте больше места. Всегда умиляло советское отношение к штампу как к государственному залогу состоятельности семейных отношений. Юридическими признаками семьи считаются общее хозяйство, общие дети и супружеские отношения. Однако мало кому из известных мне людей удавалось сохранять единство места, времени и сквозного действия в браке как в классической пьесе. Большинство судеб строилось на трёх источниках и трёх составных частях русского бабского менталитета: любила одного, спала с другим, замуж вышла за третьего. Львиная доля изученных мной персонажей решала эмоциональные проблемы с друзьями и подругами, сексуальные — с любовниками и любовницами, а бытовые — с соседями и родственниками. Как писал Коля Климонтович: «Это сладкое слово промискуитет».

Подготовка к свадьбе была столь быстрой, сколь и сдержанной. Олег принёс письмо на бланке своего учреждения (все же правительственное!) о том, что хорошо бы дело ускорить в связи с его производственными обстоятельствами. Купили костюм жениху (он их за пять браков столько понакупал) и костюм мне. Опять не белый. Идея колец была не близка обоим, тем более что Саша, никогда не носивший кольца в браке, тут же его напялил, видимо, чтобы отбиваться от желающих выйти за него замуж дам. Сыновья были в восторге от процедуры и в качестве сувенира отвинтили от бра в комнате распивания шампанского хрустальные подвески.

Денег на свадебное путешествие, естественно, не было, но подвернулся женский журнал, не напечатавший до этого обо мне ни строки и попросивший участвовать в его питерском фестивале в качестве культовой фигуры. С весёлым цинизмом я согласилась при условии, что они оплачивают мою поездку с мужем, что они с грехом пополам выполнили. Впрочем, к набору ритуалов мы относились насмешливо, поскольку уже были в том возрасте, когда люди понимают, что искусство брака состоит в умении перейти от любви к дружбе, не жертвуя при этом любовью.

Вопрос об обучении сыновей в лицее встал ребром, и их обещали аттестовать за предпоследний класс в обмен на то, чтобы больше никогда не видеть. Но я не переживала, потому что за это время обнаружилась школа-экстерн «для особо одарённых и особо трудных детей». Я не истерила по этому поводу, я же видела, что Пётр и Павел человечески и интеллектуально в

полном порядке, в отличие от недовольных ими учительниц.

В июне произошла следующая «Любимовка». На ней была представлена и разгромлена пьеса «Взятие Бастилии». Маргинальность драматургической тусовки уже не забавляла, люди просто отстали навсегда от своего времени и не слышали его языка. Это касалось не только пожилого ареопага, но и моих сверстников, ударившихся в панике выживания в глупышкин театр. Пьесу не ругали, её просто не слышали, сводя с помощью неё счёты с пугающим образом феминистки.

Я легко это пережила и всё больше и больше утягивалась в интересы Олега, разучивая политическую азбуку. Его организация перестала оплачивать гостиничный номер, и мы начали по очереди объезжать все дома отдыха администрации президента. Сначала это меня ломало. После писательских и театральных домов творчества, жизнь в которых происходит по законам шоу, я попала в скучнейшие кондовые санатории с иезуитски вежливым персоналом. Это был новый мир, и предстояло учиться подчиняться его законам. Я ненавидела слово «протокол», но среда Олега нравилась мне больше собственной. Это были блестяще образованные, успешные и самодостаточные люди из науки, конвертировавшие романтизм и пассионарность в кабинетную работу построения гражданского общества.

Сначала моя психофизика не принимала их образ жизни, но плачущая по деньгам, тиражам и внезапно отобранной духовной миссии интеллигенции писательская среда отвращала ещё больше. У меня начался кризис идентичности. Я уже жила среди политико-чиновничьей элиты, но ещё разговаривала с ней от лица некой гуманитарно-эстетической среды, делая вид, что эта среда не деградировала.

Мы с Олегом, Петром, Павлом и олеговским сыном Игорем поехали в Пастырское. Впечатление от приезда с новым мужем было сильное и ломало представления о жизни. По сельским меркам я неприлично быстро нашла новое счастье, и старухи пытались вытащить на свет правду-матку: либо Олег — пропащий пьяница и злобный драчун, либо получила наследство, либо знаю особенный московский приворот. Присутствие Игоря делало союз чуть более легитимным. Старухи сажали меня на лавочку, требуя подробностей про пострадавшую жену Олега. Поскольку я не решилась признаться, что до меня их было четыре, чтобы не вызвать коллективного стресса, пришлось создать среднеарифметический портрет олеговской жены.

По моим объяснениям, эта жена очень даже неплохо проживала без бывшего мужа. Старухи охали и качали головами, в основном одобряли Олега, но при условии «тики нехай бороду

сбреет». Профессия Олега волновала не меньше, я представила его как научного работника. Старухи покачали головами: «Учёный, це ни добре дило. У Палашки, шо пид горой хата, чоловик учёный, вин у ветеринарном техникуме учився. Як шо треба робить; вона и косит, и сапает, и мажет, а вин с газеткою да по телевизору брехни бачит».

Сыновья с отчимом страшно распустились и почувствовали себя взрослыми. Они были интеллектуалы, и Олег разговаривал с ними на равных, под дым сигарет и пиво.

Мой второй муж действительно, а не декларативно оказался феминистом. В западной интеллигентной среде это нормально, человек, не считающий себя феминистом, приравнивается к расисту, антисемиту и фашисту. Как говорят шведки: «Если мужчина не феминист, значит, у него большие проблемы!». У нас такой мужчина ещё редкость. Но уже водится. Оказалось, что, ощущая себя феминисткой, я не сразу была готова к жизни с феминистом; как большинство из нас, считая себя демократами, чувствуют себя совершенно потерянными в объятиях реальной демократии, а не борьбы за неё. Саша очень помогал мне по дому, но это было в модели моего тотального контроля и жёстких команд. Олег ощущал дом и быт как поле общей ответственности и долго переучивал меня: «Это не у тебя нет продуктов в холодильнике, это у нас нет продуктов в холодильнике! Это не у тебя грязная посуда, а у нас грязная посуда! Это не у тебя грязные полы, а у нас грязные полы!».

Так что постепенно моя психика из осознания себя как бунтующей кухонной машины превратилась в среднеарифметическую европейскую, в которой ленинский зачёт на хорошую хозяйку женщина сдаёт самой себе, только если собирается идти к кому-то в домработницы. А все инструкции сдачи тестов на настоящую и ненастоящую женщину с помощью замеров чистоты жилища, глаженности постельного белья и высоты поднимаемости сдобного теста в пирогах я отнесла в область нарушения прав человека по половому признаку. И мне очень жаль, что я всё это умею, поддавшись на провокацию общества в молодости, потому что сколько бы я успела сделать вместо этого хорошего и полезного. Мой дом теперь поделен на доли бытовых проблем по количеству живущих в нём, а не потому, что у этих людей записано в графе «пол». Хотя я долго перестраивалась, чтобы осознать, что, например, грязные посуда, ванная, коридор, кухня и туалет не имеют ко мне ни малейшего отношения, поскольку они закреплены за другими членами семьи. И останавливала руку, тянущуюся к губке или пылесосу.

Конечно, как всякая совковая баба, я отчаянно пыталась

развратить Олега, предупредить желание и осчастливить насильно, слава богу, он не позволил этого сделать.

Начался сентябрь, сыновья пошли заканчивать последний класс в платной экстернатуре, но через несколько месяцев вылетели и оттуда со скандалом. Дело было так. Мирно сидели на корточках на лестнице, чего-то обсуждая, как над ними навис старичок-учитель, прежде преподававший обществоведение в старших классах. Это был период, когда мои дети ходили во всём чёрном, гамму разрушал только один красный шнурок на высоком солдатском ботинке у Павла.

— Почему у тебя один шнурок красный, а другой чёрный? — агрессивно поинтересовался старичок.

— Долго объяснять, но это чисто идеологическая вещь, — вежливо ответил сын. Но старичок сломался на слове «идеологическое» и потребовал изымания красного шнурка. Паша, естественно, задвинул ему про права человека и неприкосновенность частного пространства. Старичок пришёл в полное неистовство, вызвал кого-то из начальства, притащил детей в канцелярию и с воплем: «Ваши родители не купят нас своими деньгами!», начал бросаться документами.

Сыновья вернулись домой, виновато улыбнулись и сказали:

— Извини, нас опять выгнали.

Я ещё помнила собственный путь обучения, усеянный шипами и капканами, и не была к ним в претензии. Да и как я могла быть к ним в претензии, если всю жизнь сама объясняла, что нельзя прогибаться под хамство. Однако аттестаты были нужны. Олег нашёл самого главного человека в экстернате, коим оказалась секретарша директора школы, провёл с ней несколько вдумчивых бесед — и бумажные признаки законченных десяти классов наконец оказались в наших руках. Больше никто и ничто не отвлекало детей от подготовки к вступительным экзаменам.

Есть такой мистический фокус, называется космическая почта. Человек пишет на листе бумаги то, что ему нужно и не причинит вреда другому, вешает лист на стену и каждый день на него смотрит, отправляя таким образом сообщение в космос. Павел играл на недорогой бас-гитаре, а Петру хотелось ударную установку за несколько тысяч долларов. Естественно, таких денег не было. Он барабанил на каком-то сборном ударном барахле, а заветную установку нарисовал на листочке и повесил над кроватью. Один барабан на рисунке был нестандартно большой, и тарелки было почему-то три. Время шло, рисунок висел, я мучилась комплексом вины, что не могу обеспечить ребёнку причиндалы для творческого развития. И тут произошла история,

в которую я бы никогда не поверила, если бы не была Петиной мамой.

Некий молодой африканец, приезжавший по обмену к мальчику из Краснодара, решил оборудовать у себя дома дискотеку. Он купил в Москве весь набор музыкальных инструментов, аппаратуру, светомузыку и т. д. А потом попал в жуткий финансовый кризис и не смог оплатить вывоз багажа. Всё это осталось на таможне, африканец улетел с целью никогда не возвращаться в Россию, а квитанцию на дискотечное оборудование оставил дружку из Краснодара, приехавшему в Москву. Дружок сам был на мели, еле наскрёб на обратный билет и оплатить сумму за хранение на таможне, увеличивающуюся каждый день, не мог; но, как человек эмоциональный, он также не мог уступить всё это государству. А в Москве почти никого не знал и потому ловил едва знакомого и говорил: «Хочешь камеру за пятьдесят тысяч рублей? Поехали». Когда всё разобрали, он рассказал девочке, что всё трудоустроил, осталась только огромная ударная установка, но кому нужна такая бессмысленная махина, она же занимает полкомнаты. Девочка была знакома с моим Петей и сказала, что есть человек, которому снится именно такая ударная установка. Когда всё это привезли домой и поставили, оказалось, что точно как на рисунке, один барабан нестандартно большой и почему-то три тарелки. Никогда не поверила бы в такую историю, но эта штука стоит у нас дома.

Генеалогическое древо моего мужа Олега Тумаевича Вите весьма экзотично. Фамилия Вите не имеет никакого отношения к распространённой немецкой фамилии Витте, а образовалась, согласно семейному преданию, из русского написания шотландской фамилии White. Мой свёкор, Тумай Арсентьевич, господин, внушающий доверие, говорил, что они в дальнем родстве со Стюартами. Давненько перебравшись из Шотландии, предки мужа прочно пустили корни в России. Скажем, двоюродная сестра Бухарина была женой двоюродного деда Олега, а Тухачевский приходится двоюродным братом бабушке.

Скучающие дворяне дедушка и бабушка Олега по отцу были ярыми поклонниками Киплинга, а в «Книге джунглей», вырезкой из которой под названием «Маугли» до сих пор довольствуется российский читатель, был мальчик — погонщик слонов Тумай. Так что старшую дочку назвали Маули (букву «г» посчитали излишней), а младшего сына — Тумай. Придя в революцию, бабушка и дедушка заняли видные посты. Дедушка — Арсений Владимирович Грачев — трудился в наркомате земледелия, благодаря ему, между прочим, в послереволюционную Россию

вернулся сыр «Рокфор». Бабушка — Лидия Николаевна Вите — работала в наркомате здравоохранения, регулярно направлялась для борьбы с различными эпидемиями в Среднюю Азию и на Кавказ, а в 1921 году занимала пост наркома здравоохранения Грузии. Она была явно феминизированная дама, получившая высшее медицинское образование до революции. Так что детство моего свёкра Тумая Арсентьевича прошло в гостинице «Метрополь», где селилась партийная элита. Потом бабушка разошлась с дедушкой и снова вышла замуж, а дедушка пристрелил удачливого соперника из охотничьего ружья, и остаток жизни провёл в психушке. Маули умерла в блокаду, а её сын Рид Грачёв, замечательный писатель и переводчик Экзюпери, — духовный отец питерских шестидесятников.

Родители Олега познакомились в середине тридцатых. Курсант, изучающий авиационное вооружение, Тумай Вите и студентка Ольга Тенникова полюбили друг друга, в результате чего на свет появились дочь Оксана и сын Олег. Мой муж шутливо говорит о себе: «человек без родины, сын военнослужащего — появился на свет в Риге в семье оккупанта». После Риги Харьков, после Харькова Москва, где жил в Лиховом переулке в коммуналке вместе с Зиновием Гердтом. Потом смерть матери, переезд в Питер, три мачехи, самостоятельный переход в лучшую математическую школу и экономический факультет Ленинградского университета.

Учился на вечернем, менял жён и работы. Послужной список солиден: ученик слесаря, почтальон, библиотекарь в Академии наук, инженер, проводник почтового вагона, солдат Советской армии, продавец мороженого, начальник почтового вагона, бухгалтер-ревизор, контролёр вневедомственной охраны, транспортный рабочий, преподаватель истории в техникуме, младший научный сотрудник, ремонтировщик Зимнего стадиона, старший экономист, сотрудник информационного бюро в горкоме комсомола, старший научный сотрудник Института социологии, консультант и затем начальник отдела социально-политического анализа Рабочего центра экономических реформ при правительстве России.

В разгар застоя мой муж вступил в ряды КПСС, разочаровавшись в диссидентской среде, хотя до этого принадлежал к ней и активно распространял антисоветчину. Конечно, мне, всю жизнь шарахающейся от людей с партбилетами, это было не по кайфу. Однако, пришлось нарабатывать механизмы терпимости. Гораздо легче я приняла его марксистские убеждения и привычку считать себя заочным учеником великого универсалиста Бориса Поршнева.

«Марксизм» Олега несколько странен, и в случающихся между нами дискуссиях по актуальным проблемам он обычно оказывается в роли крайнего либерала, обвиняющего меня в «социалистических уклонах». Поэтому марксисты не считают его своим ни по взглядам, ни по принадлежности к политическим группировкам. Кажется, Жорж Санд говорила, что идеальные супруги имеют одинаковые принципы при разных взглядах. До настоящего времени нам удаётся сочетать мой «демократический буддизм» с его «марксистским либерализмом». В конце концов одна из скандинавских премьер-министров была женой лидера оппозиционной партии, и они были счастливы в своей многодетной семье, поскольку никогда не путали постель и кухню с парламентом.

Глава 32. ВОЛЫНСКОЕ

Осенью 1994 года я принимала участие в передаче «Тема», которую вела обожаемая мной Лидия Иванова. После этого мне предложили обсудить возможность участия в планируемом женском ток-шоу, я гипотетически согласилась. О том, что телевидение нагло вмешается в мою жизнь и начнёт устанавливать в ней свои порядки, я не подозревала, как человек, который из всех телевизионных программ смотрел только политические.

В это время общество потихоньку адаптировалось к понятию феминизма. «Космополитен» напечатал интервью с несколькими русскими феминистками, включая меня. Журналисты начали обрывать мне телефон, чтобы расшифровать это слово на страницах своих изданий. Конечно, статьи ещё были в диапазоне от «бабоньки, давайте жаловаться друг другу на жизнь» до «отстреляем мужиков-подлецов по одному».

По какой-то табличке для кухонного пользования я выяснила, что в прошлой жизни была монголом-алхимиком. Это мне понравилось — Монголия казалась мне самой красивой и самой моей страной в мире, — и я упомянула об этом журналисткам из «Мегаполиса-экспресса» — интервью вышло под заголовком «Русская феминистка в прошлой жизни была мужиком», малознакомые люди начали подробно вглядываться в меня, отыскивая приметы прооперированного мужика и спрашивать, лучше ли мне живётся в женщинах.

Мою повесть «Учителя» напечатали по-русски в нью-йоркском альманахе «Время и мы» и по-английски в московском альманахе «Глас». «Взятие Бастилии» перевели на немецкий язык.

Наступила зима, в составе группы экспертов Олег начал работать на правительственной даче в Волынское-2, и я стала приезжать туда. У меня были хорошие отношения с Сашей, тем более, что с хозяйственными задачами он справлялся быстрее и лучше Олега, просто к вечеру, когда возвращался настоящий муж, я плохо соображала, за кем я замужем.

В стиль жизни Волынского входила долго. Во-первых, там я была единственная женщина, да ещё и женщина богемная. Группа под руководством помощника президента Георгия Сатарова состояла из «новых» людей. Это была не номенклатура в серых костюмах, а независимые интеллектуалы. Сам Сатаров даже в Кремль ходил в свитере, а Олег носил не галстук, а карбонарскую косыночку. Я, чтобы не бросаться в глаза яркими платьями и обтягивающими кофточками, мгновенно переоделась в чёрные пиджаки.

Я понимала, что должна выглядеть асексуально, чтобы не ловить на себе машинальные, но лишние взгляды. Но я формировалась в среде, для которой внешняя раскованность входила в обязательный набор. Моя пластика, моя манера говорить многим казалась вызывающей.

Я не была учёной тётёнькой в очках с пучком волос, которой собиралась стать, идя на философский факультет. Я не была душевно-жалобной бабонькой типа профсоюзной деятельницы. Я не была карьерной акулой, в глазах у которой бегут цифры, как на счётчике такси. Я не была томно мяукающей московской дамочкой, всегда нуждающейся в мужском плече. Я не была вечно улыбающейся киской, рядом с которой самый дохлый мужичонка чувствует себя Сократом и Шварценеггером. Я была органична исключительно в неформально-богемной среде, а здесь для меня не было ниши.

Я странно чувствовала себя в чёрных пиджаках, но понимала, что если в деловых отношениях с мужчинами на тебе обтягивающее платье, то через пять минут что-нибудь скажут про грудь, а не про существо обсуждаемого дела. И суть состоит не в интересе к груди, а в том, что это бессознательный способ напомнить, что ты женщина и место твоё на кухне и в постели.

В Волынском готовились материалы для предвыборной президентской программы, а я в сомнительной роли пребывала на этом празднике жизни. Моей компетенцией сначала было мирить, веселить, утешать и снимать напряжение.

Описание группы в Волынском журналисткой «Общей газеты» в статье «Президенту делают файл» Елены Дикун выглядело следующим образом. «Из свежих слухов: «мозговым трестом», руководящим избирательной компанией Бориса Ельцина».

«Временный творческий коллектив из отборных интеллектуалов, уединившийся на одной из государственных дач». «Оздоровительный комплекс, построенный для партноменклатуры ещё в брежневские времена, расположен в заповедном районе Москвы недалеко от Поклонной горы. Владения обнесены сплошным высоким забором, вход — только по пропускам. На самой территории всё как положено: корабельные сосны, голубые ёлочки, вылизанные дорожки, столовая с бильярдной и банкетными залами.

В Волынском в этот период жили, взахлёб работали и дружили совершенно дивные люди. Большой, красивый, добрый, талантливый Сатаров, будучи совершенно театральным человеком, создавал светскую атмосферу даже в самой напряжённой гонке. Это был старомосковский господин с шестидесятническими слабостями и смягчающим протокол хорошими манерами. Как истинный интеллигент, он не делал разницы в обращении к официантке и премьер-министру. Как говорил по подобному поводу один из российских императоров сыновьям: «Ведите себя так, чтобы люди простили вам, что вы великие князья».

Вторым героем психодрамы был бесконечно талантливый Александр Рубцов из Института философии. Архитектор по образованию, философ по профессии и шоумен по призванию, Саша заведовал сектором каких-то там современных стратегий и был гением интонационного чутья, в диапазоне от политики до заваривания чая.

Про чай у него была знаменитая выходная ария: Грузины учили меня заваривать чай. На самом деле грузинский чай не плох, надо просто знать, как его заваривать. Возьми ручку, записывай. Берёшь чайник, не ошпариваешь его кипятком, а держишь над паром. Кладёшь количество ложечек чая по количеству стаканов и одну сверху. Десять минут настаиваешь, потом чай надо поженить: налить в чашку и вылить обратно в заварничек. И так несколько раз. После этого содержимое чайничка надо вылить в унитаз. И заварить цейлонский чай.

Саша страшно любил что-нибудь придумывать. То среднеарифметический образ женщины-депутата по фамилии Умалахова. То проект картины «Хакамахи на балконе». То национальную идею, краденную из рекламы памперсов: «Просыпаюсь и пью. Потом опять пью». То два варианта палок для водных лыж: первые — на надувных подушках, а вторые — чтобы до дна доставали. То в связи с проблемами здоровья Ельцина пустить его выступление под фонограмму, дать депутатам наушники и каждой фракции крутить свой вариант.

Профессор географии и член президентского совета Леонид Смирнягин был старше всех и носил кличку «могучий старик» из почти забытой сегодня книги «Старик Хоттабыч». Ходили слухи, что Ельцин любит не курящих, без бороды и говорящих медленно. Смирнягин был господин с точностью до наоборот.

Попав в президентский совет, господин Смирнягин дал телеграмму на кремлёвском бланке дружку, тоже профессору: «Ты думал, что я говно, а я член президентского совета!».

Смирнягин называл себя лучшим географом всех времён и народов. Это было не слишком далеко от истины, он и в президентский совет попал потому, что как-то на совещании начертил на листочке по памяти карту страны, разделённой на без малого девяносто субъектов Федерации, при том, что был американист. Америку он просто ощущал как собственную кухню, однажды в присутствии Лёни провинциальная американка назвала свой город и чуть не упала в обморок, когда господин Смирнягин мгновенно назвал ей все соседние этой дыре речушки и пригорки.

Володя Размустов был молодой историк из Воронежа с практикой посольской работы в Вашингтоне и работал помощником Сатарова. С ним меня и Олега соединяли самые тёплые и самые семейные отношения. Благодаря ему, а не благодаря собственному мужу, я включилась в работу группы.

Миша Захваткин был добрым ангелом группы и отвечал за компьютерную сеть. Со Смирнягиным у него постоянно разыгрывались итальянские базары. Лёня лепил в компьютер всякую дрянь, купленную на барахолке, компьютер ломался, а Миша, матерясь, реанимировал его. Группа могла похвастаться хорошей коллекцией компьютерных игр и порнухи. Захваткин был выдержанный господин из города Слободское Кировской области, периодически даривший пенки из своей биографии типа: Когда я работал на кладбище, там все кололись. Не кололся только один, он втирал себе в вену мак. Стеклом.

Это были постоянные жители, но гости были не хуже. Я никогда в жизни не видала такой плотности блестящих мужиков на один квадратный метр российской земли.

Самым корректным и застенчивым из всех помощников президента, конечно, был Михаил Краснов. Он был религиозный и очень ответственный человек. Лившица я знала плохо. Виделись в Волынском, пару раз ужинали на Косыгина, приглашала его с женой на свой спектакль. После стакана водки Лившиц врубал на полную катушку кассету Гарика Сукачёва и каждый раз просил передать Гарику привет от страстного поклонника. Но я была не знакома с Сукачёвым. Однажды мы с приятельницей — актрисой

сидели в буфете МХАТа, куда с криком: «Где Мишка Ефремов, щас я ему буду харю бить!» ввалился в дым пьяный Гарик Сукачёв и спланировал за наш стол.

— Девчонки, я вам свои новые стихи почитаю, — и начал бубнить очередной шлягер. — Гениально?

— Я обещала вам передать слова любви от горячего поклонника господина Лившица, — ответила я, чтобы избежать экспертной оценки текста.

— А кто это? — спросил Сукачёв.

— Министр финансов.

— Не знаю такого. Но ты ему передай, что он хуёвый министр финансов, если мне, Гарику Сукачёву, не на что выпить! — потом посмотрел на меня озарённый идеей. — Слушай, дай мне пять тысяч на водку, а этот, министр финансов, пусть тебе отдаст!

И, получив в буфете гранёную стопку, кумир Лившица быстро унёсся с прежним криком о своих планах на физиономию младшего Ефремова. Надо сказать, «лаф стори» власти и художников всегда выглядела примерно так.

В Волынском изумительный персонал, он быстро давал ощущение дома в неуютных номенклатурных пространствах. Черномырдина здесь обожали, называли ЧВС или Чирик. А девушки из ресторана называли его «папа». Он приезжал в Волынское редко. Как-то при мне, видя Черномырдина на экране телевизора, одна официантка грустно сказала другой: — Посмотри, папа-то наш как похудел! Ужас! Что они там его не кормят, что ли? Что у них там рук, что ли, нет?

Были, конечно, и типажи. Одна горничная долго привыкала к нам. Мы приехали неизбалованными и сначала пытались убирать за собой. Это напрягало. Как-то она раз пять зашла в номер с витиеватыми заявлениями по поводу застеленной Олегом постели. Я долго не могла понять, в чём дело, и потребовала правды.

— Если Олегу Тумаевичу не нравится, как я стелю, я могу по-другому, — сказала она чуть не плача. — Я очень своей работой дорожу.

В корпусах было жарко и синтетические покрытия полов, и потому при прикосновении к чему-нибудь не сильно, но неприятно било током. Олег из-за этого ходил босиком или в летних босоножках, состоящих из трёх кожаных перепонок. А поскольку работа строилась из совещаний, написания бумаг и их обсуждения, то в зале заседаний группа собиралась, что называется, «без галстуков». Горничную это напрягло, она доложила Сатарову:

— У вас человек босиком ходит по даче и в босоножках сидит

на совещании.

— И что?

— Босиком!

— Вам это мешает?

— Но ведь не хорошо.

— И мне не мешает.

— Значит, вы ему разрешаете. Тогда всё в порядке, — успокоилась она.

Олег в этом сезоне не только ходил босиком, но и курил сигары. Созерцая подобную разнузданность, горничная решила, что раз ему такое разрешают, значит, теперь он тоже крутой и начала доносить ему. Когда Олег уезжал, ей ничего не оставалось, кроме того как, соблюдая субординацию, стучать мне:

— Там человек из нижнего номера, сел в библиотеку и играет на компьютере.

— И что? — недоумевала я.

— А вдруг ему нельзя?

— А почему вас это волнует?

— Меня когда на работу брали, велели всё докладывать.

— А в каком это году было?

— В восемьдесят пятом.

— И вы считаете, что с тех пор ничего не изменилось?

— Нет, ну, многое, конечно, изменилось… Паласы поменяли… Плиту дорогую в наш корпус поставили… Телевизоры новые.

Существовал свой фольклор. Например, охрану Ельцина называли «гоблины», а группу «Альфа» — «альфонсы». Сатаров называл Ельцина «шеф». Надо сказать, все, кто сталкивался даже с бумагами, с которыми работал президент, относились к нему с большим уважением. Я пришла из среды, где считалось хорошим тоном поливать власть, но чем больше начинала соображать в шахматной партии российской политики, тем удивительней мне казались президентская гибкость и рисковость ходов. И рассуждения маргинальных интеллектуалов и закомлексованных аналитиков-аутсайдеров начали напоминать презрительно-покровительственное отношение не умеющих переставлять фигуры на доске к шахматным гроссмейстерам.

У меня не было придыхания по поводу властных структур, но, видя, как люди там пашут, какую махину удерживают на себе от бессмысленного и жестокого бунта в стране, функционирующей как одна большая психушка, я научилась отдавать им должное. Каждый из нас в это время отлично понимал, что такое система противовесов в своей семье и своём рабочем коллективе, и, не справляясь с нею, требовал от власти порядка в системе

противовесов в стране, являющейся увеличенной в геометрической профессии семье-великомученице.

А кроме того, всё время выплывали детали типа рассказа одноклассника тогда ещё маленькой Маши Ельциной: «У нас никто в классе не хочет жениться на Маше Ельциной — её возит один охранник на «девятке», все хотят жениться на Маше Боровой — её возят три охранника на «вольве».

Или история про то, как Ельцин подписывает указ о назначении одного господина в министерское кресло.

— Борис Николаевич, как честный человек, я вас должен предупредить, я — гей, — говорит господин.

— Это кто ж такой? — удивляется президент.

— Гомосексуалист.

— Пидарас, что ли?

— Пидарас, Борис Николаевич!

— Президент России не ночует в постели своих граждан! — говорит Ельцин и подписывает указ.

Женский персонал принял меня хорошо, поскольку я уже принимала участие в программе «Я сама», но с водителями долго не складывалось. Они возили женщин типа Терешковой и жён чиновников. Мой образ был неясен, из-за разных с Олегом фамилий меня долго приписывали к разным членам группы то в качестве жены, то в качестве любовницы.

Как-то мне надо ехать по делам, водитель поднимается на этаж, ставит машину за корпусом, так что её не видно. Я стою у окна и не понимаю, что это водитель.

— Привет, — говорит он.

— Здравствуйте, — отвечаю, опешив.

— Новенькая, что ли?

— Новенькая.

— А Танька что, больше не работает?

— Я не знаю, кого вы имеете в виду.

— Ну, до тебя работала.

— Не знаю.

— Загордилась ты, как сюда попала. Ничего не знаешь.

— Извините, вы, собственно, кто?

— С Профсоюзной я.

— В каком смысле?

— Ну, совсем дурочка? Как только тебя сюда взяли?

— Вы с какой целью приехали?

— Да за какой-то Арбатовой. В каком хоть номере она живёт?

— Арбатова — это я.

— Извините, пожалуйста, я водитель за вами. Я тогда в

машине подожду, я думал, вы горничная.

И спускаясь по лестнице, явно для меня забурчал:

— Притащат блядей всяких, развози их потом.

Многих, особенно пожилых водителей бесил мой вид, я не была старым, лысым пузатым мужиком и иногда заезжала на рынок за продуктами, хотя делала это гораздо реже, чем мужики за напитками. Через два года ко мне привыкли и по дороге охотно жаловались на тёщь, жён, любовниц и начальство.

У водителей были свои представления о пассажирах. Как-то, подъехав к нашему задрипанному дому, водитель сказал:

— Вите ваш с виду большой начальник, а живёте в обычном доме, как честные люди!

Подвезя к дому появившуюся позже в группе Ирину Стрекаловскую домой, другой покачал головой и сказал: — Дама вы приличная, а вот квартирку надо поменять.

Выборы надвигались. Интеллигенция, боровшаяся против коммунистического режима, но воспитанная в противостоянии к официальной власти, была настроена игнорировать их, не желая осознавать реальности прихода Зюганова. Я сформировалась в среде, в которой сотрудничество с властью считалось невозможным, но истерически желала в президенты Ельцина, и слушала от собратьев-интеллигентов о своей продажности и конъюнктурности. Я привыкла в этой жизни ходить против течения, но прежде я в основном ходила против течения вместе с ними. Пришлось сказать себе: «На этом отрезке пути мы расстаёмся».

Сигналы добра и зла перестали различаться в политике, сменившись сигналами «наибольшего добра» и «наименьшего зла». Но в Волынском я получила возможность слушать обсуждения, влезать во все цифры, а не только в те, которыми жонглирует пресса, разобралась «кто кому Вася», как все механизмы работают, и впала в депрессию от того, что почти до сорока лет жила дура дурой, да ещё это громко озвучивала.

Творческая интеллигенция всё это время, ругая реформы, жаловалась на безденежье, вместо того, чтобы предлагать себя рынку и выяснять свою реальную профессиональную стоимость. Она бесконечно уличала власть в нечистоплотности, противопоставляя собственную гражданскую возвышенность. Но к этому времени я видела уже столько омерзительных писательских и театральных квартирных, дачных и прочих халявно-денежно-вещевых баталий, с действующими лицами, обличающими власть. Столько наблюдала их лижущими ботинки прежних хозяев, что не умилялась их топанью ножкой на действующего президента, если это ничем не грозит.

Когда перед выборами рейтинг Ельцина полез наверх, интеллигенция, поливающая его в СМИ, засуетилась. Меня пригласили на встречу писателей с представителями власти, в том числе и Сатаровым. Писатели подбирались пёрышко к пёрышку, секретариат фильтровал список и берёгся от своей оппозиции. Боже, что ж это было! Братья-писатели били себя в грудь, рвали на себе тельняшки и кружевные кофточки и, грязно ругая Ельцина в первом предложении, страстно просились в доверенные лица во втором. Потом кто-то выпрыгивал, требуя почему-то именно от президента заняться разборками в области писательской собственности; потому что один союз сдал площади всего лишь банку и турбюро, а другой уже открыл на территории союза обувную базу и продуктовый магазин.

Осознав, что «мои деньги в другом банке», как говорил Немирович-Данченко, а не на шабаше творческой элиты, я стала одинока. Я состояла из другого материала, чем Олег и его друзья. Слава богу, три мои самые близкие подруги понимали меня. Таня и Ира были достаточно политизированны, а мудрая Лена — нет. Но она сказала: «Это не твой выбор. Жизнь зачем-то так выбирает за тебя. В конце концов, ты пишущий человек, и она лучше знает, куда тебя посылать». И я очень благодарна им, иначе у меня был бы страшный кризис идентичности.

В светском кругу, кроме них, мне даже не с кем было это обсуждать. Интеллигенция не желала разбираться в политике, озвучивала самые примитивные мифы и при этом требовала, чтобы эти мифы выслушивали с уважением. Как говорил Жванецкий: «Вся история России есть борьба невежества с несправедливостью».

Глава 33. ВОКРУГ ВЫБОРОВ

Фигурируя в качестве «бабы на чайник», я всё время заглядывала в материалы, готовящиеся для президентской программы и советовала стилистические поправки. Однажды вечером Олег показал мне текст по поводу «Духовного возрождения». Это была такая лабуда, что я орала на него несколько часов. Олег ответил взаимностью и сказал, что если я такая умная, то могу сесть и подготовить свой вариант. Я ответила, что мне нужны все цифры, все факты, документы по всем областям культуры и возможность получать консультации у специалистов. Производя легкомысленное впечатление, в делах я зануда, например, совершенно не могу писать о герое, если не

обладаю массой дополнительных подробностей, которые никогда не войдут в пьесу.

— Главное в этой программе экономическая часть, — сказал Олег. — Никто не будет сейчас подробно заниматься культурой.

— Сначала хлеб, а нравственность потом, — процитировала я.

— Первая нравственная задача — накормить голодных, а потом думать о том, чтобы живописцы окунули свои кисти. И логика работы, и сроки работы нашей группы рассчитаны только на это.

Спорить было трудно, ведь только что была разогнана компания под предводительством «духовного отца господина Сосковца», потратившая львиную долю денег и времени без всякого результата, и группа Сатарова работала в условиях экстремала. Так что единственное, чем я реально могла повлиять на текст «духовного возрождения», это добавить предложение о создании реальных юридических механизмов защиты интеллектуальной собственности и авторского права.

Этой проблемой, от которой все эксперты были страшно далеки, я так всех достала, что Володя Размустов принёс мне стопку документов и сказал:

— У тебя много энергии, тебя надо чем-то занять, чтоб не мешала. Ты пишешь нормальные статьи по правам человека. Просмотри эти бумаги и попробуй написать проект статьи по защите материнства и детства.

Документы были те ещё: суконные лозунги про мать и дитя в стилистике комитета советских женщин. Их писали «Женщины России» и всякие кондовые комитеты. Я пошла убеждать Размустова, что такой совок уже невозможен. Что мать и дитя в одном флаконе — патриархальный миф, что права женщин существуют независимо от прав детей и т. д. Он посмотрел на меня без всякого энтузиазма и сказал:

— Это твои проблемы. Пиши бумаги, будем их обсуждать в рабочем порядке.

— Я могу написать это в жанре мелодрамы, триллера, поэмы, капустника и т. д. Но я в жизни не писала в жанре политических документов, — ответила я чуть ли не с кокетством. Мол, мы выше этого.

— Времени и желания обучать тебя нет ни у кого. У тебя есть несколько дней и возможность запрашивать документы в министерствах и ведомствах. Имей в виду, что, если у тебя ничего не получится, это войдёт в программу именно в том виде, в котором тебе не нравится. Всё, извини, мне больше некогда обсуждать это с тобой, — холодно сказал Володя, обозначив, что

наши отношения из светски-соседских перешли в экстремально производственные.

Я никогда не работала в подобном режиме, но прикусила язык и пошла думать. Занимая определённое положение в своей профессии, я оказалась здесь полной неумёхой и честно начала учиться. Я стала запрашивать документы в министерствах, приходила фигня в толстых пакетах. Я просила цифры и факты, присылали планы, прожекты и лирические истории про то, как будут возведены детские оздоровительные лагеря и увеличены денежные пособия. А время шло. Я не имела своих каналов, не владела языком и логикой чиновничьего сословия, а никто из них не хотел посылать в группу помощника президента компромат на самих себя. Я звонила, просила, угрожала, вежливо обещали и снова посылали фигню.

Было понятно, что меня дурят, но не видно, в каком месте. Я была в отчаянии и начала искать цифры и факты по своим журналистским, феминистским и правозащитным каналам. В результате получилась картина, от которой темнело в глазах, и хотелось немедленно бросить всё и пойти в профессиональную политику.

Цифры, с одной стороны, международные конвенции — с другой, выглядели в сумме душераздирающе. Олег посмотрел текст и сказал: — Ты пишешь не программу для победы Ельцина, а программу для победы Зюганова. Всё это не результат реформ, а результат социализма. Если хочешь работать в команде, придётся понять, что амплуа журналиста-обличителя должно остаться за воротами Волынского, не потому, что надо лакировать действительность, а потому, что перед нами стоит совершенно конкретная задача. И мы выполняем её не ради конкретного Ельцина, а ради продолжения реформ.

У меня не было иллюзий по поводу стопроцентного выполнения президентской программы, поскольку предвыборная программа есть договор власти с народом. Одна сторона обещает, а другая требует выполнить обещания. Я не идеализировала обе стороны. Моей задачей было внедрить адекватное представление о правах детей и женщин в контекст общественного обсуждения и написания последующих программ. Только ленивый потом не переписал этого в свою программу.

Пока готовились выборы, я успела пожить несколько недель в Берлине на стипендии Академии искусств. Была предоставлена самой себе и получила колоссальный опыт, подтверждающий, что эмиграция была бы для меня смертью.

Богемная Рената, руководившая проектом, с копной рыжих

волос и папироской с марихуаной, поселила меня в комнате с эркером, близняшке моего арбатского жилья. Я точно так же принадлежала наконец самой себе, точно так же валялись книги на подоконниках, точно так же матрас на ножках с кучей подушек обозначал сексодром, точно так же цокали шаги в колодце узкого переулка, так же налипал снег на высокие окна, так же пах воздух.

Я просыпалась ночью, и по щекам ползли слёзы от ощущения себя семнадцатилетней девчонкой в доме на углу Арбата и Староконюшенного. Берлин устроил мне фарсовое «дежавю».

Я встретила приятелей-эмигрантов пятнадцатилетней давности. Вечером в центре города меня чуть не изнасиловал турок; а днём итальянец невиданной красоты охмурил так, что я дошла до его подъезда. Потом включилось возрастное «а хрен его знает?», после которого говоришь «нет», чтобы потом долго жалеть. Я съездила в Гамбург к красавице Еве Гербердинг, переводившей мою пьесу. В одиночестве шлялась по музеям, базарам художников и распродажам. Иступлённо смотрела новости, чтоб хоть что-нибудь про Россию. Извела большую часть денег на телефонные звонки, и, когда оплачивала счёт, выезжая из гостиницы, служащая сделала почтительный книксен. В немецком понимании такие счета за разговоры из номера оплачивают только миллионеры.

Конечно, я могла повиснуть на Клаусе, но это кончилось бы реставрацией какой-то части отношений. И я с ним всего пару раз поужинала. Со мной что-то случилось в Берлине, я проиграла как гаммы какие-то юношеские комплексы. И вернулась домой к новому году, который мы с Олегом, оба в глубоком гриппе, встречали у телевизора. Дети украсили ёлку, накрыли стол и убежали веселиться своей компанией. Это был первый новый год в жизни, встреченный так камерно. Я никогда не думала, что это такой кайф. Что-то изменилось во мне во время Берлина, так сильно, что я решила бросить курить, и сделала это с первого января. А ведь я курила с шестнадцати, с перерывом на беременность.

Клуб «Гармония» давно переехал в ЦДРИ из профкома драматургов. По сути дела мы занимались арттерапией, и большая часть членов клуба принадлежала творческим профессиям, однако старая администрация, развращённая халявой, подозревала клуб в мощном бюджете, во взятках молодому директору и прочем. И хотя раз в неделю в солидной прессе выходила статья о нас, тётеньки, распускающие слухи о том, что клуб представляет собой лесбийскую оргию, школу обучения проституток и опасное политическое движение,

регулярно засылали шпионок. Шпионки танцевали фламенко на часе Елены Эрнандес, снимали речевые комплексы на часе Иры Фетисовой, слушали мои ликбезовские разглагольствования о правах женщин, пили чай с печеньем, сдавали на всё это по пять рублей и продолжали подозревать у клуба двойное дно. В тот период, когда у всех поехала крыша на деньгах, видимо, не верилось, что люди практически бесплатно тянут эту лямку.

Тогда вообще всё смешалось в доме Облонских, особенно в культуре. Творческая интеллигенция судорожно продолжала искать хозяина. Демократы за свой стол не пускали, твёрдо считая, что «место артиста в буфете, а писателя — за письменным столом», и целый эшелон бывших антисоветчиков рванул к коммунистам.

Я понимала, что у меня есть штук пять рассказов, штуки три повести и один роман, и это повод показываться в качестве прозаика. Четырнадцать в основном поставленных пьес почему-то не считались литературой, в толстых журналах говорили одно и то же: «Конечно, вы замечательный писатель, но мы печатаем пьесы либо Солженицына, либо покойного классика». Я была ещё жива, и уже не была Солженицыным. Меня послал «Новый мир», «Октябрь», снова обвинив в сексуальной разнузданности творчества. Со мной довольно по-хамски вели себя издательства «Слово» и «Букмен», и уже я обвиняла их в разнузданности производственных манер.

Разочаровавшись в московских толстых журналах, я отправила повесть «Опыт социальной скульптуры» в питерскую «Звезду», где она в несколько кастрированном виде, но всё же вышла. Романа моего «Визит нестарой дамы» не потянула даже «Звезда». Косноязычный господин из отдела прозы объяснил по телефону, что готов научить меня, как писать романы, и что не следовало бы так сильно увлекаться сексуальной темой. Я была не против того, чтобы учиться писать романы, если бы мне предложил это, например, Андрей Битов или, например, Людмила Улицкая. Но почему-то обычно предлагали те, кто делал это ещё хуже, чем я.

В июне я полетела на Боннский театральный биеннале, и, что характерно, не от России, а от Германии. Ни один из моих российских спектаклей ни разу не был рекомендован нашими экспертами на биеннале, а первая же постановка пьесы «Пробное интервью на тему свободы» немецким театром привела в Бонн. Было лето, сумасшедше красивый город, гостиница в кустах роз и по три фестивальных спектакля в день. В Москве вовсю шла

предвыборная истерика, и казалось чуть ли не преступлением вяло обсуждать сытым интернациональным кагалом проблемы современной драматургии.

Спектакль по моей пьесе был невероятно смешным. Усталый новый русский, по кличке Дубровский, эдакий лишний человек, был на сцене брит наголо, в чёрной майке, сапогах-казаках и с кобурой на кожаных ремешках. Когда он агрессивно совершал половой акт с главной героиней (в пьесе этого и близко не было), кобура громко стучала о металлические прутья, а восхищённая немецкая публика аплодировала. Они не видели других новых русских. Главная героиня в первом действии выходила на сцену в колготках со стрелкой, во втором — с двумя стрелками, а в финале — в вечернем платье и колготках, драных в клочья. Режиссёрша объяснила, что ей известно, как плохо в России с колготками. Но колготки были комариным укусом по сравнению с тем, что со всеми действующими лицами мужеского пола главная героиня занималась сексом.

— Где вы это вычитали? — спрашивала я. — Покажите мне в пьесе, из чего это следует?

— Мы поняли, что вы писали о сексуальной свободе русских, — отвечали мне. — И это очень интересно нам, немцам.

— Да у нас до перестройки из всех свобод только и была сексуальная, а сейчас мы получили остальные, и пьеса об этом! — вопила я.

— Наши зрители такого не поймут. Нашим зрителям интересно про русский секс. Чем вы недовольны? Пьеса идёт с аншлагами.

С новыми русскими была масса смешных историй. Они совершенно не понимали, почему кто-то из окружающих не реагировал на их деньги в принципе. «Понимаете, у моей жены всё есть, во дворце живёт. Но ей скучно. Я обещал, что чисто привезу вас к нам в гости, ей будет по кайфу. Как это не хотите? Так я ж вам конкретно заплачу. Нет, вы не поняли, я ж вам большие бабки отстегну», — говорил один бритоголовый господин на джипе, не понимая меня, искренне, как ребёнок.

«Знаете, у нас с женой большие проблемы, — говорил другой такой же. — Я целый день на работе кручусь, а она ко встрече со мной готовится. Я приезжаю никакой. А она там маску, массаж, ну, и ко мне. А я человеческого голоса уже слышать не могу. Она сразу сцены, слёзы, упрёки, а то и в морду схлопочет. Люблю её, и уж не знаю, что делать. Думал, может, ей какого кента прикупить. Типа любовника. Я ему башляю, и всё под контролем. А потом думаю, а вдруг спид».

Один плохой писатель и заметный тусовщик попросил

написать меня для нового русского журнала с картинками статью о том, как я вижу нового русского от подошвы до пробора, и я честно откликнулась. Статья называлась «Новый русский герой на рандеву» и впоследствии в укороченном виде вышла в газете «Культура». Писатель позвонил мне, прочитав текст, с обидой и спросил, почему я так резка. Хозяин журнала после статьи очень расстроился и сказал: «Мы с братвой решили издавать журнал про хорошее. И статьи в него надо писать тоже только про хорошее». Как говорил Войнович: «Соцреализм есть восхваление начальства в доступной ему форме».

Восьмого мая после обеда в наш номер в Волынском позвонил Володя Размустов и жёстко сказал: — К завтрашнему вечеру ты должна написать проект статьи о социальной защите инвалидов.

Я открыла рот, чтобы объяснить, что это нереально, потому что я не знаю ни одной цифры и восьмого мая после обеда все уже достаточно пьяны, чтобы обеспечить меня этими цифрами. Володя сухо объяснил, что если я этого не сделаю, то о социальной защите инвалидов не будет ни слова. Шантаж удался, и, когда все пошли пить, я села на телефон обзванивать общества глухих, слепых и т. д. Объём проблем засыпал меня, как пепел Помпею. Нужды спинальников не пересекались с нуждами глухих, проблемы слепых не касались умственно отсталых и т. д. Я чуть не плакала от досады и начала звонить не по справочнику министерств и ведомств, а по всей записной книжке и быстро нашла ниточки ко всем выходам. В России всё почему-то всегда работает именно так. К вечеру у меня на столе лежали оборотки (чистой бумаги, естественно, было в обрез), исписанные данными, полученными по телефону и проклёвывалась реальная картина нужд.

Я начала писать высоким слогом про то, что отношение государства и общества к инвалидам — первейшая проба на фашизм. Что только в фашистской идеологии право на достойную жизнь имеет сильный и здоровый. Что все бронзовые рабочие и колхозницы, пахари и сеятели — тоталитарные секс-символы, уходящие в прошлое. Что страна оздоравливается и начинает замечать реального человека и думать о его проблемах. И что, как говорят в Швеции: «Нет такого понятия человек-инвалид, есть общество — инвалид, у которого лестницы слишком высоки, а двери слишком узки, чтобы могли пройти все». Короче, разливалась соловьём. Текст был одобрен, но ужат.

Жаль, что программа Ельцина, напечатанная тиражом всего 5ООО экземпляров и не распространённая штабом в принципе, не

дошла не только до избирателей, но и до средств массовой информации. Журналисты примерно из десяти ведущих российских газет звонили и просили достать её по блату, и приходилось ксерить тексты, как листовки в подполье. При заключении контракта президента и избирателей, последних лишили текста контракта, и когда, например, встречаясь с инвалидами, я говорила: «Требуйте у местных чиновников, ссылаясь на программу действий президента», они страшно удивлялись: «А что, там что-то было про инвалидов?»

Точно так же удивлялись женщины, когда я зачитывала куски из президентской программы о правах женщин. Одну это настолько потрясло, что она решила перепечатать куски на машинке и повесить на кухне, предполагая мощное воздействие ельцинского слова на мерзавца мужа.

Как только Олег увидел мои тексты о материнстве, он туг же вставил туда про отцовство. Однако, несмотря на наш правовой пафос, люди, собирающие программу из кусков, засунули права женщин и детей в раздел «Здоровье». Это напоминало бездарного помощника Шатрова в студии «Дебют», который, указывая режиссёрам на полку, где мои пьесы лежали вместе с пьесами других авторов, говорил: «А вот тут у нас лежит сплошная гинекология».

Глава 34. ВЫБОРЫ

Итак, все аспекты дискриминации женщин и детей были приведены к международным конвенциям, и это было подписано в 1996 году не шведским королём, а российским президентом! Когда потом, братья-писатели говорили мне: «Тебе должно быть стыдно, ты работала на Ельцина», — я отвечала, что в каком-то смысле не я работала на Ельцина, а Ельцин работал на права женщин, о защите которых я самозабвенно воплю уже не первый год.

Когда мне показывали рукопись с правкой разными руками и карандашами, в которую люди вносили в основном грамматические исправления (я очень торопливо пишу, и потому патологически безграмотна и невнимательна), у меня внутри всё начинало петь — никто, ни один, ни сверху, ни снизу, не устроил редакторской и читательской истерики.

Был там и кусок о сексуальных домогательствах, который осмеяли почти все работавшие в группе мужчины, кроме Олега. Я понимала, что аргументы и цифры не работают в подобной ситуации, долго думала, а потом пристала к Сатарову:

— Юра, вы совершенно уверены, что у нас в стране нет такой проблемы?

— Совершенно, — улыбнулся Сатаров. — Напротив, нашим женщинам страшно не хватает внимания и ухаживаний.

— Но речь идёт о внимании и ухаживаниях, когда они переходят в психологическое и тактильное насилие, — настаивала я.

— Вы преувеличиваете.

— Скажите, Юра, а вы можете представить себе ситуацию, в которой вашей младшей дочери Кати домогается пожилой, отвратительный, бесстыдный преподаватель, от которого она совершенно зависима? Как вы думаете, нарушаются при этом её права или нет?

Сатаров посмотрел на меня с ужасом, а потом сказал:

— Я как-то в аспекте молодых это не рассматривал. Давайте попробуем добавить это в текст.

У феминизма огромные перспективы, потому что высокопоставленные чиновники имеют дочерей. И то, что по отношению к собственным жёнам не приводит их в ужас, они совершенно не готовы представить по отношению к своим дочерям. А что касается куска о сексуальных домогательствах, то кто-то потом его вычеркнул. Видимо, у него не было дочери или он о ней не подумал.

Прибежал Володя Размустов и сказал: — Вместо того, чтобы писать глупости про мужчин, сделай несколько страниц про молодёжную политику.

Опять звонки в министерства, снова их бессмысленные бумажки и самостоятельное копание в литературе и доведение до белого каления по телефону компетентных людей занудными вопросами.

Программу трясли, чистили, мыли, пудрили, завивали и тихо делали утечки. «Независимая газета» немедленно написала статью «Главный феминист России — президент»; «Труд» — «Семейный вопрос президента». А Яна Жиляева из «МК» и вовсе — «Как Ельцин стал феминистом». В ней было такое: «Наша молодёжь взрослела в годы больших перемен. Страна предстала перед их глазами как дом, в котором идёт капитальный ремонт. Их система ценностей выстраивалась в мире, полном эклектики социалистических атавизмов, перестроечных завихрений, стихийного рынка, слабого исполнения законов, социальной незащищённости и культа насилия и жестокости на кино и телеэкранах — как тут не узнать голос известной феминистки, ведущей передачи «Я сама» Марии Арбатовой».

Конечно, это прочитали в Волынском и мне дали по шее. Я была не виновата в том, что редактура не смылила мой, достаточно узнаваемый стиль. Слово «феминист» ещё осознавалось как пародийно-ругательное, и не факт, что подобный заголовок был полезен в избирательной компании. Пришлось вести себя ещё аккуратней, выступая на всех подряд каналах радио и телевидения по поводу выборов. У меня был статус телеперсоны, СМИ широко распахивали все двери, а дальше предстояло плести тонкое венское кружево от меня к феминизму, от феминизма к демократии, от демократии к реформам, от реформ к Ельцину.

Я никогда не преувеличивала своей роли в истории, так же как и роли всей программы. Но для меня это была лестница в мир, который до этого я игнорировала, одновременно предъявляя ему претензии. Это был мир документов, их медленного и трудного лоббирования, их постепенного превращения в законы, длинной работы по отрастанию ног у законов, и садистски медленного преобразования общества. Прежде, я представляла власть как чёрный ящик и интересовалась только продуктами входа и выхода. После истории с программой я научилась приблизительно читать работу внутренностей обширного политического механизма, формирующего время и пространство вокруг меня.

И вот наконец выборы. Всех лихорадит. Телевидение, конечно, продолжает мочить Ельцина то за Чечню, то ещё за что, хотя формально агитация запрещена. Вся группа разъезжается голосовать по домам и снова собирается в Волынском. Ближе к ночи, нагладившись и приодевшись, Володя Размустов, Саша Рубцов и мы с Олегом садимся в машину и едем в выборный информационный центр в ТАССе. В ночном магазине торжественно закупаются бутылки.

— Зря заранее, сглазите, — говорю я.

— Тогда будем пить с горя, — отвечает Володя, — И, вообще, не гони волну, сегодня ночь как новогодняя.

Я пытаюсь переориентировать свою предвыборную истерику в лихой новогодний расслабон, но это мало получается. В ИТАР-ТАССе уйма народу, весь политический и журналистский бомонд. Звёзды шоу-бизнеса и дамы полусвета важно прохаживаются, как на модной презентации. Потом слышала, по какому блату и за какие деньги доставались эти самые входные, чтобы «помелькать в судьбоносный момент». Все галдят, появляются сведения по дальним регионам, журналисты кричат их в мобильные телефоны. Толпа периодически набивается в зал, где то Сатаров,

то Филатов проводят психотерапевтические сеансы на тему «наше дело правое, мы победим!» Толпа выбегает из зала и рассредотачивается то вокруг бутербродов, то вокруг телефонов, то вокруг свежего авторитетного лица. Тут же идёт телевизионный прямой эфир Российского канала, тут же Джуна кому-то снимает напряжение и т. д.

Примерно на середине информационного потока подходит Володя Размустов, наш формальный руководитель, и говорит: — Всё, победа! Едем пить в Кремль к помощникам Лившица.

— Может, всё же дождемся окончательных результатов, — суеверно прошу я.

— Вот ты их и будешь дожидаться. Тебя всё равно не берём, — отвечает Володя.

— Почему? — недоумеваю я.

— А что тебе там делать? Там одни мужики. К тому же ты не пьёшь, — объясняет Володя.

— Хорошо, а сюда я как кто приехала? — интересуюсь я.

— Как эксперт, как член группы, — злится он.

— А почему я не могу ехать туда как эксперт и член группы? — Мне триста лет не снились помощники Лившица в Кремле, но я зверею, когда со мной так обращаются.

— Потому что там будут свои дела и мужские разговоры. Да я и пропуск на тебя не делал, а сейчас его уже поздно заказывать!

Я не могу обращаться за помощью к Олегу, потому что сама настаивала на том, что здесь я не чья-то жена, а эксперт. Поворачиваюсь и ухожу.

«Новогодняя» ночь «удалась».

Итак, меня привлекли к работе; я выполнила её, как всякий благодарный новообращенец, качественно и в рекордно короткие сроки; я многократно сдала тест на номенклатурную этику; знала, где, как и с кем нужно себя вести; была нема как рыба относительно информации не общего пользования; была практически безупречна. Но я оставалась женщиной. И у чужой мужской компании не было времени на адаптацию к тому, что со мной надо обращаться в рамках моей роли, а не в рамках моего пола. Потому что даже в своей компании, если я где-то прокалывалась, это было «потому, что-то я женщина», а если у меня что-то получалось, то это было «несмотря на то, что я женщина».

Как сказала однажды мне на банкете великолепная Людмила Пихоя: «Если бы ты знала, как мне надоело подкладывать им мысли в тарелку, чтобы они постепенно принимали их за свои. Как мне надоело маскироваться в то, что я им смотрю в рот, потому что баба в их представлении не может ничего другого. Это

совершенно мужское государство — я на шпильках не могу до Кремля дойти! Я ломаю шпильки! Потому что у них там булыжники! Их это не волнует!».

За это время сыновья превратились в замечательных молодых людей, бросали одни университеты, поступали в другие и концертировали со своей музыкальной группой по клубам, расширяя мой кругозор в области ночной жизни Москвы. Однако публичность моей жизни пришлась им не по вкусу, они перестали фотографироваться со мной и в новых компаниях скрывали родственные отношения. Они по-прежнему очень помогают мне, но строят независимые биографии.

Глава 35. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТЕЛЕВИЗОРА

Никто никогда не объяснял мне, что значит работать в кадре. Как сказал один знакомый, посмотрев передачу: «Никогда не думал, что можешь так долго молчать!»

Было понятно только, что «ток» — разговаривать, «шоу» — показывать. Как говорила Алиса в Стране чудес: «Книжка неинтересная, если в ней нет картинок и разговоров». Несколько интервью и участий в передаче убедили меня в собственной телегеничности, а лекции и монологи о феминизме изнурили так, что я решила гнать их на большую аудиторию, чтоб не вязнуть в повторах. Как одной из тех, которые «были слишком далеки от народа», мне казалось, что изложенные с телеэкрана основы феминизма мгновенно изменят жизнь в отдельно взятой стране.

По природе я экстраверт, и мне безразлично, обращаюсь я к кошке или к десяти телекамерам. Эфира не боюсь, поскольку, как драматург, и так ощущаю жизнь, как сорокалетний прямой эфир. Начав экспертную деятельность в ток-шоу «Я сама», я не анализировала, как сильно это может вмешаться в мою жизнь. Ведь у меня не актёрская природа психики, и я не выношу долгое пребывание на виду.

Что мы должны говорить и делать на первой передаче, не было ясно никому. Татьяна Фонина, сначала руководившая съёмкой, чётких соображений по этому поводу не имела. Она с придыханием говорила: «Вы будете три иствикские ведьмы. Я вас так вижу. А сидеть будете в эдаком салоне Брижжит Бардо». Понять, что означает сей винегрет, я даже не силилась. — Одна ведьма будет белая, другая — рыжая, третья — чёрная, — говорила Таня Фонина. — Ты будешь чёрная, у тебя будут чёрные волосы, и на тебе будет такой чёрный свитер с вырезом каре.

Я плохо себе представляла, чтоб за меня кто-то решал, какого цвета я буду. Чёрные волосы мне шли, но я становилась как-то уж слишком карменистой и жизнь превращалась в драму. Так что красить голову в чёрный я, естественно, не дала. Чёрный свитер с каре мне, естественно, никто не купил, так что на первые передачи напяливала что-нибудь своё чёрненькое. Всякие глупости типа «имидж, внешний образ» меня как взрослую тётеньку не занимали. Я не могла представить себе, чтобы юная стилистка, прочитавшая в жизни меньше книг, чем я написала, объясняла, какой она меня видит в логике незатейливых представлений, воспитанных глянцевыми журналами.

Сначала предложили прибарахлиться в дизайнерской конторе «Белый клоун». Руководитель фирмы оглядел меня с разочарованием и сказал:

— Боюсь, что у нас на вас ничего нет. Что вы хотите? У вас же грудь.

И, действительно, несколько комнат, завешанных платьями, меня не подразумевали.

— Весь мир шьёт на женщин типа Хакамады, — сказал он, и я почувствовала себя чужой на этом празднике жизни. Мне очень нравилась Ирина Хакамада, но к себе я тоже относилась не плохо. И если бы не предыдущий женский жизненный опыт, если бы не работа натурщицей и длинный список высоких оценок моей груди (допущенных к ней близко), наверняка ушла бы из ателье «Белый клоун» закомплексованной на всю оставшуюся жизнь.

Я перемерила платьев тридцать, и ни одно не сходилось в бюсте и не ориентировалось на мой рост, который ещё в незапамятные времена юности считался идеальным для женщины и назывался «рост Венеры». Одежда шилась на явных мутантов. Результатом сотрудничества с ателье оказалась рыболовная сеть, безусловно, связанная на Хакамаду, но добросердечно вместившая мою грудь. Рукава приходились до колен, на подол спереди я наступала и летела кубарем, а сзади волокся шлейф в стиле царствующей особы прошлого века. Как меня не закалывали английскими булавками, как я не поддёргивала юбчонку, проход из артистической до кресла в студии всё же был чреват ушибами.

Вероятно, я выглядела на этой съёмке так несчастно, что руководители сжалились и предложили найти художника по костюму, поскольку Юле шила Наталья Нафталиева, а Ира приносила чеки из магазина.

Художником по костюму я уговорила быть знакомую даму. Она бесхитростно пропахивала в выходные лужниковский рынок, накупала себе кофточек и требовала, чтоб я их надевала. Номер

груди у неё тоже не был особо большим, но хотя бы ростом она была ближе ко мне, чем к Хакамаде, так что можно было считать, что положительная динамика в процессе наметилась. Я ведь ещё ничего не понимала на телевидении и туго соображала, что сколько стоит и кто кому должен, тем более, что атмосфера создания передачи напоминала ударные стройки родины.

— Вы даже не сознаёте, что мы делаем новое великое телевидение, — с придыханием сообщала Таня Фонина, и мне было неудобно в рамках подобного пафоса ныть про кофты и пиджаки.

Художница по костюмам медленно, но верно расслаблялась. Балдела от съёмок, ощущала себя самым главным персонажем, бегала за пивом Ире и, как Штирлиц планы рейха, со всем пылом души пыталась вызнать о Юлиной личной жизни. Мне же предлагала совершенно беззастенчивый сервис.

— Эта зеленоватая кофта не подходит под эту полосатую юбку! — ныла я.

— Что есть, то и наденем. Не велика проблема, — отвечала «художник по костюму». — Я и так вся извелась и измоталась по рынкам.

Как-то потребовала, чтоб я надела на съёмки кофту её мачехи.

— Хорошая кофта. Бант спереди завязывается. Ну, поношенная немножко, так это по телевизору видно не будет.

Я никогда не была особой снобкой, но тут стояла насмерть.

— Во-первых, она мне велика. Во-вторых, она мне не нравится. В-третьих, я совершенно не понимаю, почему должна сидеть в кофте твоей мачехи, — возмущалась я.

— Господи, — ответила она. — На два часа надеть ещё приличную кофту, и всего делов-то? Тебе лишь бы деньги мотать. Только начала на телевидении работать, а уже такие капризы, — обиделась моя протеже.

Муки длились, пока Юля не стала руководителем проекта и мгновенно не оказалось, что уйма магазинов желает одевать «ток-шоу». Это были бутики с большим понтом, зашкальными ценами и продавцами, глядящими сверху вниз. У нас часто бывали накладки с машинами и приходилось ждать в этих аквариумах, наполненных благоуханием парфюмерии и продавцами, ощущающими себя сверхлюдьми от соседства с фирменными этикетками.

Заходит бывало свеженькая жена нового русского, ещё вся в чём-то среднеарифметическом, и доверчиво просит:

— Девушка, вы мне не поможете?

И уж девушка ей такой лапши повесит с надменным лицом,

что бедная потребительница в порыве дотянуться до красивой жизни уходит, волоча несколько чудовищных костюмов (каждый по цене советского автомобиля), какие-то сумочки, рюкзачки и шляпки в фирменных пакетах, которые потом никогда не наденет на трезвую голову.

— Вы что, женщина? Как это вам может не нравиться? Это же «кинзо»! Не понимаете, так верьте тому, кто понимает! Вы, женщина не экономьте, в вашем возрасте уже неприлично ходить в платье за сто долларов! В этом сезоне юбки именно такие. Это не важно, что у вас ноги не подходят. Никого уже давно не интересуют ваши ноги, зато все видят, где вы одеваетесь! — наезжали девушки, и покупательницы дрожащими руками отсчитывали зелёные за пропуск в новую жизнь.

Стилистика одежды в этих магазинах не изнуряла себя разнообразием, грубо говоря, ориентировалась на два варианта. Рабочая одежда проститутки — где всё распахивалось, просвечивало и блестело; и скафандр секретарши — альянс безликого пиджака и короткой юбки. Остальные женские профессии не подразумевались.

Однако отобранные из этого диапазона костюмы периодически не доезжали до студии. Они были дорогие и штучные, продавцы получали процент от всученной шмотки и счастливы были её продать несмотря на договор о рекламе. Приходилось обходиться своим гардеробом или декорировать прошлый пиджак, снятый с кого-нибудь из команды, косыночкой.

А это вечное не вспотеть в пиджаке, ведь его потом будут кому-то продавать. Не извозить бутербродом. Не насыпать пудры, не измазать помадой, когда снимаешь кофту через голову И всё это конвейере гонки и жары.

Впрочем, экран был равнодушен к ухищрениям дизайнеров, и какое-нибудь платье от Готье выглядело на нём, как байковый халат.

Гримёрная тоже была отдельным поем боя, на котором визажисты сражались с нашей внешностью и друг с другом. Опытные телевизионные гримёрши держали оборону от хлынувших шустрых недоучек стилисток. Безусловно, внутри и тех и других были свои звёзды и свои монстры, но опыт и практика первых, их чувство студийного света и терпеливость были несопоставимы с бойкостью молодняка, в основном гримирующего «для панели».

Помню очаровательную юную стилистку, залепившую гостю другой передачи с изрытым оспой лицом: — Ужас какой-то вас делать. Каждый раз полкоробки пудры. А знаете, какая она

дорогая!

Потом девушка досталась мне, и перед передачей я слушала задумчивое: — Так вот иногда гримируешь и подумаешь, неужели, когда стану старая, у меня будет такая же плохая кожа.

Или: — Вы давно отдыхали? То-то у вас глаз совсем не горит, и как вы с таким глазом к народу в студию пойдёте?

Или: — Нос-то у вас хорошо сломан. Что ж вы его не прооперировали? Мне теперь каждый раз его гримом ровнять. И как только вы с таким носом живёте?

Пожилые гримёрши одёргивали: — Молча гримируй. Мы с людьми, а не с дровами работаем!

Конечно, неприятно слушать, что твоя внешность входит в стоимость работы, но, увы. Как-то при мне менеджер фирмы одежды распекал своего администратора в присутствии девушек, рекламирующих платья: — Что ты мне привёз? Это по-твоему девки из дорогого агентства — триста долларов за день? Смотреть стыдно! Такие «плечи» можно было взять по семьдесят долларов штука!»

Я чувствовала себя просто на рынке работорговли.

Я шла в передачу пропагандировать определённый набор идей и должна была стать первой феминисткой, запущенной в широкий контекст. В передаче сначала даже были некоторые раздумья, можно ли называть человека феминисткой, прилично ли это, нормативно ли, но это было моё жёсткое условие.

Конечно, если б я человеческим языком с весёлыми байками читала лекции о феминизме, гуманитарный стандарт в стране явно бы не понизился. Но, никто не предлагал учебного формата. Предлагали пять минут, из которых после монтажа оставалось две грубо склеенных, и на этом пятачке нужно было строить Вавилонскую башню. Страна и руководство канала заказывали шоу, и им было всё равно, феминистка я или жираф с двумя головами. И мне предстояло упаковывать горькую пилюлю прав человека в золотой шуршащий фантик.

Было непонятно, сколько просуществует «Я сама», и моя задача-минимум состояла в том, чтобы сделать образ феминистки легитимным и обаятельным. Широкой публике в этот момент было всё равно, сколько женщин в парламенте Швеции, в каком году начали голосовать австралийки, как американки воюют за право на аборты и почему в ряде мусульманских стран девочкам не дают учиться даже в школе. Широкой публике нужна была привычная героиня, которая вякнет «что-то свеженькое». И я вынуждена была травить байки, шутить шутки и показывать фокусы из области эстрадного диагностирования, пока не приучила, что мне можно верить.

Отечественные феминистки письменно и устно изощрялись, обвиняя меня в дискредитации женского движения и вольной трактовке терминов. Они не пытались осознать разницу инструментария, состоящего из печатных площадей сборников для узкого круга; с инструментарием, состоящим из студии, в которой температура до тридцати пяти градусов жары; героини, которая не редко выбрасывает самую тяжёлую энергетику; пожирающего глазами зала; необходимости в течение рассказа вычислить реальную, а не заявляемую проблему, «поставить диагноз» и «назначить лечение»; отредактировать его в ключе гуманистической пропаганды и упаковать так, чтобы женщина, возящаяся по дому, всё отложила и включилась на телевизор. Я должна была повысить ценность идей феминизма в сознании женщины на кухне, которой я сто лет не снилась; и докричаться до неё через толщу ежедневно решаемых ею проблем.

Конечно, переход из просветительского жанра в эстрадный произошёл не без издержек. До передачи я дала много интервью, отработала уйму вечеров и концертов как ведущая и дала кучу советов людям с проблемами, то есть не была «как свежий дурак с мороза». Но я не видела себя в жанре массовички-затейницы, и меня тошнило, когда вместо того, чтобы лупить по проблеме цифрами и терминами, я должна рассказывать анекдот. Я умела просвещать, а программа предлагала веселить.

Особое слово к операторам, умудрявшимся делать нас с Олей на двадцать килограммов толще и на десять лет старше. Я бы ещё понимала, если б им за это платили конкуренты. Так что бесконечное: «Ой, какая вы в жизни хорошенькая!» — хоть как-то возвращало к жизни.

В монтажных передачах один плюс один означает три. И ножницы монтажа частенько делали из меня агрессивную дуру, ведь когда из двух часов съёмки склеивалась тридцатиминутная передача, телезрителю не всегда было понятно, против чего я митингую. С героини соскабливали основную чернуху, а у меня отрезали смягчающие связки. Получалась причёсанная, припудренная героиня и злыдня феминистка, палящая по мишеням, которых нет в кадре. В результате меня несчитано обвиняли в бестактности и агрессивности, не понимая, что внутри передачи у меня достаточно возможностей просчитать продуктивную интонацию. Но она считается на происходящее в студии, а не на нарезку, выходящую на экран.

Меня упрекали чуть ли не в нанесении психических травм героиням, но в передачу приходили совершеннолетние люди не только по собственному желанию, но и по конкурсу, примерно один к пяти. Им были понятны условия игры, в которых их

проблемы становятся не темой частной психологической консультации, а материалом публичного судилища. И дискомфорт от моей резкости всегда являлся компетенцией психолога передачи, который сначала решает, выдержит ли человек съёмку, а потом приводит его в себя.

Моей задачей было не «вытоптаться на героине», а определённым образом объяснить молодняку, «что такое хорошо, а что такое плохо» в условиях пореформенного распада системы ценностей. И я ощущала себя не проповедницей, а учительницей младших классов.

В целом, телевидение — это дьявол. Начиная игру с ним, предполагаешь выиграть, но этого ещё никому не удавалось. Я долго делала вид, что участвую в ток-шоу, и это мало что значит в моей писательской биографии, но это не так. В ток-шоу участвую не я, а мой двойник, бесконечно мерзко подмигивающий мне оттуда, каждую секунду, когда я нахожусь в зоне внимания любящих телезрителей.

Любящие телезрители пребывают в совершенно панибратских отношениях с этим двойником, всё время хотят получать у него психологические консультации и демонстрировать ему свою любовь. Когда я, уполномоченная двойником, отказываю, мне хамят, расстраиваются, унижаются, говорят гадости и, уходя, опрокидывают в глубочайшее чувство вины за то, что не разрешаю двойнику возиться с ними двадцать четыре часа в сутки. Моя писательская и телеперсонная биографии идут друг на друга стеной.

Я люблю говорить, что на телевидении испортила кожу гримом, испортила репутацию в литературных кругах популярностью в широких массах и испортила жизнь в собственном городе, потеряв возможность ходить по улицам, чтобы не улыбались, не здоровались и лезли с общением. Я работала в регистратуре поликлиники, натурщицей, музейным смотрителем, научно-техническим сотрудником, курьером, заведующей канцелярии, ведущей и организатором фестивалей, психотерапевтом, журналистом. Работы падали на меня, чтобы я описала их в тексте, как любили мы цитировать в юности: «Мир существует для того, чтобы войти в книгу».

Однако энергетический поток в студии оказался мощнее всех предположений о нём. Выяснилось, что если ты — делаешь ток-шоу, ток-шоу — делает тебя, надевая на тебя каждую озвученную царапину героини, поднимая из глубины души все твои беды и комплексы.

На Юле и Оле кресты, а я оказывалась совершенно голой

перед пьющими глазами публики. Я и не представляла, какая огромная физическая нагрузка, когда на тебя просто смотрят. Но не как на человека, а как на культовую фигуру.

На прессу я производила странное впечатление. Журналисты поносили ток-шоу за откровенность, а меня за непривычность формулировок. С точки зрения среднего европейца конца двадцатого века, я говорила «Лошади едят овёс и сено, а Волга впадает в Каспийское море», но наша пресса никогда не поспевала за средним европейцем, и воззвания из области прав человека казались ей разрушением морали.

Мои же уверения по поводу того, что если человек сексуально не обслужен, то он социально опасен, приводили в трепет журналистов всех полов, возрастов и политических ориентаций. «В своём пафосе насчёт того, что грешить не только приятно, но и нравственно, более того, аморально не грешить, Маша Арбатова подходит к проблемам морали, хотя и с довольно экзотической стороны. Чего ради эта молодая симпатичная женщина взялась за роль дьявола, остаётся только гадать», — писала «Коммерсант-дейли».

И тут же в тон ей «Лимонка» всхлипывала об аморальности моей позиции, утверждая, что я зову русских женщин пристально посмотреть на русских мужчин, а это чревато опасностью ещё большей демографической пропасти. Потому, как если наша баба своего мужика толком разглядит, то совсем перестанет от него размножаться.

Или, например, я давала интервью вполне информационной программе о том, что западный феминизм завоёвывал пространство карнавальным способом, о том, как европейские дамы сжигали бюстгалтеры на площадях и носили по центральным улицам гробы, символизирующие женщин, погибших от криминальных абортов. После меня диктор говорил: «А теперь мы покажем, чем занимаются российские феминистки!». И на экране появлялась модная галерея, в которой на столе лежала голая девушка, обложенная нарезанными бананами, и мужская часть населения с наслаждением стаскивала с неё данные бананы зубами.

Называла при этом девушка себя феминисткой или нет, меня не интересует, хотя скорей всего не называла, но с точки зрения журналистской этики люди, делающие передачу, были профессионально непригодны, поскольку просто не ориентировались в освещаемом материале.

Или, например, в программе «Знак качества» автомобилистка обращалась к мужчинам-автомобилистам с просьбой не ездить

по-свински, и программа снабдила её текст титрами «феминистка Лена».

Самый крупный и самый изношенный миф цивилизации, в которой мы живём сегодня, миф о женщинах как о «втором поле» и втором сорте. Двадцатый век нанёс этому мифу удары, от которых ему уже не оправиться, но в странах третьего мира, к которым мы относимся по гуманитарному и экономическому стандарту, миф ещё хозяйничает в средствах массовой информации.

Ситуация освоения отечественным телевидением женского образа причудлива. В истории российского женского движения не просто женщины боролись с мифом государства, но сражались два мифа: миф советский и миф фалократический. Сражались то конкурируя, то сотрудничая, то путая карты.

Первой телеперсоной, появившейся через линзу телевизора КВН была «условная женщина» двух типов. Один брал своё начало из образа мухинской «колхозницы»: «Родины-матери» и «матери-труженицы». Некоторый монстр, не лишённый напоминаний о богине земли Деметре: преувеличенные половые признаки, огромная, важная, с медленной речью, большой грудью и бёдрами, с домом волос на голове. Людмила Зыкина, Ольга Воронец, женщина-депутат, мать-героиня. Второй выглядел как асексуальная отличница в пиджаке со строгой причёской, выполняющая наказ партии: Валентина Терешкова, Екатерина Фурцева.

Появление на телевидении остроумной Светланы Жильцовой и обаятельной Валентины Леонтьевой было настоящей революцией. Женщина ожила, начала улыбаться, носить красивые платья, кокетничать и шутить. Однако дикторши новостных передач были застёгнуты на все пуговицы. Они хорошо помнили, чего стоила ведущему сказанная в свое время в эфире фраза: «На Красную площадь на белом коне выезжает Климент Ефремович Ворошилов, слушайте стук копыт Климента Ефремовича Ворошилова!».

Жванецкий сказал, что «перестройка началась, когда дикторша оговорилась и засмеялась». Вместе с изжившей страх дикторшей на экране появилась Раиса Горбачёва. Она была образованна, прекрасно одета, неглупа и харизматична, но не владела простотой высшего света.

Перестроечные поиски жанра застали врасплох руководителей телеканалов, они начали менять «женщину» «от противного»: всё, что при большевиках было нельзя, множилось до полной непотребности. Толпы разнузданных девиц начали показывать коленки, увеличивать декольте и предлагаться

глазами телезрителю, вместо того, чтобы создавать фирменную атмосферу передачи и транслировать информацию. Было понятно, что женский образ должен измениться на телеэкране, но совершенно неведомо, по каким направлениям. И потому оппозицию гиперсексуальным дикторшам составили дамы-комиссарши типа Беллы Курковой.

Процесс остановился, когда в качестве эталонов появились Татьяна Миткова и Светлана Сорокина, оказавшись не только серьёзными журналистками, но и общественно признанными персонами. Татьяна Миткова была первым диктором, отказавшимся вести репортаж о вводе войск в Вильнюс, не адекватный реальным событиям. Светлана Сорокина оказалась единственным диктором, закатившим скандал Ельцину по поводу обвинений программы «Вести» в чернухе. Сорокина по опросам ВЦИОМА вошла в 100 самых влиятельных женщин мира. Эстафету подхватили, и телевидение начало тиражировать красивых, хорошо образованных, профессиональных дам.

Чтобы не потеряться, другие ведущие начали ломать жанр: изысканно простенькая Арина Шарапова, асексуальная Ксения Стриж, кичеобразная Наталья Дарьялова, эпатирующая Светлана Коннеген, интеллигентная Екатерина Уфимцева. Совсем молодых и раскрепощённых женщин вывел шестой канал: Татьяну Лазареву, Анастасию Соловьёву, Екатерину Коновалову.

Безусловной находкой телевидения стала Лидия Иванова, но ни одна передача не сумела толком поработать с её образом, воспользоваться её интеллектуальным и творческим потенциалом, повсеместно сталкивая её в эпатаж. Однако её появление разрушило утомительный телештамп: молодая, на всё готовая, выговаривающая буквы как в Малом театре.

Отдельный разговор про Юлию Меньшову. Сначала её пытались делать смесью Дарьяловой и Стриж, она долго и тяжело боролась, пока наконец не добилась права быть собой. С собственной красотой, собственным интеллектом, собственной жёсткостью. Сегодня в парикмахерских просят подстричь не под Пьеху и Хакамаду, а под Меньшову.

Девушки, ведущие погоду, одна из самых пародийных страниц образа современной женщины на экране, количество телодвижений и выражения глаз, мало соответствующие сообщаемой информации, демонстрируют их полную профнепригодность. Как-то моя подруга спросила мужа, пристально смотрящего погоду: «Сколько завтра градусов». Он честно ответил: «Подожди, я не могу сосредоточиться».

Глава 36. ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Три года в эфире невероятно изменили представления телезрительниц о собственных правах и в каком-то смысле вырастили новую юную ориентированную на феминистские ценности молодежь. Образ феминистки в широких слоях перестал ассоциироваться с воинственной лесбиянкой и злобной мужененавистницей, а превратился в «бабу, которая просто много хочет». Это был первый шаг по реабилитации образа феминистки в средствах массовой информации, я не берусь его переоценивать, но и не желаю недооценивать.

Я имела возможность изучать, какой мифологией окутан этот образ, и осознавать диапазон этой мифологии по монологам любящих телезрителей, в общественных местах.

После второй передачи кассирша в булочной, увидев меня, закричала соседке: «Смотри, это из вчерашней передачи женщина. Их там три. Одна дочка «Москва слезам не верит», вторая — нормальная. А эта, вся в чёрном — мифистка». Я переспросила: «Как вы меня назвали?» Кассирша опасливо ответила: «Мифистка. Это не я вас назвала. Так вас на передаче называют».

Водитель такси без тени юмора спросил: «Это не вы в «Я самой» пессимисткой работаете». А молодёжная компания завопила мне в спину: «Смотри, пофигистка с шестого канала пошла!».

Слово не надевалось на язык и совершенно ни с чем не ассоциировалось.

А потом начали привыкать, начали слушать и разбираться. Через какое-то время мужчина на улице сказал мне: «Я так понял, что вы хотите все за мужика делать: и деньги зарабатывать, и решения принимать, и по дому все успевать. А зачем он тогда вообще нужен?». Я пыталась ответить на вопрос, собеседник не слушал и долдонил своё. Через два года девушка сказала моему знакомому: «Я хочу быть феминисткой, как Маша Арбатова, ничего не делать и всё время говорить мужикам, что они — козлы!».

Как-то на базаре художников человек, торгующий искусством, сказал при виде меня: «Феминистки — это такие же люди, как и мы, только они ещё чего-то дёргаются и барахтаются, чтобы вылезти из общего свинства!».

Всякая героиня приходит с историей болезни или составом преступления и часто не вполне адекватно оценивает драматургию изложенного. Рассчитывает на жалость и понимание, оказавшись монстром; прикидывается Бармалеем, являясь Золушкой. Список притязаний героинь ток-шоу дает

довольно точные координаты образа российской женщины. Список этих притязаний находится в динамике, но его можно очень грубо разделить на блоки, по степени личностной состоятельности героинь.

Блок первый, самый примитивный, условно называю его «Пришла похвастаться хитростью». Передачи типа «Как Я его на себе женила», «Я вышла замуж по расчету», «Как окрутить холостяка», «Я простила мужу измену», «Как справиться с хамом».

Блок второй — «Пришла покрасоваться, как преуспела вопреки привычным представлениям». Передачи типа «Я мечтала стать мачехой», «Пятнадцатилетняя жена», «Мне подарили мужа», «Я отдала детей мужу», «Мне нравятся молодые мальчики».

Блок третий. Задача — «Публично опозорю обидчика». Героини четко осознают, зачем пришли. «Друг мужа — мой враг», «Жена да убоится мужа», «Легко ли быть второй женой», «Подруга увела мужа», «Раба любви».

Четвертый блок — «Ярмарка невест». Демонстрация себя на многомиллионную аудиторию в том качестве, в котором, по ее мнению, повышаются шансы найти спутника жизни. «Суперженщина», «Почему я такая одинокая», «Я принимала его любым», «Женщина — начальница».

Пятый блок — «Я доросла до бунта». «Мама испортила мне жизнь», «Разве я плохая мать?», «Хочу выйти на работу», «Замужем за иностранцем».

Шестой блок — «Я спаслась и хочу помочь другим». «Жертва насилия», «Я больше не буду пить», «Вот я и стала женщиной», «Девушка с характером».

Были, конечно, и казусы. Одна героиня, не понравившись себе в передаче, обещала взорвать Останкино. Другая пришла бить мне морду, уверяя, что я назвала её проституткой. Третья оговорила мужа, который потом подал на передачу в суд.

Фотографы говорят, что объектив видит больше, чем глаз. Телекамера видит и больше, и по-другому. Человек может быть не телегеничен; красавица покажется монстром, и передача окажется нечёткой. Дурнушка может оказаться в кадре королевой красоты, и её проблемы будут выглядеть надуманными. Но при прочих равных данных человек на экране выглядит толще, глупее и старше, чем в жизни. Когда я начала видеть себя на экране, у меня был шок. Прежний образ себя был моложе, красивей и умнее. Сперва страдала, потом стало наплевать. Так же, как раньше, когда звонили о публикации, я не вычитывала текст, а спрашивала, какая фотография. Прошли годы, и фотографии стали безразличны, а слова — значимы.

Сразу после «засветки» меня начали звать в думу. Но это делали политические блоки, к которым я равнодушна. Подозревали в том, что я создаю женскую партию или собираюсь возглавить феминистское движение в стране. Умоляли стать главным редактором двух женских журналов, при этом один на деньги «патриотов». Предложили возглавить женский банк и всучивали кинотеатр, предлагая устроить в нём феминистский шабаш.

Апдайк писал: «Ты можешь либо видеть, либо быть увиденным». И отвратительность ситуации, когда «Маша» начинает жить вместо меня, сильно донимает меня. Сначала, когда люди начали дёргать на улице, я старалась не выходить из дома, чтобы не оказываться участницей псовой охоты в качестве дичи. Формы защиты наработались постепенно, но общественного транспорта по-прежнему избегаю.

Какие-то диалоги сначала я даже потрясённо записывала.

Мужчина с женщиной, идут навстречу.

— Смотри!

— Чего?

— Да вот!

— Платье на бабе?

— Да не платье, баба!

— Что, баба?

— Да из этой… Из как её. Из «Времечка».

— Ну? Ой, нам ваша передача так нравится, прям так нравится, слов нет.

Выхожу с подругой из Макдональдса, на морозе стоят ждут три здоровенных амбала.

— Девушка, разрешите обратиться?

— Разрешаю.

— Мы тут поспорили, это вы Маша-феминистка или нет?

— Ну я.

— Понял, козёл! Ты мне проспорил сто баксов.

— Да она врёт. И я вообще другую передачу имел в виду.

— Ух, сука! Я из тебя эти баксы пером достану. Маша, вы извините, мы из Тюмени приехали. У меня жена, когда ваша передача идёт, даже к ребёнку не подходит, если он плачет. Так прям и говорит: «Два раза в неделю для меня умри всё живое».

Пожилой мужчина. — Женщина, подождите, у меня дочка, вашу передачу любит. Вы мне это, распишитесь на чём-нибудь.

— Извините, я спешу.

— Ничо, не опоздаете. Ну чо, у вас бумажки чтоль какой нет, автограф поставить?

— Нет.

— Ну, ладно. Вот вам стотысячная, расписывайтесь. Ой, нет, она у меня последняя. Стойте здесь, я чо-нибудь пойду найду. Уйдёте, в жизни не прощу.

Молодая девушка:

— Скажите, вас не Марина зовут?

— Нет.

— Правда?

— Правда.

— Наверное, к вам пристают, вот вы и не говорите.

— Вы обознались.

— Жалко, а вы так на Марину похожи из программы «Я сама», которая всем советует как правильно. Вам что, не говорили?

— Не говорили.

— Жалко. Ну прям одно лицо. Я с ней поговорить хотела. У меня парень был, а потом мы с ним разошлись. Но во всём Светка виновата. У ней свой парень был, но стала она на моего заглядываться, мой-то лучше был, и пил меньше, и всё…

— Извините, я спешу. Я не Марина. Я не готова вас слушать.

— Какая вы грубая. Можно сказать, хамка.

Телефонный звонок:

— Здравствуй, Маш, это Наташа.

— Добрый день. Какая Наташа?

— Да ты меня не знаешь. Из Химок я. Мне подружка твой телефончик достала, вот я потихоньку от своего мужика звоню.

— Извините, я не понимаю вас.

— Ну что тут понимать? Дело обычное. Понимаешь, загулял у меня мужик. Сама не поймала, но чую, нюхом чую, куда-то бегает.

— А почему вы мне звоните? Вроде он не со мной загулял.

— Понимаешь, он тебя послушает. Он как передачу смотрит, говорит, какая баба умная. А ты ему скажешь: «От такой Наташки только последняя свинья гуляет!». Давай подъезжай часикам к семи, я и пирог спеку. Пиши адрес.

Один первоклассник другому:

— Смотри, смотри феминистка пошла.

— А чего она делает?

— По телевизору её показывают, папка как выпьет, так орёт

на мамку: «Наслушалась, дура, своей феминистки!».

Молодой очень голубой мужчина:

— Здравствуйте, я вас узнал, вы — Маша. Я вам хочу свою визитку оставить. Я — модельер-дизайнер. Я вас хочу одевать для передачи. Я вас очень уважаю за вашу смелость, что вы свои принципы так открыто говорите, я так не могу. Мы же с вами друг друга понимаем. Некоторые у нас говорят, зачем она про мужа, про детей придумывает. Но в этом ничего такого. У меня тоже жена есть. Танцует в ансамбле. Я её одеваю. Я вообще женщин люблю одевать, раздевать, они как куклы. И потом, когда женат на женщине, легче в карьере. Я сам в люди вышел, мне никто не помогал, но вот так, чтоб на всю страну всё про нас рассказать, мне слабо. Спасибо вам за всё. Держитесь, не сдавайтесь, все наши вас смотрят.

Телефонный звонок:

— Здравствуйте, Маша. У меня большая неприятность. Мой муж уехал в Америку по приглашению и решил там остаться. Если в эмиграцию оформляться, я б не дала, так он и сделал вид, что в гости, а сам остался. И теперь он мне не платит алиментов. Я хочу, чтоб вы через свою передачу связались с американскими феминистками, и они бы его заставили платить.

Интеллигентный, очень агрессивный мужчина в метро:

— Скажите, пожалуйста, почему вы всё время врёте про мужчин? Вы же лесбиянка, это же видно. Я пожилой человек, я в этом понимаю. Вот вы ведь даже на меня как на мужчину не реагируете!

Мужчина на улице:

— Вы Арбатова? Вот была такая передача, там у девушки в каждом городе по мужчине. Это что же такое происходит? Это что значит, теперь всё можно? Так что ли? Мы жизнь прожили, во всём себе отказывали, на чужую бабу глаза поднять боялись, а вам теперь всё можно?

— Здравствуй, Маша! — оказываюсь в буйных объятиях и липких поцелуях пьяной огромной бабы. — Как я тебя люблю, просто не представляешь! Я всё для тебя могу сделать, говори, что хочешь!

— Выпустите меня, для начала! Я спешу! — барахтаюсь я в железных объятиях.

— Ты чего, обиделась? Ну, скажи, обиделась? Я же от всего

сердца! Я же тебя каждую неделю смотрю и на кассеты записываю. Ты ж мне как родная. Это что ж, простая баба не может с тобой познакомиться? Это ж я для тебя рылом не вышла? Ну и не лезла бы тогда на телевидение, тоже мне Алла Пугачёва!

Пожилая женщина:

— Ой, вы так на Арбатову похожи.

— Да вроде это я.

— Да что вы, девушка, она вам по уму и по возрасту в матери годится.

Накрашенная девочка в троллейбусе подбегает с взволнованным лицом и почти кричит:

— Вы мой идеал, я с вас делаю жизнь!

Выпрыгивает на остановке, а я остаюсь как дура, и весь троллейбус сосредоточенно разглядывает меня, пока я умираю от стыда.

Мужчина на улице:

— Скажите, а кто вам тексты пишет? В последний раз очень плохо было написано.

Женщина в магазине:

— А в жизни-то вы получше и помоложе будете. А в передаче — ничего хорошего.

Новый русский лет сорока:

— Давно хочу с вами познакомиться. Мы должны поужинать и поговорить.

— О чём?

— Какая разница о чём, когда у мужчины столько денег, сколько у меня?

— Увы, мне некогда.

— Нет, вы не поняли. Вы решили, что я богат. А я — очень богат. И у вас есть шанс.

Меня нагло обвешивает продавщица. Я:

— Здесь нет двух килограммов.

— Как это нет, как это нет? Сними свои тёмные очки, тогда увидишь! Ой, это вы! А я вас сразу не узнала! Конечно, нет двух килограммов, вот ещё апельсин. Теперь ровно два. А вот ещё два апельсина — от меня.

Покупаю духи, уже кладу их в сумку:

— Ой, это вы. Отдайте скорее духи обратно. Вот ваши деньги.

Это же подделка! Я ж вам не могу подделку продавать. Мне совестно!

На рынке меня регулярно ловит какая-нибудь из продавщиц:

— Вот тебе перчиков к празднику. Мужа-то моего в больницу положили. Слышала? Ну, рассказывай, сама-то как?

Выпившая девушка подходит ко мне в ночном клубе:

— Здравствуйте, вы мне очень нравитесь.

— Спасибо.

— Можно я вас поцелую?

— Нельзя

— Почему нельзя?

— Потому, что я не хочу.

— А почему вы не хотите?

— Не хочу, и всё.

— Нет, ну, вы объясните.

— И объяснять не хочу.

— Я вам неприятна?

— Извините, я пришла сюда отдыхать.

— А я тоже.

— Но вы мне не даёте.

— А вы — мне!

Пожилая женщина звонит на передачу, кричит:

— Безобразие! Я уже целый час дозваниваюсь! Я старый человек! Мне уже плохо с сердцем стало! У вас часами занято! Что вы там с телефоном делаете?

— Что бы вы хотели?

— Скажите, пожалуйста, а за кем Юлечка замужем?

Еду в машине в тёмных очках и подняв высоко воротник. Водитель:

— Чего вы так лицо прячете? То ли вы певица какая-то, то ли вам муж вчера по морде дал, и всё в синяках.

Женщина в метро:

— Ой, мы с вами знакомы!

— Нет. Вы ошиблись.

— А вы в медицинском техникуме в Киеве не учились?

— Нет.

— А на «скорой» никогда не работали?

— Нет.

— Тогда я знаю, вы — Тамара Глоба!

Один из владельцев крупного ночного клуба, смущённо:

— Мне одна девушка нравится, приличная такая девушка, в магазине работает. Нельзя ли её сделать ведущей какой-нибудь передачи?

— Не знаю.

— Сколько это будет стоить?

— Ну, если только вы купите именно для неё передачу.

— Почём?

— Не знаю. Ну, еженедельную, со всеми взятками тысяч за пятьдесят.

Он потрясённо, и даже несколько обиженно:

— Всего?

Пожилой мужчина:

— Скажите, пожалуйста, как вы считаете, кухня красного цвета может быть причиной развода?

— Вряд ли единственной.

— Значит, вы со мной согласны. Я и говорю своей старухе: «Не перекрасишь, уйду куда глаза глядят!».

Женщина средних лет:

— Извините, вот мы с мужем очень мучаемся. И всё думаем, во сколько лет нашей дочке лучше потерять девственность. Что вы нам посоветуете?

— Оставить девочку в покое и больше самим заниматься сексом.

— Вы думаете? А мы с ним, как в постель ложимся, каждый день только про это и спорим, и у самих уже ничего не получается.

Молодая женщина:

— Скажите, пожалуйста, как мужчине объяснить про свободную любовь? А то договорились, что можем друг другу изменять, а он застукал и череп мне проломил. Видите на лбу швы?

Молодая девушка:

— Поставьте мне, пожалуйста, автограф на руку!

— Какой смысл, вы придёте домой и смоете.

— Нет, я вообще руки мыть не буду.

Вся эта ахинея не имела ко мне реального отношения. Обществу нравилась новая ньюс-мейкерша, и его не волновала

степень моего соответствия образу. Никого не занимало, что я живу в одной квартире с двумя мужьями, что мои сыновья — не зарабатывающие студенты, что слухи о нормальной оплате на шестом канале сильно преувеличены. Что я не молодая, умотанная баба, обманутая в надеждах предъявить себя миру в качестве писателя, а не в качестве не понятно кого в ток-шоу «Я сама».

У наших журналистов, приходивших брать интервью, сразу ехала крыша, поскольку в комнату постоянно врывались персонажи, и я на автопилоте раздавала административно-хозяйственные поручения.

— А это кто?

— Это сын с девушкой.

— А это кто?

— Бывший муж с дамой.

— А этот вроде уже заходил с другой девушкой?

— Нет. Это другой сын. Они близнецы.

— А это кто?

— Друг сыновей с девушкой.

— А это кто?

— А это муж.

— А как вы пишете в таких условиях?

— Я пишу ночью, с двух до четырёх, когда все, в том числе и телефон, спят.

— А почему вы ещё все друг друга не переубивали?

— Потому, что мы все очень хорошие, очень терпимые и любим друг друга.

— Ну, вы даёте…

Иностранным журналистам приходилось труднее, они говорили: — Вы такие оригинальные. У нас бы все жили по разным собственным домам и встречались только в дни рождений и на рождество.

Никто не верил, что, работая в правительственной организации, Олег не может получить квартиру и что, работая на телевидении, я не могу её купить.

У одной моей знакомой был очень больной ребёнок, и я дала объявление в газету «Из рук в руки», прося поделиться опытом лечения подобных детей по моему телефону. Это было очень полезно, поскольку, кроме близких и знакомых, я долгое время видела только людей, которые от меня яростно хотели или психологической помощи, или выслушивания их недовольства передачей и феминистским движением. Так что человечество несколько померкло в моих глазах.

И вдруг по объявлению начали звонить толпы нормальных, и самое удивительное, что это были не только родители детей с таким же заболеванием. Это были люди, которые просто хотели помочь, подсказать, посочувствовать. Каждый раз у меня были чуть ли не слёзы умиления, когда по телефону диктовали очередной адрес и давали очередные советы. Я уже исписала целую простыню возможными вариантами, когда позвонила молодая девушка.

Она рассказала об очередном иглотерапевте, и поведала, что у неё у самой проблемы с ногами, что из-за этого никаких видов на личную жизнь, что хотела бы делать карьеру, но никто не берёт на хорошую работу, считая, что она портит вывеску фирмы и т. д. Я начала разъяснять, что основная проблема не в ногах, а в мозгах. Уж про это я знала очень подробно, она стала приводить примеры из своей жизни, я — из своей. Мы проговорили час, и я не призналась, что участвую в передаче «Я сама», что безусловно придало бы веса аргументам. Я малодушно понимала, что если скажу, девушка навсегда повиснет на мне, а я с трудом успеваю любить и поддерживать близких мне людей.

В сутках только двадцать четыре часа, и иногда я не успеваю сказать больше двух слов собственному ребёнку. Потому из душераздирающих писем отвечаю только на те, в которых могу помочь чисто информационно, направить в кризисный центр или что-нибудь в этом роде. Садясь за письмо, человек рассчитывает на меня. Но я не могу бросить проблемы близких, чтобы потратиться на проблемы далёких.

Короче, с колоссальным чувством вины перед незнакомой девушкой я положила трубку и пришла в ужас, глянув на часы. Уже десять минут, как Олег ждал у входа в метро. Я побежала быстрее лани, одновременно надевая очки на нос, застёгивая плащ и доставая ключи, так что, когда свалилась и пролетела весь коридор, руки были заняты, и мне не удалось ими затормозить. Боль в колене была такая, что я доползла до ближайшего дивана, где и обнаружил меня муж.

— Ничего страшного, — продиагностировала мама по телефону. — Это растяжение. Забинтуй эластичным бинтом и жди.

Я начала ждать. На третьи сутки ожидания часов в одиннадцать вечера позвонила героиня нашей передачи «Я хочу замуж, но мне нельзя», обаятельная врач «скорой», Тамара. Мы трепались о жизни, и в дверь позвонили.

— Подожди у телефони, — сказала я. — Открою дверь, только это будет дольше, чем обычно, у меня травма ноги, и я скачу на одной.

Когда я вернулась, Тамара потребовала, чтоб я помяла там, постучала так, назвала меня дурой и сказала, что сейчас приедет госпитализировать. Я упрекнула её в гипердиагностике, но ровно через час она приехала на машине, отвезла меня в больницу, и дежурный хирург мрачно сказал: — Быстро на стол.

Такого я не предполагала ни на секунду. На мне была футболка с разнузданной картинкой, купленная Олегом в финском секс-шопе, и прозрачно-ажурные трусы, в каких ходят на очень эротические свидания. Конечно, я чувствовала себя неловко, оказавшись в этом обмундировании на операционном столе, но не прошло и минуты, как операционную запрудила толпа скучающих ночных медсестёр и начала шепотом обсуждать подробности увиденного. Местный наркоз не спасал меня от присутствия, и был только один способ защититься: слушать всё это, закрыв глаза.

— Трусы, как у проститутки. Интересно, сколько такие стоят?

— А смотри, на футболке какой срам нарисован.

— Я всё понимаю, но чтоб в таком виде в больницу приехать, это вообще…

— А по-моему, это не она. Уж больно страшная.

— А думаешь, они там все на телевидении красавицы? На тебя столько грима положить, и ты будешь красавицей…

Когда в финале операции по откачиванию крови из колена врач сказал, что буду лежать в больнице месяц, я заорала так, как будто он делал мне всё без анастезии: — Лучше смерть, чем ваши медсёстры!

И Олег на руках увёз меня домой. Съёмки были через три дня, и я мужественно ковыляла на костылях. Ценой травмы усвоив, что контакт с медициной чреват психическими расстройствами, потому что, оказываясь в экстремальном состоянии, я не перестаю быть экспонатом кунсткамеры.

Телезрительская любовь проявлялась многообразно, многих я вдохновляла на стихи. Наиболее сильное произведение прислал некий господин патриотического разлива, оно было напечатано в сборнике его стихов «Пробуждение после снов о вечном». В силу уникальности произведения привожу его целиком.

ГОСПОЖЕ АРБАТОВОЙ
Красотой на Руси
никого не удивишь.
Красотой на Руси
очень многие блистают.
Вы блистаете умом —
для России редким даром —
с гладкой речью и письмом

с саркастическим угаром.
В проницательности Вам
равный сыщется едва ли.
И (всё же)
всю себя отдав Словам,
Вы себя не потеряли.
Красотою на Руси
с Вами кто ещё сравнится,
не говоря уже
о какой-то там,
Господи, прости,
сраной заграннице.

Но стихами всё не кончалось, звонили и предлагали материалы по созданию вечного двигателя, разоблачения готовящегося государственного переворота и версии убийства Владислава Листьева. Мотивировали тем, что вызываю доверие. Я уже не удивлялась, когда со мной с полоборота начинали истерически выснять отношения. Особенно после интеллигентного письма, содержащего строки: «Пять лет назад меня угораздило влюбиться, а ваша причастность к этому событию заключается в том, что вы на эту женщину чертовски похожи… Дело, безусловно, не в том… Напротив… Но это не отменяет моего весьма юмористического отношения к гипотетической возможности находиться с вами под одной крышей». В ходе длиннейшего и безупречнейшего стилистически письма я была упрекаема в том, что мечтаю выйти замуж за богатого, ощущаю холодок при мысли о старости, испытываю трудности с получением физического удовлетворения и увиливаю от близости с мужчинами под всяким благовидным предлогом. Надо сказать, письмо было длинным, умным и не обнаруживало никаких оттенков психиатрии. После него долгое время хотелось ходить на лбу с надписью «Вы ошиблись номером».

Частный извоз не брал денег, засыпая вопросами, так что, сделав нехитрые математические операции деления количества вопросов на среднюю цену проезда, я выяснила, что в среднем один мой ответ стоит три рубля.

Глава 37. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

«Идет ток-шоу «Я сама». Героиня рассказывает о том, что у неё муж и два любовника. Оля говорит: «Какая безнравственность!». Маша говорит: «Дай бог, не последние!». Юля спрашивает мужчину из загончика: «А вы как считаете?».

Мужчина: «Если б я считал любовников героини, разве б я до сих пор был её мужем?».

(Анекдот, рассказанный во время передачи мужчиной «из загончика»).

Интерес телезрителей не предполагал уважения частного пространства, и не было такого свинства, которого бы с тобой не позволили. Экспериментально я установила, что меньше узнают в жару, в сумерки и в час пик. Что зима, время нормальной жизни, когда шапка и шарф до носа обеспечивают полную неузнаваемость. Летом, когда в парике жарко, а переносица болит от тёмных очков, я, будучи феминисткой, завистливо подумывала о чадре. Моей основной задачей по жизни было подсматривать за человечеством и описывать это, а телевидение заставило работать в обратном режиме. Я оказалась вуаеристом, из которого насильно лепят эксгибициониста.

Существуют три формы полноты, как и популярности: первая вызывает зависть, вторая — смех, третья — жалость.

Обществу оказались не интересны мои пьесы и моя проза. В любимый образ уместились только распущенные волосы, фирменный пиджак, экспертные тривиальности разной степени напора и разной степени цветистости. Я мрачно шутила: «Телевидение принадлежит народу. Так ему и надо».

Я понимала, что мои заслуги минимальны, и работает попадание образа в своевременную нишу. В своё время отказавшись от образа комиссара, страна искала героя. Диссиденты были слишком серьёзны и не умели говорить с народом, потому началась мода на эстрадного обличителя, в которой стали звёздами сатирики, прежде занимавшие скромную нишу в отечественной культуре. Демократы ничего не объясняли народу, и взошли толпы эстрадных экономистов, отстающих от мировой экономической науки, но добрых и понятных, как ведущие передачи «Спокойной ночи, малыши!». Потом измотанный реформами человек посмотрел на себя в зеркало и за отсутствием психологической помощи в стране возжаждал эстрадного психолога. Я оказалась именно таким персонажем, да ещё и с правозащитным пафосом.

Конечно, к человеку, который сидит в кресле и работает «старухой Изергиль», нельзя относиться серьёзно. Но, с другой стороны, шокирует, когда подходят интеллигентного вида люди и спрашивают: «Вы действительно феминистка или вам за это на телевидении платят?». Эдакое совковое пещерное представление, что убеждения не форма осознания себя в мире, а способ заработка. На это я всегда вспоминаю слова Буаста: «Люди,

считающие деньги способными всё сделать, сами способны всё сделать за деньги».

В американских банках, когда аппаратура уже не может отличить доллар от подделки, зовут старого квалифицированного эксперта, и тот «смотрит президенту в глаза». Потому что подделать выражение президентских глаз на купюрах так же трудно, как подделать улыбку Джоконды.

В передаче я ощущаю себя этим самым экспертом и вынуждена ловить подделки в историях героинь. Дело не в том, что кто-то лжив, а кто-то правдив. Человек имеет право видеть жизнь именно так, как именно он её видит, моя задача расслаивать факты и мифы. Мы живём в переходный период, когда реальность меняется быстрее, чем готово адаптировать её сознание. Например, женщина говорит: «Я живу за спиной мужа… Настоящий мужик — это тот, который обеспечивает семью…» А фактура рассказа свидетельствует, что деньги зарабатывает сама, решения принимает сама, за семью отвечает сама, да и спит- то с ним раз в год по обещанию. Почему это называется «за спиной у мужа?». Потому что мама и бабушка ей объяснили, что «за спиной у мужа» — это символ женской успешности. Вот она и мучается всю жизнь в этих ножницах, не понимает — почему несчастна, и не умеет сказать самой себе правду.

Или бесконечное: «Вы, мужчины, — все развратные! Мы, женщины, — все порядочные!». Вопрос: с кем развратные мужчины изменяют порядочным женщинам? Друг с другом или к ним инопланетянки прилетают? Или «Мы, мужики, деньги зарабатываем, а вы, бабы, их только тратите!». Берёшь статистику, и видишь, что, за исключением финансовых магнатов, конвертировавших советские чины в капиталы, вся возрастная группа от тридцати до пятидесяти держится на бабьих заработках. По последним исследованиям, средний доход (прошу не путать с зарплатой) россиянина в полтора раза ниже дохода россиянки. При этом стоны про женскую безработицу. А на самом деле бабы быстренько получают на бирже труда пособие и зарабатывают деньги ещё в пяти местах. А мужикам вроде стыдно идти на биржу, им полгода не платят зарплату, а они всё равно ходят на работу. И им легче пойти на забастовку, чем на биржу труда.

Или, например, женское нытьё на тему: «Велика Россия, а переспать не с кем!». А как только начинаешь подробно разбираться с озвучивающей это, выясняется, что за текстом стоит страх предложить себя в качестве сексуальной партнёрши, и надежда, что мужчина сделает за неё всё в процессе

«договаривания». То есть отсутствие второй половины прежде всего упирается в неумение одиночки строить хоть немного уважительный диалог с предметом желаний.

Ко мне регулярно подходят мужчины с текстом: «Я против вас лично ничего не имею. Но после передачи у нас с женой скандал, я бы такую передачу запретил!». То есть после передачи баба начинает понимать, что где-то её сильно накололи. В каждой семье, как говорят англичане, «свой скелет в шкафу», а мы раз в неделю достаём его и разглядываем. Когда в передаче «Профессия» мне сказали: «Как вам не стыдно, вы всех призываете развестись!», — я призналась: «Если брак может рухнуть под натиском телепередачи, стоит ли его сохранять?».

В массовом сознании я «подружка-советчица», потому что это единственная упаковка, в которой страна сегодня готова слушать советы по правам человека. Феминизм связан с новым гуманитарным стандартом, а человек панически боится нового сантиметра свободы как нарушения психологического баланса. Есть анекдот: «Две женщины просидели в одной камере двадцать лет, вместе вышли и ещё двадцать минут за воротами тюрьмы разговаривали».

То, что декларирую я, интересно только сегодня и только в России, для цивилизованных стран это прошлогодний снег. То, что в отношениях мужчины и женщины выдаётся за русское традиционное благолепие, уходит корнями в варварство «домостроя», а я не отношусь к людям, гордящимся варварством собственной страны.

В этой жизни я всегда ощущала себя писательницей, которую, в силу моего темперамента, постоянно путали с кем-то другим. Когда-то о Мопассане в служебной характеристике написали: «Он хороший чиновник, но плохо пишет». Он так расстроился, что бросил службу и стал знаменитым писателем. Я более философски отношусь к подобным оценкам. Не удивляюсь, когда жёлтая газета сообщает: «По слухам, феминистка Маша из передачи «Я сама» решила написать пьесу. Наверное, это будет история одной из героинь ток-шоу». Когда звонят из очередного издательства с просьбой написать книгу о передаче «Я сама», предлагая литературного обработчика. Когда сборник прозы «Меня зовут женщина» представляют как текст ток-шоу, в котором я принимаю участие в качестве героини. Когда ровно половину интервью, сделанных со мной, приходится переписывать за интервьюеров, чтобы не выглядеть полной идиоткой. Я давно не удивляюсь многому…

Однако, с навязанной ролью всё равно что-то придётся делать. Джон Апдайк утверждал: «Интервью разрушают мозг

писателя, превращают тебя в кретина. Ты повторяешь одно и то же вновь и вновь, и когда это повторение начинает доставлять тебе удовольствие, ты становишься кретином или политиком». С этим трудно не согласиться, и, поскольку здесь видится только два пути, я надеюсь в ближайшее время стать политиком.

Какой была бы история семьи, не вмешивайся в неё то, что Венедикт Ерофеев сформулировал о памятнике Веры Мухиной у ВДНХ: «Рабочий подходит и бьёт меня молотом по голове, потом крестьянка — серпом по яйцам»?

Предположим, моего деда Гаврила не выгнали бы из партии во время чистки; будучи блестящим управленцем, он бы мог успешно возглавить более солидные структуры. И оставшись социально востребованным, не ощущал бы себя несправедливо обиженным, дольше прожил и больше пользы принёс стране.

Предположим, мой дед Илья не вышел бы из партии со скандалом, не ездил на работу из Москвы, а сразу защитил диссертацию, вместо того, чтобы всю жизнь зарабатывать деньги написанием чужих. Стал бы настолько заметным учёным, что ему бы простили двух братьев за границей и одного расстрелянного, не оказался бы «умным евреем при русском царе» (инструкторе ЦК, за которого писал книжки), а превратился со временем в научного патриарха. У него ведь и помимо 12 языков было много преимуществ над коллегами.

Предположим, в этом случае, бабушка Ханна не дёргалась бы за мужем из Москвы и сделала бы педагогическую карьеру. Больше отдаваясь работе, она бы меньше сил тратила на контроль за моей мамой, и мама была бы менее задавленной и неспособной строить собственную жизнь.

Предположим, мой сводный брат Юра не погиб, отец жил бы ради него с первой женой, и к моменту встречи моих родителей мальчику было бы 16 лет. Вряд ли он стал бы препятствием к женитьбе отца. Тем более, что первая жена даже не желала регистрировать брак. Предположим, отец какое-то время метался бы между двух женщин; но не сомневаюсь, что мама одержала бы победу. Потом, предположим, отца бы не выслали в Муром, а оставили преподавать в военной академии. Со временем он бы защитился, стал заведовать кафедрой и т. д.

Предположим, мама не рванула бы за отцом в Муром, а защитила диссертацию и сделала бы научную карьеру. Мы с братом родились бы в центре Москвы, воспитывались спокойными добропорядочными няньками, занятая делом мама не доставала бы отца, он бы дольше прожил.

Предположим, отец бы не умер, когда мне было десять лет. Я

начала бы показывать ему стихи. В четвёртом классе я переложила на стихи несколько глав Гюго, но показать отцу сначала стеснялась, а потом — не успела. Я была однозначно литературно одарённым ребёнком, и ему, в отличие от остальных, наверняка было бы на это не наплевать.

Годам к восемнадцати он помог бы мне стать многообещающим дарованием. К двадцати (учитывая его редакционно-издательские связи) — издать книжку и вступить в Союз писателей, как это делали всем писательским детям. В тридцать — я бы рубила воздух ладонями, как Марина Кудимова, напускала на себя многозначительность, как Юнна Мориц, пила и меняла мужей, как Белла Ахмадулина.

В сорок, то есть сейчас, била бы себя в грудь и стонала: «Упаси вас бог родиться с душой и талантом в России!». Относилась бы к происходящему в стране, как вкладчик «МММ» к Мавроди, писать стихи могла бы только желчью и отчётливо понимала бы, что жизнь не удалась.

Большинству людей в нашей семье, а может быть, и в нашей стране не хватало удачи. Есть такой тост: «Я не буду желать здоровья, а пожелаю удачи, потому что на «Титанике» у всех было отличное здоровье».

Я оглядываюсь назад, на эти сорок лет с удовольствием, напоминая одну высокородную особу, просидевшую 25 лет в лагерях. Ей переломали руки, ноги, потом Красный Крест выцарапал её из России и поселил в благотворительный приют. Она ездила на инвалидной коляске, улыбалась и говорила: «Подумать только, в какое интересное время мы живём!» Впрочем, небесному диспетчеру виднее, когда, куда и зачем расселять нас во времени и пространстве.

Мне сорок лет… иногда кажется, что всё уже было. Иногда кажется, что всё ещё только начинается.

17. 10. 98.